

ISSN 0130-7673

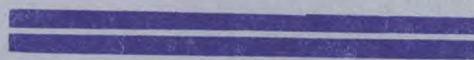
Ж О В Ы И
М И Р

3

Ж О В Ы И
М И Р

1989

3



1989



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 3

Март, 1989 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ — Из книги «Чертополох», стихи	3
ВАСИЛИЙ БЕЛОВ — Год великого перелома. Хроника девяти месяцев	6
ЛЕОНИД ЛАТЫНИН — Ночные мысли, стихи	96
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Рассказы о Анне Ахматовой. Окончание	98
НАДЕЖДА КОНДАКОВА — Кусткамеры, стихи	130
АНДРЕЙ ВОЛОС — Лаваш, рассказ	132
Н. КОРЖАВИН — Пять стихотворений	137
ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ — 1984, роман. Продолжение. Перевел с английского В. Гольшев	140
ПУБЛИЦИСТИКА	
С. МЕНЬШИКОВ — Экономическая структура социализма: что впереди? Опыт прогноза	190
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ИРМА КУДРОВА — Последние годы чужбины. Марина Цветаева. Ванв — Париж, 1937—1939	213
НИКОЛАЙ КЛЮЕВ — Соловки. Публикация Н. Б. Кирьянова . Вступи- тельная статья, подготовка текста и примечания С. Субботина	229
В МИРЕ ИСКУССТВА	
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ — Полуночное солнце. «Федра» Александра Таиро- ва в отечественной культуре XX века	233

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	245
Андрей Василевский. Разорение.	
<i>Политика и наука</i>	249
Павел Басинский. К Горькому — единому и цельному.	
Светлана Неретина. Человек в истории.	
Виктор Леглер. Одна на всех экономика.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
А. И. ВОРОБЬЕВ — Цена мнений: неспециалиста и специалистов	260
УИЛЬЯМ ЭДЖЕРТОН — Толстой и толстовцы. Перевел с английского Д. А. Карельский	266
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Михаил Золотоносов.— Юрий Стефанович. Натуральная школа. Повесть и рассказы. ✦	
И. Винокурова.— Александр Кушнер. Живая изгородь. Книга стихов. ✦	
Г. Корнилова.— Владимир Успенский. Тайный советник вождя. Роман	268
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ



ИЗ КНИГИ «ЧЕРТОПОЛОХ»

* * *

В клуб не придет Ярослав Смеляков.
Вечная вышла ему отлучка,
только звездочки над стихом
взошли, как лагерная колючка.

Десять лет он в бараке мерз,
двадцать лет согревался водкой.
Черные скулы, орлиный нос,
долу язык повисает плеткой.

Око ищет — кого стегануть.
Хамство плебея и холод вельможи
поочередно корчили рожи,
сияясь прикрыть беззащитную суть.

Славил заводы, парады, планы,
бил в пионерские барабаны,
утром премией утешался,
вдруг затравленно озирался.

Шел, на пальто нацепив медаль.
Кажется, в Рим опоздал на судно.
Тускло процеживал вечную даль,
думал тайком, одиноко, трудно.

Одoleвали слабость и злость.
Гений корил, и душа огрызалась.
Кинули к старости жирную кость,
но опоздали — зубов не осталось.

Игорь-князь между двух берез,
а Ярослав как струна со стоном —
между свободой и законом
ночью сердце разорвалось.

И приняла его стылая твердь,
наших падений и взлетов основа.
Тяжкая жизнь и легкая смерть,
время, раба твоего — Смелякова!

Петр

Вошел! И, раму отворяя,
рукою облако отвел.
И свежесть хлынула такая,
что сердце защемило вдруг.
Был голос из грядущих мук:
— Не убивай иуду сына.—
По швам полезла парусина.
А ночью снится Алексей
с отрубленную головою,
на край кровати он садится
и просит:

— Голову пришей.—

Из дней грядущих голосок...
И красный шелковый платок
на нем болтается, где шея.
И молится в ногах Петра
Морозов Павлик до утра
за жизнь иуды Алексея.

1979.

* * *

Выйду в безлюдное поле
и прочитаю с бумажки:
— Здравствуйте, дорогие ромашки.
Как вы живете? — прочту.
И отбегут от меня за версту
с криками: «Мы ничего не слышали!» —
мышь, козявка, букашки.
И облетит меня стороной
знающий дело ворон седой.

1982.

Заклинание

Моль чехлонская малинная,
тополиная стеклянница,
ивовая переливница,
бархатница волоокая,
и обычная печальница,
и оса-блестянка огненная...
Ничего о них не знаю,
лишь названия люблю
и твержу как заклинание
от казенных дураков,

от унылых тупиков —
ЖЭКов, ДЭЗов, РСУ...
А на листьях пьют росу
тополиная стеклянница,
ивовая переливница,
моль чехлонская малинная,
я люблю их повторять!
Летом над моей могилою
будут бабочки летать.

1974 — 1987.

* * *

Слякоть. Каникулы. Грусть.
Свежесть казенных берез.
Что-то щемит мою грудь,
жалко чего-то до слез.
А теплая ночь была —
и ветка одна расцвела...

* *
*

Разбудил меня оклик печальный:
— Есть тут кто или нет? —
И скользнул по заливу прощальный,
навсегда убегающий свет.

Я отчаянно крикнул: — Я здесь! —
Было тихо, и воду знобило,
и уже бестелесную весть
равнодушная даль повторила.

* *
*

Здесь бухали тысячи пушек,
железо кромсало людей.
Однако помянем кукушек,
и зябликов, и трясогузок.
Здесь бомбой убит соловей.
У края заросшей воронки
впервые помянем зверей,
здесь лопались их перепонки.
Метались бескрылые птицы,
стонали ежи и лисицы,
калеки второй мировой.
Енот на окраине леса,
как будто в дверях райсобеса,
контуженой тряс головой...

* *
*

Прости меня за то, что свищут птицы,
прости меня за то, что налегке,
вдыхая клевер, я иду к реке
и не смотрю на солнце из больницы.
Прости за то, что я не одинок,
прости за то, что я уже не беден,
прости за то, что я еще не ветер,
не тишина и не песок...



ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

★

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА*

Хроника девяти месяцев

I

После величайшей смуты, унесшей в своем знобющем вихре миллионы жизней, не прошло и десяти лет, а Россия и Украина уже стояли вблизи очередной, не менее страшной трагедии. Казалось, все силы зла снова ополчились на эту землю. Вступая на пустующий императорский трон, знал ли угрюмый Генсек, что через несколько лет, в день своего пятидесятилетнего юбилея, он швырнет им под ноги сто миллионов крестьянских судеб? За все надо было чем-то платить, даже за наркомовскую фуражку, а тут неожиданно подвернулась аж мономахова шапка... И когда б в стране имелся хотя бы один не разворованный монастырь, а в нем хотя бы один-единственный не униженный монах-летописец, может, появилась бы в летописном свитке такая запись: «В лето одна тысяча девятьсот двадцать девятого года, в Филиппов пост попушением Господним сын гродненского аптекаря Яков Яковлев поставлен бысть в Московском Кремле комиссаром над всеми христианы и землепашцы».

Таких летописцев не было.

Сонмы иных писателей вопили о кулаках, неумоимо кричали о правой опасности. Кто был опасен и, главное, для кого? Троцкий покинул страну, но перед тем он раскидал семена своих антимужичьих идей на тысячеверстных пространствах поверженной Российской империи. Разнесенные ветрами двух последних десятилетий, эти семена тут и там пускали ростки, укреплялись и махрово цвели, давая новые обильные семена, уже не боящиеся ни сибирских морозов, ни степных суровеев.

5 декабря 1929 года Каганович — этот палач народов, кооптированный в Москву из Харькова, — за несколько минут накидал список из двадцати одного кандидата в состав изуверской яковлевской комиссии. Политбюро ее утвердило. И уже через три дня Яковлев сварганил восемь подкомиссий, которые тотчас начали разрабатывать грандиозный план невиданного в истории преступления. В тот же день, то есть 8 декабря, его утвердили комиссаром российского земледелия.

Совсем недавно Россия давала третью часть мирового хлебного экспорта. Что-то будет теперь? Возглавляя сельское хозяйство великой державы, Яковлев не ведал разницы между озимым и яровым севом. Конечно же, подобно младшим своим соратникам Вольфу и Бельенькому, Клименко и Каминскому, он на все лады раздраконивал и клеймил троцкистов.

* Вторая книга, продолжающая историческую хронику. Первая, «Кануны», уже знакома читателям. Третья часть «Канунов» была напечатана в № 8 нашего журнала в 1987 году.

Он ничего не боялся.

В субботу и воскресенье, 14—15 декабря, все восемь подкомиссий непрерывно заседали, после чего были поспешно приняты предложения председателя Колхозцентра Г. Н. Каминского — одного из главных подручных новоиспеченного комиссара. Речь в этих предложениях шла прежде всего прочего о сроках раскулачивания. Они торопились, дорвавшись до власти! В понедельник и вторник, 16—17 декабря, шабаш продолжился с новой силой, а в среду, 18 декабря, комиссия приняла проект общего постановления. В портфель Якова Аркадьевича легла папка с листами, испещренными теми зловещими знаками, которые программировали жизнь, а вернее смерть, миллионов людей. Они, эти знаки, предрекали гибельный путь для великой страны, в значительной мере определявшей будущее целого мира!

Да, бумаги были готовы, они ждали своего часа, и теперь все зависело от «шашлычника», или «семинариста», как за глаза называли Сталина. Очередное Политбюро планировалось провести в понедельник, но в субботу Генеральному исполнится пятьдесят. И в его маленькой полукруглой гостиной, в узком кругу, за стаканами с прекрасным белым кавказским вином наверняка пойдет речь о тезисах Яковлева. Одобрит ли он эти тезисы?

21 декабря 1929 года он обедал, как всегда, дома, в небольшой и тихой квартире, расположенной в неприметном, крашенном светлой охрой двухэтажном доме, построенном в прошлом веке в юго-западной части цитадели Российского государства. Или в западной части. Может, и в западной. Какая, в сущности, разница... До сих пор он путал кирпичные стороны этого называемого Кремлем многоугольника. Так же мало интересовало его и название кремлевских соборов, хотя Троцкий никогда не устанет напоминать о его, Сталина, семинаристском образовании. Где он нынче, этот вечно путешествующий Цицерон? Какие готовит подвохи и мерзости, чего ожидать в ближайшем будущем?

Впрочем, не лучше ли спокойно съесть лобио. Пожалуй, грузинская еда появляется на столе слишком часто. А жена, эта петербургская дура, никак не может понять, что ему давно надоели бесконечные напоминания о его кавказском происхождении.

Сегодня она уже в третий раз спрашивает, когда и на сколько персон накрыть вечером стол, кто придет. К чему эти многозначительные ужимки? Он отшутился: «Был бы стол, а стольников хватит».

Она опять ничего не заметила, она не видит, что он недоволен собственным юбилеем, что его раздражает множество поздравлений, напечатанных в сегодняшней «Правде». Волей-неволей приходилось подбивать жизненные итоги, но они, по его мнению, были не столь внушительными, чтобы с легким сердцем выслушивать и вычитывать пышные славословия. И сегодня, в этот субботний день, он был раздражен больше обычного. Но чем сильнее становилось это внутреннее раздражение, тем неторопливей были его движения.

Обед, заверченный молча, обидел жену, но Сталин редко замечал не собственные обиды. А когда замечал, то сразу же их забывал, считая, что в его положении иначе нельзя. Он так и не ответил ей, кто приглашен на вечер и в котором часу накрыть стол. Поднялся, с улыбочивым прищуром взглянул на детей и, слегка косолапя, вразвалку, но довольно проворно ушел из гостиной в свой маленький домашний кабинетик. Он знал, что недоумение, оставленное им, немедленно превратится в еще большую обиду, обида перерастет в конфликт, но, как всегда, не захотел предотвратить все это. Лежа на диване и просматривая газеты, он попытался погасить раздражение и задремать, но газетные сообщения не оставили для этого времени. Куча телеграмм, собранных для него Сашкой Поскребышевым, также ждала своей очереди.

Сталин прямо на ковер отбросил пачку газет, откинулся и закрыл обесцвеченные годами глаза.

Итак, пятьдесят лет... Много это или же мало? Много... Он мыслил и выступал с трибун с помощью метода краткого христианского катехизиса. Вопрос, ответ. В и О. Говорили, что его отец, сапожник Джугашвили, совсем ему не отец... Вопрос: кто говорил? Говорила жена духанщика, толстая ведьма, никогда не знавшая собственной матери...

К черту! Все это чушь собачья. Не стоит раздумий.

Он умел останавливать не только чужие, но и собственные мысли, умел перебивать сам себя, гасить воспоминания. Однако ж они не исчезали сегодня.

Вспоминались многие эпизоды полувекового пути, хотя иные из тех эпизодов хотелось забыть. Но он был не в силах этого сделать. Он помнил все, в том числе и тот позорный для него день 18 октября 1888 года!

Накануне, то есть 17-го, в двенадцать часов дня между станциями Борки и Тарановка Азовско-Курской железной дороги с насыпи высотой в шесть сажень обрушился пассажирский поезд. Вагоны один за другим с треском валились друг на друга. Ринулся под откос и вагон-столовая, где, возвращаясь с Кавказа, с семьей и свитой завтракал император. Газеты того времени сообщали, что из разрушенного вагона извлекли икону Спаса-нерукотворного и что стекло иконы оказалось целым. Царь выбрался из-под вагонных обломков и тотчас распорядился о спасении оставшихся в живых пассажиров, императрица будто бы сама оказывала помощь раненым. На станции Лозовой учинили благодарственное молебствие и отпевание погибших. На другой день вся Россия возносила молитвы в честь спасения царской семьи. Миллионы людей ставили свечи в церквях, вспоминали гибель Александра Второго — реформатора и освободителя крепостных. Опустив уже тогда тяжелые, словно у гоголевского Вия, веки, старательно, с чувством молился и девятилетний мальчик-грузин, учащийся одного из духовных училищ на юге империи. Худой и маленький, этот мальчик, как большинство недоростков, имел привычку задирать при ходьбе голову. На молебне же он держал ее чуть наклоненной вперед и поминутно сглатывал копившийся комочек молитвенного восторга...

Сталин крепко сжал восковой кулачок, спичечный коробок и карандаш треснули в его руке. Отгоняя видение, он вскочил. В шерстяных носках заходил по ковру. Набил трубку, нашел в столе новый спичечный коробок с изображением бьющего по наковальне кузнеца. В чем дело? Он мог с полпути убежать из армии, покинуть дальнюю ссылку или тюрьму, вызывая уважение самого опытного жандарма. Он мог тут же навсегда вышвырнуть из памяти любую историю. Почему же именно эта мерзость, происшедшая с ним более сорока лет назад, не забывается и не исчезает? Он был Давидом и Нижерадзе, Ивановичем и Кобой, был Чижиковым и Сталиным. И ни один из них не внушал ему такого отвращения, как тот молящийся мальчик с грузинской фамилией. Старый Хашим, в чьих кувшинах они прятали типографские шрифты, сказал когда-то: «Ты рожден громом и молнией! У тебя великое сердце! Ты — афыр-хаца!»

Но старый Хашим врал, как пьяный мингрел в грузинском застолье. Врут и эти... Врет Клим, врет и Лазарь. Врет Бергавинов, который от имени объединенного пленума прислал из Архангельска подхалимскую телеграмму: «...мы обязуемся сверх краевого экспортного плана дать в золотой фонд индустриализации твоего имени миллион валютных рублей. Мы решили переименовать город Архангельск, северный морской форпост Союза, в Сталинопорт».

Синий табачный дым слоился почти на уровне верхней фрамуги. Чего же мы достигли, каков итог? Стезя была нелегка и опасна. Но

и нынче ему труднее, чем кому-либо, опасности поджидают его ежедневно.

Рыжий писатель, он же и живописец и любитель птичьего рынка, не хочет капитулировать. Кажется, что уже обезврежен, сбит с толку, но все еще пускает остроты. Впрочем, его песенка спета. Рыков не страшен, поскольку считает себя вне политики. Каков идиот! Как будто бывает кто-нибудь или что-нибудь вне политики. К тому же бородач пьет перед обедом, и пьет не солнечное цинандали, а свою рыковку. Скрыбин и Рудзутак верны. Верны? Даже этот с виду дураковатый крестьянский козел Калинин на самом деле старая и хитрая лиса. В любой момент может переметнуться. Клим? Дурак и бабник. Оба с Кировым любители балерин. Ах этот Демосфен в Ленинграде! Он тоже пока верен, но можно ли опереться на него в трудный момент? Все еще играет в свою паршивую демократию, без охраны ходит по заводским митингам. Пожалуй, доходитя...

Сталин день и ночь держал в уме всех членов Политбюро, Оргбюро, Секретариата и Контрольной комиссии; он тасовал их, словно колоду карт, раскладывал, как пасьянс, сопоставлял, приравнивал друг к другу и противопоставлял, комбинировал возможные группировки. Он помнил в лицо всех членов ЦК и ЦКК, знал их достоинства и психологические особенности, физические недостатки и бытовые привычки. Люди чередой проходили перед ним, стоило ему закурить трубку и прищурить глаза. Для него не было разницы между живыми и мертвыми. Иногда мертвые служат лучше живых. Евангельский Лазарь был воскрешен Христом, харьковский Лазарь сам способен воскрешать мертвецов. В том и беда, что казарский последыш знает о мертвых не хуже Сталина! Неужели он и впрямь связан с Троцким? Всякий раз при этой мысли зубы Сталина сжимают самшитовый чубук. Отвратительный холодок страха рождается между ключицами, стремительно опускается, охватывает внутренность живота и так же стремительно угасает. Кооптация Кагановича в Секретариат ничего не дала, он стал еще самоуверенней. Может быть, лучше было оставить его на Украине? Нет, таких лучше держать под боком!

Он не мог вытравить из своей памяти и еще один день — день православной пасхи 1909 года. После операции ЭКС не прошло и двух лет. Он помнит, как мальчишки с той же Эриванской площади бросали в него камнями... В тот день первая рота расквартированного в Тифлисе Сальянского полка прогнала его сквозь строй... Солдаты, эти бывшие мужики, привыкшие жалеть даже скотину, не умели по-роть. Они опускали прутья на его спину только для виду, лениво и с хохотом. Офицер ушел нарочно в канцелярию, фельдфебель то и дело глядел в сторону, торопил экзекуцию... И только один из солдат сильно ударил ниже спины, и Сталин навсегда запомнил тот казарменный удар.

Навсегда...

Но что значил тот удар по сравнению...

Бледнея от злости, поднялся он над своим столом, смахнул на ковер телеграммы и прошел в тесный коридорчик-прихожую, где висело пальто с меховой шапкой и стояла утепленная обувь.

Он ничего не замечал, ни на кого не взглянул осмысленно, пока не вдохнул холодного декабрьского воздуха, пока снег не скрипнул под валенками.

В Кремле было морозно, пусто и совершенно безлюдно. Закатное солнце упиралось остывшими лучами в белый бок Ивана Великого; казалось, что оно светило откуда-то снизу.

Нет, он никогда не хотел быть кремлевским затворником! Но ему наплевать ровным счетом, что о нем думают... Ровным счетом...

Но какая же мерзость, какое унижающее состояние — всегда быть зависимым! Как гнусно, как омерзительно вечно ощущать над

собой этот топор, занесенный над головой! Он висит над тобой день и ночь, день и ночь не исчезает угроза разоблачения. Откуда у них бумаги? Почему он, Коба, был таким дураком? Он не ударил палец о палец, чтобы уничтожить архивы охранки. Как попали они в руки Троцкого?

Он думал сейчас о великой стране, которой руководил. Прошлогодня поездка в Сибирь еще раз убедила его в том, что Троцкий по отношению к крестьянству был абсолютно прав: эти мешки с дерьмом действительно не годятся даже на баррикады. Мировая революция выдохнется и растворится в инертной мужицкой массе. Этого почему-то не чувствовал пророк, написавший письмо к съезду. Сколько же можно вспоминать эту гнусную записку, написанную в предсмертном бреде? Наш живописец, любитель певчих птиц и писатель все еще мнит себя первым наследником Ленина. Впрочем, уже с оглядкой мнит. Участь его была решена на апрельском Пленуме. Выступая, он бил себя в грудь и кричал на весь Андреевский зал: «Вы не дожидаетесь платформы! Я не правый! Уклона не будет». Он сравнивал себя с зайцем в клетке, в которого тычут палкой. Он взывал к членам ЦК, требовал справедливости и ждал, что Коба возьмет наконец слово и защитит его от нападок. Но разве в том дело, что кто-то правый, а кто-то левый? Дело в другом... Не надо было ему бегать к Зиновьеву! Только благодаря либеральному заступничеству Бухарина Троцкий не расстрелян, а выслан в Алма-Ату. Какая ошибка! Бухарин ничего не понимает в политике. Лучше бы он занимался гимнастикой, кормил кенаров да сочинял статьи о Демьяне Бедном. Да, он помогал избавиться от Троцкого, но вместе с Крупской спас его от расстрела. И выпустил за границу. Он все еще думает, что существует какая-то партийная этика. Ему не приходит даже в голову, что сам-то Троцкий ни минуты не стал бы колебаться. Что ж, Бухарин, пеняй теперь на себя... Коба не раздумывая отдаст тебя на съедение... Пусть они тобой подавятся! Да, пусть они подавятся Бухаринами, а заодно и тем мужичком, который на вопрос «почему не сдаешь хлеб?» сказал: «А ты попляши, парень, тогда я тебе дам пуда два!» Нет, Сталин не собирается плясать ни под какую дудку, не говоря уж о мужицкой! Он разделается с ними позднее, а пока...

Как всегда, определенность ближайшей задачи вернула ему хладнокровную деловитость. Он бодро открыл наружную дверь и поднялся по лестнице. Он даже козырнул охране — молодцеватому деревенскому парню, одетому в несколько мешковатую форму. Парень то и дело разгонял под ремнем складки гимнастерки и не смог скрыть восторженную улыбку. В приемной сталинского кабинета точь-в-точь те же движения повторил поднявшийся навстречу Поскребышев. Только улыбка была не такой долгой.

— Принеси два стакана чая! — сказал Генсек помощнику, когда тот вошел в кабинет следом за ним и вкрадчиво положил на стол папку от Яковлева.

— Может, повеселей что-нибудь, Иосиф Виссарионович? — спросил Поскребышев. — Все-таки день-то сегодня особенный.

Генеральный ничего не сказал. Он терпеть не мог фамильярности. Поскребышев ничуть не испугался, хотя и ушел поспешно.

Сталин отодвинул газету со статьей Ворошилова, затем прочитал черновик записки, с утра отосланной в редакцию «Правды»:

«Ваши поздравления и приветствия отношу на счет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию. И именно потому, что отношу их на счет нашей славной ленинской партии, беру на себя смелость ответить вам большевистской благодарностью.

Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего класса, делу пролетарской революции и мирового ком-

мунизма все свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю свою кровь каплю за каплей.

С глубоким уважением И. Сталин.

21 декабря 1929 г.»

Что-то раздражало его вновь: то ли разорванный и выброшенный черновик, то ли склеротический хрип трубочного самшитового мундштука. Или вновь перемена погоды?.. Да, сентиментальную «каплю за каплей» надо было, пожалуй, выбросить. Но если звонить в редакцию, то будет еще хуже: звонок стал бы поводом для зубоскальства. Ему вспомнилась бухаринская острота насчет Поскребышева и Ворошилова: «Тут поскребем да там поворошим — глядишь, и нет хлебного дефицита». Что же не скребут и не ворошат эти болваны из ведомства Менжинского? Конверт с вологодским почтовым штемпелем все эти годы стоял в глазах. Сталин был уверен, что писали из Ленинграда, а не из Вологды. Адрес был отпечатан на старой, еще с ятями, машинке, по-видимому, «ундервуде». Заглавное «О» было похоже на заглавное «С», поскольку сносилось. Разве так трудно обнаружить владельца «ундервуда»? Прошло несколько лет, а Менжинский все еще ничего не сделал. Неужели все они заодно? Сталин сопротивлялся, старался забыть содержание той анонимки. Но она сидела в мозгу прочней год от года! В ней было всего три с половиной строчки. Не мог он забыть, как, подавшись жестокой панике, написал тогда заявление в Политбюро: «Прошу освободить меня от обязанностей Генерального секретаря. Потому что больше не могу исполнять эти обязанности, я не могу быть Генеральным секретарем. Сталин».

Нет, его не освободили тогда от этих обязанностей! Политбюро приказало остаться, и он подчинился и тогда же мысленно произнес: «Пеняйте теперь на себя...»

Вошел Поскребышев с чайным подносом, с пачкою новых телеграмм. Сталин зажег настольную лампу, рассеянно полистал яковлевские тезисы и отложил папку: «Подождет! Довольно и того, что сделано наркомом...»

— Еще что, Иосиф Виссарионович? — Поскребышев стоял, чувствуя, что можно не уходить.

Сталин медленно и косолапо ходил около своего стола.

— Ты помнишь анекдот? Пустили троцкисты, а Угланов рассказывал на московском Пленуме.

— Они много анекдотов пускают.

— Ну тот, что про меня и про Ворошилова.

— А... — кашлянул Поскребышев. — Ворошилов будто бы сказал: «Если Сталин не повернет вправо членов Политбюро, я поверну вправо Красную Армию». Этот?

Сталин не ответил и опять начал ходить, переваливаясь. Остановился.

— Свяжись с Бергавиновым.

— Слушаю. Сделаю. — Поскребышев развернул блокнот и записал.

— Тебя что, память подводит? — Сталин прищурился на помощника.

— Да нет, Иосиф Виссарионович, на память пока не жалуюсь, — смутился наконец Поскребышев.

— Давай твой блокнот. — Сталин взял блокнот, повернул его одним боком, другим. — Скажи Бергавинову, что переименовывать города намного легче, чем строить социализм. Пускай лучше поскорее разберется с вологодскими правыми.

— Разрешите идти, Иосиф Виссарионович? — снова бодро отозвался Поскребышев и, не дожидаясь ответа, такой же бодрой походкой вышел из кабинета, осторожно прикрыв за собой большую бесшумную дверь.

За окном сквозь бесцветные зимние сумерки холодным, мертвенным светом исходили кремлевские фонари. Наиболее сильно желтели отблески этого освещения со стороны приземистой Кутафьей башни, где находилась дежурная будка Буденного. Разбирая свежую порцию писем и телеграмм, Сталин вдруг ощутил тревогу: в куче корреспонденции оказался тонкий пакет со штампом Ленинграда, с подозрительно аккуратным адресом, написанным округлым и крупным женским почерком. Он с ненавистью разорвал пакет. Чутье не обмануло его, листок, отпечатанный на машинке, гласил: «Только для служебного пользования! Опись матерьялов, извлеченных из синодальных и жандармских архивов: № 1. Характеристика училищного совета. № 2. Отношение начальнику Енисейского охранного отделения А. Ф. Железнякову за подписью зав. особым отделом Департамента полиции от 12 июля 1913 года. Продолжение в следующем письме».

Паршивцы! Они знали о нем все, знали больше, чем он думал. И он дрогнул словно в ознобе.

В воскресенье, 22 декабря, бумаги Яковлева обсуждались в Политбюро и были раскритикованы. Сталин неожиданно оказался левее самых левых. Он сделал значительные поправки к проекту постановления... в сторону ужесточения. Но заместитель предсовнаркома Рыскулов загнул левее даже и самого Сталина, обвиняя шайку Яковлева ни больше ни меньше как в правом уклоне! Так нарастало и крепло соревнование в левизне, так Варейкис, Голощекин и Косиор с Беленьким оказались правее Сталина и Рыскулова! Это поистине глумливое превращение произошло в пятницу, 3 января нового, 1930 года, а 5 января (опять воскресенье!) родилось знаменитое решение ЦК «О темпах коллективизации». Через десять дней, 15 января, они учинили вторую яковлевскую комиссию — зловецкий синклит по выработке методов уничтожения и разорения. Здесь, помимо андреевых и бауманов, явились новые лица. Был среди них и секретарь Севкрайкома Сергей Адамович Бергавинов...

Сталин учитывал все. В его воспаленном, безжалостно циничном, а оттого изворотливом сознании почти физически сгущалось предчувствие опасности, исходящей от крестьянства. Этого медведя, готового подмять под себя идею неподотчетного всевластия, надо затравить по-корной печатью, обложить ультраревolutionными лозунгами распаленных учащих и молодых пролетариев, запороть рогатиной нерассуждающих органов, возглавляемых фанатичными интернационалистами, презирающими быт, уклад и грозную тяжесть непонятого, чуждого им мира. Да и самого зверя надо заразить черной чумой разлада и зависти, столкнуть бедных с зажиточными. Предстояло в невиданно короткий срок разорить миллионы крестьянских гнезд, натравить их друг на друга, перессорить между собой, не выпуская из рук вожжи общего руководства. Пускай несетя, пускай летит гоголевская тройка прямо в горнило новой гражданской войны!

Секретные бумаги всех подкомиссий второй яковлевской комиссии были сведены в единый сумрачный свиток. Продумывались и тщательно взвешивались малейшие детали и варианты. Военная терминология позволяла сочетать глобальную по масштабам пространства стратегию с тактикой частного поведения. Операции намечались с точностью до одного часа.

Подкомиссия «О темпе коллективизации» по часам расписала сроки всех действий; подкомиссия «О типе хозяйств» выработала демографический план подмены кооператива артелью; подкомиссия по оргвопросам расписала, куда кому ехать и кому за что отвечать, вплоть до района и волости. Отдельно действовали подкомиссии по кадрам, по мобилизации крестьянских средств и так далее.

С точностью до вагона, до баржи было высчитано, сколько потребуются транспортных средств. Была спланирована потребность в вой-

сках и охранниках. Всех намеченных на заклание разделили на три категории. Установили минимальный от общего числа раскулаченных процент для расстрелов, то есть процент отнесенных к первой категории. Вторую категорию решено было выслать из родных мест в труднодоступные районы, третью лишить имущества и предоставить судьбе.

А на местах задолго до постановления уже свирепствовали приезжие и местные не имевшие терпения башибузуки. Уже стоял на земле великий плач — во многих местах Поволжья и Украины лились не только слезы, но и кровь.

Не зря же гуляла по Москве хитрая байка о перенаселенности русских и украинских деревень.

Но чтобы осуществить планы яковлевской комиссии, нужны были кадры и кадры...

II

Арсентий Шиловский возвращался домой глубокой ночью последним трамваем. Гремящий на стыках пустой вагон мотало из стороны в сторону, как мотает пьяного забулдыгу. Колеса бесцеремонно стучали по морозной спящей Москве. Вожатая дремала на своем сиденье. Она забывала дергать за бечеву звонка, но не забывала прижимать к животу брезентовую сумку с монетами. Шиловский не дождался остановки, спрыгнул на повороте.

Сразу после неожиданной, скоростижной смерти матери он переехал с Шаболовки. Дом «бывшего Зайцева» сменился красивым дворянским особняком, здесь Шиловский с женой Клавой занимали две комнаты. Но такие обширные были эти комнаты, так высоки потолки, что Арсентию становилось не по себе, когда он просыпался среди ночи. Лепнина вокруг большой потолочной люстры была такая внушительная, так велик был общий объем, что становилось холодно, неуютно, словно ночуешь не дома, а на вокзале. И тогда Шиловский жалел старую квартиру, где они жили когда-то с матерью и Петькой Гириным. Клава тоже не очень любила новое жилье: она по-прежнему работала на заводе и ей было далеко ездить.

Шиловский вспоминал бывшее время как счастливое и безбедное. Литейная гарь еще не выветрилась из старой его одежды, которую Клава хранила в кладовке. Еще снились по ночам опоки и стержни, снились кипящая, как самовар, полыхающая жаром вагранка и добрый, хотя и хмурый с виду, вагранщик Гусев. Ни мастера Малышева, ни Гусева, ни завальщика Гришку Устименко Шиловский ни разу не встретил с тех пор, как ушел с завода...

А почему он ушел с завода?

Трамвай рассыпал с дуги сноп красноватых искр, напомнивших литейный цех. Стук железа, приглушенный морозом, исчез в ночи. Арсентий поднял воротник своего полушубка, сшитого на манер украинской бекешки. Но его не радовал теперь ни этот полушубок, ни новая форма, висевшая больше в шкафу, ни эта квартира в красивом московском доме. Казалось, что и жена Клава стала с тех пор другая...

Однажды, вскоре после того как Петька Гирин исчез из Москвы, а Клава окончательно перебралась на другую кровать, Арсентия вызвали в органы. Лысый, кареглазый, с бледной, мертвенно-желтой кожей лица человек сказал: «Сядьте и подумайте, зачем мы вас вызвали». Сказал и ушел. Шиловский минут двадцать сидел один, вспоминая свои грехи и проступки. Пришел другой начальник, еще более строгий и молчаливый. Шиловского держали много часов подряд, выспрашивая про Петьку Гирина. Под конец ему предложили все рассказанное изложить на бумаге. Шиловский добросовестно записал все, что знал о Гирине, но его тут же прошиб холодный пот: отпуская его, молчаливый допросчик как бы мимоходом сказал, что Шиловский обвиняется в связи с врагами пролетарского государства... Пораженный Шиловский не знал, что говорить.

— Но вы не беспокойтесь,— сказали ему напоследок.— У вас есть время все обдумать и во всем разобраться.

В чем надо было разбираться? Не знал он, в чем, но начал все-таки усиленно разбираться.

Через две недели, когда бригада формовщиков переходила на новую модель, в самый неподходящий момент, измученного всевозможными предположениями Шиловского вызвали в райком. Билинkis без всяких предисловий объявил, что приходили из органов, интересовавшись личным делом. Шиловскому было приказано никуда не уезжать, ждать нового вызова. Арсентий похудел за те дни от волнений. На коже появилась какая-то сыпь. Работа валилась из рук. Во время третьего вызова ему сказали, что партия в связи с особым заданием отзывает его с завода. Будто упала гора с плеч! Если не считать некоторого тщеславия, связанного с особым к нему доверием, с особым предстоящим заданием, он ничего не испытывал, был рад, что все кончилось, и с легким сердцем ушел из дома по четвертому вызову...

С тех пор он не возвращался в литейный цех. Много недель жил Шиловский на казарменном положении, дома появлялся редко. Спецгруппа из полутора десятков выдвиженцев изучала политграмоту, а также огнестрельное оружие и приемы силовой борьбы. Клава и Лаврентьевна были строго-настроено предупреждены, они ничего не должны были знать. На вопросы знакомых они отвечали, что Арсентий в отпуске в Крыму. Вначале они и впрямь думали, что он в Крыму.

«Н-да, Крым...— Арсентий крикнул, разбираясь в ключах.— Это такой Крым, что...»

Он не додумал мысленной фразы, через черный ход прошел на парадную лестницу особняка и поднялся на второй этаж. Везде было темно, а его фонарик с севшей батареей еле светил. Арсентий только хотел другим ключом открыть высокую дверь, как вдруг в темном конце коридора обозначилась чья-то фигура. Шиловский замер, готовый к отпору, но человек громким шепотом успокоил его:

— Товарищ Шиловский? Тише. Где вы были? Я жду вас третий час. Вам пакет. Распишитесь...

Незнакомец своим довольно ярким фонариком осветил ведомость, подал собственный карандаш. (Электрический фонарь был признаком исключительности и высокого положения.) Шиловский почтительно расписался. Нарочный козырнул и, видимо не путаясь в ключах, бесшумно исчез внизу.

Пакет. Сколько было таких пакетов за эту осень! Арсентий разорвал клеенный из толстой бумаги конверт, светя умирающим фонариком, прочитал записку с надписью: «Сверхсекретно. По прочтении уничтожить». Он скомкал бумажку. Там ничего не было, кроме предложения явиться к десяти часам по определенному адресу. Ясно, что предстояла командировка. В отпуск. В Крым...

Он прошел в общую кухню, чиркнул спичкой. Положил бумажный комочек на примусную головку и той же не успевшей погаснуть спичкой поджег. С полминуты глядел на горящий комочек, а когда тот догорел, сдунул бумажный пепел с примуса и прошел в комнату.

У кровати, на которой, тихо похрапывая, спала жена Клава, Арсентий присел на стул, снял один хромовый, пахнущий гуталином сапог и задумался. Долго сидел он так, забыв про другую обутую ногу. Он сидел так, зная, что ему опять не уснуть, сидел и, как ему представлялось, думал о своей жизни. На самом деле в его голове ничего не было всерьез осмысленного. «Кому-то надо...» — твердил он про себя.

Картины прошедшего дня и ночи яркими, вполне реальными и все же кошмарными видениями опять всплывали перед глазами. Руки его тряслись, когда он снял второй сапог и, не желая будить жену, полулежа разместился в старом глубоком кресле. Сколько времени? Он пытался уснуть, закрыть глаза. Но стоило зажмуриться, как вновь и

вновь перед ним явственно обозначалась лохматая женская голова, расширенные от ужаса глаза и, наконец, толстые ноги, широко и бесстыдно раздвинутые на цементном полу. «Органы,— мелькнуло в его туманном, бесконечно усталом мозгу.— Тут и тут... органы...» Как началось все это? Нет, ему не вспомнить бы все по порядку, если б даже он захотел вспомнить все это.

Только что завершился шахтинский процесс, начинались дела с Промпартией. После нескольких недель казарменного положения его вместе с другими отобранными однокашниками направили в охрану Лефортова, затем так же быстро отозвали и ежедневно подолгу беседовали с каждым из них. Темой бесед неизменно было одно и то же: близость войны, классовое самосознание и важность особого партийного поручения, особой ответственности, которая отныне возлагается на него, Арсентия Шиловского.

К тому времени он уже превосходно владел маузером.

Однажды руководитель группы, одетый в тот день в гражданское, привез его в незнакомое место. Они ехали в закрытой беззаконной машине, ехали долго, и Арсентий не смог бы определить, где они находятся. Машина остановилась в каком-то дворе, задом к лестнице, ведущей в подвальное помещение. Когда спустились вниз и вошли за окованную железом дверь, начальник панибратски хлопнул Шиловского по спине:

— Вот, сдаю с рук на руки!

Арсентий обернулся и увидел небольшого черноглазого человека в полувоенном костюме, почти юношу, однако совсем лысого, спокойного и невозмутимого. Глаза лысого юноши прищурились и впились прямо в лицо Шиловского. Арсентий отвел взгляд, по спине пробежала легкая знобящая дрожь.

— Товарищ Шиловский? Садитесь.— Человек подал вначале стул, потом сунул в руку Арсентия маленькую холодно-костлявую ладоньку. И слегка давнул, продолжая: — Познакомимся. Вам поручено особо важное задание. Надеюсь, вы с честью с ним справитесь. Как вы себя чувствуете?

— Чувствую? Хорошо.

Шиловский недоуменно оглянулся на руководителя группы, но услышал новый вопрос:

— Вы ели сегодня?

— Да. То есть чай, пили внакладку..

Начальник группы молча стоял в маленьком оштукатуренном кабинете, где ничего не было, кроме стола и сейфа.

Незнакомец опять с головы до ног оглядел Шиловского. Ледяной взгляд этот завораживал, и пугал, и отталкивал, и притягивал. Зрачки были то черными, то белыми, они то расширялись, то исчезали. Но Шиловского больше всего поразила девичья нежность на щеках этого миниатюрного человека. Казалось, бритва никогда не касалась этих матовых щек.

— Встать! Смирно! — крикнул вдруг руководитель группы.

Шиловский вскочил.

— Товарищ Шиловский, слушайте приказ. Вам поручается особо важное задание: участвовать в ликвидации преступного элемента, вашего классового врага и врага всего трудового народа!

Арсентий не успел осмыслить сказанного: все трое уже шли по узкому, длинному, беленному известкой подвальному коридору. Он не заметил исчезновения начальника группы. Запомнились одни колена и тройники центрального отопления и канализации. Дальнейшее происходило также буднично и как-то даже скучно. Они вдвоем зашли в помещение без окон, правильной кубической формы. Лысый оставил двери открытыми. Под потолком, в сетке из ржавеющей проволоки горела электрическая лампа. Арсентий заметил муху, присохшую к проволоке. Потолок и три серые стены были голые, лишь про-

тивоположная от входа стенка забрана деревом, покрытым каким-то войлоком. В покато гладком цементном полу вдоль по периметру трех стен явственно обозначались неглубокие желобки с тремя канализационными отверстиями. Отверстия, прикрытые квадратными дырчатými железками, напоминали казарменный душ или даже коммунальную баню...

Шиловский машинально взял толстую дукатовскую папиросу, так же машинально прикурил от огонька лысого юноши. В эту минуту через раскрытую дверь послышались звуки шагов. Шиловский видел, как лысый неторопливо бросил окурок и достал из кобуры оружие. Юноша велел встать рядом с дверью, сам встал тоже около двери, но с другой стороны. Он повернул дуло на себя и зачем-то дунул в него. Шаги — они были двойные — приблизились. Лысый галантно, словно приглашая на танец, отвел в сторону руку с маузером. В дверях появился седой, стриженный ежиком человек в ботинках, без головного убора, покрытый каким-то ли макинтошем, то ли плащом. Легкий толчок конвоира направил его на середину комнаты. Конвоир тотчас отпрянул и удалился, притворив за собой дверь. Человек в плаще в недоуменном раздумывании переступил с ноги на ногу и начал поворачиваться лицом к двери.

Шиловский плохо помнил, что было дальше. Кажется, стриженный ежиком, увидев наведеннос на него дуло, зажмурился как бы от яркого света и вскинул правую руку. В то же время послышались два хлопка, отрывистых и коротких. «Макинтош» упал к ногам Шиловского, судорожно повернулся на спину, дернулся и с хрипом, потичьи двигая пальцами рук, тихо распрямил ноги в коленях. Арсентий без испуга глядел на бордовую дырку во лбу, на стеклянные, глядевшие в потолок глаза. Струйка крови брала начало из-под седого затылка. Она потихоньку искала путь в сторону бетонного желоба...

— Вот так, товарищ Шиловский, — услышал Арсентий словно из-за стены. — Еще один контрик отбрыкался. Как вы себя чувствуете? Не тошнит?

Шиловский не помнил, что ответил на этот сочувствующий вопрос. Он шел коридором в какой-то странной, тупой забывчивости. «Кому-то надо, — твердил он сам себе. — Кому-то надо...»

Назавтра, когда его вновь привезли сюда, его бросило в пот, а лысый юноша встретил его как старого знакомого, давнул за плечо.

— Обедал?

Арсентий не обедал.

— В каком состоянии твой маузер? — по-домашнему спросил юноша, взял маузер Шиловского и положил на стол. — Возьми лучше мой. — Он открыл сейф и достал свой.

Арсентий с изумлением увидел в сейфе бутылку водки с двумя кольцами колбасы. Лысый спокойно из сейфа же достал два граненых стакана. Вышиб из бутылки бумажную, залитую сургучом пробку, налил один стакан полный, другой вполовину. Потом разорвал кольцо колбасы и подал одну часть Шиловскому.

— Держи! Больше ничего нет.

Шиловский взял колбасу и половинный стакан. Но лысый отнял у него половинный и подал полный.

— Пей!

Шиловский выпил одним махом. Не переводя дух, откусил колбасы. Все же он наблюдал за лысым. Тот брезгливо понюхал содержимое стакана, отпил глоток и выплеснул остальное в угол.

— Дрянь... Плебейское пойло. Ты русский?

— Да, — сказал Шиловский.

— Пей! — Лысый вновь налил в стакан. — Впрочем, нет. Сейчас нет. Выпьешь после выполненного задания.

Шиловский вздрогнул. Хмель не туманил сознание, но команду «встать! смирно!» он выполнил с запозданием, а слова приказа совсем

не запомнил. «Кому-то надо», — вертелось в мозгу. Так же нечетко, вяло он брал оружие, шел коридором, курил словно во сне и словно во сне услышал шаги. Когда обреченный от ловкого, хорошо заученного толчка в спину оказался посреди комнаты, лысый злобно и яростно зашептал Шиловскому в ухо:

— Ну! Живо! Живо!

Шиловский в страхе поднял взведенный маузер. Подчиняясь чьей-то властной всесильной воле, выстрелил. Человек, в которого Шиловский стрелял, словно бы удивленно развел руками, долго не падал. Но вдруг его повело в сторону, и в ту же секунду он грохнулся на цементный пол.

— Молодец. Очень хорошо! — Лысый сунул в левую руку Шиловского зажженную папиросу.

Дальше все пошло своим чередом. Машина. Сейф. Полстакана водки и сорок шагов коридором. Кубическая пустая оштукатуренная коробка с желобами. Растерянная фигура, перетаптывающаяся на цементном полу. Когда фигура начинала поворачиваться — выстрел, иногда два. И снова сорок шагов. Следствие вели одни, приговор выносили другие, третьи приводили его в исполнение, четвертые вытаскивали на носилках трупы. Отвозили же пятые, а шестые приходили в подвальную комнату со шваброй и ведром теплой воды. В этой очередности истинно третьим был сам Шиловский, но про себя он почему-то всегда забывал, словно не участвовал во всем этом.

Дни проходили за днями.

Да, дни проходили за днями, и Шиловский получил уже множество благодарностей, и его ни разу не стошнило, не вырвало. Вот только сегодня... И то потому, что он впервые расстрелял женщину. Увидев в его руке маузер, она все поняла и закричала пронизывающе, со вселенским ужасом, и от этого крика, вместо того чтобы стрелять, он отпрянул к стене. Она же птицей бросилась на него, обняла, рыдая, прильнула к нему, увлекла на цементный пол и все говорила и говорила что-то полубезумное, разрывая свою одежду, раскрывая ему свое лоно... Она была молода, и это было так для него непосильно, что он забыл про себя, про свой классовый долг, он враз превратился в исступленного, яростного самца. Она была прекрасна, эта цепляющаяся за жизнь женщина, но его рука даже в тот момент не выпустила оружия. Исступление длилось всего две или три минуты. Оно ментально превратилось в досаду, в недоумение, и тут... тут захлестнула Шиловского злость. То была злость на самого себя. Он же, ни к чему не прислушиваясь, обратил свою злость в ненависть к этому победившему его существу...

Он вскочил и, едва застегнув ремень галифе, расстрелял в нее половину боезапаса, в лежащую, обезумевшую, и когда она, лохматая, окровавленная, ползла к нему и хваталась за его сапоги, его начало рвать. Его рвало, пока он расходовал остальные патроны, ступал коридором, пока закрывал сейф, отмечался на проходной и ждал машину.

Он попросил шофера отвезти его в Сокольники. Он долго бродил по лесу, пока неизвестно как не очутился на Каланчевке. Он сел в трамвай и ездил по Москве до глубокой ночи. Он пробовал подремать, пересаживался из трамвая в трамвай, словно пытаясь уйти от видений. Перед глазами возникала то лохматая окровавленная голова, то мощная белоснежная грудь с коричневым ободом вокруг соска, и тогда его настигал ужас, и он открывал глаза, и будничность трамвайных ездовых снова приводила его в себя.

...Сейчас он сидел в кресле, стараясь изо всех сил забыть видение, освободиться от него навсегда. Почему двенадцать мужчин, расстрелянных им, ни разу, никогда, даже во сне не вставали в его глазах? Почему? А эта... Он вновь с отвращением вспомнил все, что было, и встал. Уже светало. В рассеивающемся сумраке он увидел спящую

на кровати жену, у нее была та же самая поза: широко раскинутые колени и разлохмаченные вокруг головы волосы... Он содрогнулся. Клава на секунду показалась ему мертвой. Он прикрыл одеялом ее белеющее в сумраке колено, она пробудилась, сладко потянулась к нему, улыбаясь и не открывая глаза:

— Арсик, который час?

— Спи...— шепотом произнес Шиловский.

Жена до сих пор не знает о его новой службе. Она живет себе припеваючи.

На часах четверть девятого. У всех выходной, а ему ровно в десять надо явиться в означенное место столицы. Предстоит длительная иногородняя командировка. Но она, его Клава, спокойно спит в этом буржуйском особняке.

Шиловский выехал с Ярославского вокзала в распоряжение орготдела Северного краевого ОГПУ. Шифровка о приезде в Архангельск спецкомандированного опередила его на двое суток, потому что поезд на север шел нудно и долго. В Данилове замерзли трубы, и проводник отогревал их кипятком. Пар мешался в тамбуре с вонючим запахом желтого антрацитного дыма. Шиловский вторые сутки ничего не ел, только пил чай да курил в тамбуре, даже не пробуя заводить знакомство с соседями.

В Данилове поезд основательно застрял, расписание сбилось. Вместе с проверкой билетов второй раз проверяли документы, и Шиловский вышел в холодный тамбур.

Наружная вагонная дверь была открыта, на соседних путях стояли пустые полувагоны-телятники. Раздался буферный грохот и лягз. Составом, видимо, маневрировали. На место порожняка, шипя паровозом, уже накатывался новый состав. Шиловский насчитал десять теплушек. Над каждой из них подымался дымок, несколько вагонов были оборудованы под конюшни. Поезд не остановился, он лишь замедлил ход: составы с войсками ОГПУ пропускались на север без очереди.

Пожилой даниловский железнодорожник, махая грязно-желтым флажком, остановился неподалеку. К нему с другой стороны станции подошел высокий военный в шинели и финской шапке с еле заметной звездочкой. Черные, словно от ваксы, усы военного привлекли почему-то взгляд Шиловского. Военный повернулся к Шиловскому в профиль, и Арсентий узнал в нем Петьку Гирина. Или это не он?

Шиловский хотел окликнуть Петьку, но одумался и проглотил окрик. Он прикрыл дверь, оставив для наблюдения достаточно широкую щель.

Сомнений не стало. На перроне стоял Гирин. Только усы у него были не соломенно-белые, а густо-черные, даже с отливом. «Чем это он покрасился? — подумал Шиловский.— Так... Так-так, Петр Николаевич». Неудержимое желание окликнуть Гирина опять завладело Шиловским, но он вновь подавил его. Поезд наконец тронулся. Вагон прошел в полутора метрах от Гирина и железнодорожника, Шиловский услышал даже гиринский голос. Петька громко доказывал что-то, тыча пальцем то в одну, то в другую сторону. Шиловский прихлопнул дверь. «Скрывается,— с волнением подумал он.— Наверняка под чужой фамилией. Так-так...» Он пока не знал, что означало это «так-так». Но в нем уже зрело какое-то определенное и точное решение.

В Вологде поезд тоже стоял дольше обычного. Шиловский остался один в купе, взял из чемодана листок почтовой бумаги и начал писать карандашом без помарок и не спеша:

«Довожу до сведения, что уроженец д. Шибанихи Ольховской волости Вологодской губернии Петр Николаевич Гирин сего числа был встречен мною, Шиловским А., на ст. Данилов СЖД в форме войск ОГПУ. Ранее гр. Гирин был уволен из канцелярии ЦИК с должности

курьера и выехал из Москвы. По всей вероятности, т. Гири́н скрывается от органов... К сему...»

Шиловский расписался. Затем он переправил «т.» у фамилии Гири́н на «гр.» и хотел поставить число, как вдруг его осенила новая мысль: откуда тебе знать, что он скрывается? Может, его выслали из Москвы специально... Нет, нельзя торопиться. Не стоит... Бумага пусть полежит, время есть. И Шиловский сунул донос на дно чемодана, где лежал его номерной маузер, бритвенный прибор и смена теплого байкового белья.

Никаких иных бумаг или документов, кроме удостоверения и одного маленького предписания, у Шилового не имелось. Все инструкции получены были в устной и только в устной форме! Надо было явиться в краевое ОГПУ лично к товарищу Аустрину и объяснить, что прибыл для выполнения особых заданий. Никто из работников ОГПУ, кроме Аустрина, не должен был знать, о каких заданиях шла речь. Когда в Москве Шиловский спросил, надолго ли его посылают, тот, кто выдавал устную инструкцию, полушутливо сказал: «Пока пароходы на Соловки не двинутся». Служба в органах была действительно особая служба. Старшие тут почти всегда были с тобой на «ты», могли в любую минуту шутливо обматерить или похлопать по мокрому от холодного пота хребту. Никогда ничего не узнаешь толком. Начальник энергично пожал Шиловому руку и сказал вроде уже всерьез: «Не задерживайся. Но если на месте не подготовишь себе замену, о Москве не мечтай. Жена будет в курсе».

Легко сказать — «подготовить замену!» Шиловский думал, прикидывал, с чего начать и чем кончить. В голову ничего путного не приходило...

Поезд опоздал чуть ли не на двое суток. Хорошо еще, что пришел он засветло. На другой берег Двины Шиловский добрался без приключений. Город, однако же, сразу ему не задался. Во-первых, стоял какой-то промозглый собачий холод, хотя температура была едва-едва пониже нуля. Во-вторых, ни одной порядочной улицы, какие-то деревянные, иногда совсем косые дома. Народу мало. Шиловский остановился на перекрестке. Ветер шелестел обрывками афиш на деревянном заборе. «Гастроли Мюзик-холл!» — прочитал Шиловский.

Более мелким шрифтом перечислялись участники этого «мюзика»:

«Известный трансформатор
Валентин Кавецкий
Артисты Ленэстрады сатирики
Неклюдова и Муравский
Партерные акробаты
Ругби
Салонный жонглер-чечеточник
Жерве
Исполнитель оригинальных песен современности
П. Д. Бауэр
Оркестр под управлением
А. С. Литвяк».

По другим объявлениям выяснилось, что в кинотеатре «Революция» идет новая научно-игровая фильма «Гоноррея». Кинотеатр «Арс» приглашал посмотреть фильму «Радиолев» и американскую фильму «Сады Семирамиды». Четвертая фильма, которая шла в Архангельске, была «Трубка коммунара» по Эренбургу. «Надо сходить на досуге», — решил приезжий, но тут же чуть ли не вслух выругался: афиши оказались еще сентябрьской поры.

В центре города рабочие разбирали обширный церковный собор, перестраивали его во что-то иное. Шиловский не стал спрашивать, что тут будет. Рядом, около, как выяснилось, бывшего губернаторского до-

ма, стояли настоящие аэросани, окруженные двумя десятками любопытных мальчишек.

Все люди, даже совслужащие, ходили в валенках. Пахло торфяным дымом.

Устроившись в гостинице, Шиловский составил себе мысленный план действий: сходить в баню, подшить свежий подворотничок. Потом хорошо поспать с дороги и только после этого, утром, идти в управление. Если командировка пойдет нормально, он завтра же начнет просмотр дел, заведенных на заключенных здешней тюрьмы, отберет пять-шесть подходящих кандидатур, посоветуется с товарищами. После чего можно было бы начать приглядку и постепенное обучение.

III

Владимир Сергеевич Прозоров испытывал смутное ощущение нравственного обновления. Не желая вникать в подробности внутренних перемен, испытывая непреодолимое, почти физическое отвращение к самоанализу, он радовался новому состоянию. Когда вспоминалось ольховское сидение летом 1928 года, ему становилось стыдно...

Но что же переменялось? Что произошло за полтора этих года? Казалось, что ничего, кроме плохого. И тем не менее он чувствовал странное душевное облегчение.

За пределы родного уезда его выслали без суда и несколько месяцев содержали в Архангельске. Затем он физически трудился на лесных разработках и дослужился до звания «советского десятника», построил в дальнем лесопункте подвесную дорогу и, уже как специалист, был отозван обратно в Архангельск.

Звание административно высланного не очень и тяготило. Прозоров занимал довольно серьезную, требующую инженерских познаний должность. Реконструирование лесозаводов и убыстряющиеся темпы лесопиления заслонили все на свете, вплоть до классовых и религиозных признаков — святая святых новой власти. Ведь еще Ленин требовал от русского Севера полмиллиона ежегодных валютных рублей...

Владимиру Сергеевичу было разрешено жить на частной квартире. Домик с подполом стоял на болотных сваях, был обшит закройной доской, покрашен и огорожен спереди палисадом. Пожилая хозяйка Платонида Артемьевна была бездетной вдовой погибшего на Новой Земле промысловика. Жила она в одной половине вместе с золовкой, другую часть дома занимал Прозоров. Стена была капитальная, но вход в прозоровскую половину имелся только один, через хозяйскую кухню, где стояла большая русская печь. Дверь в кухню никогда не закрывалась. Два зеленых, с лоснящимися листьями фикуса, два сундука и два комода, три кровати и гнутые венские стулья, два киота и две этажерки заполняли все домовое пространство. На тесаных неоклеенных простенках красовалась пара норвежских гравюр, изображавших корабль у входа в фиорд и лесную хижину под скалой. На окнах стояли горшки с геранями.

У той и у другой старушки имелось по старой муфте из черно-бурой лисы. Обе муфты висели в шкапу на шнурах и вынимались по воскресеньям. После хождения в церковь старушки ставили граммофон, чтобы слушать голос Плевичкой. Ранним утром они топили русскую печь, вечером — облицованную изразцами голландку. Даже в будни пекли овсяные блины, но особенно нравились Прозорову картофельные рогоульки. Каждую свободную минуту обе хозяйки весело подхватывали кувчеры и немедля усаживались где посветлее. Прозоров быстро привык к сухому характерному цокоту коклюшек. Почти родными и очень понятными казались ему и розовеющие в сумерках резные окошки, когда возвращался с работы. И эти герани, и эти ситцевые занавесочки, над которыми издевались клубные синезвонки, вызывали в нем совершенно иное, просветленное чувство.

— А что, право слово, Владимир да Сергиевиць, мы бы тебе кряду и невесту нашли, было бы от тебя говорено согласное слово! Как тут и было бы.

Напевная поморская речь Платонида переплеталась с бряканьем коклюшек, перемежалась иной раз и старинным, похожим на киевскую былинку, протяжным речитативом. Платонида плела косынки черными нитками, золовка ее, Мария, любила плести белые...

Прозоров при разговорах о женитьбе отшучивался или отмалчивался, но старушки были настойчивы:

— Сегодня всю утрону кошченка на окне умывалась, да все одной правой лапкой. Я умом-то и думаю: к чему бы она прихорашивает сама себя? Маша, говорю, ну-ко давай ведра-ти! Надобно по воду бежать, самовар ставить, кошка понапрасну умываться не будет. Так и есть. Божатушка из Бакариц весь день плыла. Чаю напилась да и говорит: уж я бы болярина твою так бы ублаготворила, век бы за меня бога благодарил! Уж я бы Сергиевиця к месту прихитила...

Прозоров ухмылялся. В доме периодически появлялись то «божатушка из Бакариц», то «крестная из Соломбалы», каждая с трогательной наивностью пеклась о его холостой судьбе... Однажды Платонида позвала его к воскресному самовару.

— Владимир Сергиевиць, не знаешь ли, пошто у нас с Машей суствы-ти к погоде тоскуют? Ты бы поискал доктора понадежнее! Только чтобы со светлой-то трубоцькой.

Маше было шестьдесят, Платониде больше того, но Прозоров посулил. Уже образовались кое-какие знакомства.

Преображенский Алексей Андреевич — увы! — вообще не имел стетоскопа, ни деревянного, ни металлического. Но, лишенный даже политического доверия, он не боялся заниматься практической медициной. Люди знали и уважали его. Земля и впрямь наполнилась слухами. Преображенский еще в прошлом году вылечил у Прозорова какой-то «обменный дефицит», спас от цинги. Жил доктор в бараке, а в остальном его общественное положение ничем не отличалось от прозоровского, отчего они хорошо понимали друг друга.

Летом и осенью Преображенский носил серый прорезиненный макинтош, который шумел на всю набережную. Зимой доктора согрела малица, подаренная ненцами в Нарьян-Маре. Крупная фигура стриженного ежиком Преображенского, несмотря ни на какие невзгоды, не теряла осанки. Походка была по-прежнему «докторской» — неторопливой и сдержанной. При всех обстоятельствах Алексей Андреевич ежедневно брился, седеющие усы были всегда тщательно и ровно подстрижены.

Ко дню докторского прихода поморки добела начистили самовар. После медицинского осмотра и рекомендательных разговоров доктор взошел на прозоровскую половину.

— Нуте-с, Алексей Андреевич, каковы мои патронессы? — вполголоса спросил Прозоров.

— Не беспокойтесь за них, Владимир Сергеевич. Сердце у той и у другой, как у семнадцатилетней гимназистки. Надеюсь, переживут даже советскую власть. А... что это вы ерзаете как на шильях?

Прозоров покраснел.

— Ну, если вы способны еще и краснеть, то тем более! Позвольте быть до конца откровенным. Да, я не люблю эту власть. А за что же ее, скажите, любить? Хотелось бы знать ваше просвещенное мнение.

— Когда нет выбора, вопрос любить или не любить отпадает..:

— Позвольте не согласиться,— твердо сказал Преображенский и отвернулся. В профиль его лицо было еще интереснее.— Выбор, насколько мне известно, у русских интеллигентов был. Мы предпочли то, что есть к данному времени. И, что всего примечательней, не желаем признать ошибку...

В тот вечер Платонида принесла самовар на прозоровскую поло-

вину. Владимир Сергеевич до полуночи просидел с доктором. Резкость, откровенность и новизна докторских рассуждений поначалу пугали. Но чем чаще приходил Преображенский, чем больше они говорили, тем раскованней чувствовал себя с этим человеком Прозоров. Доктор преображал всех, с кем общался, он как бы оправдывал собственную фамилию...

— Посмотрите, сколько такта у этих женщин! — говорил он во время их последней встречи. — Ради нас с вами они даже кошку из дома выпроваживают. А вот Кедров Михаил Сергеевич, этот потомственный дворянин, будучи в Архангельске, не различал дамских и мужских уборных...

— Вы его знали? — удивился Прозоров.

— О, еще как! — Преображенский пил чай с блюдца, по-старомодному, щипцами, мельчил сахар. — Весьма примечательная личность.

Прозоров также знал Кедрова: во-первых, видел его в штабе VI армии, во-вторых, Кедров был женат на Ольге Августовне Дидрикуль — дочери лесника-управляющего. (Август Иванович Дидрикуль много лет служил потомкам Суворова, кои владели лесной дачей в прозоровском уезде.) Об этом Прозоров и рассказал собеседнику. Тот в свою очередь тоже удивился:

— Значит, Раиса Майзель — это вторая жена Кедрова? Вот оно что! Партийный псевдоним у нее Пластинина... Город Архангельск весьма и весьма близко знает этого палача в юбке.

Прозоров в изумлении отставил чашку, и тотчас доктор сказал:

— Не удивляйтесь, дорогой Владимир Сергеевич. Мне рассказывали, что Пластинина стреляла в тифозных больных. А ее муженек развлекался тем, что прививал тиф выздоравливающим раненым. Медицинское образование он получил в Лозанне... Гордится знакомством с Горьким, играл Бетховена Ленину. Какая широта интересов, не правда ли? Впрочем, всем инструментам музыки он предпочитает, по-видимому, маузер. Не знаете ли, в какой сфере он сейчас подвизается? Дражайшая его половина, по слухам, снова в Архангельске. Заклинаю вас, берегитесь ее! Ей не ведомо сострадание, это воплощенная ведьма. Я напугал вас? Прошу прощения...

— Нет-нет, что вы, — очнулся Прозоров. — Не спешите, прошу вас. Можете переночевать.

Но Преображенский уже надевал свой макинтош. Послышался шум от этого надевания, перемежаемый хлопотами гостеприимных старушек. Они снабжали доктора паренной в печке брусничкой, на все лады приглашали заходить еще.

Доктор Преображенский не чинясь взял берестяной буртасок с ягодами. Прощаясь, пообещал зайти в ближайшую субботу. Он горделиво, с достоинством сошел с резного крыльца в крошечную тьму ветреной северной ночи.

...То было осенью, а сейчас стояла зима, и в камере, где сидел Прозоров, пахло гнилыми портянками. В нарах и стенных щелях кишмя кишели клопы всевозможных возрастов и калибров. То, что эти кровожадные твари были разных калибров, можно было увидеть только днем, сейчас же, в темноте, они все представлялись одинаковыми, отвратительно воняли и безжалостно впивались в кожу.

Это из-за них Владимир Сергеевич не спал по ночам. Казалось, что соседей в камере клопы не касались, все шестеро спали, как дома, двое-трое с выразительным храпом. Который час? Странно, что такая действительность не вызывала в Прозорове ни озлобления, ни возмущения. Арест и нелепое обвинение во вредительских связях с шахтинскими спецами вызывали в нем лишь ироническую улыбку. Интерес следователя к доктору Преображенскому был побочным, не главным, и Прозоров не очень тревожился за собственную судьбу. Он не ощущал за собой вины.

И все же случившееся представлялось вполне логичным. Было бы странно, если б все было не так. Непонятно, пожалуй, другое — то, что именно в таких idiotских условиях и именно сейчас впервые за много лет он, Прозоров, ощутил душевное равновесие. Чем это было вызвано? Может быть, той ясностью, что пришла после знакомства с Преображенским? «Преображенский и мое преобразование,— опять подумалось Прозорову.— Да, фамилии что-то значат. Все Введенские, Вознесенские, Преображенские происходят от неизвестных сельских и городских приходов».

Владимир Сергеевич вспомнил сейчас и многозначущую реплику старого нормировщика, тоже из административно высланных, какого-то бывшего управляющего: «У вас, Владимир Сергеевич, очень удачная фамилия. Я бы на вашем месте тут не сидел. Эх!» «А что?» — недоумевал Прозоров. «Что? А вот что... Ну-ка возьмите да распишите». Удивленный Прозоров расписался на газетном клочке. Счетовод взял карандаш и подставил к четвертой букве палочку. И, оглянувшись, молча вышел из бревенчатой будки, где происходила вся эта сцена. Прозоров сразу все понял. Да, достаточно одной этой палочки, чтобы уехать куда-нибудь за тысячу верст, быть на свободе и жить нормально! Но это значило стать не Прозоровым, а Проворовым... Отречься от самого себя, от всех своих предков, безмолвно взирающих из глубины российской истории на него, Владимира Прозорова, и на все, что происходило в стране?.. Нет, жизнь под чужим именем представлялась ему отвратительной и потому никому не нужной.

После разговора о Кедрове Преображенский несколько раз посещал Платошу да Машу, как называли старух соседи.

Прозоров каждый раз удивлялся необычной ясности докторских суждений. Он пытался спорить с ним, когда речь зашла о Петре, потом пробовал защищать декабристов, но у доктора имелось множество фактов, которых Прозоров либо не знал, либо по каким-то причинам не считал важными. Он не мог с ходу все это осмыслить и поверить рассказчику.

— Почему победили большевики? — сердился Преображенский, хотя Прозоров не противоречил ему в такие минуты.— Отнюдь, государь мой, не потому, что с помощью классической демагогии обманули мужиков и солдат, то есть пообещали народу золотые горы. Все было намного проще: англичане не прислали Колчаку обещанные патроны. Солдатам нечем было стрелять... Англичанам же в ту пору красные были нужнее белых.

— Позвольте, позвольте! — Прозоров не успевал за мыслью доктора.— А интервенты? А захват Архангельска теми же англичанами?

— Противоречие чисто внешнее! Кровь пускают друг другу простые люди. Но вдохновители революций и вдохновители контрреволюций если и сидят в окопах, то в очень глубоких. Они, эти люди, совсем иной породы. Если, конечно, люди, а не дьяволы. Да, да! Государь мой, они превосходно понимают друг друга! Мировому злу абсолютно все равно, каким флагом потчевать обманутых. Ну скажите, существует ли разница между белым Мудьюгом и красными Соловками? И если существует, то в чем? Впрочем, вы не видели ни то, ни другое. И не дай вам бог увидеть...

— Но государство все равно существует,—сопротивлялся Прозоров.— Независимо от цвета знамен...

— Я врач! Я должен лечить людей, но вынужден пилить на бирже дрова. Вот и скажите, выгодно ли сие государству? С теми, кто сейчас правит, Россия стоит на пути самоуничтожения. Посему у меня с ними разные группы крови. Знаете ли, что происходит, если больному перелить чужую кровь? Организм отторгает ее, и человек погибает.

— Значит, вы все-таки признаете классовую борьбу?

— О нет, государь мой, эта борьба отнюдь не классовая. Скорее

национальная, а может, и религиозная. Нас разделяют и властвуют... И всех, всех, кто знает об этом, поверьте мне, опять будут расстреливать! Как десять лет назад, знающих просто сотрут с лица земли! Помните мое слово и... держитесь от меня подальше, дорогой Владимир Сергеевич. Прокказа правды... Уверяю вас, это вполне опасно.

Прозоров не верил таким слишком мрачным пророчествам, великодушно молчал. Но вскоре доктор исчез, не показываясь с ноября, а в декабре старухи узнали, что он арестован. Прозоров не сразу ощутил последовательность и логическую завершенность событий. Арест доктора со всей ясностью обозначил и его собственный путь...

На службе он высказал однажды опасение по поводу закладки зимних фундаментов. В ответ ему отказали сначала в профессиональном, а вскоре и в политическом доверии. Следовательно всерьез уверял Прозорова в том, что он, Прозоров, вредный специалист, и с упорством рассерженного быка добивался сведений, подтверждающих связь Владимира Сергеевича с шахтинскими спецами. Прозоров лишь улыбался да разводил руками...

Смешно ему было и при аресте: все представлялось как бы детской игрой или балаганным трюком. Ощущение дурацкой неестественности подкреплялось не только несерьезностью следствия, но и тюремными порядками. Двери в камеру не запирались. Тюрьма была временная, не настоящая, приспособленная на скорую руку. Арестованные свободно выходили в коридор, заглядывали в соседнюю камеру, играли в карты. Нелепость и несуразица чувствовались и в еде (кормили почему-то одной свежей треской) и в домашних разговорах с «часовым», как называли красноармейца-охранника.

— Мы кушаем рыбу, клопы кушают нас. Часовой! Где р-революционный порядок?

Это портовый вор по имени Вадик фамильярничал с красноармейцами, которые приносили пищу.

Действительно, где? Да, несерьезность, и какая-то странная никчемность, и одновременно вызванная из ничего и ничего не обещающая деловитость царили вокруг.

И все же Прозоров был спокоен и не мог надивиться. Если раньше, в ту ольховскую пору, он ощущал собственную никчемность, свою личную внутреннюю нелепость, связанную с неверием в бессмертие души, то нынче, после всего, что видел и слышал, он ощутил нелепость внешнюю. Никчемность событий стала для него очевидной. Она чувствовалась даже в сочетании тех, кто содержался в тюрьме. Напрасно искал Прозоров хоть какой-то порядок и смысл в этих камерных грушах, не объединенных ничем, кроме трехлинейной винтовки добродушного, страдающего от насморка часового. Что может быть общего между... ну хотя бы этим часовым и его командиром, маленьким человеком с выпуклыми стекляшками коричневых глаз? Командир, одетый в кожаное полупальто, отпустил зачем-то буденновские усы и говорил, вернее покрикивал, примерно так: «Не торопитесь спешить!» — или: «Заведывающий, кто здесь заведывающий?» Впрочем, марьяжное сочетание часового и усатого командира имело, кажется, вполне определенное объяснение, точно так же существовала логическая связь между вдохновителями террора и исполнителями террора. Итак — террор. По-русски слово означало ужас. Прозоров, с детства картавивший, еще в гимназии терпеть не мог этого слова. Но против кого террор?

Тут-то и начинался полный абсурд, нелепость, нечто неподвластное человеческой логике. Жертвой новой власти оказался странный, совершенно абсурдный конгломерат личностей, не укладывающийся в нормальное сознание. Абсурд начинался уже с того, что в камере имелись и подследственные и уже осужденные. Одни ждали суда (какого еще суда?), другие ждали прихода весны и первого парохода на Соловки. То есть сочетание опять же было абсурдным...

Допустим, что он, Прозоров, бывший дворянин (как, впрочем, и бывший революционер), действительно опасен властям (хотя ничего, кроме пользы, он не делал для них). Допустим. Но чем же опасен для них Акиха, этот крестьянский парень из-под Шенкурска? Или добродушный ненец Тришка, арестованный за то, что, укрываясь от переписи, угнал стадо оленей в коми-пермяцкие земли? Нелепостью было и то, что двое блатных, поджидающих пароход на Соловки, пользовались у власти каким-то поощряющим подбадриванием, какой-то цинично-веселой поддержкой. Оба носили джимы — широконосые хромовые сапоги. Блатным позволялось иметь даже собственные бритвенные приборы. (Остальных каждую субботу под конвоем водили в баню и парикмахерскую.)

Вор по имени Вадик имел, вероятно, еще особую воровскую кличку, но его коренастый друг, известный в блатном мире под кличкой Буня, называл Вадика только Вадиком. Голова Вадика была красиво подстрижена, но шея, почти мальчишеская, вызывала жалость к этому, как выяснилось, коварному и подлому существу. Кожа у Вадика была белая, северная, но брови чернели и глаза мерцали по-южному томно. Вадик беспрестанно что-нибудь напевал, не расставаясь он и с кирпичным обломком, о который то и дело тер большой палец правой руки, пытаясь навсегда избавиться от дактилоскопических просков.

Если Вадик напоминал комплекцией подростка, то Буня, несмотря на средний рост, походил на циркового борца. Кожа на его щеках была серая, в синих точках угрей. Сломанный в драке нос постоянно посвистывал, а глаза, спрятанные довольно глубоко, не имели выражения и цвета. На шее Буни днем и ночью красовалось розовое шелковое кашне с поперечными белыми полосами. Оба носили еще тельняшки. Болезненное стремление воров к чистоте выглядело довольно комично.

В то утро после завтрака они мирно готовились колоть татуировку на мощном белоснежном плече шенкурского Акихи. Макая спичку в тушь и намечая рисунок — парень пожелал девичий профиль, — Буня тихо приятным воркующим баритоном напевал:

Разве тебе, Мурка, плохо было с нами,
Разве не хватало барахла?

У них имелся даже пузырек с тушью. Вадик связал нитью три иглы. Примерно в одном миллиметре от игольных кончиков он намотал ограничительное кольцо, макнул в тушь и начал колоть.

Акиха весь напрягся, вздрогнул было, но терпеливо замолк.

— Сиди и не дергайся! — приказал Буня. — Ты как сюда попал?

— Да у нас там тюрьма-то больно маленькая. Ина баня просторнее.

— Я не об этом... За что?

— На троицу драка спыхнула, — говорил Акиха, стойчески перемогая боль от уколов. — С робетешек-соплюнов все и зачалось-то, один пристал за этого, тот за другого.

Ты зашухерила всю малину нашу...

— Ну и ты за кого? — допытывался Буня, прерывая пение. Вор подмигнул Прозорову.

— Я-то? — с готовностью отозвался Акиха. — А я уж и не помню с кем, там сшибка пошла...

— Так-с. Сшибка, значит? — Буня опять подмигнул, но Прозоров задремал. В светлое время клопы меньше свирепствовали.

Кажется, Владимир Сергеевич спал, но спал так, что слышал, что творится в камере. Слышал он одно, а видел совсем иное, причем с еще большей четкостью. Отрадней, многоцветней образ теплой лесной поляны раскрылся вдруг так широко, так объемно, так осязаемо,

что сердце во сне сладко замерло. Зеленая первая березовая листва, зеленый щавель в траве, зной, а на луговой тропке в сенокосной рубашке стоит шибановская девица Тоня, стоит и все трогает на затылке косу, словно после речного купания. Волнение и радость охватили Прозорова, он очнулся, сопротивляясь реальности...

— Все! — сказал Вадик. — Хватит на первый раз. Надевай рубаху, гуляй. — Он откинул голову, полюбовался своей работой и громко запел:

Гуляй, моя детка,
Гуляй, моя детка,
Пока я на воле, я твоей...

Буня подхватил баритоном, и в камере зазвучало довольно стройно:

Тюрьма нас разлучит,
Тюрьма нас разлучит
Высокой кирпичной стеной.

Довольный Акиха натягивал рубаху на богатырские свои плечи.

— Ну? Кто следующий? Господин нэпман, налетай! — Вадик обернулся к венцу. — Тришка! Ты птицу хотел, так?

— Я не птица хотела, — сказал Тришка, сидевший калачом ноги. Он отодвинулся на нарах подальше. — Хотела солнушко, сичас не хόцю...

— Хόцю, не хόцю, — добродушно передразнил Буня. Вор достал откуда-то круглое зеркальце и начал старательно выдавливать угри.

Прозорову чуть не до слез жалко было исчезнувшего, такого почти осязаемого сна. Он уже и раньше наблюдал за созданием фресок на живом человеческом теле, хотел снова забыться, вернуть сон и мельком взглянул на Сидорова — пятого своего соседа по нарам. Сидоров, «поселенный» вчера, почему-то не имел никаких вещей, кроме матраса и байкового, почти нового полупальто, вызвавшего знаменательный интерес Вадика. Сидоров, лежа на матрасе и положив этот пиджак под голову, молчал, делал вид, что тоже хочет уснуть. Но спать ему явно не хотелось. Прозоров пытался заговорить с ним, но получилось как-то нескладно, пришлось замолчать. Да и зачем ему очередное явно ненужное знакомство? С появлением Сидорова, от которого пахло одеколоном, ощущение сплошных странностей, нелепостей и бессмыслицы только усилилось.

Впрочем, день, начавшийся татуировкой шенкурского Акихи, скрасился недурным обедом и колкой дров на морозном дворе. Под вечер Прозорову вновь повезло: он получил из соседней камеры окружную вологодскую газету «Красный Север». Газета была не свежая, неизвестно каким способом попавшая в Архангельск. Однако ж масляные пятна, оставшиеся от скромного пирога, не мешали чтению. «№ 258, 7 ноября, четверг, — прочитал Владимир Сергеевич. — „Решающая схватка“».

Так называлась передовая статья, посвященная двенадцатой годовщине революции. Всю третью и четвертую страницы занимала статья Сталина «Год великого перелома». Прозоров углубился в нее. Мощная, свисавшая с потолка электрическая лампа давала достаточно света, клопы и воры вели себя покамест спокойно. Прозоров читал и вдруг удивился тому, что не верит ни единому слову: «Можно с уверенностью сказать, что благодаря росту колхозно-совхозного движения мы окончательно выходим или уже вышли из хлебного кризиса. И если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет основания сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире».

Прозоров отдал газету по-детски любопытному Тришке, лег на спину и закрыл глаза.

Что за чушь! Опять все выглядело шиворот-навыворот. Во-первых, страна уже была самой хлебной. Во-вторых, именно коллективи-

зация оставит, уже оставляет страну без хлеба, в этом для него не было никаких сомнений. Что это? Вероятно, он, Прозоров, является свидетелем и даже участником грандиозной мистификации. Да, да, он был статистом необъятного по масштабам спектакля, проводимого на просторах России, среди развалин еще совсем недавно великого государства. Но кто дирижирует всей этой свистопляской? Кто покорила страну? И самое главное, надолго ли? Неужто опять, неужто новое иго? «Внемли себе!» — вспомнил он слова доктора Преображенского.

В эту минуту в камеру ввели высокого, обросшего русой бородой мужика. Не выцветший пятиугольник от недавно снятой звезды был очень заметен на матерчатой красноармейской фуражке. На ногах сапоги явно не по сезону, видать, арестовали задолго до холодов.

— Буня! — послышался веселый глас часового.— Прими пополнение.

Буня не отозвался. Он продолжал сосредоточенно разбирать карты, сбрасываемые Вадиком. Воры играли на четыре руки, с двумя несуществующими партнерами.

Мужик поздоровался, довольно уверенно оглядел компанию, потеснил Прозорова и Сидорова, сел, опустил к ногам самодельный чемоданчик, перетянутый кожаным, также красноармейским ремнем. «Я где-то видел его,— тотчас подумал Прозоров.— Но где?»

— Ты не Андрей Никитин будешь? Деревня Горка, если не ошибаюсь.

— Я и есть! — обрадовался Никитин.— А ты... Вы то есть... Владимир Сергиевич? Личность-то, вижу, знакомая! Вот ведь... где встреча-ча-то...

— Да, да...— Прозоров был рад земляку.— Встреча, конечно, не очень... Но все равно. Забыл, как у тебя отчество...

Тришка улыбался во всю свою широкую кирпично-красную физиономию.

— Цево не бывает... Все бывает.— Он тоже радовался, словно сам встретил знакомого.

Земляки проговорили далеко за полночь. В темноте, под Тришкин храп и носовой свист блатного Буни, Никитин рассказал, что был осужден на два года за потворство «чуждому алименту». Его двоюродному, Ивану, за сопротивление власти присудили еще больше — пять лет. Их разлучили уже в Вологде, и вот теперь Никитин чуть не матом ругал судьбу и следователя Скачкова. Громкий шепот то и дело переходил на хриплый приглушенный бас, обида перехватывала горло:

— Я это... два года в Красной Армии... Сам Тухачевский, бывало... выносил благодарность... А тут... За што про што? Ну братуха Микуленька коромыслом огрел. Дак ведь сам и признался... Эх... Владимир да Сергиевич... Душа задохнулась, не выдохнуть...

Прозоров не заметил, как стал засыпать.

Ночь промелькнула. Рано утром кто-то из арестованных, вставших по нужде, зажег свет. Но просыпались кто когда. Шенкурский парень Акиха сладко спал на правом боку, улыбка блуждала на его покрасневшем во время сна лице. Правая рука вытянулась над изголовьем, между пальцами и стенкой образовалось крохотное, в два-три миллиметра пространство. На стене перед этим пространством скопились в круг и замерли большие и маленькие клопы. Они дожидались того момента, когда средний палец Акихи коснется наконец штукатурки.

Прозоров подивился удивительной способности насекомых: видимо, они на расстоянии чуяли человеческую плоть. Но почему им обязательно нужна кровь? Ведь живут же они и тогда, когда сосать совсем нечего и некого.

Калачом ноги, обутые в узорчатые пимы, сидел ненец Трифон. Он широко улыбался Прозорову, и от этой улыбки, как всегда, приходило иное, раньше неведомое Прозорову, психологическое состояние. Прозоров словно бы сам становился этим улыбающимся самоедом.

— Что, Трифон Савельич, как ночевал?

— Холосо! Я холосо носювал, да ус осень тёпло! Несем дышать... Хосю Нарьян-Мар. Потом домой тундра хосю... Жонка хосю...

Проснулись воры. Вадик по-кошачьи спрыгнул на пол, начал делать гимнастику. В тельняшке, босой, в узких штанах, он был похож на клоуна. Выкрикивал между приседаниями:

— Часовой! Жену гражданину Тришке! Где часовой? Раз-два, раз-два.

Буня хмуро курил, сидя на нарах, как Тришка, калачом ноги. Шенкурский парень Акиха трогал и разглядывал свое разрисованное и припухшее плечо. Сидоров лежал, но не спал. Когда Андрюха Никитин пошел в уборную, Буня одним взглядом остановил Вадика.

— Угол! — буркнул он между двумя затяжками и еле заметно кивнул в сторону фанерного никитинского чемодана.

Вадик, играя бедрами, босиком прошелся по камере, остановился и присел возле чемодана на корточки. Он, вероятно, прикидывал, как открыть.

«У этих уже ликвидирована частная собственность», — подумалось Прозорову. В тот же момент в дверях показался Никитин. Он с недоумением посмотрел сначала на Вадика, уже открывавшего чемодан, затем на всех других по очереди.

— Ты што делаешь? — спросил Никитин, подходя к Вадику.

Тот притворился глухим и продолжал потрошить чемодан.

Пинком ноги Никитин хотел отбросить вора, но сапог только скользнул по плечу. Вадик по-кошачьи упруго успел отскочить в сторону, Никитин шагнул к нему. Вадик отскочил еще и сделал стойку, широко расставив полусогнутые ноги, так же широко раскинул и руки. Лезвие бритвы блеснуло в правой, левая, щеперя тонкие девичьи пальцы, делала плавные змеиные движения.

Прозоров встал. Буня, не двигаясь, даже не повернув головы в его сторону, вежливо произнес:

— Будешь бледным.

В тот же момент Вадик прыгнул к Никитину, головой сильно ударил его в нижнюю челюсть и опять отскочил. Все слышали, как клацнула челюсть. Мужик устоял на ногах, удивленно потрогал подбородок и... бросился на обидчика. Вадик стремительно развернулся, рука с лезвием мелькнула на уровне никитинских глаз, но Прозоров успел так схватить запястье и дернуть эту ставшую ненавистной полосатую руку. Вадик замер. Буня уже встал с нар и медленно подходил к Прозорову, когда дверь в камеру вдруг распахнулась. Усатый командирчик, сопровождаемый вооруженным красноармейцем, влетел на середину камеры. Он по-вороньи, на два приема, выкрикнул:

— Прекратить!

И начал по очереди подходить к каждому, по очереди каждого обмеривать взглядом коричневых глаз, по очереди перед каждым покашливать. Остановившись напротив блатных, сказал:

— Я не понимаю, э-э, как вас, Буня... В приличном обществе так не делают. Прошу бардак немедленно ликвидировать. Гражданин Прозоров! Кто Прозоров?

Прозоров не отозвался, зная о том, что командирчик давно знает, кто тут Прозоров.

— Вам разрешено свидание. Идите. Вас проводят.

С недоумением последовал Владимир Сергеевич за часовым, который провел его вниз по лестнице. Спустились то ли в караулку, то ли в какую-то кладовку.

Боже мой, со скамьи поднялась навстречу и всплеснула руками принаряженная Платоша! Прозоров, растроганный, легонько обнял старуху. От ее праздничного казачка веяло морозной улицей, попахивало и нафталином. Она батистовым платочком вытерла прослезившиеся глаза.

— Владимер да Сергиевиць, батюшко. Вот мы с золовушкай рогулек-то напекли и с заспой и с гущей. Да и картофельных, глядим, а помазать-то нечем! Она мне и говорит: «А ежели, Платоша, постным маслицем?» Нет, говорю, ну-ко на рынок сбегаю, может, найду цево поболожнее. Еле тебя нашла, начальства-то густо, а никто ницево не знает. А один до того обходительной, что на стул посадил. Я уселася, как мадама, и говорю: рогулецки зря напекла, хожу кабинетами. Дверей много, и все скрипают, тоже, видно, помазать-то нечем. Сердешные, так и визжат, так и плацют, двери-ти...

После короткой встречи с доброй старушкой Прозорова с рогульками, завернутыми в платок, обрадованного и ошарашенного, вывели на лестницу. Было чему подивиться и порадоваться: уходя, Платоша по-матерински перекрестила его. Но целостность окружающего, восстановленная этой неожиданной встречей, мгновенно разрушилась, святая белиберда вновь расщепила ум Прозорова. Что за чертовщина творилась в мире? В глубине нижнего коридора стоял и мирно, даже снисходительно беседовал с маленьким командирчиком... заключенный Сидоров. Командир вопреки всякой субординации подобострастно выслушивал Сидорова. «Телефон здесь, товарищ Шилковский!» — услышал Прозоров, когда поднимался по лестнице.

Часовой хлюпал носом и задевал о ступени прикладом. Шел он не сзади, как положено, а впереди, словно прокладывал Прозорову дорогу наверх. В камере было подозрительно тихо, подчеркнутое спокойствие воров не предвещало ничего хорошего.

К вечеру Андрея Никитина вызвали с вещами.

Исчез и Сидоров. Ночь еще больше оттенила дневные странности мира. Прозоров не спал, опасаясь нападения блатных; впрочем, клопы тоже не забывали своих обязанностей. Кажется, он начинал понимать, что происходит. И хотя он не знал еще, как ему жить в этом мире, сошедшем с ума, что делать среди абсурдных явлений, среди катавасии, лишенной всякого смысла, он знал уже, что узнает и это. Он вполне определенно ощущал в себе эту уверенность. Предчувствие душевного подъема понемногу овладевало Прозоровым, и, отбиваясь от камерных кровопийц, Владимир Сергеевич думал и думал. Ему казалось, что от него то и дело ускользает нечто главное. Ему так не хватало сейчас доктора Преображенского!

Время клубилось. Иногда оно отделялось от реального мира, но какая же это реальность? Реальностей не существовало. Был абсурд. И, как думал Прозоров, видимость иерархии в действиях новой власти только обманывала: логика там также отсутствовала. Иначе зачем же они уничтожают уже и сами себя?

Великая свистопляска, притихшая после гражданской войны, опять набирала разгон, она катилась по необъятной стране поперек и вдоль. Сама земля, очарованная зимой и дремлющая под родимыми снегами, может быть, и не чуяла новой беды. Только ведь как знать? Время то мелькало кровавым сполохом, то вдруг останавливалось и замирало. Земля, едва принявшая в свое лоно миллионы страдальцев, не готовилась ли опять к новым, таким необычным трудам? Сила разбуженной злобы в своем вихреобразном движении охватывала все новые пространства, опять втягивала в свою воронку массы ничего не подозревающих людей.

Россия гибла снова и снова.

Все вокруг мешалось, путалось и теряло образ. Может быть, так это и начиналось? Вначале когда-то он, этот образ мира, позволил втянуть себя в свое зеркальное изображение и был раздвоен. Расщепленный, он потерял свою жизнеспособность, отдал половину себя своему мертвому отражению. Зеркальные обратные образы, заплонившие мир, не были совсем-то уж мертвыми, они жили, правда жили за счет живого и цельного. Но живой и цельный образ мира при

этом дробился. И осколки его летали в хаосе, сверкая блесками неполных отрывочных истин.

«Внемли себе...» Но внимая себе, Прозоров вспоминал Бога и снова думал о Боге. «Господи, где ты? Не оставляй меня,— шептал он про себя,— научи молиться тебе, избавь от лени и страха. Страшна ли мне дорога страданий? О нет! Боюсь не ее. Страшней во сто крат торжество зла. Что оставлю я на земле, какими стезями, куда ступить мне среди земных страданий, под крики веселых безумцев?»

Свет на ночь выключала подстанция.

Под утро Владимир Сергеевич скорее почувал, чем услышал крадущегося к нему Вадика. Тот крался словно ночная змея, настолько тихо, что Прозоров ощутил его совсем в другом направлении. Пиджак с часами, лежавший слева у изголовья, пополз вдруг в сторону сладко посапывающего шенкурского парня. «Иди спать!» — сказал Прозоров и слегка стукнул Вадика по руке. Все затихло. «Я тебя напишу...» — по-домашнему спокойно пообещал Вадик и так же бесшумно убрался на свое привилегированное крайнее логово.

Тюремный опыт Владимира Сергеевича Прозорова был еще не настолько обширен, чтобы всерьез отнестись к словам Вадика. Еще не знал Прозоров, что члены воровского клана ничего никому не прощали, что отныне и навсегда, до тех пор, пока с ним не разделяются, он будет числиться в черных святцах. «Что значит «напишу»? — гадал Прозоров. В темноте Вадик и Буня вполголоса обменивались блажными непонятными репликами.

Ночь была на исходе, и воры вполголоса обсуждали свой план, но планы были не только у них и не они одни умели «писать и пописывать».

В тот самый момент, когда бластные окончательно наметили срок и меру наказания для фраера, член второй комиссии Яковлева секретарь Севкрайкома Сергей Адамович Бергавинов вздрогнул словно от удара электрическим током. Всю последнюю неделю секретарь спал не более трех часов в сутки. В конце января нового, 1930 года бюро крайкома заседало едва ли не ежедневно. Секретарь разучился дышать свежим воздухом. Шифровальщик особого отдела тоже редко выходил за пределы крайкомовского здания, ночевал и дневал в своей особо охраняемой комнате.

Шифровки шли одна за другой.

Бергавинов выудил тяжелую часовую кругляшку, на кожаном ремешке опускаемую из петлицы в нагрудный карман пиджака. Щелкнула крышка.

Была пятница, 31 января 1930 года, девять тридцать утра. До внеочередного закрытого заседания бюро оставалось всего полчаса. Ночь была позади, и Бергавинов почувствовал, что бодрость снова возвращается к нему.

За окном в тусклом холоде падал редкий снег. Или это иней? Архангельск давно притерпелся к зиме. Пока собирались члены бюро, секретарь-машинистка заварила свежего английского чаю, принесла добавочные стаканы. Она сообщила Сергею Адамовичу, что представители ОГПУ уже прибыли и что Конторин и Шацкий тоже сидят в кабинете Иоффе.

Для полного кворума не хватало Натальи Когиновой — заведующей отделом наробраза да Сергея Ивановича Комиссарова — председателя СевкрайКК РКИ. Но вот пришли и они. Бергавинов по голосам узнавал членов бюро. Он встал и навстречу всем раскрыл дверь кабинета. Члены бюро бодро и шумно прошли в кабинет, с привычной поспешностью разместились по обе стороны стола, накрытого голубой плотной материей.

Бергавинов не здороваясь тотчас открыл заседание. Он начал сообщением об успехах массовой коллективизации, с каждым часом

развертывающейся во всех районах обширнейшего Северного края. Он сравнивал кулаков, сопротивляющихся этому делу, с гоголевскими мертвыми душами. Начитанность секретаря не осталась незамеченной: язвительный ум бывшего моряка Семена Иоффе постоянно требовал тренировок. Иоффе обернулся к Шацкому и вполголоса, но весело и так, чтобы его услышали, спросил:

— А кто Чичиков?

Бергавинов отчетливо разобрал реплику, но не стал пререкаться, работа, по его мнению, предстояла долгая и ответственная.

— Товарищи,— вновь заговорил секретарь,— планом ОГПУ нам предложено в самые ближайшие дни принять семьдесят пять тысяч кулацких семей. Эшелоны с юга уже движутся. Это общим числом около трехсот пятидесяти тысяч. Вполне возможно, прибудет до полумиллиона... Вот основной вопрос, который нам необходимо разобрать в срочном порядке. Предлагаю высказываться...

Первым слово для информации взял Шийрон, командированный из Москвы представитель ОГПУ. Не вставая с места и глядя в бумаги, Шийрон покашлял и заговорил скрипучим подростковым голосом:

— На первых порах, товарищи, прибудет ориентировочно семьдесят тысяч. Предстоит серьезнейшая работа всей краевой партийной организации. Необходима мобилизация всех сил и средств. Ожидаются новые вылазки классового врага, поэтому требуется сугубая бдительность. Рекомендуется расселять кулаков в специальных поселках, не превышая сто двадцать семейств на каждый поселок. Помещения для переселенцев не должны превышать восьми семей в каждом и должны быть примитивно бревенчатыми или шалашного типа...

«Что это? — подумал Бергавинов.— Проект или решение?» Слабый, усыпляюще-монотонный голос Шийрона исчезал, отодвигался куда-то, но вот энергично заговорил Рудольф Аустрин, и Бергавинов опять полностью овладел собою. Конечно, пяти миллионов, выделенных на обустройство спецпоселков, не хватит, придется снова писать цидулину в Наркомфин.

— Мужчин требуется отделить от семей... Партиями от пятисот до тысячи отправлять в необжитые и тундровые районы. Оставшихся нетрудоспособных разместить в церквях и бывших монастырях...

Решение было заранее подработано. Разнарядка по округам согласована с местными товарищами. Но чтение проекта и единодушное голосование странным образом не коснулись секретаря. Он не запомнил, как расходились члены бюро, и лишь упоминание о первых восьми эшелонах, прибывших с юга, вернуло ощущение реальности.

Бергавинов встал, когда кабинет опустел. Телефонный звонок вернул его на прежнее место. Звон получился слабый, будто из под-земелья. Секретарь взял тяжелую, как кувалда, трубку. Докладывали о прибытии эшелона с войсками ОГПУ. В чем дело? Ведь войска давно приняты и размещены. Восемь эшелонов раскулаченных со Средней Волги также прибыли еще 27 января. Он, Бергавинов, телеграфировал об этом Сталину, Кагановичу и Молотову. Он просил разрешения ослабить террор. Какое сегодня число? Он помнит текст этой шифровки: «Мы будем строить для них бараки шалашного типа... Норма хлеба 250 граммов на человека. Они рвутся на работу в делянки. Рабочие Архангельска проявляют спокойствие и сочувствие к раскулаченным».

Копии своих шифровок путались с текстами телеграмм из Москвы. Так. Дальше. Шифровка Сталина о самоедах с Северного Урала. Ненцы бросились со стадами оленей в архангельскую тундру. «Эта запоздала,— гордо подумал Бергавинов.— Мы еще задолго до нее приняли меры! А когда принята шифровка о ликвидации кулака? Подписали Каганович и Молотов... Интересно, день или ночь сейчас на Дальнем Востоке?..»

В голове, где-то в затылочной части, возникла боль. Самым мучи-

тельным было то, что он никак не может вспомнить, какое сегодня число.

«...Брук отозван почему-то в Москву, и в краевой контрольной комиссии его заменил Турло,— размышлял Бергавинов.— Оба, и Турло и Шацкий, настаивают...»

Откинувшись на спинку высокого стула, секретарь спал. Да, он спал среди бела дня за своим широким столом, загроможденным бумагами, графином, двумя телефонами, чернильным прибором и чайными принадлежностями. Он спал, но его серые белорусские глаза, провалившиеся за эти дни, были открыты. И мозг его по инерции пытался продолжать свою нескончаемо утомительную, однотонно-бюрократическую работу: «...Настаивают... на чем? На том, чтобы дело Шумилова переслать в ЦК, а пред контрольной комиссии РКИ Комиссаров выступает против. Почему? И что за документы, о которых говорил Шацкий?..»

Шерстяной пиджак с привинченным к отвороту орденом Боевого Красного Знамени скользнул со спинки стула. Бергавинов дернулся и проснулся. Выпрямился на стуле. «Да, так что там за матерьял приехал из Устюга? И почему, собственно, Шацкий прет, как ледокол, против Шумилова? Ведь Шумилов член ЦИК, уполномоченный РКИ, давно покинул богоспасаемую Вологду. Кстати, в Вологде работает новая орггруппа ЦК... Кто такой Вилюмати, посланный дополнительно? Делают там что хотят — через голову крайкома и окружкома...»

Секретарь читал материалы, компрометирующие прошлое бывшего секретаря Вологодского губкома Ивана Шумилова. Обвинения были настолько серьезны, что вопрос опять же надо было выносить на бюро...

Так недавно была весна... В апреле он выступал на Шестнадцатой партконференции. Он, Сергей Бергавинов, заверил товарища Рыкова в том, что за счет лесозэкспорта любой ценой добьется к концу пятилетки двухсот пятидесяти миллионов валютных рублей в год. Ленин говорил об одной второй миллиарда. Что ж, если поднатужиться, можно и полмиллиарда. Это тоже реально. Он, Бергавинов, все свои силы вкладывал в выполнение лесовалютной задачи. Пожалуй, не очень-то кстати это новое раскулачивание! Впрочем, канитель началась раньше. Вологда и Коми область объявили войну Архангельску. Северодвинцы тоже не очень-то подчинялись крайкому. Это центробежные силы. Вологжан пришлось приструнить через Москву, их слушали на Секретариате ЦК. Многие полетели с работы. Но и после этого вологжанам нейдет... Работы хватало и до кампании по раскулачиванию. Но когда он жаловался? В тридцать лет жаловаться смешно, тем более убежденному большевику, герою гражданской войны...

За все эти годы Бергавинов ни разу не показывался на людях без ордена. Орден был главным богатством, единственной ценностью, смыслом и символом всей его тридцатилетней жизни.

«Молоды мы еще, так молоды»,— думал он, разбирая шифровки. Вступил в партию ранней весной семнадцатого, а в двадцать лет был уже комиссаром Орловского полка. Комиссия Дзержинского послала в самые жаркие места Украины. Партизанил в белом тылу. Однажды попался, был приговорен к расстрелу. Сумел убежать от пули. С какой скоростью летит пуля? Нет, это уже не молодость...

Каждая телеграмма требовала срочного, особого, чрезвычайного решения. «...убрать административно высланных отовсюду и всех, включая высших технических спецов, занятых на строительстве и реконструкции лесопильных заводов,— читал Бергавинов.— Разрешить использовать их только на тяжелых черных работах, хлебный паек и норму выдаваемых им продуктов уменьшить в два раза относительно других категорий работающих».

Слова «высших технических спецов» секретарь подчеркнул жирной красной чертой. Противоречие, заключенное в самой шифровке,

предоставляло Бергавинову право широкого толкования. Страстный поборник лесозэкспорта, он старался экономить инженерные кадры, что и повлияло, причем весьма сильно, на дальнейшую судьбу Прозорова. Владимир Сергеевич был в тот же день переведен в домзак, как называли старую, еще дореволюционную архангельскую тюрьму:

Когда Прозоров уходил из временки, Вадик сделал ему ручкой, а Буня сказал: «До свиданьца». Добродушие, прозвучавшее в воровском голосе, было принято Владимиром Сергеевичем за чистую монету.

Его выпустили из тюрьмы, и он тотчас забыл про блатных. Но ощущение нелепости и бессмысленности всего происходящего не покидало его. Он не знал, за что его выпустили, как не знал и того, за что его арестовали.

IV

Ощущение бессмысленности событий испытывали отнюдь не одни «бывшие». Приближение хаоса видели многие и в среде власть имущих, особенно рядовые и здравомыслящие, особенно на местах.

В партийных организациях Севкрая царила растерянность. Уже осенью 1929 года никто не знал, где право, где лево. С помощью доносов, сочиненных женами и клеветами таких деятелей, как Турло, была спровоцирована проверка деятельности Вологодского губкома орггруппой ЦК во главе с неким Седельниковым. И хотя руководство Вологодской губернии было наголову разгромлено, воложан в лице Стацевича все равно слушали на Секретариате ЦК. Было вынесено специальное постановление. После этого даже самые отпетые сорвиголовы очутились в числе правых. Они в недоумении разводили руками: за что? Подобно Николаю Бухарину они били себя в грудь и кричали в залы собраний и пленумов: «Я не правый!» Но что толковать о рядовых, если и сам Емельян Ярославский был вынужден публично, через печать, оправдываться перед какой-то ретивой дамочкой!

Северные партийные газеты шельмовали партийцев, занимающих самые высокие посты в Вологде и Архангельске. Печать призывала к расправе над мягкотелыми судьями и прокурорами, провоцировала движение рабселькоров-доносчиков, скрывающихся за псевдонимами вроде Свой или Зоркий. Пропечатанные в газете тотчас подвергались репрессиям, тюрьме и разному.

Уже и красный профессор Демидов (Долбилов), создавший колхоз-гигант в богатой Тигинской волости, был печатно обвинен в правом уклоне! Возмущенный, он сперва немного похорохорился, но вскоре начал публично отрекаться от «ошибочных» взглядов. Наговорил сам на себя, напридумывал собственных ошибок и уехал в Москву доучиваться. Уже не хватало бумаги на подобные самооговоры. Почта не успевала пересылать доносы и анонимки. Многие активисты, предупреждая будущие обвинения в правизне, панически и безжалостно губили друг друга.

Колхозы-гиганты, рожденные в воспаленных мозгах долбиловых, пеленались в бумажные полотнища отчетов, многословных постановлений и директив. Уже не кусты, а целые районы были объявлены зонами сплошной коллективизации. Первые пробы крестьянских погромов, бесшумные, словно грозовые вспышки, мелькали на зимних просторах древних новгородских владений. Никто не знал, что будет завтра и послезавтра. Уже мелькали в газетах сообщения о расстрелах... Плач зачинался по всей великой стране. Пожар народной беды поднимался на юге и, обойдя Москву, проник далеко на север, тогда же запыхало на Волге. Запахло гарью и по безбрежной Сибири...

С юга ползли и ползли эшелоны с лишенцами. Печальные гудки паровозов пытались заглушить многотысячные рыдания и крики мольбы, проклятья отчаявшихся и молитвы, детский плач и всплески уди-

вительных украинских мелодий. Безмолвная северная зима намного быстрее бежала навстречу этим бесконечным составам.

Один такой эшелон из числа направляемых в Архангельск, составленный из десятка вагонов, битком набитых украинскими лиценциями, вторые сутки продвигался на север. У пыхтящей «овечки» не хватало силенок тащить этот живой груз. Паровоз часто останавливался. То заправлялись водой, то в тендер загружали уголь, то вдруг прицепляли теперь уже одиннадцатый вагон с киргизами. Не доехав несколько километров до Брянска, поезд почему-то снова встал. Охрана, сколоченная на скорую руку из киевских комсомольцев, спала в своем специально выделенном «телятнике». Дежурный, стуча винтовкой, перетаптывался в конце состава на открытой кондукторской площадке. Обдуваемый на ходу слева и справа, старый кожух не спасал от холода. На остановках парень спрыгивал на землю и, недвольный железной тяжестью оружия, ругался с природой, бегал вдоль состава. В одну из таких пробежек он услышал крики и шум сразу в трех или четырех вагонах, начал стучаться в охранный вагон. Очнулся старший, разбудил первого попавшегося.

— А ну глянь, шо там таке,— приказал он, сонно глядя на молодого, ничем не вооруженного хлопца, тоже сонного и замерзшего.— Бистро, бистро!

Хлопец наконец пробудился и убежал выполнять приказание. Старший открыл дверцу железной печки. Угли давно потухли. Холод гулял по вагону. Вагон был такой же, как и все спецоборудованные, с такими же поперечными нарами, но с печкой. Горел фонарь «летучая мышь»... Кутаясь в шарф, намотанный поверх поднятого воротника, старший подошел к неприкрытым дверям и выглянул в ночь. Посланный уже бежал обратно:

— Товаришу командир! Там, у третьому вагони, дид помер, сусидка каже — тиф...

— Тише, ты! Сусидка... Ну! Лезь сюда, бистро...

— Тиф, товаришу начальник, треба ликаря.

— Молчать! Нет никакого тифа. Ясно? Буди Ярмуленку и растопи печь. Никаких тифов нет, понятно?

Последние слова старший произнес шипящим шепотом.

— Ясно, нема някого тифу... — Хлопец торопливо полез в вагон будить Ярмуленку.

Старший с наганом в руке спрыгнул на бровку. Ему подали второй фонарь. Ночь была не холодная, без ветра и без луны, почти светлая от лесного белого снега. А может, это рассветные сумерки? Старший шел от середины состава к паровозу, освещая фонарем вагонные запоры, закрученные для надежности проволокой. Он остановился у третьего вагона, который шумел, как потревоженный мышами пчелиный улей. Женский тихонький вой сочился в уши. Плакали дети. Мужские голоса иногда пресекали общий шум, но он нарастал снова. Старший кулаком постучал по обшивке.

— Тихо! А ну тихо, чертовы куркули! В Брянск приедем, там разберемся.

Но вагоны загудели еще сильнее. В это время «овечка» легонько гукнула, колеса ее с шумом сделали пробуксовку. Поезд тронулся с места. Старший погасил фонарь и побежал вдоль полотна навстречу вагону с охранниками. Поезд все-таки набирал скорость, и он поспешно схватился за железную скобу, запрыгнул в вагон.

Через час поезд вполз в развалы приземистых брянских пакгаузов.

— Подъем! Бистро, товарищи! — крикнул старший.

Но все «двенадцать апостолов», как называла себя киевская охрана, и без этой команды давно проснулись. Они были совсем юные, одетые кто во что, с торбами для еды, вооруженные всего тремя зажавленными винтовками времен Петлюры и батьки Махно. Когда

поезда перестал наконец греметь и дергаться, старший выстроил охрану для инструктажа:

— Ходить вдоль и не останавливаться, ходить и не останавливаться. Бистро по своим местам!

И с туго набитым портфелем побежал он на станцию искать милицмейскую комнату.

Военный в финской шапке и в долгополой шинели сидел в дежурке, которая насквозь провоняла табачной золой. Он крутил черные, явно крашенные усы и спорил о чем-то с приземистым человеком в тужурке и в галифе. Трое милиционеров, расположившись у круглой высокой железнодорожной печки, молчаливо палили сигарки. Все пятеро были вооружены, одни наганями, другие винтовками.

— Ну, братцы, вы и мастера дымить! — притворяясь веселым, сказал приземистый. — Хоть бы в коридор вышли.

Милиционеры неохотно погасили сигарки. В дежурку без стука вошли еще один милиционер и юркий человек с давно измочаленным, давно не скрипящим портфелем под мышкой.

— Вы с киевского? — обернулся приземистый к портфелю. — Очень хорошо! Вот, познакомьтесь. Товарищ Гирич сопровождает ваших, э... подопечных дальше на север. Сдадите ему состав и все документы.

Старший охраны с усмешкой поглядел прямо в черные усы Гирича и подал руку. Несоответствие черных усов и белых телячьих ресниц насторожило его.

— Прошу принять под расписку. Здесь списки всех куркулей и лишенцев... Портфель тоже казенный. Извиняюсь, не закрывается...

Черные, едва ли не буденновские по длине и пышности усы Гирича дернулись, как у кога. Военный не горопился хватать портфель со списками. Он опять обернулся к приземистому.

— Одиннадцать вагонов... Это сколько ж всего семейств?

— В среднем по тридцать—сорок семейств в вагоне, — буркнул киевский старший. — Всего четыреста девять семей, итого около тыщи двухсот человек.

— Почему около? — Черные усы снова дернулись.

— Грудных и молокососов в списках не значит.

— Н-да! Около тыщи... — вздохнул черноусый, опять оборачиваясь к приземистому. — Всей охраны вместе со мной только четверо. А ежели разбегутся на первом же перегоне? Под трибунал и вас и меня!

— Не разбегутся, товарищ Гирич. — Приземистый брянский встал. — Им бежать некуда. А ежели утикает кто, у нас на всех дорогах заслоны. Не будем, товарищи, терять золотое время! На подходе другие составы.

Все шестеро поспешно вышли на воздух. Киевский старший держал портфель под мышкой. Он вел их, пересекая пути, в ржавый тупик, где стоял состав. Паровоз давно отцепили. В вагонах глухо шумело, храпело, плакало и стонало. Киевляне, которым было приказано «ходить и не останавливаться», стояли по два человека с обеих сторон в каждом конце поезда. Один держал винтовку в левой руке. Другой таскивал ее со спины.

— У вас должны быть повагонные списки! — резко сказал Гирич киевлянину, когда прошли весь состав. — Где они?

Киевский старший, не растерявшись, так же резко ответил:

— Я, товарищ Гирич, принимал их не повагонно, а поголовно. Киргизов прицепили без моего согласия. За них я, к вашему сведению, не расписывался.

— Без точных списков эшелон не приму.

— Можете не принимать, ваше дело. Буду жаловаться, искать представителя ОГПУ!

— Так ведь мы с ним и есть эти самые представители,— примиряюще усмехнулся приземистый брянский.— Ну? Давай скручивай. Будем считать...

Подскочивший киевский парень подал винтовку старшему и долго не мог раскрутить проволоку, которой была замотана замочная накладка. Железный дверной полз был изогнут, дверь не двигалась. Изнутри помоги сдвинуть ее в сторону.

Узлы и сундуки едва не посыпались из проема, вагон был до крыши набит народом и человеческим скарбом. Тяжелый запах мочи, залежалых продуктов, отсыревших одежд, несмотря на холод, овеял пришельцев. Женщина, держа одной рукой и узел и плачущего, завернутого в одеяло ребенка, едва не вывалилась из вагона. Хватаясь за что попало, она кричала, звала какого-то Яким, и ее утанули в нутро. Крики и плач наполовину затихли.

— Ласкаво просимо! — сказал дюжий мужик, изнутри помогавший открывать двери. Он хотел прыгнуть, но киевлянин зычно вскричал:

— Молчать! Всем оставаться на своих местах!

Приземистый брянский с трудом забрался в вагон. Он боком пристроился у проема, двумя руками уцепившись за скобы. Узлы и наволочки, набитые сухарями, мукой, печеным хлебом, матрасы и одеяла, черенки заступов, обшитые мешковиной топоры с пилами — все было сбито в кучу вместе с людьми. Сверху из-под узлов высывались чьи-то обширные чеботы, из-за груды мешков и узлов слева и справа торчали живые руки и ноги. В одном углу вагона тихо скулило два или три женских голоса, в другом углу надрывно кашляли, в третьем, отдавая последние силы, плакал давно охрипший младенец.

— Больные есть? — крикнул приземистый брянский и утвердился у самого края на крохотном свободном пространстве.— Кто за старосту?

Он не слушал ответных криков, подал руку черноусому, а тот едва не сволок приземистого обратно на снег, но удержался за край двери и звонко спросил:

— Кто грамотный?

— Нема грамотных, товаришу начальник! Тобто ми вже стали дуже грамотни, аж до витру другу добу не ходемо!..

— Пересчитать можешь?

— А чого нас перелічувати, ми й так один одного знаємо.

— По фамилиям и количество взрослых членов семей! Бистро! Бистро! — кричал снизу киевский старший.

— Малодуб — шестеро, Степанець — сам дев'ятих, Литвиновы, Ратько, Пищуха, Митрук да Петренки два, Галина, скільки вас? Та чого нас личити? Сорок разив рахували, доки гнали до Києва...

Черноусый крикнул, подобрал полы шинели и прыгнул. Он, а за ним и приземистый и киевский старший зашагали ко второму, затем к третьему вагону... Смором и вонью из этих вагонов несло еще сильнее, но узлов и мешков почти что не было. На полу и на нарах, застланных немолоченым житом, вплотную лежали, сидели, стояли люди — многие были одеты совсем по-летнему. Одна девушка ехала босиком, пряча ноги в солому и в какие-то тряпки. Гирич с удивлением задержался около.

— Где обутка?

Она ничего не ответила. Она даже не повернулась к нему, но он заметил, что она что-то шептала. Кругом кричали:

— Та, пане начальнику, вона скажена. Як з хати погнали, так и мовчить. А де чоботы, не знаємо, ми шукали, нема чобит...

Открыли еще один вагон. Подражая приземистому, Гирич крикнул:

— Больные есть? Откуда?

— Мелитопольски...

Черноусый откинул сивую голову очоженевшего старика, над которым, тихо качаясь, сидела старуха, наглухо завязанная платком. Она сидела и тихо качалась. Она тоже не обращала на охрану никакого внимания.

— Совсем старый был дидок, — с притворной бодростью сказал старший из киевской охраны и взглядом обвел вагон. — Лет девяносто? Да?

Черноусый вернул голову старика в прежнее положение:

Передача эшелона проходила до полудня, часа три подряд. Свезли списки одних взрослых. За это время мелитопольцы сняли мертвого старика и положили на снег. Старуха не сопротивлялась, она и одна продолжала тихо качаться. На каждый вагон милиционеры принесли по две бадьи с кипятком. Параша, то есть такие же ведра, были опорожнены прямо на снег, двери снова закрутили проволокой. Сменилась бригада паровозников. Киевская комсомолия уехала попутным грузовым поездом. Вскоре стронулся с места и принятый Гиричем состав, начал нехотя набирать скорость. Только не в сторону Киева, а в леса и в снега, на север, все дальше и дальше.

Первый вагон, до потолка набитый крестьянским скарбом, казалось, нисколько не унывал, особенно в правом переднем углу. Здесь среди подушек и одеял, мешков и ящиков, кто как, на нарах и под нарами, ехали две семьи: Малолюб и Казанцы. Понемногу начали привыкать к новому званию спецпереселенцев (сначала их называли кулаками, потом лишенцами), хотя привыкнуть к вагонному холоду и сумраку было нельзя. Но все же и в этом углу чуялась жизнь. Душой этой компании был сынок Антона и Парасковьи Малолюб, двухлетний Федько, весь укутанный шубами. Деверь Параски, веселый рыжеусый Грицько, тыча пальцем в то место, где был живот племянника, приговаривал:

— Ах ти, бисив Федько! А якъого ти, хитруне, класу, а ну скажи. Ти ж куркульського класу, так?

Федько пускал розовым ртом пузырь и отрицательно мотал головой.

— Значить, ти не куркульського класу? А якого ж тоди, неуже дворянского?

Ребенок соглашался коротким кивком. Все смеялись.

— Пан, ий-богу, воистину пан!

— Бачиш, не дарма в шуби поиздом иде.

— И челяди у нього пиввагона.

Марфа, свекровь Параски, широкой кости, молчаливая старуха, доставала сухарь, совала внуку и тоскливо отворачивалась. Ей вновь и вновь вспоминалось то, что случилось за последние недели. Старый ее муж Иван Богданович ни за какие посулы не захотел вступать в колхоз. Его уговаривали и так и сяк, упрашивали и сама Марфа, и сыновья Антон и Грицько. Иван Богданович только отпихивался локтями во все стороны. «Ось и доотпихався, старый хрич!» — в сердцах задним числом ругалась Марфа, но ругалась не вслух, а сама про себя. Она то и дело ощупывала узлы с мукой и печеным хлебом, расстраивалась, что пропали куда-то две пуховые подушки.

Киевским разрешено было брать по двадцать пудов на семью. «А ось мелитопольских везуть, роздягнутих, ни хлиба, ни муки нема. Куди нас, гришних, везуть, господи!»

Марфа крестилась.

Никто во всем хуторе не хотел вступать в колхоз, только два или три приезжих голодранца да одна бобылка подали заявление. Остальных загоняли в колхоз наганом. Тех же, кто не вступил, сперва обложили большими налогами, а неделю назад глухой ночью в сельскую раду прискакал верховой с письменным указанием: немедленно приступить к ликвидации кулачества как класса. Те, кто ничего не успел

припрятать, остались голодные и холодные. Отобрано было все, вплоть до огородного заступа.

«И чога вона регоче, беспутна баба? — думала Марфа, глядя в темноту на красивую и веселую невестку Параску. — И ци регочуть... Наче на висилля поихали».

Соседи — и хуторские и вагонные — были тоже старик со старухой, сын Петро Казанец да невестка Мария. А у той Марии пятеро один другого меньше... Самой маленькой и трех месяцев нет, а старшему двенадцать годков... Мария то и дело их пересчитывала, стаскивала в одно место, к своим узлам. То и дело она застегивала им пуговицы, увязывала в платки и шарфы и утирала носы. Муж ее Петро подсоблял ей в этом.

— Марийко, а це ж наче не наш. Чи й цей наш? Щось на Пишухинську породу схожий. А хай, згодиться теж..

— А пишов ти до биса! — сердилась жена. — Накопив диток, чога тепер? Куди везуть, що будемо робити, як жити? Ой, лихо мени, лишенько...

Марийка едва начинала подвывать, как Петро трогал ее за какое-нибудь место либо шептал какое-нибудь особенное словечко. И плач ее тотчас же замирал, не успевая родиться, и где-то в груди таяла горечь. Марийка опять улыбалась.

— А хто там Пишуху згадав? — отзывался откуда-то из-за узлов и мешков сам Пишуха, сосед-хуторянин, тоже такой же многодетный. — Мои вси тут, тильки одного й нема. Це ничего: плюс-минус одна одиниця. Припустимо.

Семейства Митрука и Петренки теснились по боковой вагонной стене, а в другом конце вагона ехали бедные, голодные и холодные мелитопольские. Где-то там, среди мелитопольских, и затерялась Груня Ратько с двумя дочерьми.

— Груня, Явдошка, Наталочко, де ж ви там сховалися? Повзить до нас! — кричала Параска, но те не отзывались. Из-за шума и стука колес ничего не было слышно. Параска сидела на обшитом рогожей и мешковиной ящике со столярным инструментом Ивана Богдановича. Перед тем как пришли описывать имущество, мужу и деверю удалось спрятать инструмент у родственников. На станцию его привезли те же родственники, тайно погрузили вместе с другими узлами. Сейчас Параска и сидела на этом ящике. Ей казалось, что с этим ящиком не страшен будет никакой Север и никакой мороз, это во-первых; а во-вторых, около нее есть три мужика, не считая свекрови да ее главной кровинушки Федька. Пусть мужики и думают, как там жить...

Груня, Авдошка и Наталочка плакали по очереди. Не успевала затихнуть одна, как начинала другая, затем третья. Они сидели на двух своих небольших узлах, куда Груня успела завязать лишь кое-что из приданого дочерей. В основном это были одеяла и рушники. Со всех боков давили на них какие-то шумные мелитопольские тетки, мужики и ребята как бы ненароком натыкались на Груниных дочек. Да и самой Груне то и дело то одну, то другую ручищу приходилось выпроваживать из-за пазухи. Отец и брат сестер скрылись неизвестно куда перед самым отходом поезда. Брат успел-таки шепнуть младшей, Наталочке, что они уедут в надежное место, что, как только явится возможность, сообщат свой адрес тетке на хутор около Ржищева...

Мать и сестры Ратько дважды пробовали вместе с узлами перебраться поближе к своим хуторским. Но узлы были так зажаты другими вещами, места было так мало, что даже нельзя пошевелиться. Особенно страдала младшая, Наталочка, горевавшая от стыда при одном запахе поганой бадьи... После Брянска, где человека, унесшего бадью, сопровождал милиционер, где уже никто не стеснялся друг друга, она наконец осмелилась. Бадью поставили ближе к вагонной стенке. Авдошка и Груня одеялом занавесили свою стеснительную

Наталочку. И хотя в вагоне и так стоял полумрак, стук колес и так бы заглушил все остальное, обе начали громко разговаривать с медитопольскими. Бадью обвязали тряпкой и передали дальше, а Наталочка ткнулась в колени к матери Груне... Особенно стало стыдно, так стыдно, что щеки ее покраснели и налились жаром, когда она вспомнила брянскую остановку, когда черноусый военный долго ее разглядывал и даже улынулся. (По девичьей неопытности она не заметила, что разглядывал Гирич не ее и улынулся не ей, а ее сестре Авдошке. Та была настолько бойка, что спросила у него, куда их везут.)

Вагон качался и вздрагивал. Колеса стучали на рельсовых стыках. Дети кричали на разные голоса, терпеливое материнское убаюкивание то и дело сменялось облегчающей крикливой руганью: «А щоб тебе! Щоб ти подавивися, щоб тобі й не видихнуть!» Кашель, плач, ругань, тихое подвывание, и все голоса вдруг разом затихли, когда Грицько Малодуб, усевшись с Петром Казанцом спина к спине, запел старую хуторскую песню:

Пливе човен, води повен,
Та всё хлоп-хлоп, хлоп-хлоп.
Ходить козак до дивчины,
Та все тюп-тюп, тюп-тюп...

Они запели так чисто и стройно, так сердечно и тщательно выводили каждый поворот, что к ним вторым голосом тотчас пристроился Антон Малодуб. А за Антоном не вытерпели ни Пищуха, ни отец с сыном Петренки. А тут и Парасковья Марковна Малодуб подала Федька свекрови, глубоко, во всю грудь вздохнула и начала подсоблять мужу и деверю. Вслед за ней незаметно влились еще два или три женских голоса. Песня переметнулась в другие вагоны. Под стук промерзшего вагонного чугуна как бы вздыхало и разливалось зеленое степное тепло:

Пливе човен, води повен,
Та-й накрився лубом.
Ой, не хвастай, козаченьку,
Кучерявим чубом,

Бо як вийдешь на вулицю,
Твий чуб розивьється,
А из тебе, козаченьку,
Вся челядь смиеється.

Пливе човен, води повен,
Та-й накрився листом.
Ой, не хвастай, дивчинонько,
Червоним намистом.

Бо як вийдишь на вулицю,
Намисто порветься,
А из тебе, дивчинонько,
Вся челядь смиеється.

Ой, прийдесть ж, дивчинонько,
Намисто збувати,
Та все ж тому козаченьку
Тютюн купувати.

Словно не желая глушить эту обильную, роскошную и широкую южную мелодию, поезд остановился на подмосковной станции. Песня затихла не сразу. Она затихала вместе с поездным шипением и колесным стуком. Холод и снег Подмосковья подступили к составу. И снова то тут, то там по вагонам заплакали дети, забормотали старухи, и скулящий женский вой зародился во многих местах.

Уже три покойника лежали в третьем вагоне, когда в ответ на крик и плач охрана открыла двери. Черноусый военный приказал закрыть мертвых мешковиной или соломой. После чего он вновь обошел весь состав. Сейчас его никто не сопровождал. Он открутил про-

волоку, откинул защелку на первом вагоне, откуда только что слышалась песня. Напрягшись, подвинул дверь.

— Поем? Правильно, граждане! Уж лучше петь, чем реветь в голос. Москва скоро. А Москва, сами знаете, слезам не верит...

— А потом куда нас, товаришу начальник? — Грицько был всех ближе к выходу. — Кажуть, в тайгу. Та ви залазьте до нас, товаришу начальник...

Гирич, взявшись за скобу, закинул шинельную полу, поставил ногу в хромовом сапоге на лесенку и легко запрыгнул на свободное место в вагоне.

— Тифозные есть?

— Живем пока.— Иван Богданович Малодуб, кряхтя, отодвинул кривые свои сапожищи.— А чи довго будемо живи, відомо одному господу...

Он, этот черноусый военный, явно искал глазами вчерашнюю черноглазую. Авдошка Ратько сразу это почуяла и выглянула из-за кучи узлов.

— Вы... как вас? — Черноусый еле-еле не покраснел.— Идемте со мной... Получите кипяток и варево.

Авдошка проворно выпросталась к дверям и сама хотела спрыгнуть на снег, но военный помог ей, подал обе руки.

— Ой! Господи, хоч витерцем свижим подийхати.

— Замерзла? — Черные усы Гирича поехали вверх кончиками.

— Ни! Я горяча...

На ней был темный плисовый казачок с борами, самодельные, не фабричные сапоги и шерстяная коричневая фата.

— Дивись, Явдохо, не пидкачай! — крикнул Грицько.— На тоби все передове завдания!

— Тепер не пропадем! — послышалось из вагона.

— А чому вин Явдошку вибрав?

— Не всих одразу, дойдемо и до інших.

— Груня, Наталочко, ну що ви засумували? Никуди вона не динеться, зараз прийде...

И впрямь Авдошка появилась через двадцать минут. Она, как воду с криницы, на палке принесла два десятилитровых ведра. В ведрах был горячий гороховый суп.

— Оце так Явдошка, ой молодець дивчина,— хвалил девку Петро Казанец.— Я такого супу й дома три роки не їв.

— Ти що говориш, бисова харя? — взметнулась на него жена Мария.— Ти що мелеш дурним своим язиком? Ось визьму палку та по шиї, бугай недоризаний! Та я такий поганий суп и сворбать не буду и тоби не дам!

И Марийка под смех хуторян плеснула содержимым своей алюминиевой кружки на вагонную стенку, хотела, наверное, на растерявшегося Петра, да быстро одумалась.

...Гороховый суп сделал короче мытарства на Окружной и дорогу до Вологды. Никто в первом вагоне не заикнулся, никто не хотел вспоминать о том, что в третьем телятнике ехало три тифозных покойника. А может, уже и не три, а тридцать три... Или их сгрузили в Москве? Никто ничего не знал. «Овечка» тихо, но настойчиво тянула за собой хвост из одиннадцати вагонов. Правда, одиннадцатый, набитый молчаливыми малахайными киргизами, был бесхозный. Гирич имел право отцепить этот вагон на любой остановке, поскольку за киргизов не отвечал и не расписывался. Но почему-то даже в Москве он не сделал этого.

V

Вологда встретила двадцатиградусным холодом, настоящим на угарном запахе горящего антрацита. Белая снежная перхоть медленным сеевом опускалась на крыши теплушек. Большие плоские кри-

сталлики инея опушили железо. Состав затолкали на крайний путь и отцепили от паровоза. Паровоз ушел. Трое охранников ходили вокруг состава, пока черноусый начальник бегал куда-то на станцию хлопотать о новой паровозной бригаде. Он вернулся часа через полтора.

— Товарищ Гирич, скоро поедем? — поколачивая о мерзлую землю валенками, спросил один из охранников. — В седьмом вагоне два покойника!

— Как? В седьмом? — вскинулся Гирич. — Немедленно открыть вагон!

Начальник отвернулся, когда открыли вагон и под крики и плач женщин начали стаскивать новых покойников. Их положили рядом на междупутье. Вагон снова закрыли, и, как это ни странно, он сразу стал затихать. Точь-в-точь пчелиный улей, успокоенный двумя-тремя вздохами дымаря в руках опытного пчеловода.

Гирич вздохнул и послал одного из охранников искать носилки...

Он подошел к первому вагону, опять, как вчера, открыл тяжкую полужелезную дверь. Пассажиры зашевелились.

— Явдоха! — нарочно и громко закричал Антон Малодуб. — А де вона сховалася, наша Явдоха?

Но Авдошка как тут и была.

— Ну... Берите бадью да за кипятком! — сказал Гирич, краснея.

В вагоне одобрительно загудели. Авдошка стыдливо зажимала в коленях свой багряный с зеленой наподольной оторочкой сарафан. Опять, как и тогда под Москвой, она не могла осмелиться прыгнуть. Черноусый начальник расставил руки, сзади ее толкнули, и она, стараясь не завизжать, полетела прямо на черноусого. Он поймал ее и поставил рядом. Сверху подали две пустые бадьи. Гирич хотел задвинуть ворота, но раздумал.

— Гляди тут... — бросил он подошедшему охраннику и повел Авдошку к вокзалу. — Что, испугалась?

— Ни! Я смелая! — так же, как тогда под Москвой, засмеялась она. Сноп золотых искрящихся блесток из ее карих горячих глаз осыпал черноусого. — Я и даже больших командиров не боюсь...

— Ишь ты. Не боится она... Неужели ничего не бывало страшного?

— Ни! Тильки мышей.

— Ну, мышей-то и я побаиваюсь. — Военный засмеялся.

— Правда? — обрадовалась Авдошка, отчего даже остановилась.

— Правда, — сказал он, поравнявшись с ней.

— Та якие у вас в городе мыши? У вас там и гумна нема. И снопов тоже не треба.

— Нема в городе снопов, — согласился он. — Только...

Она видела, как он спохватился, замолчал и ускорил шаги.

Ловко помахивая ведрами, Авдошка бежала за ним то слева, то справа. Она так и сыпала на него своей украинской мовой. На ее щебечущий голосок люди оглядывались и улыбались.

Около водоразборной будки, вся в пару, волновалась очередь за горячей водой. Военный раздвинул всех, набрал две бадьи кипятка, вынес из толпы и подал Авдошке.

— Унесешь ли? — усмехнулся он и еще раз оглядел всю ее ладную, даже форсистую фигуру. — А то подсоблю.

Она возмущенно хмыкнула:

Вагон номер один встретил две бадьи кипятка вполне одобрительно. Авдошка подала воду наверх, а сама не стала спешить в вагон. Военный слегка задвинул двери. Он отошел и встал за вагонным торцом, прислонившись к буферу. Кивнул ей, она подбежала. Он оглянулся и вдруг положил обе свои руки в перчатках на плечи ее.

Вокруг никого не было. Авдошка с радостным испугом взглянула на него снизу вверх. Сердце у нее так и замерло. На нее пронзитель-

но и печально смотрели глаза военного, такие синие, синей, может, и самого синего неба, какое бывает в летний безоблачный полдень.

— А як же тебе звати, миле... — сказала она и не договорила, он уже коснулся усами ее лица и вдруг крепко-крепко прижался щекой к ее щеке, потом оттолкнул, но не отпустил ее плечи.

— Петром зовут,— сказал он сдавленно.— Поцелуешь меня? Когда в другой раз свидимся, обещаю...

— Ой... та де ж я вас зустрину... Може, помру, як той дид... Куди нас тягнуть? Там холодно?

— Там — холодное море. Беги... Иди в свой вагон.. Стой! Беги лучше за мной...

Он метнулся в одну сторону, затем в другую, подбежал ко второму вагону. В конце состава пыхтел маневровый, неспешно надвигаясь на бесхозных киргизов.

— Стой! Авдошка... — Он, видимо, лихорадочно что-то соображал.— Ты когда именинница? В марте? Евдокия — замочи подол, зажди снега...

Авдошка в недоумении поглядела на свой подол. Багряный ее сарафан с зелеными узорами по подолу и впрямь словно бы полыхал среди этого железа, среди прокопченного серого снега.

— Да! — Военный бросился в другую сторону.— Еще у нас примета была. Ежели на Евдокию курица воды напьется, на троицу корова травы наестся. А там... Там, голубушка, будет еще холодней... Хочешь остаться здесь?

Авдошка молчала в недоумении. Он вдруг метнулся к сцеплению. Он долго с натугой скручивал какой-то винт, затем подставил плечо.

— Подсобляй! Мать-перемать... Да тихо... чуешь? Так. Ну?

Вагон отцепился. Начальник побежал к паровозу, но тут же вернулся, раскрыл полевую командирскую сумку. Вытащил клок бумаги и карандаш, быстро что-то написал и подал записку Авдошке.

— Бери! Тут адрес, никому не показывай. Зайдешь, когда придет возможность. Спросишь...

Он закрыл сумку и так же быстро, не оглядываясь, побежал к паровозу.

Авдошка не успела ничего понять: вдоль по всему составу прошел оглушительный лязг, второй вагон дернулся, и весь состав сначала тихо, потом все проворнее начал удаляться от первого вагона. Маневровый паровоз выводил поезд на главный путь, чтобы ехать дальше, туда, к холодному Белому морю. Авдошка хотела бежать вслед, но тут же очнулась, остановилась... Первый вагон стоял в одиночестве. Она расстегнула под казачком сарафан, сунула записку под лифчик. Долго стояла не шевелясь, стояла, пока не начали замерзать руки в варежках. Она сняла одну варежку. Варежка упала к ногам.

...Когда Грицько осторожно плечом отодвинул дверь настолько, чтобы можно было пролезть, вокруг была безлюдная тишина. Лишь со стороны вокзала слышались редкие гудки, шипение паровозов и крики сцепщиков, махавших своими желтыми фонарями. Еще больше удивился Грицько, увидев плачущую Авдошку. Слезы не успевали скатываться и сморазивали ее длинные черные ресницы, плечи вздрагивали.

— А це що ж за кавалери пишли? — высунулся Грицько.— Заманив дивчину, а сам втик. Де начальник? Хлопци, та ми ж видчеплени...

Мужики по очереди начали вылезать из телятника. Некоторые женщины разворачивали на себе одеяла, тоже выбирались на свет. Авдошка молчала.

— Видно, шестерьонка якась зипсувалась, ось и видчепили,— сказал кто-то из мелитопольских.

— Яка тут шестерьонка?

— Чорновусий нас кинув геть.

— А може, це накроще, братци? Явдоха, скажи свое слово!

— Ах ти, та не журися, Явдоха, за цими вусами! Воно сльозы в ней як горох.

Что было делать? Мужики долго советовались. Грицько и Антон Малодубы вызвались идти искать какого-нибудь начальника. Но едва Антон и Грицько спрыгнули на снег, как новый, только что прибывший состав из Ростова, выкатываемый на этот же путь, начал медленно приближаться, заполнять пространство, и вдруг сильный толчок сбил все планы Грицька и Антона. Железнодорожник стоял на площадке в конце нового состава. Он спрыгнул, засвистел, помахал замызганным, табачного цвета флажком и побежал отцеплять паровоз. Вдоль состава бежали милиционеры и военные с винтовками, за ними на незначительном расстоянии спешила группа в гражданском.

Вагон из Киева затих в тревоге. Безвестное будущее вновь обрывалось перед людьми, обрывалось бездонной и жуткой пропастью...

Ростовский состав, а заодно и киевский вагон, ставший бесхозным, были мгновенно оцеплены. Комиссия или группа начальства шла напрямиком и остановилась напротив.

— Эт-то что такое? — сказал один из гражданских. — Двери? Почему не замкнуты? Где начальник состава?

— Товарищ командир, это не наш вагон, — подбежал ростовский сопровождающий.

— Что значит не наш? Не наших вагонов нет и не может быть. Товарищ, как вас там... — Он обернулся в другую сторону. — Начи-найте.

Другой начальник приказал охране открыть двери. Люди в вагоне безмолвно ждали, что будет дальше.

Начальник сдвинул на бедро тяжелую кобуру, подтянул перчатки и отчетливо скомандовал:

— Всем взрослым мужчинам с вещами — сюда! Живо, живо, това... — Он осекся. — Вы слышите, граждане? Только одни мужчины! Шевеление и первые возгласы нарастали в вагоне.

— Ну? Сколько же можно ждать? — крикнул другой, в черных высоких валенках и в полушубке, тоже перетянутом широким командирским ремнем.

В вагоне зашевелились, заговорили, заплакали сразу несколько женщин.

— Спокойно, спокойно! — крикнул тот, кто был гражданским. — Объясняю: мужчины отделяются от вас временно. Они будут направлены на рубку леса и строительство! Ясно ли говорю, товарищи куркули?

Оратор пытался шутить и, довольный, оглянулся на сопровождающие.

— Ясно! — слышались голоса.

— А семейства куда?

— Ми готови...

— Тильки куди? Ще далеко?

— Семейства, граждане, остаются здесь, в Вологде, до навигации! — кричал оратор. — Живее, граждане, говорю убедительно!

Грицько Малодуб наскоро обнял отца и мать и первый спрыгнул на снег. За ним прыгнул Антон.

Вскоре все мужики, схватив что попало из еды и одежды, наскоро попрощавшись, начали прыгать на бровку. Бабы крики и детский плач усиливались, но начальство уже переместилось к другому вагону — ростовскому. В ту же минуту киевский вагон закрыли, заперли. Мужчин построили в одну шеренгу.

Детский плач и женские причитания не стихали в вагоне. Последние наказания через стенку, слова утешения, крики конвойных и паровозные сливались в сплошную разноголосую звуковую путаницу. Группа киевских мужчин, пристроенная к первой партии ростовских, была уведена под конвоем в сторону вокзала. Начальство шло дальше

от вагона к вагону. Открывались двери, и везде начиналось то же самое: крики, плач, возгласы. У каждого вагона получался небольшой митинг. Оратору пришлось выступать столько раз, сколько было вагонов. Только стоял оратор не наверху, а внизу, и ему приходилось задирать голову, и массы, к коим он обращался, взирали на него и задавали вопросы сверху, как бы с трибуны.

Все пугалось в мире и вставало с ног на голову.

Параска, обессиленная, сунулась на зашитые в мешковину тяжелые упаковки, сердце совсем зашло и билось часто-часто. Во рту пересохло, в ноги бросилась какая-то неожиданная слабость. С той самой минуты, когда муж Антон спрыгнул вниз, и двери вагона закрылись, и стало опять темно, время для нее начало то останавливаться, то пятиться в прошлое, и многое из того, что она говорила и делала, улетело бесследно. Она помнила только, как подала свекрови закутанного в одеяло Федька и начала таскать узлы из вагона к тому месту, где их ждали подводы. Возов для всех не хватало, местные ездовые бегали вокруг перегруженных розвальней, просили остановиться, не класть. Но возы росли и росли, и наверх громоздились еще старухи и старики с грудными и малыши. Тогда возчик бил вожжами по лошади, либо отъезжал, либо спихивал груз.

Пока свекор Иван Богданович караулил багаж в вагоне, Параска кое-как отправила на подводе свекровь с Федьком да еще успела сунуть к ней узел с мукой. Сама побежала за другой поклажей, а когда притащила узлы, подводы с Федьком и свекровью уже не было. Параска взревела было на весь вокзал. Но ее успокоили другие возчики, сказали, что свезут туда же, и вот она оставила узел Авдошке и опять побежала, теперь уже за ящиками и за свекром. Они оба на плечах притащили тяжесть к подводе. Иван Богданович сумел погрузиться с узлом, где была сложена одежда, а тяжелые ящики и Параску никто не взял, и вот она, едва живая, сунулась на эти ящики. «Господи! — мысленно, а может, и вслух то и дело повторяла она. — Господи, не оставь моего сынка. Господи, Господи, не оставь...»

Когда слабость в ногах и бедрах прошла, а сердце начало тукать ровнее, она взглянула вокруг и удивилась: где она очутилась? Вокруг площади стояли незнакомые деревянные двухэтажные дома с резьбой на крылечках и окнах. На крышах нахлобучены белые снежные шапки. Она догадалась, что где-то близко вокзал, вспомнила поезд и вдруг зарыдала, затряслась, упала на свою тяжкую, лежащую на снегу поклажу... Кто-то осторожно потряс ее за плечо. Она сквозь слезы увидела старичка в заячьей шапке и тулупе. «Ты што, девка? — слышалась ей. — Пошто, эт-та, ревишь-то? Ревела бы дома».

А дальше у нее снова образовался провал в памяти. Старичок в тулупе отвез ее напрямиком в тюрьму, которая стояла на берегу реки и называлась Московской. Параска запомнила только высокую стену да широченные ворота, за которыми копошились бабы, дети и старики с ростовского поезда. Параска издали увидела свекровь, сидящую на узлах, но Федька на руках Марфы не было. Она забыла и про старика в тулупе и про поклажу, бросилась на тюремный двор. Слабость опять начала опускаться в ноги, но Федько спал между двумя мягкими и теплыми узлами. Иван Богданович пробовал рассчитаться с тулупом, которого пропустили прямо в ворота, но старичок ничего не взял, только прибежал опять, когда охранник не стал выпускать его за ворота: «Выручите, пожалуйста!»

Старичка в тулупе выпустили. Ночью в тюремном подвале Параска пришла в себя. Здесь оказалось теплое, хотя на стенах в желтом свете электрической лампочки поблескивал иней. Так же, как и в вагоне, было тесно от узлов, только теперь не было мужиков и все люди перемешались: ростовские, киевские, мелитопольские. Плакали дети, кое-какие старики и старухи лежали ничком напрямиком на полу.

Правда, пол был все-таки деревянный, и Марфа развязала узел, разостлала два стеганых одеяла. Федька устроили потеплее. Иван Богданович, перелезая через чужую поклажу и перешагивая через людей, направился искать отхожее место... Въяве или в задымленной памяти звучала сердечная песня? Откуда летели к Параске поющие голоса Грицька и Антона?

Пливе човен, води повен,
Та-й накрився листом...

Голоса деверя и мужа Антона летели к ней издалека. Плач ребенка оборвал те голоса, но она в тревоге и в страхе никак не могла проснуться. Тяжкое забытие и тьма, словно сама смерть, обвалились на нее и поглотили... Изю всех сид старалась Параска встать и бежать к сынку, а ноги были как не ее, никак не слушались, и вот она встала на четвереньки, чтобы ползти. Но и руки тоже не слушались. «Господи, Господи...» — опять твердила она во сне и пыталась ползти на сыновий голос.

Пришло утро, людей по пять человек с детьми начали выпускать из подвала, переводили в другое место. В подвальном этаже стало чуть посвободней. Появились бачки с водой, народ шевелился. Память Параски из течения новых времен вырывала кое-какие картины, выделяла из небытия и кошмаров. Вот после нескольких дней и ночей явился какой-то новый начальник и потребовал: каждый должен написать и сдать ему объяснение, в котором нужно подробно указать социальное положение, когда и за что осужден или арестован. Это, мол, требуется для того, чтобы дело пересмотреть и отпустить ни в чем не виновных. Он сказал это, а сам ушел и ни карандаша, ни бумаги не дал, а что тут поднялось в тюремном подвале! Параска худо помнит... Свекор встрепенулся утренним кочетом. Начал шарить карандаш и счетоводную книгу — запаслив Иван Богданович! Эту чистую книгу успел прихватить на всякий случай.

— Я казав, що нас дарма розкуркурили,— говорил он.— Ни в чем ми не шли против советской власти!

И тут же, мусоля химический карандаш, начал писать объяснение.

Через минуту ничего не осталось от той счетоводной книги! За каждый лист совали свекру те последние деньги, то последние сухари, он деньги отталкивал, но вырывал и раздавал листы в чьи-то руки, пока от книги не осталась одна картонка.

Груня Ратько, вся в слезах, отвернулась от Малодубов:

— Хиба мало ми вам добра зробили?

Никто из троих — ни Груня, ни Наталка с Авдошкой не могли осмелиться написать хотя бы одно слово, и свекор Иван Богданович на этой последней оставшейся от книги картонке долго корябал за них объяснительную. Бумаги, собранные в одну кучу и унесенные начальником, канули навсегда. Женщины забыли о них, помнил один Иван Богданович...

После бани, которую спецпереселенцы встретили будто светлое воскресенье, их начали переводить из Московской тюрьмы по разным местам. Малодубы разлучились с Петренками. Груню Ратько с ее дочерью увозили первыми: девочки плакали навзрыд, прощались как навсегда. Говорили, что их переводят куда-то в Прилуки. Семейства Малодубов и Казанцов перевозили тоже на другой берег, в церковь Андрея Первозванного. Свекровь умудрилась сложить поклажу на одну подводку. Высокий рыжий бородатый мужик, сам, видно, из заключенных, погрузил ящики и узлы, густоющим своим басом рыкнул на лошаадь. Он провез их по льду реки к паперти одноглавого храма. Перекрестился. Марфа отдала ему сухую, как камень, гулыгу подового хлеба.

— Не откажусь,— поблагодарил возчик, загребая в рукавицу широкую рыжую бородищу,— поелику слаба плоть человеческая...

Он спрятал ковригу на груди под грязный ватный пиджак, подпоясанный ремнем, и стал еще толще. Огляделся вокруг и помог затащить инструмент на паперть.

Широкий настил из свежих досок тянулся от правого клироса и от левого до самого схода с паперти.

Вначале было хоть и холодно, но совсем просторно. Воздух был чистым, только уже через два дня в храм набилось густо и люди ночевали впритык. Параска смутно помнила, как носила бачки с кипятком и какое-то картофельное холодное варево. Вскоре открылся тиф... Каждый день кто-нибудь умирал, и покойников выносили из храма на паперть, и тот самый рыжий здоровый возчик складывал мертвых на розвальни, прикрывал сеном и увозил на кладбище.

Приходила женщина в белом халате. Она отбирала тифозных и с тем же рыжим отправляла в больницу. А Иван Богданович все ждал и ждал ответа на свою объяснительную... Однажды он, лежа под своим старым, но теплым кожаным, тяжело задышал и попросил Параску потрогать голову. Она сдвинула шапку, положила ладонь на его широкую лысину: голова свекра была совсем горячая. Иван Богданович все понял и заплакал: «Не говорите, ради Христа... Не отправляйте в больницу. С вами-то я поправлюсь...»

А эшелоны, видать, все прибывали в Вологду. Параска кормила Федька мучной болтанкой, когда в церковь нахлынуло, сдавило со всех сторон, захлестнуло голодным и злым народом: тут были и мужики и евреи. Люди говорили, что из города богатых евреев трогали редко, а по хуторам под горячую руку кое-кого загребли, только им будто разрешалось увозить сколько хочешь поклажи, будто они откупали целые вагоны и везли те вагоны почему-то отдельно, с пассажирскими поездами.

Однажды женщина в белом халате остановилась около Ивана Богдановича. Притворяясь здоровым, он бодро вскочил с нар, но она велела ему поднять рубаху. Он пробовал даже отшутиться, тогда она сама задрала подол его клетчатой домотканой рубахи. На белом, втянутом под самые ребра животе не густо, но ярко краснела сыпь... Он заплакал, прощаясь, но свекрови разрешили проводить его до больницы.

Параска плохо запомнила и то утро, когда снова, в который уж раз, волочила тяжелые укладки с инструментом и узлы, как свекровь, оставив ревущего Федька на возу, прибежала ей помогать, и оттого они разругались с ней, разругались впервые за все время Параскиного замужества.

Их перегоняли в Прилуки. Возчик был тот самый рыжий бородач, который перевозил их из тюрьмы в церковь Андрея Первозванного. Только лошадь и дровни оказались иные. Вожжи он использовал на то, чтобы перевязать воз, и лошадь ему пришлось вести под уздцы.

Охрана конных стражей сопровождала до самого монастыря. Конвоиры отгоняли в стороны любопытных мальчишек, сердобольных старух и женщин. Народ выходил из домов. Было видно, как охранник отпихивал с дороги женщину, которая хотела дать что-то двум еле бредущим старикам. Их везли на многих подводах, кое-кто шел сам, многие падали. Параска несла Федька на руках. На возу ехала ослабевшая свекровь. Параска думала только одно: как бы за что-нибудь не зашнурьтаться, да не упасть, да не уронить свою ношу, да добраться до нового места — а там опять будь что будет... Только за что же, за что посылает Господь такие страдания? И время опять кидало ее далеко назад. В глазах плыли то зеленые хуторские нивы, то золотые маковки Киевской Лавры. После свадьбы, на масленице, деверь Грицько возил ее и Антона в Киев. Тогда и нагляделась Параска всего до всего: главы соборов плавались от золотого предвесеннего солнышка, они просто купались в бирюзово-синем небесном раздолье. Воробьи, встречая весну, чирикали на дорогах и в подворотнях. Под крышами урчали

голуби. Только что же это такое? Соборные маковки стали вроде не те, и не те чирикали воробьи. Под ногами катались мерзлые конские катыши, скрипели полозья, и Лавра была вроде не Лавра... Падает снег, соборные маковки душит серое беспросветное небо.

Прилуцкий северный монастырь встретил Параску холодным ужасом. Она подала ребенка свекрови и скинула с подводы узлы, скovyрнула ненавистные ящики и начала их таскать на паперть. Попробовала таскать в собор, но внутри храма негде было ступить.

На крутых холодных ступенях соборной паперти силы совсем ее покинули. Память, еле до этого брезжившая, растаяла, и Параска провалилась во тьму.

Она пришла в себя от детского плача и бросилась как затравленная в сторону плачущего ребенка. Только это плакал чужой младенец. У нее что-то обрушилось внутри от страха за исчезнувшего со свекровью Федька. Где? Куда их спрятали от нее? Крик едва не вырвался из гортан. Этот утробный материнский вопль оборвался в самом начале.

— Влекитесь за мной! — послышался мощный бас, и Параска увидела над собой рыжебородого возчика. Он легко взял под мышки два тяжелых ящика с инструментом и провел ее через крытые переходы в обширную монастырскую трапезную, тоже заполненную женщинами, стариками и детьми всякого возраста.

Параска бросилась к свекрови и сыну. Она совсем позабыла про возчика. Но поп Рыжко и сам тотчас забыл про нее.

Ноги Николая Ивановича, обутые в широкие, как мешки, растоптанные и кое-как стоявшие во ставу валенки, ступали в редкие промежутки между телами, грозя придавить чью-либо сморенную голову. Ватный пиджак, подпоясанный солдатским ремнем, был под стать валенкам: такой же обширный и так же обметанный ледяным панцирем. Шапка была явно мала и не вмещала большую рыжую голову...

Николай Иванович выбрался наконец из кричащей, плачущей, шевелящейся трапезной. На морозе запах сквозного поноса отнюдь не исчез, а стал еще пронзительнее. Тиф гулял по монастырю в одном строю с дизентерией. «Перемешалось дерьмо и толокно,— подумал Перовский, оглядываясь и не находя свою лошадь с дровнями.— Уже разверсты врата преисподней... Да чем лучше поверх-то земли?»

Поверх земли бесчинствовал холод. Розовый горизонт опускался за монастырские стены, и ночной сумрак уже нарождался под сенью юго-западных стен. Могучие угловые башни безмолвно громоздились вокруг собора и трапезной. Кресты, подернутые морозною сединой, бросались в глаза, как ни повернешься. Николаю Ивановичу пришлось пересилить косность и перекреститься. А ныне после крестного знамения каждый раз нарождалась в нем скорбь, раньше неведомая, и каждый раз он чуял смуту душевного раздвоения.

Монастырь являл собой невиданный, как бы не совсем и здешний образ: собор стоял посреди человеческого кала, горящих костров и жалких пожитков. В кострах горели надмогильные кресты и лестничные перила, ступени церковных папертей и монашеских келий. На смотровой башне, как в смутные времена, перетапывался воин смотрящий, но выглядывал он не наружных врагов, а обитателей внутренних. У красных, едко дымящих пожаров шевелились какие-то детки и старики. Востроглазые хохлушки перегаркивались между собой на своем не очень сурьезном, как показалось Перовскому, наречии. Часовня и склеп богатого вологжанина были растворены, каменные надгробия, железные кресты и мраморные обелиски коптились в дыму.

Николай Иванович нашел повозку, подвел к монастырскому пруду и напоил из проруби лошадь. Затем он передал повозку с рук на руки знакомому красноармейцу.

— А чересседельник-то где? — возгласил парень.

Николай Иванович только развел руками. Чересседельник исчез, пока Перовский помогал выселенке заносить поклажу.

— Ладно, иди! — смилостивился красноармеец и без чересседельника выехал за охраняемые ворота.

Перовский зашел в дежурку, где его кормили отдельно от охранников. Он съел большой кусок ситного с холодными, сваренными в мундире картофелинами. Выпил кружку горячей воды и отправился на ночлег.

Вот уже третью ночь он ночевал в соборе у северных клиросных врат на досках. Как же попал он в Прилуки? За угон паровоза его судили во второй раз, и во второй раз он был послан грузить бревна. На станции Семигородней отец Николай прижился было совсем хорошо, но его неожиданно увезли в Вологду и дня три держали без дела, в тюрьме. На четвертый его вызвал начальник и оставил наедине с другим начальником. Этот второй был не кто иной, как Ерохин. Тогда Николай Иванович сразу признал его и словно обрадовался:

— Доброго здоровья вам... Нил Афанасьич, если не ошибаюсь?

— Ошибаетесь! — Ерохин резко задвинул ящик стола. — Я вам не кум, не сват, а гражданин начальник...

Да, Ерохин был, как прежде, начальник, только теперь в форме чекиста. Не ахти какой чин, на воротнике гимнастерки всего два треугольника, но поп знал уже, что чем меньше чин, тем больше охота командовать. Ерохин с полчаса читал ему акафист насчет момента. Он закончил неожиданным предложением: из тюрьмы выйдешь и будешь жить в Прилуках на красноармейском пайке! Но при условии: ночевать вместе с высланными...

Николай Иванович, недолго думая, согласился, и Ерохин закончил разговор совсем по-домашнему:

— Дадим тебе лошадь с повозкой. Запрягать-то умеешь?

— Мне не управиться! — Отец Николай почувствовал что-то не то.

— С паровозом управился, с лошадью тоже справишься, — засмеялся Ерохин. — Шалить не будешь? Гляди, дурака не валяй.

— А ежели убегу?

— Пуля догонит!

— Как она догонит, ежели я по лошади хлестать — и был таков?

— Учти, Перовский, прямо летит не каждая пуля. Иная зигзагой..

И Ерохин, вода ладонью, показал: туда, мол, сюда, — а отец Николай расхохотался и сказал утробным своим басом:

— А чем так жить, Нил Афанасьич, так лучше пусть догоняет! Хоть прямо, хоть зигзагой...

Сегодня, засыпая на досках, Николай Иванович вновь дословно припомнил тот разговор с Ерохиным. Он давно понял, почему его взяли из Московской тюрьмы и поселили в Прилуках. Время от времени его вызывали в город в другой — Духов — монастырь и спрашивали, кто по ночам отпевает в Прилуках покойников. Николай Иванович отшучивался:

— Товарищи, мне ведь на два монастыря не под силу! У меня и так тяжкая должность: возить покойников. Каждый день десятка по дватри — ну чем я не Харон? Только у того ладья, а у меня дровни! Перевердите обратно...

Обратно? Он знал, что обратных путей у него нет и не будет. В любой час тифозная вошь, либо дизентерийный микроб, либо та же пуля, что летает «зигзагой», остановят его земной путь. А вот что будет потом, отец Николай все еще не знал...

В соборе было холодно, стены заиндевели, человеческий муравейник не стихал круглые сутки. Круглые сутки скрипели, грохотали железные двери, круглые сутки плакали дети, стонали старые люди, и круглые сутки витал под сводами запах жидкого кала. Время, словно остановленное под этими сводами, иногда — тоже «зигзагой» — срывалось в далекое прошлое, и отец Николай явственно слышал, как пели

сорок монахов, заживо сжигаемые в деревянном прилуцком храме. То были тоже смутные времена. Литва и русские воры ходили по деревням, насильовали женок, отбирали скотину и рубили головы мужикам. Один Кирилловский монастырь устоял... Либо слышал вдруг отец Николай зимний скрип многих полозьев: то въезжал в монастырь большой московский обоз. Москва-матушка горела и шаяла. Наполеоновские гренадеры патрашили в первопрестольной, а сюда, в Прилуки, въезжал обоз. Несчетные вороха царской казны, несметные богатства православных московских церквей были отправлены сюда, в Прилуки, и хранились тут, пока Москва, как птица Феникс, не восстала из пепла. А ныне-то где те сокровища русские? Они рассыпаются по лику грешной земли, плывут за море, звенят и блистают в чужих подворьях. Из одного Кириллова утянуто две баржи, и неизвестно куда... А он, грешник, не верил патриарху, когда тот взывал к христианам в своем первом послании: «Тяжелое время переживает ныне святая православная церковь Христова в русской земле. Гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани...»

Послание патриарха Тихона стояло перед глазами и сейчас. Та бумага давно пожелтела, выброшена. Имел ли он, Перовский, право не читать патриаршее послание шибановским верующим? Нет, не имел... «Благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению, или ограблению и кощунственному оскорблению; чтимые верующим народом святыни захватываются безбожными властителями тьмы века сего и объявляются якобы народным достоянием...»

«И впрямь народное достояние...» — подумал Николай Иванович и повернулся лицом к развороченному алтарю. Под ним скрипнули доски разломанной солеи. Соседи — два старика и две старухи — тоже зашевелились, закашляли. Даже ноги для отдыха нельзя вытянуть, такая была теснота, но усталость брала свое. Почему же он, Перовский, так и не прочитал с амвона послание Тихона? Хотел как лучше... Нет, не боялся Игнахи Сопронова, хотел как лучше. Не верил Тихону, не верил отцу Иринею, верил себе... А он, Тихон-то... Своей ли уж смертью почил? Ведь сколько погублены были... Новые иерархи уж не поклонники ли Иуды Искариота?.. Он, Перовский, в стане живоцерковников... Да и во Христа-то уже веришь ли? Но коли Бога не было, так нет и Дявола. Тогда следы-то дьявольские повсюду откуда взялись? Как он смущает тебя, враг истины, царь тьмы! Уже и молитвы заставил забыть, отучил и от любимых псалмов.

Отец Николай начал мысленно произносить символ веры, но в конце сбился и безмолвно заплакал, терзаемый страхом... Быть может, он продлевал свои дни предательством православия подобно живоцерковникам и обновленцам? Бесам служи — долго живи. Богу не нужны такие, как он. Иерофей — епископ великоустюжский и викарий вологодский — убит в голову при аресте, когда народ не дал его в обиду. Это он, епископ Иерофей, не пожелал подчиниться митрополиту Сергию... А ему, Перовскому, и подчиняться не требовалось, с самого начала был заодно. Господи!

Николай Иванович, изо всех сил борясь со сном, попробовал вспомнить девяностый псалом, но тяжесть и мука обступили его, и тогда он зашептал другое, что само пришло: «...несть исцеления в плоти моей от лица гнева твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Восмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего... Господи, пред тобою все желание мое, и воздыхание мое от тебя не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию

моею, и той несть со мною. Врази же мои живут и укрепятся паче мене и умножишася ненавидящие мя без правды... Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, Господь спасения моего».

Отец Николай провалился в тяжкий, не облегчающий сон.

В середине ночи, может, под утро, бывал в соборе короткий временной промежуток, когда тишина слетала на людской муравейник и, ненадолго отдохнув от страданий, замолкали младенцы. Засыпали измученные матери, замирали в различных позах спящие старики. И часа полтора под высокими куполами истаявало отрадное успокоение, и как будто в эти минуты веяло откуда-то родимым теплом. А может быть, это витала человеческая надежда. Тот, кто доживал до этого промежутка, уже не умирал и доживал до следующего утра, а тот, кто умирал, так и лежал безмолвно, ничем не отличаясь от спящих. Лежал, пока сердце близкого не вздрагивало во сне. Смерть близких будила спящих рядом, и тогда то в одном месте, то в другом тихонько слышался сдавленный плач или несильное подвывание. Перовский слышал эти звуки каждую ночь, по ним знал, из какого угла понесут завтра поклажу на его розвальни.

В эту ночь сквозь мучительное желание какого-то раскаяния, сквозь неутоленную жажду сделать что-то очень необходимое отец Николай увидел четкий, но совершенно бессмысленный сон. Будто идет он по крыше Евграфа Миронова вдоль по князьку. Крутая крыша, высокая. Он знал, что это ему снится. Любил ведь и въяве ходить по крышам — потому что далеко видно и опасно ходить. Грех ведь, наверное, а любил лазать по крышам. Еще любил рыбу удить, выпивал и от женского полу редко отказывался. Лес любил. Господи! А ныне что? Харон... Только плывет не ладья, а скрипучие дровни. Нет, это плывет тесовая крыша Евграфа Миронова. И конь тоже на крыше... Реют белые легкие облака вокруг, не сверху, а внизу...

Что и кому он должен сказать? Не забыл ли сделать важного дела? Какой грех оставлен, нет ли какого стыда и неисповеданной злобы? Кого не простил за обиду? Благословен Бог наш... Ему показалось во сне, что он умирает, что это за него, за не могущего глаголати, говорит чей-то совсем незнакомый голос: «Через бурю напастей по житейскому морю притекаю к тихому пристанищу и молю тебя: спаси от глени живот мой... Уста мои молчат, но сердце глаголет: огонь сокрушающий возгорается внутри. Призри на мя свьше, милость Божия, увидев тебя, от тела отойду радуясь».

«Я умер, и это за меня, уже не могущего говорить, читают канон. Но если б я умер...»

Отец Николай проснулся с сильнейшим сердцебиением, вспомнил, где находится, и увидел в темноте колеблющийся язычок свечного пламени. Сосед-старичок в жилетке, надетой поверх вязаной шерстяной рубахи, только что умер, и ему еще не закрыли глаза. Три женские фигуры шевелились около, четвертым был тот, кто читал отходную. Голос был приятным, без хрипоты и испуга:

— «...прими в мир душу раба Твоего Андрея и покой ю в вечных обителех со святыми Твоими, благодатию единородного сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с ним же благословен еси, с Пресвятым с Благим, животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Отец Николай был потрясен тем, что увидел. Священник произнес «аминь» не громко, но твердо. Зыбкий свет от свечного пламени блеснул на миг в его спокойном и ясном взоре. Батюшка свернул епитрахиль и положил около нее Евангелие. Старая, но чистенькая фелонь растворилась в темноте, потому что свеча погасла, а свет от двух керосиновых фонарей, висевших у входа, не достигал даже середины собора...

Так было и на вторую ночь, а на третью все повторилось и на четвертую тоже, только в разных местах собора. Подпольный батюшка, вероятно, не успевал соборовать всех умирающих. Перовский вывозил их ежедневно возами. За пять дней Николай Иванович насчитал больше шестидесяти, а утром шестого дня в собор ворвался молодой, с наганом поверх дубленой шубы, за ним встали два красноармейца с винтовками. Три фигуры качались в сумерках.

— Кто тут ночью разводил панихиду?— звонко воскликнул веселый пришелец.— Ну? Не скажется сам, всех вытряхну на мороз! Хоть вы и куркули, а передохнете, как тараканы!

Собор замер, только плакал за иконостасом младенец.

— Подавай мне попа!— раздался новый крик.— Живо, живо! Пять минут сроку.

Тишина и темень в соборе стали еще страшнее, только плакал младенец.

— И чтобы все поповские причиндалы сюда! — снова послышался звучный молодой крик.

Николай Иванович сквозь сумрак видел, как у столпа зашевелилась груда чьих-то пожитков. Из-под стеганого одеяла показался человек с тонкой черной бородкой.

— Ну? Осталось две минуты!— послышалось снова.

Николай Иванович поднялся и вдруг громко, на весь собор воскликнул:

— Я поп!

Он сделал несколько шагов, мельком наклонился к священнику, прошептал:

— Быстрее, дайте мне фелонь либо епитрахиль!

Священник в темноте развязал один из узлов. Николай Иванович схватил фелонь, затолкал ее под полу своего непросохшего ватного пиджака и ступил ближе к свету и выходу. На стене собора колыхались тени стражей.

— Я поп,— повторил Перовский.— А вам-то что требуется?

— Идите за мной!

Все четверо исчезли за грохочущим и визжащим железом соборных врат.

Жизнь Николая Ивановича Перовского повисла на волоске. Он это чувствовал, ступая по снегу. Удивлялся собственному спокойствию. «Не я первый, не я и последний»,— рассуждал он и вспоминал страдальцев за веру.

Его усадили в его же розвальни и повезли за ворота. Сейчас он снова пытался осмыслить свое отношение к московскому местоблюстителю патриаршего престола и к вологодскому архиепископу. Дивился неправым делам, спрашивал сам себя. За что шибановцы прозвали его прогрессистом? А было за что... Да, живоцерковники предались новым властям, но чего вымолили обновленцы у власти? Пожалуй что и ничего, кроме нового разорения. Сотни пудов серебра выплавлено из иконных окладов под видом помощи голодающим. Ободрали с икон и драгоценные камни, священные сосуды из алтарей выкрали. Над мощами Сергия Радонежского надругались, как надругались над соловцами угодниками. Осквернены могилы, разрушены алтари. Теперь вот колокола скидывают. В Вологде запрещен колокольный звон. Говорят, что медь нужна на подшипники тракторам. Господи, какие подшипники? Металл звенящий славил Русь православную, врагов окольных далече гнал и отпугивал. Ныне плавят его на копыя вражды. Не таким ли копьем прободено тело Спасителя? И отцу Николаю стало невтерпех от стыда за свое прошлое.

...Ограда Духова монастыря была не высока, но упориста, ворота скованы прочные, стены собора и монашеских келий непробиваемы. Отца Николая полдня держали взаперти, так как Ерохин был занят.

Жизнь отца Николая висела на волоске, и он знал об этом. Но жизнь Ерохина тоже была под угрозой, но Ерохин не знал об этом.

И знать не хотел.

Восторг, испытанный им под Шенкурском, не выветрился никакими сквозняками в политике. Никакие несправедливости и ложные обвинения в правизне не остудили его горячую голову. Мало ли что бывает! Губком разогнан, губерния поделена на округа. Однако ж он, Ерохин, не был забыт, его взяли работать в ОГПУ. Пригодилось старое знакомство с Семеном Райбергом, который рекомендовал Ерохина Касперту и Прокофьеву. Теперь Ерохин вновь на переднем крае, ему поручено дело борьбы с поповской контрреволюцией...

У него было снова оружие и отдельный стол в общей комнате, Касперт уже сулил и кабинет, дело совсем за немногим. Хозяйственники подыскивали Ерохину подходящую «келью».

— Нил Афанасьевич, — доложил молодой румяный гэтэушник, — попа в Прилуках выявил и арестовал! Куда с ним?

— Сактировать, — спокойно сказал Ерохин. — Ликвидацию не затягивать.

В это время в комнату сперва заглянул, после зашел оживленный с мороза Райберг. Поздоровался, погрел руки о железную столбянку. Его белые бурки стучали по полу, словно копыта, пока не оттаяли.

— Кого это ты решил ликвидировать, Нил Афанасьевич? — спросил Райберг.

— Религиозный подпольщик. Выявлен в Прилуках, Семен Руфимович.

— Так-так... — Райберг опять погрелся о печку. — Через сорок минут у меня бюро окружкома. Может, успеем? Я бы хотел взглянуть на этого миссионера.

Ерохин крикнул.

— Я его еще не допрашивал, Семен Руфимович, но... пожалуйста. Он тут. Приведите попа!

...Отец Николай еле пролез между дверной створкой и косяком. Заполнив собою значительное пространство комнаты, он как бы с удивлением сверху вниз оглядел чекистов. Райберг, в свою очередь, с любопытством уставился на арестованного. Ерохин же, увидев совсем не того, кого следовало, был удивлен, но сделал вид, что так все и должно быть.

— «Блажен муж...», — улыбался Райберг. — Как там дальше у вас?

— «...иже не иде на совет нечестивых!» — добавил Николай Иванович.

— Значит, мы — это совет нечестивых?

— Истинно так! — громогласно произнес отец Николай. — Дожили...

— Как ваше имя? — Райберг сел на место Ерохина, забарабанил по столу сухими пальцами. — Вы что, действительно верите в бога?

— Не верил, когда служил! Ныне властью духовной не облечен, но верую. За грехи и великое бесчестье земли готов пострадать. Ибо есть Бог милующий, но он же и наказующий!

Райберг встал и сначала слева, потом справа оглядел Николая Ивановича. Недоумение в голосе Райберга не только не исчезало, оно нарастало.

— Милующий и наказующий... Но чем вы докажете недоказуемое? Я утверждаю, что нет никакого бога!

— Зачем же тогда вы боретесь с тем, кого нет? Сие утверждение лишено смысла.

— Мы боремся против невежества и мракобесия.

— Нет, это Христос восстал против невежества и мракобесия. Вы же восстали против Христа. И потому вы антихрист.

— Но есть право и лево. Вы считаете себя правым, но и я тоже считаю себя правым. Кто же из нас действительно прав?

— Ступайте сюда... — гудел бас Николая Ивановича. — Где ваша правая рука? Эта? Вы не станете утверждать, что она левая?

— Нет, не стану, — с легкой усмешкой произнес Райберг.

— Теперь взгляните на свой образ там, за стеклом...

Большое зеркало, реквизированное в дворянском особняке, стояло в углу комнаты. Отец Николай, глядя на Райберга сверху вниз, продолжал:

— Покажите мне правую вашу руку в зеркале! Видите? Там ваша правая стала левой! Вот в чем разница! — Голос Перовского гудел, набирался силы, в дверь заглядывали. — Вы антихристы, перевертыши! Вы обратное отражение живых и верующих! Потому вы и мертвы пребудете из века в век, что...

— Однако ж мне пора, — перебил Райберг. — Мы еще продолжим наш диспут.

— Нет, не продолжим! — рявкнул отец Николай, схватил Райберга за левый рукав и вновь потащил к зеркалу.

Райберг поспешно вырвался, ничего не сказал и скрылся за дверью.

— Ты, Перовский, нахал! — очнулся Ерохин. — Мы обкорнаем тебе бороду! Хотя бы в противопожарном отношении, но все равно обкорнаем!

Ерохин был доволен своим остроумием. Борода отца Николая действительно горела рыжим широким пламенем. Только с висков и около больших ушей она была подернута серым пеплом изрядно повившейся за последние месяцы седины.

— Садись и пиши! — Ерохин встал со стула. — Все пиши! Что видел, где был, с кем говорил, что делал.

— За старое, за новое и за три года вперед! — усмехнулся отец Николай. — Нет уж, избавьте, Нил Афанасьевич! Писаря из меня не получится... Это вы на все руки мастак: писать, стрелять, налог выскребать. Да что говорить, и скоморошить умеешь! Вон как в Ольховице выплясывал. Скреби, скреби! Кошка скребет на свой хребет.

— Молчать!.. — Приглушенный ерохинский мат оборвал отца Николая. — Я тебе покажу, где раки зимуют!

— А у рака с какого конца страка? — дразнил судьбу арестованный, чем окончательно вывел из себя начальника, который выхватил браунинг.

Когда Николая Ивановича увели, Ерохин с побелевшим от гнева носом заталкивал оружие в непослушную кобуру.

— Черт... Рыжий гад... — рычал он вполголоса и скрипел зубами. — Ну дай срок! Я тебя, гада, отправлю на тот свет. Недолго тебе осталось, дай срок...

Но все сроки были в иных руках, отнюдь не ерохинских.

В тот же день, вернее в ночь, ему пришлось спешно выехать в командировку. На станциях и разъездах, на дальних лесоучастках не хватало оперативников для приема раскулаченных. Эшелоны все прибывали с юга.

VI

Зима в тот год стояла необычайно мягкая, почти без лютых морозных окриков. Спокойно слетела она на землю, словно последняя посылная милость судьбы, потраченная временем из небесных, казалась, неиссякаемых источников справедливости и добра. Отголоском давно отзвучавшего всесветного звездного хора звенели короткие нехолодные дни. Но вот однажды в середине рождественского поста этот ясный, легкий северный звон начал стихать, истончился и вовсе сошел на нет. Воздух замер. И все звуки в мире исчезли. В лесных краях остуженные снежным холстом поля, зимующие холмы и распадки, осененные гривами сосняков, все эти тысячелетние глухие урочища, и мхи, и болота прислушались к дальнему печально-щемящему звуку, рожденному неизвестно кем неизвестно где.

И та печаль приближалась и нарастала, вскармливая сама себя.

Снежины косо полетели с небес. Широкие, плоские, вроде бы совсем не холодные, они падали так неторопливо и так густо, что живым существам на земле нечем стало дышать. Движения стали тяжелыми, будто в воде. Потом закружились, заметались по миру оскорбленные чем-то и как бы голодные ветры. Смешались снега, падающие сверху и поднятые с земли, закрубились в тесноте и во тьме.

Два дня и три ночи бесилась погода, на третий день улеглась. Ветер стих, враз уступил всю северо-западную московскую и новгородскую Русь тишине и морозу. Малиновый солнечный шар коснулся снизу сквозной юго-восточной лазури. Он всплывал из-за леса, уменьшаясь и плаваясь в золото. Этот слепящий золотой сгусток быстро отделился от горизонта. Вся лесная стихия приняла невиданно сказочный образ. Безбрежная, непорочно чистая голубая лазурь была там гуще, чем дальше от солнца. На другом небесном краю еще умирал палевый сумрак ночи. Месяц, ясно и четко оттеняемый этим светлым сумраком, бледнел над лесами, когда снега заискрились окрест. Ели, отягощенные белыми снежными клубами, изменили свои очертания, но безмолвствовали. Кроны старых сосен гордо остались сами собою, лишь молодую сосновую поросль вынудил снежный гнет: нежная, не окрепшая плоть там и тут напряглась в основаниях мутовок.

Белизна заставляла еще яростней зеленеть сосновые лапы. Пар непростывших влажных низин поднялся на уровень древесных вершин, и замерз, и рассыпался на свободных от снега березовых ветках. Несчетные россыпи мельчайших бисеринок засверкали на солнце. С последним колыханием исчезающего осеннего тепла все замерло. Мороз начал неспешно гранить, ковать, серебрить, лудить все, что имело хоть самую малую долю влаги.

Лесная речка, еще вчера бежавшая навстречу метели, начала сдавливаться серебряными зубцами. Прозрачный лед уверенно напознал на середину струи, сужая водяной ток несокрушимым ребристым панцирем.

И все вокруг бесшумно сияло, сверкало, искрилось от морозного света. Но едва поднявшись над лесом, едва успев разгореться, расплавиться слепящим своим золотом, великое наше светило начало краснеть и падать на дальние лесные верха. Розовое холодное полонье затопило четвертую часть горизонта. Лиловые зоревые крылья, переходящие в зеленоватую глубь темнеющего морозного простора, опускались все ниже. Правее, в созвездии Близнецов, блеснул своим красноватым глазом пробудившийся Марс — бог римских язычников, покровитель войн и пожарищ. Но этот блеск тотчас исчез, затерянный в мерцании бесчисленных звезд. И вот уже повисли над миром близкие и дальние звездные гроздьи. Они словно бы раздвигались и в глубинах темного неба вскрывали новые объемные гроздьи. За ними роились другие такие же, роились и раздвигались... Только месяц, горящий ярким желтым, но все же нездешним светом, казался совсем близким морозной лесной земле.

Царство безмолвного знобящего холода раздвигалось подобно звездам, захватывало глубины небес и земного пространства. Но откуда же мимолетно и тихо пахнуло вдруг березовым, неунывающе бессонным дымком?

Урочище называлось Сухая курья.

Сосновая грива, понемногу переходящая в густой болотистый ельник, дремала под звездами на невысоких горушках. А на склоне, около родника была срублена большая приземистая изба. Крытая берестой, прижатой тесаным желобом, она сгрудила на себя срубленные вокруг дерева, оказавшись на середине необширной поляны. Из деревянной трубы высоко в морозное небо отвесным столбом струился дым. Желтели запушенные инеем небольшие окошки. Невдалеке чернело конское стойбище: расколотые пополам сосновые бревна,

стоящие чуть наклонно и плотно прилаженные друг к другу, были зарыты концами в землю и составляли три стены. Сверху на еловых жердях была накинута хвоя. Внутри этой недоступной ветру времянки стоял сплошной и ровный, словно бы дождь, шум от хрупающих сено лошадиных зубов. Слышалось звучное и долгое конское фырканье, короткое всхрапывание либо глухие удары о землю кованых копыт. Дровни с подсанками стояли тут и там. Повсюду вокруг избы и конюшни были навалены кучи сена. Груда коротких грубо и крупно наколотых дров громоздилась у самых дверей. Эти скрипучие двери то и дело открывались прямо на белый свет, и вместе с теплым паром, а может, и с дымом вылетали на мороз всплески мужского хохота. Человек в накинутах на плечи шубе на скорую руку хватал охапку сена и тащил своей лошади, роняя с плеч шубу и крикая. Затем проворно нырял опять в избяное тепло.

Коней в конюшне стояло десятка два, в избе скопилось столько же мужиков. Стены были увешаны просыхающими хомутами, седелками, вожжами и рукавицами. (В бревна нетесаных стен было вделано множество березовых штырей, называемых деревянным гвоздем.) По двум сторонам сколочены сплошные нары, устланные сеном. Коегде в изголовьях имелись холщовые, набитые мякиной подушки. Мешки, корзины и гнутые фанерные чемоданы с провизией заполнили место под нарами, а на самой середине избы, словно горн в кузнице, возвышался сложенный из больших валунов круглый очаг. Над очагом висел широкий, сделанный из кровельного железа капюшон, суженный кверху и переходящий в деревянную трубу с деревянной же поперечной задвижкой.

Березовый бездымный и жаркий огонь давно вскипятил воду в чугунном котле, вычерпанном и сдвинутом теперь в сторону от огня. Шибановские, ольховские и прочие лесорубы сидели кто как вокруг тагана, вернее вокруг лысого усташенского старика бухтинщика Ивана Апалоновича Тяпина, обладавшего непечатным прозвищем. Усташенские, жившие на восьмой версте в такой же избе, привезли его на один вечер в обмен на Киндю Судейкина. Старик без усталости плел бывальщины и бухтины:

— А вот когда я помоложе-то был, меня весь женский пол очень уважал. Бывало, идешь куды либо конному, из всех окошек девки и бабы меня уж стеклят, в рамы стучают: «Апалонич, далеко ли? Приворачивай чай пить». Я, конечно, не каждой и откликаюсь, с разбором. У одного окошка по лошаде хлесть — и дальше, у другога приостановишься. Это пока жонки не было. Ну а кожды поджегился, тут уж дело иное...

— Да какое иное-то? — не утерпел шибановский Жучок, но на него тут же зашикали.

— Афришка Дрынов не даст соврать, он свидетель! — продолжал рассказчик. — Поехал я раз на мельницу, на рендовую-то... Было два мешка молоть да три толочи. Жонка наказывает: мели да толки при себе, домой впусе не уезжай, чтобы муку-то у тебя не ополовинили. Мельник Жильцов ковал жернова, мне навстречу выхрамывает: «Воды нет, колеса сухие». Оставляй, говорит, дня через три смелю. Я ему поперек: жонка велела молоть при себе, впусе не уезжать. Жильцов говорит: «Ну, Апалонич, твоя жена тебя оманывает». Это почему? А потому, что она тебя нарочно из дома послала. Я, грит, и об заклад готов. Вон ежели не так — вся рендовая твоя! Ладно. Запирай, говорю, мешки, поехали на проверку. Дело ночное, позднее. Приехали мы в нашу деревню, глядим — и правда, в окне огошек. В моем дому халь в гостях. За самоваром сидят, любезничают. Вижу, она огонь в лампе увернула. Горело-горело да и погасло. Ворота изнутри заложены. Жильцов говорит: «Знаешь какой-нито лаз, чтобы в дом без стуку забраться?» «Знаю, как не знать». «Заскакивай в избу и кричи: жена, дуй огонь». А я, грит, двери припру с улицы, чтобы полюбов-

ника в плен захватить. Так и сделали. Я в избу вскочил и кричу: «Жона, дуй огонь!» «Да ты что,— она говорит,— с ума-то сходишь? Ложись да спи, карасину и так в обрез». «Сказано — дуй!» Она лампу зажгла и говорит: «Ну вот, будет у нас теперь неладно. Сказывай, какой ты есть начальник?» Я говорю: «Я в начальниках не бывал и не буду, и в роду никого начальников не было». Она к Жильцову, к мельнику: «Ну а какой ты начальник?» «Никакой я не начальник, и в роду не было». Жонка товды к полюбовнику: «Сказывай, какой ты начальник?» Тот в ответ: «Не бывал и не буду. И в роду никого не было». Жонка тут голос повысила: «А у меня в роду бывал волостной староста! Я и буду вас всех троих судить-рядить». Взяла огонь, вышла в сенник, надела там крытую шубу. Села за стол и начала нас допрашивать. Меня первого: «Ты с каким прощением?». Я говорю: «Жил с женой дружно, никаких промез нас кляуз. Поехал молоть, а воды мало, а мешки оставлять не велено. Вот и сбился с мельником об заклад. Ежели жена курва, отдаю ему две телеги с хлебом. Ежели нет, так он мне всю рендовую». Жонка одну пуговицу на шубе расстегнула. «Как ты смел, негодяй, в залог удариться? Кабы жена у тебя была изменница, пропали бы два воза с хлебом. Оставил бы ты ее без хлеба, насиделись бы голодом. Дать ему за то двадцать горячих! — Потом к мельнику: — А твои какие претензии?» «А я,— мельник грит,— ковал жернова. Воды мало. Апалоныч приехал молоть, я сбился с ним на всю рендовую мельницу, на два постава». Она говорит: «Ах ты подлец такой! Ведь ежели бы у его жена оказалась такая, ты бы пробил не свою мельницу. Какое право имел? Дать ему пятьдесят горячих! — После этого вопрос к полюбовнику: — А у тебя, гнилые портки, какая к судье тяжба?» Он говорит: «Пришел я на огошек к мужней жене, потому как муж Апалоныч был на мельнице...» Судья как гаркнет: «Ты почему, сукин сын, на такой грех осмелился? А ежели бы на тот час да муж приехал! Ведь он бы тебя убил. Долго ли до уголовного дела? Даю тебе семьдесят пять горячих, чтобы вперед неповадно! Суд окончен, обжалованью не подлежит». Жонка двери в избе настезь и всех нас выставила.

Слушатели завершили рассказ таким шумом, что спящие перестали храпеть и перевернулись с боку на бок.

— Вот до чего остра!

— Ну, Апалоныч,— прокашлялся Жучок,— гли-ко, какого суда сподобился.

— Ну а чего Совочик-то? И ночевать не пустили? — спросил Ванюха Нечаев про мельника, когда компания начала затихать.

Но Апалоныч не слушал вопросов. Довольный собой, он, ничуть не мешкая, на ходу подбирался к новой бухтинке:

— А то на днях пошла за водой на колодец да суседку на тропке и встретила. Суседка с полными ведрами, моя с пустыми. И до чего оне досудачили, что у обеих снег под ногами до самой земли протаял! За это времё у моей-то ведра дочерна оборжавели. У той вода до капельки высохла, а до самых главных вопросов еще и не добрались, судят пока предварительно...

Павел Рогов слышал сквозь сон добродушную речь Апалоныча, лежа под теплым тулупом между Ванюхой Нечаевым и Володею Зыриним. Зырин давно спал, а любопытный Нечаев не сомкнул глаз, все сидел и слушал усташенского бухтинщика. Павел работал в лесу на пару с Нечаевым на его, нечаевской, лошади. С утра валили хлысты, обрубали сучья, затем накатывали, и пока один отвозил дерево к реке и сдавал десятнику, другой успевал обкорнать хлысты и подготовиться к новой езде. Но кобыла была жеребая, возили по одному дереву. Ванюха долго раскачивался, зато когда входил в раж, его надо было останавливать, забывал в работе про все, в том числе про себя и кобылу. Вот и он повалился на нарах, усталость взяла свое. А голосок Апалоныча все журчит да журчит, будто вешний ручей. Уже

совсем немного осталось бодрых слушателей, уже и в таганок никто не подкидывает. Угли краснеют, покрываются белой пепельной бахромой. Треснул мороз. Кто-то долгой клюкой задвинул под потолком трубу. Легкие судороги пробежали по рукам и ногам. Отдых, отрадный и сладкий, охватывал Павла, дрема ласковой занавеской отделила от него и эти красные угли и обвешанную хомутами стену. Голос рассказчика звучал где-то далеко-далеко, будто Апалончыча отодвинуло за тридцать земель...

Но рассказчик обязан был говорить, пока не спал хотя бы один лесоруб. Шибановский Жучок, укладываясь, вроде бы дал старику передышку:

— Оне, бабы-те, у тебя хоть на улице. А вон у нас Игнаха Сопронов загонит народ в помещенье — и двери на крюк. Говорит по целому дню, на волю не выпустит. Сидишь, бывало, сидишь, да чево-нибудь и приснится.

Последние слушатели улеглись, и только тогда Апалончыча тоже начал устраиваться. Но и лежа еще долго продолжал говорить. Павлу хотелось расхототаться во сне. Жена Апалончыча в судейской шубе ухватом выставляла из печи посуду. Сквозь сон все журчал голосок Апалончыча, она же выставляла посуду, но вместо нее оказалась жена Вера, тоже в шубе с борами. Сердце Павла Рогова сладко заныло. Жена будто бы вышла из кути, а он, Павел, спал в нижней дедковой избе. Вера пришла к нему за перегородку и будит, расталкивает его, смеется, а у самой брюхо не вмещается в дубленую шубу с борами. «Паша, да проснись,— шептала она,— пробудись, ради Христа, ведь это я...» Он очнулся:

— А? Што?

Вера стояла с горящей лучиной и трясла его за ногу. Он вскочил босиком на земляной пол, обнял ее.

— Откуда взялась-то?

— Ой, унеси водяной! Завертка лопнула, еле доехала... Сена вот привезла. Тятя свернулся: поезжай да и только. У мужиков, говорит, сено кончилось и самим, наверно, жевать нечего... Ивана Нечаева тятя велит отпустить.

От нее пахло морозом и сеном. Павел еще раз прижался к ней, ощутил округлость ее живота. Встрепенулся, нашел валенки.

— Да как? С заверткой-то?

— Выпрягла да. От вожжины конец отрубила. Кое-как оглоблю припутала.

— Пойду погляжу... А ты вались на мое место и спи.

— Да я уж выпрягла Карька-то,— шептала она в темноте.— Нако корзину-то...

Павел под нары задвинул корзину-пирожницу, накинул на плечи шубу, вышел на холод.

Небо, фиолетовое до черноты, опрокинулось над избой своей безбрежно звездной чашей. По звездам, время шло часам к трем. Карько, распряженный, но в хомуте, стоял у сенного воза белый от инея. Конь всхрапнул, узнавая хозяина. Павел отвязал его, обтер санным жгутом и провел в конюшню. Поставил к нечаевской кобыле и принес большую охапку сена. Звезды роились. В лесу несильно треснул мороз. Дверь избы опять закрипела. Жучок в одних портках, в валенках на босу ногу, но в шапке и в балахоне выскочил на мороз. Он торопливо помочился, оглянулся и вдруг подскочил к сенной куче Акиндина Судейкина. Нагнулся, взял большое беремя сена и, так же торопясь, понес своей лошади. Павел громко откашлялся. Жучок вместе с ним подбежал к дверям избы.

— Пашка, это... Не говори никому! Ради Христа...

— Не христарадничал бы, Северьян Кузьмич.

Жучок схватил за руку.

— Ради Христа, не сказывай!

Павел выдернул руку, с усмешкой хмыкнул:

— Ты бы хоть по очереди да через ночь... А то берешь у одного Кинди Судейкина...

Оба враз запрыгнули в избяное тепло. Жучка как бы и не было, он исчез. Павел в темноте пробрался к своему месту, забрался к жене под тулуп. Вера не спала, начала шепотом говорить о шибановских новостях.

Самая главная новость: старик Носопырь опять всерьез посватался к Тане, да бесполезно, ушла по миру. Еще собирали сход, чтобы сбросить с церкви колокол, но старики отстояли, а в Ольховице уже и балки на колокольне подпилены. Павел боялся спросить про мельницу.

— Дедко-то... — ворковала Вера с беззаботной доверчивостью. — Толчи толчет, а молоть без тебя боится. Птицу деревянную сделал, чтобы витер показывала... Ванюшка по утрам глядеть бегаёт, куда хвостом повернулась...

Он спрашивал ее о чем-нибудь, а сам и не ждал ответов, она говорила сама, знала, что ему интересней всего. На сгибе руки он держал ее голову с большой коковой родимых, пахнувших баней волос. Стены теплой избы трещали от наружного холода. Лесорубы храпели в темноте, сопели, ворочались перед утром. Апалонич даже во сне бормотал что-то своей ровной скороговоркой.

Павел не мог больше уснуть. Он дождался, когда Вера начала спокойно и глубоко дышать, потихоньку высвободил руку и выбрался из-под тулупа. Открыл задвижку, подул на угли и растопил огонь. Он оделся по-настоящему, подпоясался ремнем, взял ведра, сходил на родник, подладил на тагане огонь и вылил воду в котел. Пора было уже и поить лошадей, но вся изба спала, наслушавшись вчерашних бухтин. Он вновь пошел к роднику, обрубил ледяные наросты с длинных деревянных колод, из которых пили лошади. Снял с колодезного обруба хвою, положенную для тепла, и начерпал воды в колоду. Мороз тонким ледяным панцирем тотчас схватывал воду. Кто-то из мужиков, громко понукая, уже выпускал из конюшни первую лошадь. Потом двери избы заскрипели чаще, звезды на небе начали тускнеть и гаснуть...

В избе просыпались то в одном углу, то в другом. Огонь в очаге, освещая сонные лица, горел в полную силу.

— Робята, — послышался чей-то хриплый от сна голос, — человек-то с вечера был Пашка, а утром Верка. Вот чуда-то! За одну ночь из мужика получилась баба.

— И правда! Нет, ты погляди! Ивановна, ты ли это? — Нечаев не верил глазам. — А я думаю, Пашка под боком-то. Вот до чего долесничил.

Смушенная Вера достала из привезенной корзины рукотерник.

— Иди-ко лучше водицы полей!

Нечаев ковшиком у двери полил ей на руки, она умылась наскоро.

— Ишь! — восхищался Нечаев. — Мы тут как медведи, редко и моемся. Уж три нидили дома-то не был, в баню охота! Ты мою жонку не видала ли?

— Видала, видала! Вон поклон от ее привезла! — Вера подала Нечаеву пироги, завязанные в холщовую скатерть. — А на возу молоко мороженое.

Кто варил пшеничную кашу, кто картошку. Чугунки облепили таган. Двери поминутно скрипели. На улице заржал напоенный Ундер, порученный Киндей Володе Зырину, пока хозяин коня веселил усташенских лесорубов. Мужики уважительно, по очереди спрашивали Веру о своих, выпытывали, варят ли старики пиво на Николу, какова дорога, вывезено ли сено с дальних полянок.

— Апалонич, а ты чего спрятался? — сказал повеселевший Воло-

дя Зырин.— Давай хоть ко мне причаливай. Только у меня, кроме то-локна, один сущик.

— А и ладно, сицяс пост,— проговорил Апалоныч.— Я сущику-то давно не хлебывал.

— Мужики, дайте ложку взаймы Апалонычу.

— А вот загадку отганет, так дам,— сказал Новожилов.— Скажи, Апалоныч, ворона два года прожила — чево будет?

— Будет ей третий годик,— сказал Апалоныч.

Мужики одобрительно крякнули, начали хвалить старика. Завтракали, пили простой кипяток, мочили сухарики. Обжигаясь, дули в кружки.

Павел кувырнул сено с дровней, поставил их на бок и разрубил замерзшую веревочную завертку. В избе на штыре имелись у него настоящие запасные. Он сходил, взял березовое кольцо, распустил его в длинную витую вицу и сплел его снова, но уже на копыле дровней. Затем вставил в него конец оглобли и туго, со скрипом завернул на три четверти оборота. Оглобля как тут и была.

Светало. Вера, едва попив кипятку, начала собираться в обратный путь. Надо было сменить нечаевскую кобылу, а Карька оставить. Пусть Нечаев как хочет, а он, Павел, решил не ехать домой даже и на Никольской неделе... Нечаев собирался ехать, оттого и смущался:

— Это... В баню схожу и приеду.

— Давай-давай! — успокоил его Павел.— Съезди, а после я. Авось не арестует Сопронов-то. Скажи там отцу да деду, что дело идет... Кубометров вывезли больше сотни. Ежели Карько не подведет, вывезу до крещенья и еще столько... А там уже немного и останется. Позжай...

Нечаев привязывал к дровням свой гнутый из фанеры чемодан.

На людях долго прощаться было стыдно. Вера уселась поудобней спиной к Нечаеву, он разобрал вожжи. Через минуту они были далеко от избы. «Как привиделась,— подумалось Павлу.— Ну да пусть... К вечеру дома будут».

Мужики запрягали коней, совали за кушаки топоры, распутывали веревки подсанок, клали на дровни колодки и пилы. Полозья неистово и надсадно скрипели от холода. Перед тем как разъехаться по делянкам, спохватились:

— Стой, робятушки, а куда Апалоныча-то?

— Пускай заместо дневального,— сказал Африкан Дрынов, мужик из чужой волости.

— Нет, не дело, чево ему одному?

— И Киנדю Судейкина обратно надо бы привезти. Обменять, как уговаривались.

— Давай жеребей, кому ехать,— предложил Зырин.

Апалоныч сидел в избе с виноватым видом, приговаривал:

— Да ведь я что... Я уж, ежели, и сам добежу.

— Сиди! Добежу! — сказал Зырин.— Тут верст шесть с гаком.

— Как привезли, так и свезем.

— Сколько нас? Давай спички, отсчитывай...

Зырин отсчитал спички, отвернулся, зажал между большим и указательным пальцами.

— Вот! Горелая везет!

Шибановцы начали тянуть жребий, четвертым или пятым по счету подошел усташенский мужичок в ватных штанах, Кошкин. Он-то и вытянул из зыринского кулака горелую спичку.

— Ну, братцы, опеть мне! — искренне огорчился Кошкин.

— Да пошто опеть? В тот раз, когда за махоркой ездили, я вытащил. А начальника вон Колюха возил.

Но Кошкину почему-то казалось, что не повезло опять ему.

— Такая уж у меня планида. Да я свезу, мне недолго. Кабы мерин-то у меня пошел. У меня мерин Гриня...

Апалоньча с почетом посадили на дровни Кошкина. Сам Кошкин подстелил на колодку сенца и расправил вожжи. Его не больно откормленный вислозадый мерин прижимал то одно ухо, то другое. Володя Зырин хлопнул рукавицей по крестцу.

— Пошел!

Но мерин никуда не пошел. Он вдруг расставил задние ноги и выгнул спину. Из-под его заиндевелого брюха зашумела оранжевая струя, выбившая в снегу большую пенистую воронку.

— Вишь когда ему приспичило,— сказал Володя.— Заморозишь у нас Апалоньча-то. Пошел!

Мерин справил свои дела, но с места не сдвинулся. Напрасно взыкал и шевелил вожжами встревоженный Кошкин.

— Он чево, с норовом у тебя? — подскочил Зырин.

— Ох, лучше не говори! У цыгана купил на свою шею. Гриня, ты што? На восьмую версту не хошь?

Кошкин слез с дровней, погладил мерина, потрепал за гриву. Опять сел на дровни и присвистнул. Мерин, однако ж, не слушал хозяина. Мужики окружили подводу.

— Чево-то ему не хватает. Стоит.

— Ему дрына хорошего не хватает, вот и стоит,— сказал Жучок.

— Бывало ли раньше-то?

— Бывало, как не бывало! — в сердцах отозвался Кошкин.— Опозорил, подлец, опеть опозорил мою голову...

Кошкин раскрутил вожжи и сильно огрел мерина. В ответ мерин лишь отмахнулся хвостом. Апалоньч слез с дровней.

— Кошкин, ну-к дай мне вожжи-то,— попросил Зырин.— Точь-в-точь как савватеевская кобыла.

И тут все сразу вспомнили норовистую кобылу Саввы Климова, которую пришлось променять цыганам. Дело случилось, как рассказывали, еще до стольпинских отрубов. Савва поехал однажды за сеном, навил большой воз, а кобыла при выезде на большую дорогу заупрямилась. Савва бил ее, понукал, уговаривал, но лошадь оказалась упрямей его. Мимо будто бы ехал торговец дегтем и скипидаром. Он-то и выручил Климова. Кобыле под хвостом мазнули скипидарной мазилкой, кобыла дернула и понеслась с тяжеленным возом. Савватий видит, что воза ему не догнать, говорит торговцу: «Помажь-ко и мне!» Помазали. Савватий подскочил и бежать. Кобылу с возом он будто бы догнал, но пробежал мимо и шпарит дальше в деревню. Дома стучит в окошко: «Матка, матка, лошадь с сеном прибежит, дак ты выпряги, а я еще маленько побегая». И побежал Савватий Климов дальше, в деревню Залесную...

Пока вспоминали случай с кобылой Саввы Климова, мерин тоже отдыхал и, вероятно, копил упрямство: при очередном хлестком ударе по тощей его ледве он только слегка покосился на лесорубов.

— Вишь ведь бес, что делает! — сказал Жучок сиротским своим голосом.— Ну точь-в-точь как ты, Новожилов. Такой же упорный, ей-богу.

— Это когда я был такой упорный? — окрысился Новожилов.

— А когда в колхоз-то тебя ташшыли. Помнишь? Ташшыли, ташшыли, так и отступились...

Павел Рогов и Зырин взяли по толстой вице и встали по бокам упрямого мерина.

— Садись, Кошкин! Держи вожжи-то...

Они начали хлестать мерина по заднице, но Гриня только вздрагивал, да храпел, да вскидывал голову. Он пробовал даже пятиться.

— И чего ты такого дурака сеном кормишь? Давно бы надо на живодерню!

— А по псе и поминки бы все! — согласился Кошкин.

— Робя! — крикнул Зырин.— А давай его на буксир. Выводи Ундера, Судейкин не рассердится. За ним же и ехать...

— А что? Можно. Кошкин, ты сам-то чего думаешь?

Расстроенный Кошкин только плюнул:

— Что ты! Пустое дело, и паровозу не утащить, не то что Ундеру...

Гриню манили сеном, соленой горбушкой — ничего не помогало. Толкали сзади, он щеперил передние ноги, становился в упор. Время шло. Уже совсем рассвело. Тут Апалонич шепнул вдруг что-то на ухо Кошкину. Тот хмыкнул, поперетаптывался и побежал в избу, вытащил из-под нар свою пустую, плетенную из лозы корзину, где хранил сухари. Нарочно долго прилаживал ее к дровням... Разнузданный мерин косил назад беспокойным, но цепким глазом.

— Ну, с богом! Домой, Гринька, домой! — сказал Кошкин и чуть-чуть шевельнул вожжами.

Апалонич еле успел упасть в дровни...

Многие лесорубы стояли разинув рты, все забыли про своих лошадей. Кошкина с Апалоничем как будто и не было.

— Вот ведь... — пришел в себя Новожилов. — Животина, можно сказать, бессловесная тварь, и та знает про дом. А я что? Хуже мерину? В баню хочу!

И Новожилов хлопнул оземь своей собачьей шапкой.

— Пускай бы Сопронов сам сперва уши коптил!

— Все, братчики! И я поехал домой! — заявил Жучок.

— Видали мы эту Сухую курью! — ругнулся Зырин.

...Лесная изба за какие-то полчаса затихла, выстудилась и опустела.

В конюшне Ундер тоскливо переступал с ноги на ногу, вострил большие, как рукавицы, уши.

Павел Рогов, не зная, что делать, гладил длинную морду Карька. Прислушался. Крики лесорубов и скрип полозьев еще доносились из леса. Кто-то шпарил на морозе частушки:

Сталин Трочкуму сказал:
Пойдем-ко, милой, на базар,
Купим лошадь карюю,
Накормим пролетарию...

Вторая частушка прозвучала неразборчиво. Павел задумчиво покачал головой, распряг Карька, поставил его поближе к Ундеру. Кинул обоим самолучшего, с клевером и мышьяком, сенца.

Ехать в делянку показалось совсем не к месту... Он вошел в избу, подкинул дров на очаг и стал ждать Кошкина, который посулил привезти Киндю Судейкина.

Как будто Судейкин-то знал, как дальше жить и что затевать!

VII

Кошкин привез-таки Судейкина, но возить лес опять не пришлось: на завтра Сухую курью приказали очистить для украинских выселенцев. Их ждали с часу на час. Лесорубы Ольховской волости переехали в лесопункт на восьмую версту. Их поселили в одном бараке с усташенцами. Ездить в делянку стало намного дальше, но что было делать? Пришлось привыкать и к шумной усташенской молодяжке, которая приехала на участок с гармоньей. В бараке что ни день — дым коромыслом. Плясали, а то до полночи играли в карты. Павел Рогов не высыпался все эти дни. Из шибановских лесорубов работали в лесу только он с Киндей Судейкиным да Жучок.

Володя Зырин с Ванюхой Нечаевым как уехали, так больше и не показывались. Еда опять была на исходе. Правда, на восьмой версте вместе с двумя бараками имелись еще пилоставка, баня и ларек, торговавший соленой треской и кое-какими сладостями. Но вся беда — денег не выдавали, а не выдавали потому, что сбежал десят-

ник. Нового не прислали, и за десятника был теперь сам Лузин, начальник лесоучастка. Он и хлысты клеймил, и кубы высчитывал, и в приказах он расписывался, но денег не выдавал. Может, их просто у него не было. Правда, в ларьке отпускали в долг, под запись, но Павел не хотел быть должником. Да и треска давно уж поднадоела. Это еще полбеда, беда целая в том, что сена осталось всего на неделю.

Однажды в честь воскресенья работу закончили раньше. Пошли давать лошадям, и Акиндин Судейкин доверительно взял Жучка за локоть:

— Давай уж, Северьян Кузьмич, по очереди: ты у меня по ночам таскаешь, а я у тебя буду днем. А иначе мне своего Ундера не прокормить, он вон как жорет.

Судейкин сгреб порядочное беремя Жучкова сена и поволок Ундера. За ним нога в ногу ступал Жучок, беспокойно покашливал.

— Ты, Акиндин, это... не сказывай людям-то.

— Да люди — что люди? — не возражал Судейкин. — Им не надо и сказывать, оне все видят...

Павел слышал этот разговор и едва не фыркнул, удержал в себе готовый вырваться смех. Завернул подальше за угол барака, чтобы не смущать Жучка.

В бараке тоже творилось непонятно что. Усташенские лесорубы устроили выходной или забастовку, а может, то и другое вместе. В одном углу играли в очко, у дверей плясали под гармонь. Пока шибановцы обедали и пили кипяток с ландрином, стало ясно, к чему идет дело. Парни выворачивали полушубок, еще двое размалевывали углем берестяную личину.

— Тронулись, — удивлялся Жучок, — ведь святки давно прошли.

— Усташенцы, что с них возьмешь, — сказал Судейкин, переобуваясь. — Им что пост, что масленица.

Павла тоже так и подмывало что-нибудь сделать, сплясать либо там еще что-нибудь вплоть до святочной рожи. Пока все вертелось вокруг Апалоньча, который с переездом на восьмую версту шибановского Судейкина совсем завял. Не каждый хотел слушать его длинные сказки, зато стихи и частушки Кинди Судейкина покорили усташенцев. Да упрям был и сам Апалоньч, ни за что не хотел признать своего поражения! Вот опять он торощится, торопится рассказать:

— Учуял я, что за морем мужи дороги, коровы дешевы. Наимал мух два мешка, поехал за море. Муж продал, накупил коров. Гоню их домой, а море не застыло. Как делу быть? Вплавь пустить — коровы потонут. Я взял мутовку, сунул корове в ж... Накручу на мутовку сала, кину в море. Накидал много, от сала море застыло. Коров перегнал по морю, остался один бык. Тут витер подул, море тронулось. Как делу быть? Быка на той стороне оставить не дело. Я схватил быка за фост, не за рога, раскрутил вокруг себя и фурунул на эту сторону. Бык через море перелетел и я за им. Я от хвоста-то не отпустился. Дома чем коров кормить? Я овса насыяв, каши овсяной наварил, размазал ее на поже. Налетела всякая птица и давай кашу клевать, а в когтях у птич трава, наносили мне сена много зародов..

Апалоньча мало кто слушал, всего человек пять. Но старик упрямо держал свою марку:

— Повез я сено, да в ляге завяз. Хлеснул по лошаде, лошадеь сдохла. Я ее снимал, из кожи вырезал ремень. Один конеч к возу, другой притащил к гумну, за угол привязал. Я овин зажег, ремень от жары скручивает, телегу к гумну ташшыт. Потом чую: на небе у всех богов нет сапогов. Нарубил я дров, зарезал коров, съел яишницу, сделал на небо лисницу. Прорубил дыру тож, натащил наверх коровьих кож, большим богам сшил по сапогам, маленьким божкам сшил по сапожкам... Полез обратно, глянул — а внизу негу и дна, лисница обрана..

О том, как Апалоньч вил мякинную вервь и слезал с неба, никто не слушал, все сгрудились вокруг ряженных. Толстый, маленький рос-

том усташенец нарядился чертом, а длинный парень ведьмой. Цветастое лоскутное одеяло было превращено в юбку, на голове по-старушечьи завязали платок. Ведьма сильно нарумянилась давленной клюквой. Черт тащил ее по бараку и сватал за лесорубов: «Она у меня цесная девушка!» «Девушка» смущенно поеживалась и отворачивалась, изображая стыдливость. Когда она задирала подол своей юбки, обнажались ноги в подштанниках, и женихи один за другим отказывались. Тогда черт посватал ее Апалонычу.

— Возьму,— сказал старичок уважительно.— Ежели в голове умеет искать.

«Невеста» начала искать у Апалоныча в голове, потюкала по его лысине и басом сказала:

— Нищего нет.— Сунула промеж ног березовую метлу и поскакала с криком: — Не хою старика, хою нацяльника! Не хою старика, хою нацяльника!

Павел видел, как в общей кутерьме, в криках и хохоте черт начал стегать «невесту» широким красноармейским ремнем. Она взвизгивала и подскакивала, а он стегал да приговаривал:

— Ох, не бывать тебе замуж, дура ты лешева!

— А пошто не бывать? — включился в игру Судейкин.— Девка хорошая.

— Она, вишь, больно разборчивая,— по-сиротски сказал Жучок.— А начальников ноне мало, на каждую-то не напасешься.

— Да может, за Степана Ивановича пойдет? За нашего-то?

— Нет, не пондравится ей и Степан Иванович. Больно скуп.

— А что, надо попробовать... — сказал черт, и тут ведьма запрочитала, чуя конец своего девчества.

Взыграла гармонь. Ватага усташенцев выпросталась на мороз. Пошли «сватать» начальника лесоучастка Лузина...

Степан Иванович Лузин жил в соседнем бараке холостяком, семья оставлена в Вологде. К бараку была прирублена с одной стороны контора, с другой через холодный коридор — ларек. Небольшая комната-боковушка с двумя окнами и отдельной печкой отгорожена досками. Она примыкала к сушилке, где денно и ночью прели, сохли рукавицы, шубы, хомуты, вожжи, портянки, ватные брюки и всевозможные валенки. Лузин вначале особенно страдал от этого прелого запаха, но постепенно привык. После разгрома Вологодского губкома он едва-едва удержался в партии. Его дважды публично обозвали стойким, последовательным бухаринцем, но разворачивающиеся лесные дела сперва заслонили троцкистскую травлю, потом захлестнули новое руководство. Лузин, сам не зная как, уцелел и очутился начальником лесоучастка.

Пока ряженные шли до большого барака, их горячность остудило морозом, пыл у черта ослаб. Он первый вывернул шубу, а личину бросил в печной огонь. Ведьма сволокла с головы бабий платок. Парень вернулся в барак, скинул лоскутное, подпоясанное веревкой одеяло, быстро надел штаны и побежал догонять остальных.

Павел с Киндей Судейкиным почувствовали, что на этом дело не кончится. Они оделись и тоже прошли в соседний барак. Усташенцы приглушили гармонь, когда Степан Иванович вышел из боковушки.

— Здравствуйте, товарищи! — Он вынул из кармана блокнот.— В чем дело? Почему рано шабашите?

— Поплясать прибажилось, товарищ начальник,— сказал бывший черт.— Денег нету ни гроша, да зато поет душа.

— Да, денег пока нет, берите что надо в долг.

— Да там одна треска.

— Табаку и того нету,— добавил кто-то.

Лузин сквозь толпу, скопившуюся у дверей и в проходе между нарами, пробирался к центру, вернее к передней стене, на которой

между окнами висела большая, покрашенная черным фанера. Она была разделена графами поперек на шесть частей. Перед каждой графой слева красовалась наклеенная картина. Первым стоял самолет, ниже его поезд, в третьей графе бегущий северный олень, ниже оленя пешеход, еще ниже змея, а под ней в самом низу значилась большая крашенная улита.

На восьмой версте работали люди из шести деревень. Через каждые пять дней на фанеру вписывались мелом названия всех деревень. Ах, знал-таки Степан Иванович, чем разбередить русскую душу! Каждую пятидневку десятник вставал с мелом к доске. На весь барак он громко выкрикивал название деревни: «Усташиха!» И весь барак затихал, пока Лузин искал в своем блокноте цифры о вывезенных к сплавной реке кубометрах. «Самолет!» — объявлял он, и весь усташенский угол начинал торжествующе и одобрительно кричать. Если же усташенцы попадали к «улите», то они виновато, как провинившиеся школяры, молчали и уходили подальше с глаз.

Ольховицу и Шибаниху проставляли на доске весь зимний сезон, проставляли Залесную и остальные деревни. Особенно сильно ревновали друг дружку Усташиха с Ольховицей. Они всю зиму и ехали то в «самолете», то в «поезде», сегодня же вдруг Усташиха сравнялась с «улитой», а на самом верху, где летел «самолет», Лузин вписал Шибаниху.

У Павла даже дух захватило. Он и не знал, что так приятно быть впереди всех.

Лесорубы шумно обсуждали это событие.

— Ты гляди, шибановцы!

— Шибанули всех выше.

— А Усташиха-то что?

— Курят с утра до паужны!

— Палить оне мастера.

— Наврано! Я вчера десять хлыстов вывез.

— Как не стало десятника, так и начали путать!

Лузин весело отбивался от обиженных усташенских лесорубов, пробирался к выходу. Только ему было ясно, что вчерашние кубометры, не записанные усташенцам в пятидневку, все равно не спрячешь, их придется записать в следующую пятидневку. И тогда усташенцы снова окажутся впереди всех...

Павел знал, что свою норму он давно выполнил, что вывез свое и Ванюха Нечаев, работавший в паре. Можно было ехать домой, но ехать один, без Жучка и Судейкина, он стеснялся. Сегодня же после усташенских святок ему нестерпимо захотелось запрячь Карька и, свистнув, уехать с восьмой версты туда, домой, к жене и сыну, к своей бане, к мельнице... Шутка ли — всю осень в бараках! Да и тревога сочилась откуда-то из нутра: как там отец и тесть, что с колхозом? Говорят, Кузёмкина уже сняли, а кто поставлен вместо Кузёмкина? Ежели переписали у всех семена, фураж и остальное зерно, то чем кормятся? У кого ключи от амбаров? Брат Васька домой в отпуск сулился. Может, уже приехал...

Павел Рогов решительно двинулся в конторку, куда прошел из барака начальник лесоучастка. Степан Иванович отбойривался от наседавших усташенцев:

— Да что вы, ребята, как маленькие? Ну вчерашнее не попало в сегодняшнее — попадет в завтрашнее! Не все ли равно?

— Не все!

— Поезд — это вам что, худо, что ли? А на самолете я и сам еще ни разу не летывал.

— Перепиши, Степан Иванович!

— Нет, не перепишу! Когда обгонишь шибановцев, тогда и перепишу. Вот он, спросите его, как хлысты обкарнывать.

И Степан Иванович указал на вошедшего Павла.

Не желая учиться обкарнивать, усташенцы вышли из конторы. Лузинские глаза смеялись.

— Ну что, Павел Данилович, я уж вижу, зачем пожаловал. Что ж... Ты свое дело сделал, поезжай. Поезжай, скажешь от меня поклон Даниле Семеновичу... Расчет с тобой произведут в сельисполкоме. Такое есть указание...

У Павла екнуло сердце, но сгоряча он не захотел спрашивать, что это за указание. Домой! В ночь и выехать. Он уже схватился за железную скобу. Лузин окликнул:

— Павел Данилович! Одну минуту... Есть вопрос...

Павел остановился. Лузин подал ему карандаш и попросил расписаться. Павел недоуменно поставил подпись на старой газете.

— Сколько у тебя классов? — спросил Лузин. — Ты служил в Красной Армии?

— Три класса. На действительной еще не был, а на приписке был.

Степан Иванович задумчиво разглядывал морозный узор на внутренней раме.

— У меня нет десятника. Пиши заявление и оставайся.

— Нет... — Павел растерялся. — Маловато моей грамотенки, Степан Иванович. Нет...

— Подумай. А насчет грамотенки... выучим! Таблицу умножения знаешь? Ну а ежели таблицу знаешь, узнаешь и все остальное.

— Без таблицы я проживу, а без жены? Нет, Степан Иванович, поеду домой.

— Ну как знаешь. Поезжай. Надумаешь — сообщи. Через Никулина либо письмом.

Начальник лесоучастка попрощался за руку. Павел, как в детстве, по-ребячьи выскочил из дверей. Через коридор, сбежал на снег, двумя прыжками перемахнул крыльцо своего барака.

— Ты чего? — удивился Жучок. — Выпил с кем?

— Домой!

— А мы? — подскочил Акиндин Судейкин, но тут же сник: вспомнил, что норма не выполнена. — Свежи хоть рыбы моим девкам...

Павел Рогов уже запрягал Карьку, когда на восьмую версту въехал возок в сопровождении двух конных милиционеров. Пока милиционеры слезали с седел, высокая фигура Ерохина успела исчезнуть в конторке у Лузина. Павел, не обращая внимания, собрал что надо, стремглав привязал корзину к среднему вязу дровней, положил сена.

— Ну, Киндя, все! И ты, Северьян Кузьмич, говори, чего дома сказать.

Мужики так были расстроены, что ничего не могли придумать. Павел шевельнул вожжиной. Карько не стал ждать второго разрешения, фыркнул и рысью, а потом вскачь пронес дрэвни мимо возка новоприезжих, мимо двух бараков и пилоставки.

Вскоре восьмая верста осталась далеко позади. Лесная тишина успокоила мерина. Дорога шла вековыми ельниками. Далеко справа остались прорубочные делянки. Павел остановил мерина, перевел дыхание. Тишина показала ему такой глубокой, такой нездешней, что он кашлянул. Не сон ли? Нет, все настоящее, даже Карько прядет ушами, ждет позволения бежать домой. Деревья стояли недвижимые, морозец бодрил.

— И-и-э-эх! — Ликующий крик полетел в пустоту морозного леса. Павел упал на дровни. И Карько опять понес без понукания и подхлестывания. Подсанки на веревках сзади дровней мотало из стороны в сторону. На повороте они стукнулись о сосну. Слетела навалочная колодка, но ездок не остановился. Шут с ней, с колодкой, вырубим новую!

Восторг передавался от ездока к лошади и от лошади к ездоку — через вожжи, что ли? — и тот и другой переживали одно и то же, словно на масленице.

Павел приосадил мерина, перевел на неторопливую рысь. Не удержался, спел коротушку:

Люблю Карюшку за гривушку,
Дугу за высоту.
Эх, люблю девушку молоденьку
За ум, за красоту.

Он пел еще и еще, а когда кончились коротушки, запел долгую — про московский пожар, — которую любил на праздниках больше, чем иную другую.

Что было тогда и что за Москва была, когда шумел этот московский пожар? Павел не знал по-настоящему ни того, ни другого. Но почему-то он пел, сочувствуя и даже представляя, как «на стенах вдали кремлевских стоял он в сером сюртуке». Карько тоже знал что-то про Наполеона, иначе зачем бы ему то и дело поворачивать назад левое ухо? Мерин перешел на ровный шаг, рассчитанный на долгую дорогу.

К сумеркам проехали большое болото. Небо быстро чернело, спускалась ночь, но тут пошли веселые горушки и сосняки, а за горушками уже начинались усташенские лесные покосы. Павел вспомнил, как в долгие барачные вечера он разговаривал с одним мужиком о здешних ветряных и водяных мельницах. Мужик называл деревню, в которой вырубали из камня мельничные жернова. Павел тогда не осмелился даже думать о том, чтобы заехать в эту деревню. Сейчас мелькнула вдруг нежданная мысль: «Не заехать ли? Хотя бы поглядеть... А может, и купить бы, ежели подходящий жернов. Денег нет, но ведь можно договориться в долг».

Чем ближе была отворотка к Усташенской волости, тем больше попадалось стогов и зародов. Выехал поздно, все равно ночевать, так не заехать ли к жерновам? Да там и заночевать. Вот! И думать тут нечего...

Павел Рогов не любил долго прикидывать. Уже под самое горло подкатила новая коротушка, но он не успел ее спеть. Впереди в желтой обозначившейся заре он увидел идущего по дороге. Чтобы не ударить пешехода запягом, он приструнил мерина. Встречный или попутчик? Встречный...

Павел остановил Карька. Перед самым рылом мерина, пробуя встать в глубоком снегу, чтобы пропустить подводку, стояла женщина с закутанным наглухо ребенком. Платок, перевязанный через плечо, поддерживал ношу спереди. Сзади на спине висела еще и котомка. На ногах была непонятная Павлу, никогда не виданная стеганая обувь, зато рукавички на руках оказались такими праздничными, что Павел развеселился и крикнул:

— Доброго здоровьица!

Она не ответила. Зимние дороги узки, она все пыталась сойти в снег, чтобы пропустить подводку. Павел спрыгнул с дровней. Он не поймал ее взгляда, лицо было наполовину закутано. Но, кроме праздничных рукавиц, он успел разглядеть новый, добротный, правда совсем летний, казакин с борами, а из-под него виднелась темно-синяя длинная юбка домашней пряжи.

— Куда правишься-то? — спросил Павел. — Не замерзли?

Женщина поправила ношу и, ничего не сказав, начала краешком дороги обходить упряжку.

— Да ты погоди... — Павел только сейчас начал понимать, кто они. — Ты не в Сухую курью?

— Туды... В Сухую.

Она наконец подала голос, и Павел заговорил смелей:

— А кого тебе там? К выселенцам, видать...

— К своим. Чоловик тамо, и деверь Грицько там..

Он хотел сказать, что никого там нет, барак в Сухой курье пуст.

Хотел сказать, что нет там ни чоловика, ни деверя, но сказал совсем другое:

— Далеко. Не дойти на ночь-то глядя.

Она, слегка покачиваясь, упрямо обходила упряжку.

— Ни. Пийду до Сухой курьи...

— Ты что, с ума сошла?— ужаснулся Павел.— Пропадешь в лесу вместе с дитем! Холод, снег...

— Пийду...

— Да нет там никакого Грицька! Чуешь? Нету...

— Нема наших?

— Нема!— кричал Павел.— Пустой барак, нету. А ну садись на дровни, поедем в деревню. Заночуешь, потом видно будет.

Она все еще не хотела отступать назад.

— И дите ведь застудишь. Садись на сено! Тут рядом деревня Замерзля ноги-то?

Он усадил ее на сено спиной к себе.

— Дёржитесь! Поехали...

Он хотел сказать ей, что нечего торопиться в Сухую курью, что искать надо в другом месте, на станциях, может, в Вожеге, может, в Семигородней, что с ребенком лучше бы совсем не соваться в такие места, но она молчала.

— У тебя кто, девка аль парень?— опять не утерпел Павел, когда свернули в усташенское поле.— Как звать-то?

— Хведя...

Он через свой полушубок, через ее казакин и через котомку почувствовал, как затряслась она в страшных рыданиях, как сдерживала свой животный нутряной крик, не вмещааемый ею. Она сдержала в себе, задушила тот страшный и безутешный крик, распивавший ее, и этот крик начал медленно сдавливаться, он сгущался вокруг ее сердца и твердел, твердел, пока не затвердел и не сдавил ее сердце в железный комок. Только в эту минуту Павел Рогов понял, почему так долго не сказывался ребенок. Понял, и сердце его тоже сжалось, сдавилось холодом и железом...

Он остановил Карька у крайнего дома, забежал в избу, чтобы договориться насчет ночлега.

— Со Христом,— сказала бабушка, колыхавшая зыбку на березовом очепе.— Места хватит.

Люди впустили Параску в избяное тепло.

Только веселому Феде, ее сынку, ее кровинке, пришлось остаться в сенях на трескучем крещенском морозе...

— Проходи, матушка, проходи,— говорила старуха.— Да не плакай ты эдак-то, не плакай...

Павел в отчаянии выбежал из дому. Ему почудилось вдруг, что это не она, не украинская выселенка, а его жена Вера брела по морозу под хмурыми елками. Куда несла она свою мертвую ношу? Он бросился к дровням, сунулся на воз, ударил вожжиной по мерину. Карько истратил последние сегодняшние силы, в галоп вынес дровни в ночное чистое поле. С неба сквозь низкую, предвещавшую потепление хмарь светился ущербный месяц. На пожнях завыл волк, собаки трусливо взлаяли по задворкам. И Павел тоже зарычал, как пес, утробно, не разжимая зубов...

Не вернуться ли на восьмую версту? В десятники ставят не каждый день. Бросить бы все да и к Лузину под крыло. Может, этот не даст в обиду. Потом бы съездить домой, забрать Веру с Ванюшкой. По всему видно: лесное дело не на год, не на два, пойдет оно виширь и вглубь. Либо на службу уйти бы, как брат Василий...

Вот она, дорожная отворотка. «Карько, ты-то куда хошь? Неужто в холодном лесу придется век вековать? Конюшня — небо видать. Со звездами. Вода зимой — ледешки брякают. Сено не свое — жди, когда привезут, овса и совсем не будет. Надолго ли хватит и тебя и меня?

И куды ни глянешь, везде один лес, ни гумна, ни часовенки. Эх, нет, Степан да Иванович! Ищи себе иного десятника...»

Павел повернул к дому. Поздним вечером ехал он той деревней, о коей рассказали усташенские мужики. Он закрыл глаза. Сквозь думы вдруг замахала крылом его новая мельница. Она будто крестила его! Он слышал сквозь скрип морозных дровней и сквозь надрывное пенье полозьев ласковый шорох жерновов, ощущал в ладони теплоту ржаной пересыпающейся муки и оттого снова забыл про все невзгоды. Домой! Завтра Вера пораньше затопит баню...

О новом камне Павел боялся подумать. Но мерин сам, без ведома хозяина вдруг остановился посредине деревни! Да уж не знак ли это самой судьбы?

Павел Рогов спрыгнул с дровней. Деревня дымила трубами, ночь была тихая, только где-то в конце выиграла вдруг бологовка. У мелких девчонок, пробежавших домой, он спросил, в котором доме куют жернова. Девчонки залились хохотком: «Да этот и есть!»

Побежали, оглядываясь.

Дом обшит и с хорошим взездом. Рябины в инее. Шесть окон по переду, с боков по два. В одном боковом краснеет ламповый отблеск. Значит, еще не спят. Павел, не привязывая Карьку, постучал в ворота.

— Кто стучает? — послышался из дворного нутра голос.

— Проезжий...

— Так заходи, ворота не заперты.

Мужик с фонарем поздоровался с Павлом, провел вверх по лестнице, открыл двери в избу. Павел поздоровался во второй раз, спросил, тут ли живет Иван Александрович.

— Тута, — сказал кривой старик, вязавший вершу. — Минька, дай человеку стул.

Минька — бородатый, сильно похожий на отца — погасил фонарь, повесил на жердку.

— Раздевайтесь.

— Откуда будем? — спросил старик. Его бельмо мелькнуло в ламповом свете, когда Павел сказал про себя и назвал Шибаниху. — Бывал, бывал. Да и про тебя слыхивал.

Из-за печки выглядывали две бессонные детские головенки. Старуха, выйдя из кути, поздоровалась с Павлом. Молодая, то ли дочь, то ли старикова невестка, пришла с прялицей с бабьей беседы. Поставили самовар...

Карько был не привязан. Минька хотел сам сходить привязать лошадь к рябине и бросить сена, но коня надо было поить, и Павел вышел на волю. Как быть? Ночевать не хотелось.

Он напоил мерина из колодца двумя ведрами: одним, чистым, доставал, другим, скотинным, потчевал. Карько выпил больше ведра.

Павел вернулся в избу, когда на столе уже стоял самовар и были нарезаны пироги. Кривой старик щипцами колол сахар.

— Я к тебе, Иван Александрович, насчет нового жернова.

— Да я уж чую, что это, — сказал мельник. — Да тебе пошто новое? Бери старое. Отдам за так... Вон у хлева оба лежат.

Павел спросил, какая у них мельница.

— Водяная двухпоставная. Была, да сплыла, — невесело засмеялся Минька. — Гарнец наложен двести пудов... Тятка вон окривел, без глаза из-за нее остался. А мне оторвут и всю голову...

— Да, да, Павло Данилович. — Старик отодвинул чашку. — Не во греме ты мельницу выстроил! Отымут... Дак на што тебе и новые жернова?

— Руки-то не отымут... — смутился Павел. — И мука любой власти нужна.

— Оно верно. Да мне не жерново жаль, а тебя жаль. Вези! Ядрены ли дровни-ти? Как бы на раскате не обдавило копылья.

— Да я рассчитаюсь. Привезу кожу опойковую либо овечьей шерсти... А то и деньгами.

Старик своим синим единственным глазом удивленно глядел на Павла. Из-под стального зубила пулей летит осколок гранита, никого не должно быть около, когда куешь жернова. Уметь надо и зубило держать... Сколько же видел он на своем веку своим единственным глазом, сколько перемолол зерна! И вот потух у него и второй глаз, слезится, не зажигает души собеседника. Что потушило? Неужто и ты вот так же когда-нибудь...

Павел тряхнул головой, подал руку.

— Литки, Иван Александрович.

— Не надобно, парень, литки... Минька, поди укажи место. Да ты бы, Павло Данилович, ночевал. Вутре уехал бы.

Павел не захотел ночевать. Вдвоем с Минькой просунули в дыру еловый кол, откатили от стены тяжелый жернов. (Как раз о таком и думал по ночам Павел Рогов!) Осторожно, на вагах, задвинули камень на дровни и привязали веревкой.

Павел выехал из деревни за полночь, но еще до первого петуха.

Теплая хмарь, сузившая потепление, рассеялась в небе. Крупные звезды снова вызрели над пустынной дорогой. Карько споро тянул воз. Павел садился на жернов только под гору, чтобы не надсадить мерина. Карько старался, чуял приближение родной деревни.

Мороз под утро взъярился, как акиндиновский Ундер в свою лучшую, еще доколхозную пору. Павел едва не ознобил нос и щеки, пришлось распустить шапку и обвязаться шарфом. Лошадь парила и покрывалась инеем, полозья тянули свою бесконечную скрипучую песню.

Но вот и ольховские пустоши! Через час открылась под звездами Ольховская волость. Павел не стал заезжать к отцу, решил ехать прямо в Шибаниху. Он срезал большой угол, для чего пришлось ехать через реку. Дорога была и тут хорошо наезжена. На берегу Карько слегка подзамялся. Ободренный хозяйским свистом, мерин ступил на запыленный лед. Дорога по льду, обозначенная замерзшей наслудой, незаметно пропала, Карько опять замялся. Павел искал глазами выезд, ехал вдоль берега. Выезд оказался совсем рядом, но мерин поторопился к нему и ступил на травяное, худо простывшее место... Лед под передними ногами коня обрушился. Павел ничего не успел сделать, как задние ноги лошади тоже оказались в воде. К счастью, было не очень глубоко. «Стой! Стой, Карюшко!» — тихо уговаривал Павел, но замерзший Карько дернул, и тяжелые дровни тоже обрушились в воду. Оказавшись в ледяной обжигающей воде, Павел долго не мог вытащить из вяза топор, чтобы рубануть по гужам и освободить бьющегося в воде мерина. Наконец удалось достать топор и тюкнуть по одному гужу. Хомут раздвинулся, дуга упала. Павел перерубил и чересседельник, тогда конь, несмотря на топкое прибрежное место, выскочил на берег.

Из реки торчал один передок дровней. Павел решил оставить дровни и подсанки в воде, но жернов вздумал выволочь на берег на вожжах. Он долго тюкал под водой куда попало, чтобы разрубить веревки. Освободил камень от дровней, затем обрубил замерзшие вожжи, просунул один конец в жабку жернова, продернул веревку, привязал к целевшему гужу хомута и, помогая мерину, начал вытаскивать жернов на берег.

— Карюшко! Скорей... Дергай... Ну! Скорей, милой, скорей...

Оба дернули, напряглись и выволокли жернов из воды. Ледяной панцирь быстро сковал одежду, ноги и руки совсем зашлись от холода, теряли чувствительность. Лошадь дрожала, горбатилась, поджимала задние ноги. Павел вновь обрубил вожжи, бросил на берегу топор, котомку, дровни и этот проклятый жернов. Уже невозможно было двигаться. Штаны и шуба стояли колом, но каким-то чудом с дровней, поперек, завалился он на конский хребет. «Выручай, Карюшко, выво-

зи...» Куда вывозить? Было утро, вдали топились ольховские печи. Пока доберешься до отцовского дома, заоченеешь совсем. До Шибанихи еще дальше... Самое ближнее жилье — избушка на водяной реңдовой, куда ездил молоть старик Апалонч... Ближе нет... Карько и сам это чуял, что ближе нет ни тепла, ни жилья. Пока добрались до мельницы, ноги совсем перестали слушаться. Павел чувствовал, слышал, что мельница не безлюдна, только не узнал даже, кто открыл ему дверь в теплушку, кто помог забраться на нары и освободиться от мерзлой одежды. Его, голого, как младенца, завернули в сухой и теплый тулуп и начали отпаивать зверобоем...

Несчастья не ходят поодиночке. Карько, обтертый кем-то жгутом соломы, устоял, а обмороженный и насквозь простуженный хозяин его захворал. Жара в избушке и чай-зверобой не помогли, и лихорадка трясла Павла Рогова, как былинку...

VIII

— «Останемся здесь, говорил Роберт жене своей; зачем вверять нам опять коварному морю жизнь свою! Пусть она протечет в этом земном раю, вдали от людей, среди природы и ее чистых, простых удовольствий. Но эта прелестная мечта не рассеяла в Анне Дорзе мрачных предчувствий, тяготивших ее с некоторого времени, уныло слушала она фантазии своего мужа».

Как раз на этом месте кривой Носопырь громко всхрапнул. Девки рассмеялись и разбудили его.

...В большой Самоварихиной избе вместо девичьей беседы шло занятие по ликбезу. Марья Александровна Вознесенская, поповна и учительница шибановской школы первой ступени, строго оглядела беседу, подождала, когда все затихнет, и продолжила чтение:

— «Действительно, только три дня продолжалось их щастие. На следующую ночь поднялась буря, и корабль их, долго носимый без мачт и парусов по безднам океана, был выброшен на берега варваров, осудивших небольшой экипаж его на рабство. Нещастные любовники...»

Ученицы — неграмотные шибановские девки — старались не шуметь ради наставницы. Собирались дружно, сидели, терпели, но у Марьи Александровны получалось худо. У нее не было практики, как у старшей сестры Ольги Александровны. Ах, не зря ли она согласилась учить неграмотных? Обширная изба Самоварихи совсем не похожа на школу, девичьи не имели ни книг, ни тетрадей, они пришли на учебу с прялками. На всех две-три тетрадки да столько же химических карандашей. От Носопыря плохо пахнет, да еще и храпит.

Вздохнула Марья Александровна и решила не останавливать урок чтения. Далее сочинение Александра Волкова продолжалось уже в стихах.

— Перед побегом своим из родительского дома, — повысила она голос, и девки снова затихли. — Письмо первое.

Все кончено, иду! Ах, Дженни, как
ужасно!
Как сердце бедное волнуется,
кипит!
Рассудок, совесть, честь — все, все,
увы, напрасно!
Их нет, когда нам страсть о милых
говорит...
Ты знаешь, я к нему, нещастная,
пылаю...

— Девки, моряк! — Тонька-пигалица кинулась к боковому окошку, чуть-чуть не вышибла стекло головой. За ней бросились к окнам все остальные.

Носопырь опять очнулся и сочувственно поглядел на учительницу. Та и сама сделалась как все, тоже глядела в окошко. Девки отпихивали друг дружку от подоконников.

— Дай мне-то, мне-то бы поглядеть.

— Гли-ко, гли-ко, штаны-ти! Широкие-то.

— Ой, дуручки, ведь к нам!

— Нет, к Мироновым правится.

— Это чей есть-то?

— Да ольховской, Василей Пачин! Давно уж сулился. Знамо, он,— тараторила Тонька.— Вишь, прямо к Палашке, двоюродной-то. Потом к брату к Павлу пойдет, к Роговым. Агнейка, ну-ко ставь самовар!

Кое-кто фыркнул, но Самовариха ничего не заметила.

— Дайте мне-то хоть, мне-то, лешие!— совалась она то к одному окну, то к другому.— Вишь жопы-ти выставили и миня не пускают. Уставились.

— Тонька, беги да кричи его, загаркивай,— обернулась Агнейка Брускова.— Пусть приворачивает.

— Да на беседу-то вечером, однако, придет.

— Ой, а у меня и нос в черниле...

Агнейку отпихнули от зеркального обломка, приделанного к Самоварихиному простенку, но прохожий уже свернул к дому Роговых и скрылся в проулке. Наставница — тоже дева — застыдилась своего поведения. Подражая своей старшей сестре, застучала она карандашом о Самоварихин стол, вокруг которого только что сидели ее полногрудые ученицы.

— А теперь повторим задание по чтению и письму!

— Ой, Марья да Олександровна, надо домой!

— Вот-вот стемняет, а мы и чаю не пили.

Вознесенская пробовала остаться настойчивой. (Отец Александр предшествовал в Шибанихе отцу Николаю, попу-прогрессисту. Все Вознесенские-женщины, несколько поколений, были наставницами.)

— Читает Брускова Агней!

Агнейка взяла листок, засунутый было в прялку за куделю. Расправила на столе. На ее востроносом, как у Жучка, лице явился страх и детская растерянность.

— Начали!— скомандовала наставница.

Девка поставила палец под первой буквой, шевельнула губами:

— «М-м-м»...

— Ой ты!— присела на скамью Самовариха.— Да ведь я да и то поняла.

— Сиди!— огрызнулась Агнейка и замычала вдругорядь:— «М-м-м... мы».

— Так, правильно,— подбодрила учительница.

— «Мы-я»...

— Не «мы», Агнеюшка, а «мя»,— поправила Тонька.

— Дальше, дальше,— торопила учительница.

— «Мы-я-сы-о»,— прочитала наконец девка. Она растрепалась и покраснела от напряжения.— «Мы-я-сы-о!»— повторила Агнейка сама себе.

— Правильно!— поддержала учительница.— А что получилось?

— Говедина!— выпалила восторженная от счастья Агнейка.

После общего хохота девки опять заговорили про Ваську Пачина, исчезнувшего в заулке Мироновых. Вознесенская закрыла урок ликбеза.

— Собираемся через два дня, в среду, в конторе,— объявила она уходя.— Не опаздывать!

Двери за учительницей проскрипели и хлопнули.

— Ой, Марья Олександровна! Какие тут буквы, в среду мой черед коров доить.

— А я лошадей обряжаю!

— Я так, девушки, наплюю и на скотину, буду за моряком ухаживать. — Тонька-пигалица вышла среди избы, звонко пропела частушку:

Пятилетка, пятилетка,
Пятилетка, девушки.
Из-за этой пятилетки
Не видать беседушки.

Девки начали просить Самовариху, чтобы пустила беседу на вечер.

— Я што, я пожалуйста! — хмыкала широким носом Самовариха. — Карасину ищите в лампу да и пляшите. Хоть до утра.

— Да ведь пост, девушки, плясать-то нельзя, — высказал кто-то последнее сомнение.

— Ну эко место что пост, — обнадежила Самовариха. — Да еще и не пост. До поста далеко, много ден.

Девки похватали прятки, одна за другой, а то и сразу по две выпростались в сени и дальше на улицу. Все разговоры у них опять же крутились около ольховского Василья Пачина. И впрямь настоящий моряк, да еще зимой, — такое дело для Шибанихи было немалым событием...

Уже четыре дня, если не больше, ярим огнем горела морская душа! Что было делать Ваське Пачину, старшему брату Павла Рогова, ежели грудь его не вмещала восторга? После успешных курсов его переводили с Черного моря на Балтику и дали коротенький отпуск. Всего десять дней вместе с дорогами. Словно в похмельной дреме ехал Василий из Севастополя, вспоминал трудные курсы. Особенно досталось ему от электричества. На всю жизнь запомнятся эти плюсы и минусы, ведь в школу ходил всего по три зимы. Одно дело драить палубу на крейсере «Червонная Украина», другое дело корпеть над законом Ома. Все постигал от самого малого. Спасибо дружкам: помогали ему тайком после отбоя изучать электричество. А как только понял электричество — дело-то само и покатилося вроде бы как по маслу и уже не было ни единой заминки. Теперь начинается сверхсрочная служба. Есть что рассказать отгу и братанам, ольховским одноклассникам-дружкам и красным девкам. Хотя бы про то, как приезжал на крейсер товарищ Сталин, как шел он вдоль выстроившейся команды в своем белом кителе. На что похожа матросская жизнь? Да ни на что применительно к деревенской. Все, все до капли иное, и вот уже на станции он чуть не расхохотался у всех на виду, когда услышал вологодскую речь: «Пока цяй пила, котомицу на возу сабацьки уцюели. Гляжу, ведь поволокли!» Потом едва не заплакал при виде скрипучих дровней, а от запаха зимнего суходольного сена совсем уж в горле сдавило. Пробежал станционным поселком из конца в конец, заглянул на базу потребкооперации. Из Ольховицы ни одной подводы. Ночевать на станции не остался: в ночь, по морозу, в ботинках, не размышляя, чуть не бегом ударился к дому. Хорошо, что чемодан не больно тяжел! Нес его через плечо на ремне. На середине пути вместе с ушащенскими обозниками попил чаю в одной деревне, поспал часика три и опять в путь. Перед самой Ольховицей две шибановские подводы догоняли матроса.

— Это кто в ботинках-то по снегу бежит? — крикнул Жучку Киндя Судейкин.

— Летит! — отозвался Жучок. — И ногами до земли не касается.

— Наверно, Пашкин братан Васька, — догадался Судейкин. — Судился на рождество. В матросах служит.

— В матросах — это хорошо, — по-сиротски пропел Жучок. — Матрос да весь иньем оброс. Тпру, мать-перемать! Эй, замерзли ноги-то? Жучок остановился, Киндя Судейкин тоже.

— Садись, ежели.

— Да тут рядом. Добегу.
— Садись, садись.

Матрос пристроился на дровнях.

— Ждут, поди-ко, отец-то с маткой? — заговорил Киндя.— И брат Пашка ждет! Он раньше нашего домой уехал.

Судейкин, пока ехали до Ольховицы, рассказывал матросу про Сухую курью...

Матрос Василий Пачин слушал Судейкина, потом слушал материнские причитания и жалобы, вечером слушал шипение банных камней и отцовы рассказы, слушал о новой колхозной жизни. Слушал и младшего брата Алешу, который громко, на всю избу разучивал стихотворение:

Мы с тобой родные братья,
Я — рабочий, ты — мужик,
Наши крепкие объятья —
Смерть и гибель для владык.

Едва матрос переночевал под закопченной родимой матицей, только успел рассказать отцу-матери про свою черноморскую службу, про голубые и сивые морские валы да про зеленый город Севастополь, как защемило, заняло у него сердце. Вспомнил про девок... Неужто напрасно наказывал им поклоны в своих письмах? На второй же день ринулся на ольховскую беседу, на третий день ударился матрос Пачин в деревню Шибаниху. Хотелось поскорей повидаться с родным братом Павлом, с двоюродной сестрой Палашкой Мироновой и заодно погулять, на шибановскую беседу. Забыл враз материнские слезы. Черт с ней, с этой зингеровской машиной, с новым костюмом, описанным за недоимки! Отобрана и выделанная кожа-коровина — да неужто без нее отцу не прожить? Проживем! Лишь бы больше не трогали...

Когда шел ольховской улицей, сердце поминутно всплескивалось от волнения и радости. Погода была не очень морозной, бушлат растегнут. Эх, жаль, нет бескозырки, матросская шапка в отпуске совсем не то... А в Шибанихе что? К брату сперва? Или к дяде Евграфу? К нему, к божату, чтобы договориться с Палашкой насчет вечера...

Гуляет волостями черноморский матрос Васька Пачин, гуляет и думает... эх, да ничего он не думает! Одна у него сейчас мечта: поиграть у столбушки толстой девичьей косой, услышать запах земляничного мыла, посидеть на коленях у шибановских девок, потом проводить какую-нибудь по снежной тропке да сказать что-то такое, чтобы запомнила на вечные веки...

А что? Так и будет! И не когда-нибудь, а сегодня вечером. Перед службой не много удалось погулять: у горюна бывал всего два-три раза, да и то с ольховскими девками-перестарками. Учили целоваться, да так и недоучили. Так вот пусть ныне молодые доучивают! И не ольховские, а шибановские. А что тут и учить, не электричество...

Широко видно матросу, думается того шире. В ольховских белых полях дороги проложены туда и сюда, и при колхозе возят назем, так же крутится и отцовская толчая, днем и ночью толкет овес. Поглядим теперь, что творится в Шибанихе.

Ветер-свежак полощет полотнища широких матросских брюк, румянит щеки, раздувает золотой огонек душистой дукатовской папироски. Семи километров как не бывало. Где же братова мельница? Вот она! Стоит на угоре, но стоит без движения.

Будет вам и движение! Брат Павел, наверно, не ждет, сват Иван Никитич дома ли? Тетка с божатом Евграфом дома, ворота открыты. Двоюродная Палашка кинется сейчас к шестку самовар ставить...

Так и было.

Горела душа после мироновского самовара, ходил матрос по деревне к знакомым ребятам и уже видел кое-кого из девок. И приблизился вечер. Уже знал, в каком доме соберется беседа. Сердце то и дело

всплескивалось обжигающей радостью, и матрос Васька Пачин забыл рассказы про все недоимки и про то, как прятали добро по гумнам и погребам, как Селька Сопронов тайно разворошил не один клад. И в печальных глазах двоюродной, готовых к обильным слезам, не заметил матрос нездешней обиды. Заметил ли он и округлый Палашкин живот? Сарафан и передник стремились сровняться с высокой девичьей грудью. Нет, не заметил и этого счастливый матрос Васька Пачин! И лишь неприятно стало, когда сказали, что брата Павла нет дома, что его ждут из лесу со дня на день. Как так? Мужики говорили, что дома! Но и эта неприятность как бы забылась, когда пришли с двоюродной на беседу.

Девки — человек двадцать — пряли с короткими песнями. Ребят оказалось меньше. Палашка сразу уселась пряхть. Василий Пачин молча с каждым за руку поздоровался. Он обошел всех по порядку. Девки, не вставая с копыльев, брали веретена в левую руку, а правой умильно подавали матросу. Поздоровался Пачин за руку и с Селькой Сопроновым. Частушки на это время стихли, только потрескивала прядущаяся куделя да веретена постукивали о сосновый Самоварихин пол.

— Садись-ко, садись, Василей Данилович! — Улыбчивая черноглазая пряха подхватила свою прялку, освобождая место на лавке. Она так глянула на него, так проворно вспорхнула и повела плечами, что у матроса заняло что-то в груди — честь да и место! «Чья это?» — подумал он, только думать стало совсем некогда.

В сенях пиликнула гармонь, пришли Володя Зырин с ольховским Акимком Дымовым. Оба навеселе. Акимко свой, ольховский, стало легче дышать. Запахло по-городскому, папиросы пошли в ход, но матрос разговаривал с ребятами невпопад. В одно ухо влетало, в другое вылетало. Он пытался не глядеть все время на Тоню, но глаза то и дело воротили в ее сторону. Одетая в коричневую кофту-пальтушку, клетчатый полушерстяной сарафан, обутая в аккуратные черные валенки, Тоня то и дело клала прялку, встречала новых пришельцев, устраивала гармонь сушиться с мороза. Шептала что-то на ухо Самоварихе. «Наверно, столбушку смекают, — подумалось Пачину. — А ежели на перепляс вызовут? Ведь четыре года не плясывал». Коричневая, с морхами на бедрах, с пышнями на круглых плечах пальтушка была оторочена по вороту черным кружевом, она плотно облегла девичью талию. Темные, заплетенные в косу волосы то и дело терялись, заслонялись, потом опять оказывались на виду, и тогда Васька Пачин, черноморский матрос, заставлял себя отворачиваться, чтобы не заметили его интереса, и хотя в избе становилось все шумливей и народу прибывало, матрос чувствовал, что находится в самом центре беседы. Ребята старательно здоровались, девки поглядывали, успевая пряхть и петь. Двоюродная тоже пела вместе со всеми. Пела Палашка про любовь, но больше все про измену. Теперь Пачину было и вовсе не до нее. Плясать в пост нельзя, да мало ли чего нельзя делать в пост! Зырин поиграл сперва под частушки, а тут недалеко оказалось и до пляски. Едва ли не все девки сложили прялки на полати, иные в куть, да и пошли метелицей, парами. Восторг волной захлестнул матроса... За печью уже налаживалась первая горюн-столбушка, но тут пришел на беседу Митя Кузёмкин, шибановский напыженный председатель, в новом костюме, в валенках с блестящими калошами. Хорошо, что следом за ним явился на беседу старик Савватий Климов. Савва начал просить разрешения сплясать, обещая во что бы то ни стало переплясать даже колхозного командира.

— Сиди, Савватей, куда тебе!

— Мне? Да я перепляшу самого Калинина, ежели потребуется.

— Не потребуется!

Савватий вышел на середину избы и развел руками, чтобы освободили место. Гармонист, занятый разговорами, не обратил на Климо-

ва внимания, и тогда кто-то из девиц начал наигрывать ртом. Климов не пожелал плясать под ротовую. Он решил «попредставляться» и начал показывать, как петух топчет курицу, как кошка за собою «зацапывает», а под конец спел неприличную частушку:

Цяй пила, конфеты ела
У хороших у людей,
Не успела оглянуться —
.

Девки замахались, заругали Савватия, схватили за полу и отволокли сперва в сторону, потом к дверям, но матрос Василий Пачин уже не слышал нехорошую эту частушку, поскольку был позван к горюну. Селька Сопронов вызвал его и провел за печь, где только что сидел с кем-то из девок. Откинув плотную, сделанную из одеяла завесу, он показал направление, и матрос ступил в темноту. У стены в закутке стояла короткая скамья, а на скамье...

— Ты, что ли? — удивился матрос, когда зажег спичку и узнал в девке двоюродную.

— Садись. — Палашка подвинулась. — Да поближе, я ведь не укушу. Все уж теперича... Откусалась...

Палашка всхлипнула, но матрос взял ее за руку, начал перебирать пальцы, словно бы пересчитывая.

Только сейчас она рассказала ему историю с Микуленком. Слезы все-таки потекли и текли в два ручья, пока она жаловалась на свою судьбу.

— Вот так и живу, Василей, на белом свете. Хуже-то не бывает...

— Не тужи уж так-то, — сказал он. — Еще уладится.

— Нет, Васенька, не уладится...

Палашка платочком осушила глаза.

— Тебе кого позвать-то? Может, Тоню? Я видела, ты на нее поглядывал. Ну, думаю, надо подноровить...

— Ее! — Матрос еле выдохнул — так сильно забилося сердце.

Палашка ушла.

У столбушки парень с девицей не сидели подолгу, она уходила и звала по его заказу другую. Потом должен был уйти он и позвать того, кого попросит та, которея остается, и так продолжалось весь вечер. Если же кто-то с кем-то засиживался, то это был уже горюн, и приходилось заводить вторую столбушку. Обо всем этом знал матрос Васья Пачин и раньше. Знал, да забыл и теперь удивлялся тому, как это все хитро устроено.

Палашку, двоюродную, было, конечно, жаль, но что значило ее горькое горе, ежели своя радость и свой восторг палили огнем?..

Минута прошла, вторая. Беседа шумела. Голоса девок заслоняли зыринскую гармонию. «Неужто сделает головешку и не придет?» Головешка — это когда отказывают и не идут ко столбу... Ему показалось, что это ее голосом была спета частушка:

Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу,
Перекинь сюда тесиночку,
К тебе перебегу.

Почему она не идет? Матрос Василий Пачин весь горел от стыда, когда наконец послышался шорох. Девичья рука откинула занавеску. Он зажег спичку, глаза Тони блеснули так не по-здешнему, так лукаво и жарко, что он позабыл все на свете. Спичечный огонь был словно погашен девичьим взглядом.

— Ой! Где скамеечка-то? — громко проговорила девка.

— Вот, вот...

Он хотел вновь поздороваться, назвать ее по имени-отчеству, но ничего не сказал. Ах, дурак, не спросил у двоюродной отчество... Го-

ворить, говорить же надо! Язык у матроса словно присох. Тоня выручила его из беды, заговорила сама:

— Давно ли приехал-то, Василей Данилович?

— Да третий день всего.

И тут разговор пошел у них сам по себе, без насады и понукания, без тех обычных глупых вопросов и глупых ответов, которыми пользуются у столба в первую встречу.

Они сидели, лишь слегка касаясь друг дружки.

Матрос Пачин, ликуя и напрягаясь от счастья, рассказывал ей о своей службе, спрашивал о знакомых, вспоминал праздники. Тоня отвечала ему вслух, тоже говорила и говорила, пока оба не почувляли нужный срок.

Теперь уже ему надо было уйти, а ей остаться. Он должен был позвать ко столбу того, кого попросит она, а ему так не хотелось покидать ее, так славно и так радостно было, так ровно тукало его счастливого сердце, что он осмелился взять ее за руку и в темноте приблизить свои губы к ее горячему маленькому ушку:

— Тебя кто провожает?

Она промолчала. Матрос Василий Пачин не помнил себя от восторга. Не выпуская ее руку, он тихо проговорил:

— Согласна ли, Антонина, вместе гулять? У меня никого нет. Не было и до службы, знаешь сама. А на службе не до гулянки. Любить буду как только могу...

Она, как ему показалось, вся замерла, затихла. Волнение его все прибывало. Не сдержавшись, он взял ее за маленькие крепкие плечи.

— Ой, Василей Данилович, нет.— Тоня освободила плечи от его рук и заплакала.— Занятая ведь я... Нету моего согласия...

— Ну? — Его словно окатили холодной водой. Он враз отстранился от девки и встал.— А кто? С кем? Кого ко столбу?

— Кого надо, того нету...— сказала она спокойно.— А чтобы столбушку не нарушать, позови хоть Акима Дымова.

— Он что... из-за тебя в Шибаниху ходит?

— Нет, не из-за меня. А из-за кого, спроси у него сам...

Мир сразу поблек и переменялся. Матрос Василий Пачин оставил Тоню в темноте на скамеечке и, потерянный, оглушенный, вышел на свет. В избе было тесно, пришли гулять из других деревень. Василий нашел Акимка Дымова, послал его ко столбушке.

— Не уходи без меня, я скоро,— шепнул на ходу Акимко.— А то тут некоторые завывлясывали...

Через две минуты Тоня вышла от столба, она отослала туда белокошую девку из деревни Залесной.

Василий Пачин еще дважды ходил ко столбу, его звали и звали, но теперь все эти вызовы казались ему ненужными, неинтересными. Что-то рвалось в нем на мелкие части. Душа холодела, хотя сердце не унималось. Хотелось драться...

Несколько раз выходил он на улицу, глядел на заметенную снегом загороду, слушал притихшие шибановские дома, собачью брехню и мычанье новорожденных колхозных телят на каком-то подворье. А бывать ли еще в этих домах? Все газеты сулят войну...

Метет по Шибанихе снег, метет без сна и без усталости. Палашка ушла домой, велела приходить ночевать к ним, поскольку брата Павла дома все равно нет.

«Нет... Где брат? Ведь мужики, когда ехал с ними, говорили, что Павел уехал домой раньше их...»

Тревожная мысль о брате была заглушена пляской Мити Кузёмкина. Вместе ходили когда-то в школу, во вторую ступень. Митя плясал на беседе, а Володя Зырин играл. Играл и морщился, отворачивался, сидя на коленях Агнейки Брусковой.

— Ты чево все вертишься-то, Володя?— кричала Агнейка сквозь голос гармони и шум беседы.

— Надо было овса высушить мешка два,— скороговоркой сказал Володя.— Изопихали сейчас бы, а то бы и в муку истолкли!

Да, Митя худо плясал, словно опихал, толчок ногами сухое зерно. Зырин старался подыгрывать, но Митины ноги толкали грузно и все чего-то не в лад с игрой. Митя как раз вызывал на перепляс Акимка Дымова и спел что-то про «супостатов». Не разобрал Василий, что спел пляшущий председатель, но понял, что спето было что-то обидное для Ольховицы, а тут показалось еще, что костюм на Мите какой-то совсем знакомый. Ну и верно! Костюм знакомый...

Володя Зырин заиграл по-новому, звонче и четче, когда Акимка вышел на смену Кузёмкину, который стоял, покачиваясь, глядя в ноги Дымову. А Дымов плясал складно! Хорошо отстукивал Дымов, хорошо и частушки пел, только зачем он все еще ходит гулять в Шибаниху? Неужели все еще не забыл Веру — бывшую свою сударушку, нынешнюю жену Павла? Нет, не кончится это добром, ежели так. Митя качался в своем новом костюме, глядел в ноги ольховскому плясуну.

Акимко Дымов с дробью прошелся по кругу, притопнул перед Кузёмкиным, остановился и спел частушку:

Мы ольховские ребятушки,
Пока не мужики.
Дай бы господи не нашивать
Чужие пинжаки!

Пока Дымов свое доплясывал, Митя стоял, а после ушел к дверям. Зырин прикрыл игру. Дымов, утираясь лосовым платком, сел на колени к залесенским девкам.

— А ну выйдем на пару слов! — проищес вновь появившийся на кругу Митя Кузёмкин и уже направился было в сени, но Дымов насмешливо отказался:

— С пылу да на мороз для здоровья вред.

Председатель скрипнул зубами, но драки не было. Кузёмкину пришлось уступить, хотя шибановцы то и дело ходили из избы да на улицу.

Палашка, почуяв неладное, пришла с дому и увела матроса. Дымова увел ночевать Володя Зырин, а самого Митю прибрали к рукам шибановские девицы. Хоть и разведенный, а все-таки холостяк.

Что было теперь в душе у матроса Василия Пачина? Смятение и дым...

— Божат, а божат,— позвал он Евграфа Миронова, когда пришли с беседы,— запряги мне лошадь!

Евграф поспешно слез с печи.

— Лошадь, Василей Данилович, иначе надо спрашивать у Мити Кузёмкина. Хомут и сани тож у ево! Ночуй, завтра поедут с маслом, дак свезут.

— Не в Ольховицу!

— А куды?

— Надо бы поискать Пашку.

— Где его ночью будешь искать? — пробудилась за шкапом тетка. Она вышла в одной рубахе.— Утро-то вечера мудренее, ложись-ко спать.

— Пойду, божатка, пешком. Валенки только дайте.

Нет, знал Евграф пачинскую породу! Хорошо знал. Что задумают, обратно не своротить. Потому и начал без лишних слов собираться.

— Погоди. Запрягу без Митькина позволения. Куда поедешь?

— К мельникам. Отец говорил, что брат ищет новые жернова.

Евграф вышел из дому. Палашка с матерью, притихшие, сидели на лавке. Вторые петухи давно пропели.

— Хоть бы простокиши бы похлебал! — сказала тетка, но матрос Василий Пачин не стал хлебать теткину простоквашу. Он даже не стал переобуваться в Евграфовы валенки, схватил только тулуп и выскочил

во двор, когда за окном послышался скрип розвальней. Он выбежал, бросил тулуп в повозку и завернулся в него.

Евграф едва успел кинуть вожжи в руки матроса.

— Гляди в оба, не заблудись! — напутствовал Евграф. — А то, вишь, опять замедает. Ищи отворотку по вехам...

Повозка скрылась в ночи. Евграф махнул рукой.

И пошел ездить по снежным полям и лесам черноморский матрос Василий Пачин! На чужой, не на своей лошади, завернувшись в тулуп. Погоняет коня, где дорога легла. Скачет на красные огоньки ночных деревень, на запах печного дыма. Едет и едет, бессонный, почти шальной от дум и снежного ветра. Уже и отец его, Данило Семенович, прослышал об этом, бросил тесать колхозные жерди да и тоже запряг, не свою — колхозную лошадь, поехал по сыновьему следу. По метельным проселкам, по дальним волостям несутся Даниловы розвальни. Да где же искать их, непутевых братьянов? Велика Ольховская волость, Шибановская тоже не маленькая. А там за Шибановской другие подряд и везде мельницы: водяные и ветрянки. Ищи свищи! Данило не мог миновать Шибаниху, сват Иван Никитич тоже был уже подпоясан, готовый ехать на поиски. Уговорились с Данилом — один в одну сторону, другой в другую. На скорую руку попили чаю да и на двор, по лошадям хлесть! Готовые на слезы бабы не успели взречь...

Лохматое чудо шаршилось за выстывающей мельничной избой в ночной темноте, оно стучало копытом в двери, пытаясь открыть. Там, во тьме, шуршали чьи-то широкие крылья. Нет, это за дверями топчет в пристройке верный Карько. Совсем без сена, непоеный. И никто не летает над крышей, это шумит на колесе мельничная вода. Тогда почему не толкнут песты? А где же сам-то Жильцов? Наверное, ушел домой, в Залесную...

Павел, очнувшись, оглядывает прокопченную мельничную избушку. Заметался и едва не погас крохотный огонек керосиновой коптилки, стоявшей на грубо тесанных плахах стола. Темнота то раздвигалась, то сжималась. Болела уже не одна ступня, а все тело, знобящая мука размывала сознание и память.

Печь из камней чернела в ногах. Надо бы затопить, обогреть избу и вскипятить воды. Карька изобиходить бы...

Рассвета не было. Павел снова забылся в бредовом сне. Снова что-то лохматое и черное забродило вокруг, снова пошли один за другим кошмарные образы. Потом он увидел свою ветрянку. Почему-то она молола без крыльев, и ему хотелось остановить, выяснить и понять, что с нею. Он не знал, как остановить мельницу, и мучился в лихорадочном сне. Его трясло и знобило.

Людей нет, а мельница метет. Какая, чья мельница? Кажется, метет... Нет, это ветер со снегом. Явь, сон и бред сменяли друг друга, боролись между собой. Как тяжело больному во сне! Вот опять оно... Темень и холод, скрипят двери. Если никто не поможет, лохматое чудо задушит его... Нет... Нельзя поддаваться. Надо встать. Легче стало дышать. Хорошо стало. Кто же зовет его?

Павел с неохотой, тяжким усилием вернул себя из какой-то нездешней, невыразимо хорошей иной стороны, откуда все тутешнее показалось ненужным и мелким. Открыл глаза. Кто-то держал коптилку в руке, трогал ему лоб.

«Васька! Братан...» — хотел крикнуть Павел, но крика не вышло. Он только сел на помосте, обнял брата.

— Лежи, лежи... — Матрос укрыл Павла тулупом. — Сейчас печь затоплю...

— Откуда ты? А и я-то где? Вот... Занемог... Да, Жильцов тут был, молот для залесенских... Ушел в деревню. Соль, говорит, кончилась.

— Арестован Жильцов.

Василий поджег бересту. Изба осветилась. Павлу показалось, что

все это снова во сне. Но нет, запахло горячей берёстой и даже городской папиросой. И Васька, брат, был живой, в морской форме, на шапке бляшка из золота, со звездой. Даже не верилось.

— Давно ты тут? — Голос вроде бы изменился.

— Обморозился я.— Павел говорил хрипло.— Думал, на мельнице отогреюсь — и домой. Просил Жильцова не сказывать. Дровни на берегу оставил, около переезда... И вот заболел...

Берёста догорела, вновь стало темно.

Матрос зажег лучину, откинул тулуп.

— Ну-к покажи ногу.

И присвистнула: ступня была вся синяя. Большой палец уже почернел, из него текла сукровица.

— Эх, Пашка! — Матрос прикрыл ногу тулупом.— Худо дело, надо в больницу.

— Наверно, сена у Карька нету. И напоить бы надо,— не слушая брата, сказал Павел Рогов.

— В больницу! Чуешь?

— Фершала нет в Ольховице, знаешь сам. Только в Усташихе. Дак чево с Жильцовым-то? Ты видел его?

Матрос Василий Пачин растопил печь. Он не видел мельника. Он заезжал лишь в деревню Залесную, но Жильцова не было дома, его увезли в Ольховицу. Отобрали ключи от подвала, от амбара, от мельницы и увезли за то, что не сдал двести пудов — гарнцевый сбор,— за то, что отказывался молоть.

— Да откуда Жильцову взять двести пудов? — Павел сел на топчане.— Насчитали за шесть годов...

Печь разгоралась все жарче и ярче. Матрос Василий Пачин выходил из избушки в конский сарай, напоил Карька и дал ему сена. Свою лошадь тоже поставил под крышу, но не распряг. Уже светало. Калачи, оставленные мельником, и кипяток в котле пробудили голод, а брат выпил только полкружки горячей воды и откусил калача. Пожевал, откинулся к стенке.

— Нет... Ничего не хочу... Порасскажи, каково служить. И надолго ли...

— Эх! — Василий сел наконец на сосновый чурбан, хлопнул шапкою о колено.— И что тут у вас творится, а, Пашка?..

— А чего творится? — схитрил Павел. Его знобило, в ноге проснулась нестерпимая боль.

— Чего вы все... зажались как...— Матрос не мог подобрать слова.— Этих... братанов Сопроновых боятся сразу две волости. Да их... скрутить обоих и в баню! И двери колом припереть!

— Этих скрутим, другие явятся.

— И тех туда! А чего? Вы уж совсем скисли! Пикнуть боитесь! Никуда не жалуетесь, будто грамотных нет!

— Отец вон до Москвы дошел, до Калинина,— тихо возразил Павел.— А что толку? Вернули было право голоса. А после прижали еще туже...

Но Василия не могли убедить слова брата. Он говорил свое. Он

звал, стыдил, ругал шибановцев и ольховцев, предлагая дать срочную телеграмму Ворошилову. Грозился своротить рыло Игнашке Сопронову, предлагал порвать опись имущества и вызвать начальство из Вологды.

Засинело окно избушки.

Павел слушал брата с полузакрытыми глазами. Похудевший, с небритым лицом, он слушал голос родного брата, слушал и не вникал. Потому что давно уже вник во все и думал больше о дровнях с подсанками, вмерзших в лед, об оставленных на берегу топоре и домашней корзине. Срам на всю округу... Еще прислушивался к шелесту ветра и к шуму вхолостую падающей воды да любовался матросом, его темно-синей форменкой, но Васька, казалось, рванет сейчас и тельняш-

ку и форменку, рванет пополам на две стороны, и тогда что-то навсегда пропадет и исчезнет. Что, пьяный он, что ли?

Матрос почувствовал братнино насмешливое недоверие.

— Ты чего лыбишься?

На небритой щеке Павла уже высохла маленькая мокрая полоска. Полулежа, опершись плечами на бревна стены, он спокойно глядел на брата. В груди матроса все клокотало. Все в нем кипело и плавилось. Павел же, брат, его родной брат, молчал и не двигался!

— Очнись! — сказал Павел.

Матрос вскочил с чурбана с жестоким северным матом. Павел так же спокойно остановил его:

— Там, под лавочкой... Корзина с жильцовским инструментом. Дай сюда.

Матрос нашарил корзину и поставил на стол. Павел поднялся. Попросил принести из-за печи левый валенок, обул его. Сидя на топчане, оторвал от мучного мешка льняную завязку, оглядел правую обмороженную ступню. Снова откинулся к бревенчатой стенке.

— Ты чего? — спросил матрос, когда брат дважды вдоль разорвал холщовую скатерть, в которой были завернуты жильцовские калачи.

Павел молча достал из корзины широкую жильцовскую стамеску и попробовал острие.

— Лапка-то... вишь, синеет. Зажги лучину! — тихо, но твердо сказал он. — Да не одну, а пучок...

В голосе брата было столько уверенности, столько спокойной силы, что матрос затих вопреки себе. Он зажег пук лучины и приблизился к топчану.

— Дай топор! Там, за печью.

— Ты что? — заговорил было матрос, но брат жестом приказал замолчать.

Василий, не зная, что будет дальше, принес топор. Павел взял стамеску и начал калить ее на лучинном огне. Бросил недогоревшую лучину на земляной пол и поставил обмороженную ступню на сосновый чурбан.

— Бери топор и стамеску!

Старший брат растерянно взял стамеску, но взять топор не осмеливался. Мельничная избушка на минуту утонула в стылую тишину. Казалось, даже дрова в очаге перестали трещать.

— Ну! Васька... Бери топор, бей! Я сам подержу стамеску-то...

Павел наставил стамеску к основанию большого пальца.

Матрос Василий Пачин нехотя взял топор.

— Эх... ну! — Павел скрипнул зубами. — Дай топор мне! Тютя. Держи стамеску. Наставляй! Выше, выше, под самый корень.

Рука матроса дрожала.

— Держи прямо, бл... такая, кому говорю? — закричал Павел.

Когда стамеска выпрямилась и руки матроса перестали дрожать, Павел ударил по ней обухом. Палец отлетел далеко к дверям. Кровь показалась не сразу. Павел успел лечь на спину и слегка приподнял ногу. Матрос начал пеленать рану холщовой лентой, холст быстро наливался бордовым цветом. Матрос льняной бечевой перетянул ступню наискось от среднего пальца, начал перевязывать стопу второй лентой. Она тоже быстро краснела...

Теперь Павел лежал на спине поперек топчана белый как полотно. Нога была поднята и опиралась пяткой на стенное бревно. Кровь остывала.

Матрос Василий Пачин плакал, он сидел рядом на чурбане, который не успела оросить братняя кровь. Сидел, упершись локтями в колени. Кровавые сжатые кулаки подпирали его обросшие за ночь скулы.

— Ну? Ты чего? — Павел шевельнул головой. — Три к носу, все пройдет. Еще поживем. Поглядим, что будет... Прибери... схорони мертвую плоть...

Матрос нашел у порога отсеченный палец, завязал его в остаток жильцовской скатерти и вышел в пристройку. Оба коня наставили уши и тревожно глядели на человека. Василий положил узелок на снег, сходил к запертой на замок мельнице, взял от ворот пешню, которой мельник Жильцов скалывал с желобов лед. Матрос Василий Пачин вернулся к избушке. В углу пристройки, где стоял сторожкий Карько, промерзло не очень глубоко. Пешня тремя ударами пробила мерзлую землю...

IX

Борьба вологжан за то, чтобы центр Севкрая был в Вологде, закончилась поражением. Губернию ликвидировали.

Еще осенью по доносам троцкистов-горкомовцев Вологодский губком был разгромлен.

В Вологду посылали специального инструктора Седельникова, после чего ЦК слушал уже нового секретаря Вологодского окружкома Стацевича. Содоклад Седельникова, одобренный Кагановичем, лег в основу резолюции по Вологде.

Текст постановления гласил¹:

«ЦК отмечает отсутствие пролетарски выдержанной политической линии в работе организации. Признавая на словах борьбу с правым уклоном и примиренческим к нему отношением, партийные руководители на деле оказались политически совершенно близоруким и проводило в ряде случаев на практике явно оппортунистическую политику. В условиях острой классовой борьбы в деревне не было уделено, несмотря на значительный рост политической активности основных масс крестьянства, никакого внимания организации батрацко-бедняцких и середняцких сил для отпора кулачеству. Политический террор кулачества нередко квалифицировался как хулиганство, а напор кулачества в низовые советские и кооперативные органы рассматривался в отдельных случаях как здоровый процесс вовлечения «зажиточных» в советское и кооперативное строительство. В руководстве решающими для деревенской экономики отраслями хозяйства — животноводство, льноводство, лес, кустарные промыслы — отсутствовала выдержанная пролетарская классовая линия, в результате чего, несмотря на общий хозяйственный подъем основных масс крестьянства, кулацкие слои деревни имели возможность быстро расти и укрепляться. В проведении важнейших мероприятий Советской власти — сельскохозяйственный налог, самообложение, землеустройство — наблюдается ряд отклонений на практике от партийной линии — случаи недообложения кулака, уравнильность при самообложении, насаждение кулацких хуторов и отрубов.

Благодаря такой явно неправильной политике и практике руководства работой в деревне кулак сумел, несмотря на общие хозяйственные и политические успехи Советской власти в Вологодской деревне, добиться в некоторых районах известного укрепления своей политической и экономической роли, а в отдельных случаях даже подчинить своему влиянию советский и кооперативный аппарат (факты сращивания аппарата с кулачеством — Шуйская волость, Кубено-Озерская, Верхне-Вологодская).

ЦК отмечает поворот организации за последнее время (в период после районирования) в наступлении на кулака. Однако ЦК считает мероприятия Вологодского ОК и Северного краевого комитета партии в этом направлении недостаточными и предлагает перестроить работу всех звеньев организации, добиваясь решительного перелома в состоянии всей работы в деревне.

ЦК предлагает провести с тщательной подготовкой досрочные перевыборы всей сети партийных органов и создать чрезвычайную ок-

¹ Орфография документа полностью сохранена. (Здесь и далее прим. автора.)

ружную партийную конференцию, энергично развертывая в ходе переизборной кампании самокритику снизу и мобилизуя всю организацию на решительную борьбу с конкретными проявлениями правого уклона и примиренческого к нему отношения.

Проверить тщательно во время проходящей чистки партии и госаппарата весь состав руководящих кадров (окружных, районных и сельских) с точки зрения их боеспособности, моральной устойчивости и выдержанности в проведении директив XV съезда партии о наступлении на капиталистические элементы и о развертывании социалистического строительства. В первую очередь проверить состав тех соворганов, в работе которых имели место явные классовые извращения, — земельный отдел, финотдел, а также принимая во внимание, что кулак крепче всего окопался в органах кооперации (особенно в маслосоюзе), провести снизу доверху проверку состава и работы коопорганов, беспощадно изгоняя из них всех проводников кулацкого влияния.

Отмечая неудовлетворительность руководства местными органами со стороны ряда центральных учреждений (НКЗем, НКФин, Маслоцентр, Союз Союзов, Колхозцентр), предложить им укрепить постановку организационной работы.

Боевой задачей ближайшего времени поставить организацию бедноты и батрачества по всей системе советских и кооперативных органов, обеспечив их руководящее влияние в этих органах и добиваясь изоляции кулака в вологодской деревне на основе укрепления союза рабочих и бедноты с середняком.

Поручить орграспреду ЦК выделить в месячный срок для укрепления Вологодской организации пятьдесят выдержанных и твердых работников из состава Ленинградской и Московской организаций, в первую очередь для низовой партийной и советской работы и оздоровления аппаратов кооперации (особенно Маслосоюза и Животноводсоюза).

Командировать в Вологодский округ сроком на 1 месяц члена ЦКК и члена ЦК.

ЦК предлагает добиться превращения лесозаготовок в одну из основных общественно-политических кампаний в деревне, руководствуясь директивами ЦК от 29 июля 1929 г. по докладу Северных парторганизаций.

В области кустарных промыслов обратить особое внимание на борьбу с засилием кулацких и нэпмановских (скупщики) элементов, на создание в районах из наиболее развитых промыслов (Кубено-Озерский, Усть-Кубинский, Шуйский) крупных коллективных промысловых хозяйств.

Отмечая совершенно неудовлетворительное состояние парторганизации в деревне — незначительное количество крестьян-коммунистов и хозяйственное обрастание части из них, — предложить Северному краевому комитету партии и окружному принять меры к укреплению рядов деревенской организации путем вовлечения в партию лучших батраков и бедняков.

Командировать в распоряжение Вологодского ОК 1 пропгруппу и 2 орггруппы».

26 декабря, в четверг, Каганович утвердил список орггруппы, направляемой в Вологду. В группе насчитывалось семеро (после Нового года, 6 января, в понедельник, дополнительным решением к группе присоединился восьмой, товарищ Вилюмат).

Ну и дала ж вологжанам перцу эта орггруппа! Игнорируя распоряжения из Архангельска, действуя помимо крайкома, эти люди развернули поразительно активную деятельность. Бергавинов глотал множество золоченых пилюль, он не очень охотно соглашался с действиями московских уполномоченных. В Вологде над самыми боевыми пар-

тийцами нависла угроза обвинения в правизне. Обвинения же в малоактивности сыпались буквально на всех, начиная с секретаря окружкома Стацевича. Все чувствовали, что надвигается нечто неотвратимое.

В четверг, 30 января, Стацевичу принесли переданную открытым текстом телеграмму из Архангельска:

«По сообщению уполномоченного крайколхозсоюза, в Грязовецком и Вожегодском районах начался выход членов из колхозов в результате кулацкой агитации среди колхозниц и недостаточного руководства районных организаций. Руководящие организации за подсчетом процентов коллективизации забыли о качестве колхозов. Предлагаем немедленно обратить на это внимание — бросить в районы сплошной коллективизации силы и сломить противодействие кулачества, развернуть работу по организации бедноты, женщин. Ответственность возлагаем на вас. Севкрайком Конторин. Севкрайколхозсоюз Тимофеев».

Едва успел Стацевич подчеркнуть слова о «сплошной коллективизации», а также о том, что нужно «сломить противодействие кулачества», как тут же принесли еще одну шифровку, подписанную самим Бергавиновым. В этой шифровке предлагалось немедленно выделить дополнительные помещения для прибывающих с юга раскулаченных в прилуцком монастыре, Высоковской запани и в грязовецких казармах.

Вечером по требованию члена орггруппы ЦК Сагитулина Стацевич срочно созвал бюро окружкома. Кроме членов Ромашина, Гуляева-Зайцева, Шевковой, Рыбина, Сидорова, Колмакова, Рахманского, Анохина и Рогаткина, на заседании присутствовали окружной прокурор Головин, представитель ОГПУ Райберг, Карельский, Пузырев, Балод, Гиндин и член орггруппы ЦК Сагиталин. Бюро окружкома единогласно приняло постановление, в котором предлагалось: «...всем парторганизациям немедленно приступить к учету и конфискации всего кулацкого имущества, обратив при этом внимание не только на основные средства производства, но и на возможные запасы дефицитных товаров в кулацких хозяйствах».

В ночь на 31 января почти никто из членов окружкома и окрисполкома не спал. Шли срочные инструктивные совещания. Секретные телеграммы были немедленно переданы по всем районам. По всем районам, не дожидаясь утра, выехали специальные и оперативные уполномоченные. Органам милиции и подиву 10-й дивизии были даны спецказания.

И все же долгая январская ночь оказалась слишком короткой. Специальные группы в районах были организованы только под утро, да и то кое-как, наспех. Районный актив, поднятый нарочными, торопливо ознакомили с телеграммой из Вологды.

Как и кого раскулачивать? Никто толком не знал. Прежде чем выехать в Ольховицу, Скачков вызвал на телефон Сопронова — председателя Ольховского сельисполкома. Он дал ему устное указание немедленно приступить к экс... экспро-про-проприации.

Скачков, словно на школьном уроке, потребовал повторить, что надо делать. Но Сопронов так и не выговорил как следует это костоглотное, хотя и давно знакомое слово. Скачков отвязался. На столбе за стеной гудела железная телефонная жила. Нудно, надрывно, словно от зубной боли, стонала она от дальнего ветра. Но Игнаха слушал эту ночную струну с нарастающей бодростью. Он все еще держал в руке телефонную трубку. Рядом на стуле коптила зажженная Степанидой «летучая мышь». А где сама Степанида? Он забыл, что турнул ее собирать сельсоветский актив.

Ночь выдалась не холодная и без ветра. Темнее не могло уж и быть, тишина давила, казалось, снизу и сверху. Глухо, будто из-под земли, сказывались в ольховских домах петухи. Степанида по памя-

ти, чуть не на ощупь выбрела к дому Гривенника. Пошарила по воротам, забрякала железным кольцом. Подождала. Никто не шевелился. Она начала стучать кулаком в полотно. Гривенник спал сном праведника. Степанида, потеряв терпение, начала пинать в полотно ногой, и ворота вдруг сами раскрылись. Баба напугалась темноты в холодных чужих сенях. От этого начала звать громче, и только тогда в избе зашебаркались. Не вздувая огонь, в одних портках Гривенник выглянул в двери:

— Кто?

— Унеси тебя водяной! До чего доломилась, что и руке больно. Вставай, поваровой!

Она велела Гривеннику скорее бежать в сельсовет, сама, опять на ощупь, по памяти, направилась к дому Веричева. Ругала Игнатя, что отнял фонарь, зато у ворот Веричева пришлось стучать недолго. Едва ступила на крыльцо, в сенях громко, залиvisto залаяла собака, будто обрадовалась неурочной побудке.

После Веричева Степанида сходила до прозоровского флигеля, подняла Митьку Усова. Оставалось сбегать к наставнице Дугиной.

Как раз в это время и зажглись нижние окна большого шустовского дома. Степанида слышала, когда пробежала мимо, что в проулке у Шустова что-то движется, за окнами тоже чуялось шевеление, но ей было велено — кровь из носу — скорее собрать ольховских членов ячейки, поэтому она тут же забыла про шустовское подворье. «Лешие, сотоны, — ворчала уборщица. — Вишь, моду взяли, и по ночам не спят!»

Она вернулась в сельсовет, зажгла десятилинейную лампу, подставила стул и повесила ее к матице. В сельсоветской комнате стало светлее. Когда собрались Веричев, Гривенник, Дугина, когда приковылял Митька Усов, председатель попросил Степаниду выйти... О чем они совещались? Она не знала, но примерно через час все пятеро дружно вывалились из дверей и по коридору на улицу.

Фонари несли Веричев и наставница. Длинные тени от валенок метнулись по снегу. Все молча двинулись по дороге. Сопронов на ходу приказал Степаниде запрячь сельсоветскую лошадь. Степаниде было совсем невтерпез. Ей обязательно нужно было знать, куда это и зачем двинулись активисты. Она решила, что лошадь ей недолго запрячь, минутное дело. Она и после запрячь успеет. Степанида пошла следом. Сперва она шла за ними на порядочном расстоянии, чтобы не видно было, но вскоре начала догонять, а в проулке у Шустовых и совсем присоседалась. Все пятеро были в таком состоянии, что и не заметили Степанидиной вольности. И вот уборщица совсем забыла, что надо запрягать сельсоветскую лошадь, она уже переговаривалась с наставницей, как будто так и надо.

Окна в нижней, первоэтажной избе Шустовых ярко светились. Сопронов предостерегающе поднял руку. Все остановились.

— Не спят! Надо было хоть ружье взять! — тихо проговорил Гривенник.

Веричев, лесной объездчик, насчет ружья промолчал. Минуты две стояли не двигаясь. Переступив с ноги на ногу, Веричев произнес:

— Ну что, чево стоять? Пришли, дак надо идти! Стоять нечево.

Сопронов взял фонарь учительницы и первым ступил с улицы к дому Шустовых. Остальные поспешно пошли за ним. Было около пяти часов за полночь. Кое-где в домах уже начинали вставать старики и большухи. Была пятница — последний день января 1930 года. Пятеро ступили на шустовское крыльцо. Сопронов хотел постучать, но ворота оказались настезь распахнуты. Сопронов оглянулся на спутников. Те молчали. Он пошел дальше, открыл двери нижней избы.

Пахнуло давно обжитым теплом. Смешанный запах печного варева и детских одежд, шорного дела и пирожной закваски успокоил Сопронова, за ним осмелели и остальные.

— Встали хозяева?— с порога спросил Сопронов и еще смелее шагнул на свет.

Но ему никто не вышел навстречу. Под потолком ярко горела вишечная лампа, в горнице светила настольная, семи линий, но в обеих избах было пусто. «Спрятались, что ли?— мелькнуло в председательской голове.— Достанем из-под земли». И он дернул за колечко, открыл люк, ведущий в подполье. Посветил фонарем. Подполье было завалено картошкой и брюквой.

— А вот и ружье есть, Игнатей Павлович,— то ли всерьез, то ли с насмешкой сказал Веричев.

На лосиных рогах, вделанных в стену, действительно висели тульская сломка, сделанная из бычьего рога пороховница и патронташ. Сопронов поспешно снял ружье, проверил. Схватил патронташ и так же поспешно зарядил.

— В хлевы!— приказал он.

— В хлевах нам нечего делать,— сказал Митька Усов и сел на лавку.— Закуривай.

— То есть как нечего?— удивилась учительница.

— Так. Никого нет.

Но Гривенник и Сопронов с фонарями в руках уже шастали по верхнему сараю и в верхних холодных избах, распахивали сенники и спустились вниз. Вся скотина, кроме лошади, была на месте. Овцы в хлеву испуганно шарахались по углам, две коровы недоуменно глядели на незнакомцев.

Лошади в стойле не было.

Сопронов как угорелый выскочил на улицу, прыгнул под въезд, где стояли обычно розвальни. Ни упряжи, ни розвальней тоже не было.

— Степанида! — заорал он.— Ты запрягла аль нет? Давай пулей чтобы...

Но Степанида уже пропала куда-то. Дом со всем добром брошен, и людей нет. Могла ли уборщица удержать при себе такую новость? Нет, это было ей не под силу... Сопронов прибежал в избу, хватая за рукав то Митьку, то Веричева, кричал:

— Уехал! Догонить надо гада! Усов! Быстро запречь и догонить!

— Ищи ветра в поле,— сказал Усов. Он не спеша заворачивал цигарку.

— Ты у меня...— Сопронов был окончательно взбешен.— Ты у меня после... после поговоришь!..

— Да куда ехать?— вступился за Митьку Веричев.— Оне, может, с вечера выехали, тридцать верст отмахали.

— Неизвестно ишшо, по какой и дороге-то...— вставил Гривенник, держа в одной руке затейливый чайник, в другой пчеловодный дымарь. Глазами он успевал ощупывать шустовский стол с чернильницей и с какими-то книгами.

— Положь на место!— приказал Сопронов, но Гривенник поставил на стол один чайник. С будильником он ни за что не хотел расстаться.

Все пятеро, ошарашенные и удивленные, не знали, что делать. Брошенный дом был полная чаша. В хлевах скотина, на верхнем сарае солома и сено. В ларях мука, в сундуках белье и одежда, в шкапах посуда и книги — все брошено на произвол судьбы! Но как осмелился Шустов, как уместил в розвальнях пятерых малолеток, старуху и глубокого старика? «Ну ладно,— думал Митька,— ядреные ушли за возом пешком. А как с харчами-то? С кормом для лошади как? Ежели на возу пятеро малолетков да два старика, туды уж больше ничего не положишь».

Комиссия между тем ходила с фонарями по всему дому. До рассвета успели описать самое главное: скот и одежду. Сопронов, не расставаясь с ружьем, распахивал сундуки и шкапы, откидывал одея-

ла. Драночная зыбка на березовом очепе еще хранила тепло, одеяльце еще не остыло. Пеленочный запах не успел выветриться. Сопронов перевернул всю внутренность зыбки и вдруг снова вскинулся вороном:

— Под твою ответственность!— Он схватил Веричева за ворот.— Чтобы все до последнего гвоздя в список! Я его, гада, все равно догоню...

Он побежал к прозоровскому подворью, где стояли кони и где обрзовался центр усовского колхоза. Там было свалено сено и вся колхозная упряжь. Сопронов прибежал туда с фонарем и с ружьем, долго искал сельсоветскую сбрую. Сельсоветская лошадь тоже куда-то исчезла. Бегая по Митькиному колхозному двору с ружьем и с фонарем, он вспомнил наконец, что велел запрячь Степаниде, но у сельсовета ни повозки, ни уборщицы не оказалось. Пока бегал по Ольховице, лошадь, запряженная в санки, стояла у дома Шустова, где продолжала хозяйничать комиссия. Сопронов отвязал лошадь, положил ружье и патронташ в передок санок, бросил в них охাপку шустовского сена, развернулся и на ходу запрыгнул в корешковые санки.

«Куда он ударился?— думал Сопронов про Шустова.— По какой уехал дороге? Ежели в сторону станции, надо позвонить в район. А ежели в сторону Пунемы? И еще есть дорога, третья... Нет, на третьей Шустову нечего делать, он либо на станцию, либо в лесопункт. Может, и догоню, надо попробовать...»

Сопронов привстал в санках, ударил по лошади ременной вожжиной.

На рассвете матрос Василий разверстал в розвальнях Евграфов тулуп, в другой тулуп завернул Павла и на руках вынес его из мельничного тепляка. Утыкал со всех боков.

— Ну, Пашка, терпи. Авось не заморожу тебя. Куда поедем? В Шибаниху или Ольховицу?

— Вези, где сударушка.— Брат даже пробовал пошутить.— В Шибаниху...

Матрос привязал Карька за повод к розвальням, прыгнул в них сам и гикнул. Мельница исчезла за лесом. Дорога была переметена во многих местах, особенно на полянах, но застоявшуюся лошадь не пришлось понукать. Карько, тот забирал даже вперед, насколько хватал привязанный повод. Когда выехали на большую дорогу, совсем рассветло. Поземка настырно и косо неслась поперек пути. Следы от ползьев тотчас заметало, лошади перешли на шаг.

— Может, к отцу?— спросил брата Василий.— Тут ближе... И медицину легче бы вызвать.

— Нет. Давай уж в Шибаниху.— Голос Павла звучал глухо, но матрос погасил тревогу в душе: «Ничего, ничего...»

— Полундра!— вдруг крикнул он, когда встречная лошадь несколько не отвернула в сторону.

Повозки ударились запрягами. Оглобли сцепились.

— Сдавай назад!— крикнул матрос.— Сворачивай!

— Сворачивай сам!— послышалось впереди.

— Нам нельзя в снег!

— А мне можно? Давай ворота, а то худо будет!— крикнул Сопронов.

«Кому худо будет, еще поглядим»,— подумал матрос Василий Пачин и спрыгнул в снег.

— Лежи, Пашка. Где топор? Я ему гужи обрублю...

Но умные кони сами, без человеческого приказа подались вспять, оглобли упряжек расцепились. Можно было разъезжаться, а Сопронов не шевельнул вожжами. Матрос взял встречную лошадь под уздцы и свел ее с дороги в глубокий снег. Сопронов выхватил из передка шустовское ружье. Матрос не видел ружья и прыгнул в свою повозку. Сопроновская лошадь вплавь, рывками выбиралась на твердое

место. Павел шевельнулся в тулупе, слегка привстал и узнал Сопронова. «Он,— подумалось Рогову.— Опять с ружьем. Куда бы в такую рань?» Василий замерз от купания в снегу, надо было ехать скорее. Он показал Сопронову кулак, тронул вожжи, и кони пошли скорой рысью. Повозка с братьями и Карько удалялись все дальше к Шибанихе.

«Чего это занесло меня на залесенскую дорогу?»— подумал Сопронов. И положил ружье в передок санок. И вдруг он сразу забыл о родной деревне Шибанихе. Он начал прикидывать, что делать: «Так. Значит, так. Скачков приедет не раньше ночи. За день они все по родне растащат! Все попрячут. Нет, нельзя ждать Скачкова, надо самим! Догадаются ли Веричев с Усовым сходить с описью к Гаврилу Насонову? Учительша — эта только бумаги писать... Гаврила — опишем и Данила возьмем за жабры. Нонче Пачин не вывернется...»

Так думал Сопронов. Думал, гадал: то ли повернуть в Ольховицу, то ли ехать в Шибаниху. «В Шибаниху! — вдруг твердо решил он.— А Данило с Гаврилом теперь не ускочат...»

Он решительно развернулся и выехал к шибановской отворотке, куда только что скрылись братья, Даниловы сыновья. План уже выстраивался в голове. Что сделать в первую очередь? Собрать комиссию. Группу, а то и две. Кого в группу? Митя Кузёмкин поведет одну группу, он, Сопронов, другую. Чтобы успеть, пока не очухались. Кузёмкина в группу — раз. Он, Сопронов,— два. Селька, братан,— три. Володя Зырин, счетовод,— четыре. Лыткин — пять. Кеша Фотиев — шесть. Для счету согдится и Носопырь. Нет, не выйдет, пожалуй, на две группы! Придется одной...

Так думал он, погоняя кобылу, возбужденный и радостный: «Пришли, пришли знатные времена. Дремать некогда. С кого бы начать? Знаем, с кого начать...»

Сопронов запалил исполкомовскую кобылу. Она потемнела от пота, белые хлопья пены появились в паху. В деревне он кинул вожжи на колья своей изгороди, схватил из санок ружье и вбежал в избу. Минуты через две из ворот появилась Зоя, она побежала собирать назначенных членов... Потом, на ходу что-то пережевывая, появился и Селька, он двинулся открывать красный шибановский угол, в котором всю зиму топил печь и подшивал газеты.

Не больно-то жарко натопил Селька в бывшей конторе, в половине лошкаревского дома. Вторые рамы имелись не в каждом окне, двери ничем не обиты, печка-щиток давно потрескалась.

Первым в читальню явился Миша Лыткин в своей желтой дубленке. На полах шубы намерзли ледяные бубенцы, они слегка побрякивали. Он снял шапку, но от холода сразу надел, отчего постеснялся читать, вернее, глядеть картинки в газетах. (Читать, не снимая головных уборов, Селька не разрешал.) Вторым пришел Володя Зырин — продавец кооперации, он же счетовод колхоза «Первая пятилетка»; сразу за ним показался сам председатель Митя Кузёмкин. Последним, с ружьем за спиной, пришел Сопронов.

— Ты, Игнатей Павлович, чево это? — спросил Кузёмкин.— За охотой, что ли? У нас за гумном зайцы вон так и скачут...

Сопронов так поглядел на Кузёмкина, что Митя сразу сменил тон.

— Товарищи!— заговорил Сопронов, когда все призатихли.— Ночью получена устная телеграмма из района. Есть указание немедленно приступить к разгрому кулачества как класса... В Ольховице уже начали. Не будем терять драгоценных минут, начнем сразу и мы...

Все замерли.

— А кто в Шибанихе кулаки-то?— спросил Зырин.— У нас нет.

— У меня список!— жестко сказал Сопронов.— Да все мы и так знаем, кто в Шибанихе кулаки, товарищ Зырин! Ежели тебе неизвестно, могу зачитать...

Кеша Фотиев как раз заглянул во двери. Сопронов махнул ему, чтобы заходил быстрее, и продолжал:

— Предлагаю: разделимся на две группы. Одна с Кузёмкиным, другая со мной. Кому начинать с ольховского конца?

— Нет, Игнатей Павлович, с двух-то концов не лучше,— сказал Кузёмкин.— Давай уж пойдем все вместе.

— Пока опишем в одном конце, в другом все спрятают!— со злом обернулся Сопронов.— Боишься, что ли?

— Не боюсь, а вместе надежнее.

Сопронов нехотя сдался. Он взял у Сельки карандаш и амбарную книгу для описей, первым открыл двери.

— Пошли!

В коридоре он перевесил ружье из-за спины на плечо. Лестница закрипела, все двинулись за Игнахой.

У крыльца встретился Носопырь. Сопронов велел ему идти в дом к Роговым, Сельке приказал караулить Евграфа Миронова.

— А с кого будешь начинать?— поинтересовался Кузёмкин.

— С Жука!— на ходу бросил Сопронов.

...Пятеро подошли к воротам Брусковых. Сильный стук в полотно ничего не дал. Сопронов пошел к окну зимней избы. За стеклом мелькнула женская кацавейка. Сопронов сильно постучал в раму, но ворота уже открылись.

Жучок в шубной жилетке поверх синей рубахи, простоголовый, стоял в воротах.

— Ну, здорово-те. Чего, колхозных коров считать? Дак больно вас много!— промолвил он, бледнея.

В избе он пнул тершегоса о валенок кота.

— Матка, ставь самовар вдругорядь! Видишь, сколько сватов наехало?— Голос Жучка совсем истончился.— И ты, тятка, слезай с печи, погляди на гостей. Пришли раскулачивать...

Жучок проворно достал из шкапа какую-то бумагу. Он совал ее под нос Сопронову:

— Вот! Почитай, ты грамотный! У меня с тяткой роздельный акт!

— Не имеет значенья,— сказал Сопронов.

— Это как это так?

— А так! Хозяйство разделено с цели!

Напуганная, белая, как холстина, Агнейка стояла за такой же перепуганной матерью, две младшие девчонки словно зверьки глядели из-за шкапа. Сестры Жучка Марютки дома не было, уехала под извоз. Сивый, сухой Кузьма по прозвищу Жук слезал с полатей. Его длинная, ниже колен рубаха удивила комиссию. Старик, стуча клюкой, по очереди подходил к каждому, пытаясь узнать по обличью, кто пришел.

— Сивирька, этот-то чей?

— Этот, тятка, у их главной конвой,— сказал Жучок про Мишу Лыткина.— Вишь, у одного батог, у другого ружье. Пришли как на медвидя...

Сопронов сел за стол, сдвинул чайные чашки. Поставил ружье между колен, подал Кузёмкину бумагу и карандаш.

Сиротский голос Жучка растворился в жутком женском плаче. Вслед за матерью взревела Агнейка, за шкапом тоненько заплакали младшие.

Жучок скакнул с лавки прямо к Лыткину, ткнул ему пальцем между ключиц.

— Что, Миша? Доходы мои пришел считать? Посчитай, посчитай, коли своих нет! Посчитай, только гляди, Михайло, не просчитайся.

— Подай ключи от подвалов!— гаркнул Сопронов Жучку, но тот сделал вид, что не слышит. Он только что обратился к Фотиеву:

— И ты, Асикрет Ливодорович, заодно с има? Добро, парень,

очен-но добро! Давно бы так... Хозяйство вести не мудьями трясти, тут легче. Дело у тя пойдет...

Северьян Кузьмич подскочил наконец к Сопронову:

— Ежели право такое есть, иди ломай! Подламывай, Игнатей Павлович, был ты вор полуношный, ныне грабишь середь белого дня! Иди в сенники!

Сопронов сдержался. Кивнул Кузёмкину:

— Начинай! Узнаем, у кого наворовано больше.

Сопронов велел закрыть избу на крюк и никого не пускать. Кеша встал было у дверей, но плач в брусковском доме услышали Новожиловы. Появились и другие соседи. Сопронов диктовал Мите Кузёмкину:

— «Самовар желтый, ведерный, да второй самовар, белый». Записал? «Котел чугунный. Шкап резной! Кровать железная».

Он хотел распахнуть шкаф, передумал и решил открыть вначале девичий сундук. Агнейка ничком упала на крышку.

— Не дам! Иди к лешему!

Он сильно отпихнул ревушую девку, сходил в куть, взял у шестка лучевник. Подсочился в щель и нажал. Крышка отлетела, сломанный музыкальный звоночек пропел печально и тонко.

— Пиши: «Пара отгласная. Холсты два конца. Строчи, фата кашемировка...»

Агнейка, причитая, вместе с матерью каталась по полу. Жучок вдруг схватил у шестка железный ухват и хлестнул по залавку. Там все полетело, но Сопронов, с виду спокойный, обернулся к нему:

— За порчу имущества будешь отвечать по закону!

— Закон? Это какой закон? Вот тебе закон! Вот!

Жучок бил по горшкам, все в кути гремело и грохалось, но Сопронов диктовал Мите Кузёмкину:

— «Труба самоварная, новая. Шуба крытая. Приборов чайных фарфоровых шесть, тушилка для угольев...»

Игнаха не заметил, как исчез из избы Володя Зырин. «Убежал счетовод!— со злобой подумал Сопронов, когда побег обнаружился.— Ладно, это дезертирство мы припомним, придет срок...»

Наконец-то пошли по сенникам и подвалам. Кеша и Зоя Сопронова вязали узлы с одеждой, торопливо таскали на улицу и складывали в сельсоветские сани. Из подвала Кеша и Миша Лыткин волокли выделанные кожи, мотки пряжи, мешок с толокном, два с мукой, замороженную баранью тушу. Все это Сопронов велел возить под замок, в бывший орловский, нынче колхозный амбар.

Миша Лыткин, прикрывая, топтался около воза. Его заинтересовало большое лукошко с вяленой брюквой.

— Ето... Больно много навялено! Галанки-то.

— Наворовано того больше,— поддержал Кеша.— Я этого Жучка знаю, он вор с малолетства. Бывало, ишшо робенками ходили по ягоды. В сеновале уснули. Я очнулся, гляжу, он черницу перекладывает из моей корзины в свою.

— Давай не рассусоливай! Плотнее клади,— командовала Зоя около воза.

«Ничего не успеть!— выходя на крыльцо, подумал Игнаха.— Дело к вечеру, а мы с одним не управились».

...Жук и Жучок, оба как пьяные, ходили по морозному дому, один босиком, другой без шапки, вскоре они как-то сразу стихли, одеревенели. Стояли посреди повети и бормотали что-то непонятное. В избе соседки оттирали снегом Агнейку и Марфу, кто-то увел из дому девочек-малолеток. Сопронов вернулся в дом, поглядел вверх Жука и Жучка.

— К завтрашнему утру помещенье освободить! Ты, Северьян, мою натуру знаешь, второй раз говорить не стану.

— А куда?— по-бабьи взвизгнул Жучок.— Пес! Разорил гнездо, дак ты и скажи: куда мне топерь? Со стариком-то да с детками? Ты пес, тебе, псу, все одно, на какие пеньки ссеть! А мне-то куда?

Но Сопронов не слушал слезных криков Жучка.

От Брусковых он хотел направить группу к поповнам, рассчитывая там на драгоценный металл. Третьим на очереди был у него Евраф Миронов, четвертым...

«Успеем ли за ночь?— мелькнуло в разгоряченном уме.— Успеем». Он сдержал, не дал свободы восторженной тряске, готовой охватить его от ушей и до пят. Словно хозяйка-большуха, что оставляет овсяный кисель на конец праздничного застолья, он оставлял Роговых, как говорится, на верхосытку...

Но зимний день быстро шел на убыль. Когда группа управилась с Жучковым именем, Кузёмкин вздумал устроить перекус. К поповнам пришлось идти уже с фонарем.

...Гигантские тени от ног стелились по снегу, бесшумными призраками шагали вместе с Кузёмкиным к церкви и кладбищу. Поповка мерцала во тьме двумя желтоватыми окнами. Кузёмкин шел вперед и вперед, за ним с ружьем и с женой бойко ступал Сопронов. За ним шел Кеша Фотиев, и сзади всех торопился взопревший Миша Лыткин. Они прошли мимо безмолвного, белеющего в ночи храма, боясь взглянуть на него, спеша и отступаясь с высокой тропы в снег. Миновали поповский садик. Фонарь выдыхался, коптил, наконец и совсем погас. Тихая тьма со всех сторон, снизу и сверху, сдавила пришельцев.

— Ломись! — ободрил Сопронов Кузёмкина.— Чево испугался?

Председатель повернулся задом к дверям. Приноровился и начал пяткой подшитого валенка бухать по воротному полотну.

Х

В Ольховице с отъездом Сопронова группа понемногу потеряла боевой пыл. Чуть не весь день описывали шустовское имущество. Под вечер по предложению Дугиной решили было идти на Гаврила Насонова, чтобы отобрать хотя бы пока кузницу, но Усов ушел по своим срочным колхозным делам. За Веричевым тоже прибежали: у того начала телиться корова. Гривенник да учительша Дугина остались без дела. Пока в исполком не прикостылял Митька Усов да пока не отелилась веричевская корова, все бездействовали, а тут пришло убеждение, что надо дожидаться Игнатя Павловича и только потом идти кулачить Гаврила Насонова.

И все разошлись.

Вечером в притихшую, темную Ольховицу въехали две подводы. Усталые, запорошенные снегом кони с фырканьем остановились у сельсовета. Из первых санок выпростался Скачков в полушубке и Фокич в пальто. Из вторых — широких — вылезли два заснеженных милиционера. Они долго отряхивались, разминались, затем все поднялись в мезонин. Лесенка наверх, казалось, не вытерпит тяжести, ступени скрипели долго и жалобно. И вот уборщице Степаниде вторую ночь подряд пришлось бегать по всей деревне...

В мезонине было не очень холодно. Покормив лошадей, Скачков отправил одного милиционера и Смирнова Каллистрата Фокича в Залесную, где недавно был арестован мельник Иван Жильцов, и по другим деревням. Сам Скачков вместе со вторым милиционером остался и потребовал в мезонин секретаря ячейки Веричева, а также председателя колхоза Дмитрия Усова. Веричев доложил обстановку, сказал о Сопронове.

— А вы чем тут занимаетесь?— на повышенном тоне спросил Скачков.— За весь день одно хозяйство? Вы чем думаете, головой или задницей?

И Скачков потребовал от Веричева, во-первых, послать нарочного

за Сопроновым, во-вторых, немедленно представить список недоимщиков. Он тщательно изучил список, затем поставил на нем шесть или семь красных галочек.

— Шустова мы найдем, далеко не уедет,— сказал он.— А эти? Пачин с Насоновым... что, они у вас на особом счету? Сейчас же реквизируйте дома и имущество! Обоих арестовать! Выделить людей для охраны, отправить в район.

Веричев хмуρο мял свою белую заячью шапку.

— Насонова с Пачиным мы не посмели трогать.

— Почему?— Скачков встал.— За какие заслуги?

— Сыновья у обоих в Красной Армии,— поддержал Веричева Митька Усов.

— Это не ваше дело!— взъярился Скачков.— Вы оба понесете партийную ответственность.

— За что, товарищ Скачков?— не удержался Веричев.

— За то, что потворствуете классовому врагу!— Однако он сбавил тон и заговорил тише.— Я из-за вас неприятностей наживать не хочу. Поймите. Надо выправлять положение. Собрать понятых!

Пришел сонный Гривенник.

Скачков растегнул кобуру, проверил наган.

— Учтите. Сегодня спать не придется,— уже совсем мирно улыбнулся он Веричеву.— Надо бы хоть по стакану чая сперва.

Веричев повел приезжих к себе. Гривенник, Степанида и Усов спустились вниз, терпеливо стали ждать возвращения начальства. Зазвонил телефон. Усов взял трубку. Далекий голос Меерсона требовал позвать к аппарату Сопронова.

— Да нету, нету Сопронова-то!— орал Митька.

В трубке что-то шумело, как в самоваре. Провод на столбе за окном выпевал свою бесконечную ветряную ночную песню. Сердце у Митьки Усова ныло еще больше. Степанида тоже кряхтела и охала. Когда Гривенник в очередной раз вышел до ветру, Усов обернулся к уборщице:

— Это... Ты бы сходила... знаешь сама.

— Куды?

— Куды, куды!— рассердился Усов.— К людям! К Данилу да Гаврилу. Не знают ведь ничего... ни сном ни духом...

Степанида смекнула, послушалась и проворно исчезла. Провода загудели еще настойчивее. Мышь за печкой невозмутимо грызла какой-то сухарик. Митька Усов, по прозвищу Паранинец, слушал ночные звуки, ему было обидно, что к Веричеву ушли без него. «Наверняка и сороковку выставит,— думал Усов.— Веричев без вина не живет».

Вернувшийся с воли Гривенник тоже был недоволен. Усов припомнил давешний спор с Гривенником насчет Данила с Гаврилом, когда, уже под вечер, описали и заперли на замок подворье Шустова. Веричев занял колебательную позицию, учительница встала было за Гривенника. Но председатель колхоза высказал сомнение: можно ли раскулачивать колхозников? Да еще и семьи-то красноармейские. Он предлагал подождать, что скажут завтра по телефону, и вот тут-то Веричев и поддержал Митьку Усова. Хорошо, что Игнахи не было, уехал шибановских раскулачивать. Но все равно ныла почему-то усовская душа! Это нытье было похоже на гул столба, на стон телефонного провода. Тревожная дрема совсем сморила Димитрия. «А чего это председатель-то и в том колхозе тоже Митька? И в Залесной Митька и в Шибанихе Митька...» Усов, не спавший вторую ночь, начал клониться набок то влево, то вправо. Голова то и дело тыкалась подбородком в грудь. Вскоре он перестал сопротивляться и захрапел.

Сколько времени он спал? Топот ног и скрип наружного входа вклинились в его невыразимо приятную грезу. Он не желал возвращаться из потустороннего состояния, но здешняя неприятная сторона вновь выволакивала его к зимней растревоженной Ольховице, к Скач-

кову с наганом и ко многим и прочим неприятностям. «Идет!»— проснулся Усов и тряхнул нестриженной головой. Но был это не Скачков и не Веричев.

В дверях объявилась широкая фигура Данила Пачина. У порога Данило обил рукавицей налипший на валенки снег, только после этого поздоровался с Усовым.

— Ну, Димитрей, ясли-то мы добры сделали. Да жердь не хватило, вишь, надо бы в трех углах. Кто приехал-то?

— Сам Скачков, да еще и с помощниками.

— Может, и нам с Гаврилом, как Шустову? Семейство на воз, избушку на клюшку...

Едва помянул Данило Гаврилу, как послышался новый топот и тот сам заглянул во двери:

— Разрешите, пожалуйста!

Большая каштановая борода была похожа на бороду отца Николая, только темнее. Не успел Гаврило поздороваться с Усовым, как половицы в сенях опять закрипели и Дымов Аким шагнул через порог, а вскоре пришли еще двое, а когда вернулись Скачков и Веричев, народу стало еще больше.

— Кто разрешил?— Скачков так поглядел на Митьку, что у того съезжилось что-то внутри.— Почему не спим, граждане? Время ночное.

— Мы-то, гражданин начальник, товарищ Скачков, уснуть севодни никак не могли!— заговорил Данило Пачин.— Оба с Гаврилом вторую ночь не можем уснуть. Да ведь и ты-то не спишь.

Скачков, раздраженный, ходил по свободному месту, разглядывал всех в лицо. «А ты чего?»— хотелось ему сказать каждому, но он лишь глядел в переносицу и отходил к следующему. Он взглянул наконец и на Гаврила Насонова. Тот встал со скамьи, снял шапку.

— Позволь, товарищ Скачков, спросить...

— Спрашивай!

— Я, значит, так... Говорят, что я записан в класс. Этот класс велено, говорят, выдрать с корнем, значит, ликвидировать. Так я, значит, и хочу спросить: кто велел меня ликвидировать? Ведь я вроде не тать, не разбойник...

Не удержался тут и Данило, перебил Гаврилову речь да и начал рассказывать, как воевали они с белыми генералами. Данило сунул в руку Скачкову «копию с копии»— письмо от Калинина. Все заговорили, и Митька Усов понял, что это он, Усов, испортил Скачкову всю обедню, понял, и вроде бы стало Усову легче. Нет, ничего не получится у Скачкова в эту ночь! Зря и за Игнахой послали. Время идет, и народ идет... Поневоле придется объявлять митинг либо собрание. А тут объявился вдруг и матрос Василий! Веселый, он прямо к Скачкову и, здороваясь, подал руку.

— Откуда и кто?— спросил Скачков, нехотя отвечая на рукопожатие.

— Я матрос Пачин. Нахожусь в кратковременном отпуске.

— Прошу помещенье освободить.— Скачков отвернулся. Он раскаивался, что подал руку.

— А кто вы такой?— твердо произнес прищелец.

— Кто я, необязательно знать!— Скачков вспыхнул.— Предъявить документ!

Матрос Василий Пачин достал из нагрудного кармана документы. Скачков придирчиво разглядывал удостоверение и отпускные свидетельства, смотрел на печати. Василий Пачин разглядывал в это время его, Скачкова, а на них напряженно глядели все остальные.

Наконец Скачков словно бы нехотя вернул документы.

— Я хочу позвонить в военкомат лично районному комиссару,— сказал матрос и шагнул к телефону.

И Усов окончательно понял, что раскулачивания не будет.

Данило, гордясь сыном, не утерпел, повернулся к народу. Хотел

он что-то сказать, да одумался, разволновался и вдруг стал приглашать районных гостей на ночлег...

Шел третий час ночи. Гудение столба и железной жилы, протянутой в Ольховице, стало умиротворенней и тише. Может быть, погода менялась к лучшему?

Погода и впрямь менялась, но только не политическая.

В крайком Бергавинову начали поступать предостерегающие сигналы из воинских частей. Самоуправство орггруппы в Вологде возмутило Бергавинова. Во вторник, 4 февраля, когда поезд с матросом, постукивая, бежал в сторону Ленинграда, крайком дал округам телеграфное указание впредь до указания крайкома приостановить раскулачивание. Но после очередной московской шифровки, подписанной Кагановичем и Молотовым, бергавиновский «либерализм» как ветром дуло, и бюро Северного крайкома срочно приняло совсем иное постановление:

«Исходя из политики ликвидации кулачества как класса в районах сплошной коллективизации и решительного подавления противодействия кулачества и контрреволюционных элементов деревни происходящим процессам социалистического переустройства сельского хозяйства, бюро крайкома постановляет:

1. Отнести контрреволюционную верхушку кулачества края к I категории и немедленно начать ее ликвидацию²...

4. В районах сплошной коллективизации кулачество отнести ко второй категории. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, жилье и хозяйственные постройки, предприятия по переработке, корма, семена и сырьевые запасы, а сами кулацкие семьи выселить через аппарат ПП ОГПУ в северные необжитые районы края.

5. Количество семей II категории, подлежащих переселению в северные районы края, должно устанавливаться окружками, исходя из фактического числа кулацких хозяйств каждого района, но ни в коем случае не должны превышать в среднем 3—5% общего числа хозяйств района. Цифры немедленно сообщить крайкому и окротделу ОГПУ и не проводить выселение без разрешения и плана ПП ОГПУ.

6. Остальные кулацкие хозяйства, не вошедшие во вторую категорию, отнести к третьей категории, которые подлежат расселению в пределах района коллективизации на новых, отводимых им за пределами колхозов землях.

7. Разрешить отдельным кулацким хозяйствам добровольное переселение в северные районы при условии оставления этим семьям указанного в настоящем постановлении количества инвентаря и средств.

Допустить с разрешения РИКов оставление отдельных семей, имеющих в своем составе больных членов семей или грудных детей, на постоянное или временное жительство их в прежних районах.

8. Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного состава РККА. В отношении кулаков, члены семей которых длительное время работают на производстве в постоянных кадрах, проявить особо осторожный подход и выяснение их положения в производстве и отношении к своим кулацким хозяйствам.

9. Ликвидацию I категории закончить не позднее 20 февраля. Началом выселения остальных категорий определить 20 марта.

10. Списки кулацких хозяйств, выселяемых в отдаленные районы (II категория), составляются райисполкомами на основании решений собраний и утверждаются окрисполкомами.

11. Высылаемым кулакам при конфискации имущества должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего обихода, некоторые элементарные средства производства (топор, пила,

² Следовала четырехзначная цифра.

лопата и т. д.) и 2-месячный запас продовольствия, денежные средства также конфискуются с оставлением, однако, на каждую семью не более 500 рублей.

12. Для конфискации имущества райисполкомы назначают своих уполномоченных, которые производят точную опись и оценку имущества с обязательным участием сельсовета, представителей колхозов, бедняцко-батрацких групп и батрачества. Ответственность за полную сохранность конфискованного имущества возложить на сельсоветы.

13. Райисполкомы передают конфискуемые у кулаков средства производства и имущество в колхозы в качестве взноса бедняков и батраков с зачислением его в неделимый фонд колхозов. До передачи из конфискуемого имущества погашаются долги государству и кооперации (налоги, гарнсбор и т. д.). Конфискуемые жилые постройки используются на общественные нужды сельсовета и колхозов и для общежития батраков.

14. У кулаков всех трех категорий отбирать сберкнижки и облигации госзаймов, заносить в опись и направить на хранение в финорганы с выдачей соответствующей расписки. Немедленно прекратить в районах сплошной коллективизации выдачу кулацким хозяйствам их взносов из сберегательных касс, а также выдачу ссуд под залог облигаций.

15. Паи и вклады кулаков всех трех категорий в кооперативных объединениях передать в фонд коллективизации бедноты и батрачества, а владельцев их исключить из всех видов кооперации.

16. Считать обязательным, чтобы колхозы, принимающие конфискованные у кулачества орудия производства и земли, полностью их использовали в целях увеличения производства и сдачи государству товарной продукции.

17. Часть имущества, конфискуемого у кулаков (рабочий скот и инвентарь), подлежит сдаче в особый краевой фонд для использования в местах постоянного расселения кулачества (подвозка лесных материалов для постройки жилищ, освоения земель и т. д.). Поручить крайзу в 3-дневный срок разработать минимальную потребную для этой цели норму инвентаря и рабочего скота.

18. В отношении кулацких хозяйств, расселяемых на месте вне колхозных полей, окрисполкомам указать места расселения, допуская таковые лишь небольшими поселками, управляемыми специальными тройками или уполномоченными, назначаемыми РИКами и утверждаемыми окрисполкомами. Этой категории хозяйств оставить минимальные размеры средств производства, необходимые для ведения хозяйства на новых участках, возложив на них определенные производственные задания и обязательства по сдаче товарной продукции государству и кооперации. Окрисполкомам срочно проработать вопрос об использовании кулаков как рабочую силу на ряде работ.

19. Выселяемые в отдельные районы Севера кулацкие семьи расселить отдельными небольшими — до 100 дворов — поселками, управляемыми специальными комендантами, назначаемыми органами ОГПУ. Предложить ПП ОГПУ к моменту расселения кулацких семейств выработать специальное положение о таких поселках.

20. Для предотвращения бегства кулаков со своих хозяйств и разбазаривания ими имущества предложить РИКаи немедленно конфисковать имущество и средства производства кулаков, уничтожающих свои хозяйства или бросающих их на произвол судьбы, ПП ОГПУ повести решительную борьбу с кулаками, самовольно уничтожающими свои хозяйства и переселяющимися в города и другие местности.

21. Учитывая особые хозяйственные и бытовые условия и необходимость оленеводческих районов, вопрос о раскулачивании самоедских, зырянских кулацких оленеводческих хозяйств обсудить особо, запросить одновременно Ненецкий окружком и Коми обком их

мнения о сроках проведения раскулачивания и методах его ликвидации как класса.

Предложить Коми обкому и Ненецкому окружному ликвидацию кулачества оленеводов не проводить до получения особых указаний крайкома.

22. Учитывая начавшееся местами стихийное и неорганизованное раскулачивание, которое, не будучи связано с подлинно массовым движением бедняцко-средняцких масс к сплошной коллективизации, превращается в голую административную меру, бюро крайкома предупреждает против таких методов раскулачивания и напоминает, что административные меры по раскулачиванию лишь только в сочетании с широким развертыванием работы по организации бедноты и батрачества, сплочению бедняцко-средняцких масс на основе и вокруг социалистической коллективизации могут привести к успешному решению поставленных партией задач по ликвидации кулачества как класса и социалистического переустройства деревни.

Перед партийной организацией стоят большие трудности. Отдавая себе полный отчет в них, бюро крайкома призывает организацию принять все меры для действительно организованного и серьезного проведения этой важнейшей работы.

23. Обязать окружкомы и Коми обком каждую десятидневку информировать крайком о ходе этой работы, настроении парторганизации, рабочих и деревни.

О с о б ы е п о с т а н о в л е н и я :

1. В целях недопустимости возможного ухода из леса части лесорубов и возчиков в момент проведения этой операции предложить окружкомам и Коми обкому ВКП(б) по получении планов перед операцией повести широкую и серьезную разъяснительную работу среди лесорубческих масс по этому вопросу.

2. Для руководства всем делом ликвидации кулачества как класса в районах сплошной коллективизации и изъятия контрреволюционного элемента (I группа) обязать окружкомы и Коми обком ВКП(б) послать в районы своих уполномоченных.

3. Считать, что тройка из членов бюро крайкома в составе тт. Аустрина, Иоффе (с заменой т. Конториным) и Лютиня должна на весь период работы по раскулачиванию и приему кулаков из других районов Союза систематически осуществлять политическое руководство этой важнейшей работой.

Предложить этой же тройке в 3-дневный срок разработать конкретную инструкцию практического проведения всей этой операции, а также правила расселения высылаемых и порядок их работы».

В ночь с 5 на 6 февраля 1930 года из окружных центров по районам полетели зловещие телеграммы.

...В полевой сумке Скачкова хранился толстый граненый карандаш фабрики имени Сакко и Ванцетти. Заостренный с обоих концов, карандаш этот вызывал у хозяина гордость и самоуважение, один конец был синий, другой красный. Разбирая районные списки и следственные дела арестованных недоимщиков, Скачков пользовался двумя концами. Отмеченные синим концом попадали во вторую категорию, красная птичка садилась напротив первой категории...

Жители деревни Ольховицы Данило Семенович Пачин и Гаврило Варфоломеевич Насонов, помеченные красными галочками, согласно девятому пункту подлежали немедленному расстрелу.

ЛЕОНИД ЛАТЫНИН



НОЧНЫЕ МЫСЛИ

Поминки

Его, конечно, не отпели,
А закопали — и айда
Туда, где белые метели,
Туда, где черная вода.

И торопились и спешили,
Кто на машине, кто пешком,
И где-то там до рвоты пили,
Слова ворочая с трудом.

Один стишки читал уныло,
Другой по клавишам стучал..

Но сколько нас в ту пору было,
Я до конца не сосчитал.

Неужто так и нас когда-то
По ветру пустят в тишине
Родные пасынки Арбата,
На час дарованные мне?

А впрочем, что за разговоры —
Удачи праху твоему...
Надежна дверь, крепки запоры
В чужом и временном доме.

1985.

Мысли о смирении

Не беда, что не сразу доходит наш голос до века,
Не беда, что уходим мы раньше, чем голос доходит,
Ведь не сразу священными стали Афины, и Дельфы, и Мекка,
Да и тех уже слава, как солнце, зашла или нынче заходит.

И Пиндара строфа и слова Иоанна, как лава, остыли,
Усмехнется душа на наивный призыв толмача — «не убий!».
Сколько раз наше тело, и душу, и память убили,
А бессильных убить вырочал своим оком услужливый Вий.

Наши дети растерянно тычутся в землю своими губами,
Но и эти сосцы истожили запасы надежды, желаний и сил,
Не спасает уже ни пробитое небо, нависшее низко над нами,
Ни истории миф, ни раскрытое чрево распаханых веком могил.

Все морали забыты, истрачены, съедены и перешиты.
И религией скоро объявят и горький отечества дым.
Наша жизнь и планета невидимо сходят с привычной орбиты.
Так до наших ли детских забот — быть услышанным веком своим.

1977.

* * *

Как медленен, медлителен восход,
И как закат торопится остыть,
Как долог день, как быстротечен год —
Как этот смысл в душе соединить?

И в этой несуразности вещей,
В отсутствии единого ключа,
Мне ближе вдруг погубленный Кощей,
Чем два его наивных палача.

Не воскресят ни музыка, ни речь,
И даже ворожба не помогла.
Какой урок — бессмертье не сберечь...
Убить. Сломать. Тайком. Из-за угла.

1981.

Прощание с эпохой

Уходит эпоха не просто, не сразу,
Но мы завершаем торговую фазу,

Когда пировали, кутили, блудили
И бедную душу совсем позабыли.

Поклонимся низко прилавкам, и лавкам,
И жертвам лабаза — Высоцким и Кафкам,

На их потускневших и горьких могилах
Не плакать и я почему-то не в силах.

Какая по смерти пошла распродажа,
Почетны подлоги, престижна и кража,

И все уравнилось — и гений и шлюха,
И такса едина для тела и духа,

Умножены оба печатно и устно.
Как, в сущности, все это пошло и грустно,

Как, в сущности, все это даже не ново,
И отданы бирже и дело и слово.

А те, что торговой эпохой забыты
И, кстати, в итоге — ни нищи, ни сыты,

Какая у них от эпохи отрыжка?
Судьбы искалеченной тонкая книжка

Да чувство прошедшего главного срока,
Что было им выстоять так одиноко,

Что тускло тянулись и время и пряжа,
Белы наши руки, да в памяти сажа,

Грызутся последыши, что не успели
Урвать у эпохи хоть краешек щели.

И все же уходит, уходит эпоха.
Лабазнику худо, художнику плохо,

Поскольку бесспорно, увы, как на грех,—
То время единственным было для всех.

1986.

АНАТОЛИЙ НАЙМАН



РАССКАЗЫ О АННЕ АХМАТОВОЙ*

Следующее письмо я получил через полгода. Это было послесловие к одному из разговоров, которые она в то время все чаще начинала и которые я не умел ни вести, ни прекращать,— о близкой ее смерти. Тот, что упоминается в письме, я резко прервал, но и после него тема эта не исчезла совсем. Уже по возвращении из Италии она подарила мне миниатюрный томик «Божественной комедии», изданный в 1941 году в Милане, сделав надпись: «Era a me morte, ed a lei fama gea... Petrarca». В CCCLXVI канцоне Петрарка обращается к Деве Марии с просьбой о заступничестве, потому что помощь, которую могла бы оказать ему его земная донна, заключалась бы для него в смерти, а для нее — в бесславии: «...ch'ogni altra sua voglia Era a me morte, ed a lei fama gea». Время подарка и надписи совпало с появлением четверостишия:

Светает — это Страшный суд,
И встреча горестней разлуки.
И мертвой славе отдадут
Меня — твои живые руки,—

в котором «мертвая слава» связала в один узел семантику и фонетику петрарковского стиха.

Письмо было передано мне ею из рук в руки:

«31 марта 1964 года.

Москва.

Вы сегодня так неожиданно и тяжело огорчились,— что я совсем смущена. Я часто и давно говорила Вам об этом, и Вы всегда совершенно спокойно относились к моим словам.

Очень прошу Вас верить, что и сегодня они не содержали в себе ничего кроме желания Вам добра. Теперь я окончательно убедилась, что все разговоры на эту тему губительны, и обещаю *никогда* не заводить их.

Мы просто будем жить как Лир и Корделия в клетке,— переводить Леопарди и Тагора и верить друг другу.

Анна».

После «желания Вам добра» зачеркнуто «в самом высоком смысле этого слова». Договор на перевод лирики Леопарди, который (перевод) «Ахматова Анна Андреевна и Найман Анатолий Генрихович, действующие солидарно и именуемые в дальнейшем „Автор“», должны были представить издательству в мае 1965 года, с нами заключили лишь в конце лета 1964-го, но засели мы за работу еще с зимы. Сборник «Джакомо Леопарди. Лирика» вышел в Гослитиздате через год после ее смерти. Тагор, чьи стихи нужно было срочно перевести для многотомного собрания его сочинений, той весной неожиданно врезался в Леопарди. Осенью 1965 года, незадолго до последней болезни Ахматовой, такой же договор, как на перевод Леопарди, с нами заключили на перевод стихов греческой коммунистки Риты Буми-Папа, которую Анна Андреевна сразу стала звать «Папа Гриша» по созвучию. Редактор издательства «Прогресс» учтиво торопила со сдачей рукописи, объясняя, что выпуск книги «планируется к женскому дню 8 Марта».

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 1, 2 с. г.

К переводу Ахматова относилась как к необходимой тягостной работе и впрягалась в этот воз даже не пушкинской «почтовой лошадей просвещения», а смирной ломовой, трудящейся на того или другого хозяина. Каким бы уважением или симпатией ни пользовался поэт, которого она переводила, он был мучитель, требовал сочинения русских стихов, и непременно в больших количествах, потому что она зарабатывала на жизнь главным образом переводами. Свои стихи она писала когда хотела: то за короткий период несколько, то за полгода ничего,— а переводила каждый день с утра до обеда. Потому-то она и предпочитала браться за стихи поэтов, к которым была безразлична, и еще охотней — за стихи средних поэтов: отказалась от участия в книге Бодлера, не соглашалась на Верлена.

Это вовсе не значит, что она неохотно работала: все-таки это были стихи, а она была Ахматова. Качество работы, которую она сдавала редактору, было безупречным: она называла себя, чуть-чуть на публику, профессиональной переводчицей, ученицей Лозинского. Среди своих переводов выделяла сербский эпос («вслед за Пушкиным»), некоторые из корейской классической поэзии, «Скитальца» румына Александру Тома, «Осень» Перца Маркиша.

Она переводила Незвала, которого называла парфюмерным, Гюго, которого просто не любила, Тагора, которого оценила уже по окончании работы, да мало ли еще кого. Она обвиняла в неосведомленности или в сведении личных счетов и т. п. критиков, ставивших в упрек переводчику перевод с подстрочника. «Мы все переводим с подстрочника: тот, кто знает язык оригинала, на какой-то стадии все равно видит перед собой подстрочник». Она негодовала, когда прочла в книге Эткинда, что перевод «Гильгамеша», сделанный Дьяконовым, точнее гумилевского: «Коля занимался культуртрегерством и только, он переводил с французского — как тут можно сравнивать!»

Ее замечания о переводимом материале сплошь и рядом носили иронический характер. «Белые стихи? — говорила она, принимаясь за какого-нибудь автора. — Что ж, благородно с его стороны». Она владела белым стихом в совершенстве, а с рифмой, хотя и дисциплинирующей переводчика, ей приходилось бороться. Когда мы погрузились в Леопарди, то вскоре стали жалеть его: он был великий поэт, писал прекрасные стихи и все прочее, но он был очень больной, маленького роста, его не любили аспазии и нерины, он рано умер. Когда она уставала, пятистопный ямб мог незаметно перейти в шестистопный, а как-то раз и вовсе свернул в хорей, и я сказал: «Это уже Гайавата». С того дня, читая новый кусок, она весело приговаривала: «Еще не Гайавата?» А в другой раз, когда свою часть прочитал я — правда, это был уже Тагор,— она, отвлекшись, как я заметил, посередине чтения, спросила подчеркнуто светским тоном: «Это уже перевод или еще подстрочник?» В такой же ситуации однажды сказала: «Это мы пишем или нам пишут? — И объяснила: — Из карамзинских, наверное, историй. Дьяк докладывает воеводе новости; тот, в шубе, важно сидит, слушает и наконец задает этот вопрос».

«Как, и «произнесённый» и «произнесённый»? — сокрушалась она нарочито. — В моей жизни всего было по два: две войны, две разрухи, два голода, два постановления — но двойного удара я не переживу».

Вообще с публикацией ахматовских переводов следует вести себя осторожно. Например, переводы Леопарди, сделанные одним, обязательно исправлялись другим, и распределение их в книжке под той или другой фамилией очень условно. Я знаю степень помощи, долю участия в ахматовском труде Харджиева, Петровых. Ручаться за авторство Ахматовой в каждом конкретном переводе никто из людей, прикосновенных к этим ее занятиям, не стал бы. Самое лучшее было бы выполнять ее волю, неоднократно ею разным собеседникам высказанную: в ее книгах после смерти переводов не перепечатывать. Это дело запутанное, невеселое, вынужденное, и почтенный ученый, которому я рассказал про Лира и Корделию в клетке, переводящих Леопарди и Тагора, очень точно заметил: «А на слух не Леопарди и Тагор, а — как леопард и тигр в клетке».

В конце апреля 1964 года я попал в больницу с диагнозом микроинфаркт. Тогда это была редкость среди молодых, врачи набросились на меня с испугом и воодушевлением. Серьезности болезни я не понимал, вставал — против распоряжений врача — с кровати, просил выписать меня под расписку, Ахматова несколько раз навестила меня и регулярно с кем-нибудь передавала маленькие письма, присылала букетики цветов.

«Великий Четверг.

Толя,

и все это вздор, главное, чтобы Вы были совсем здоровым и ясным.

Сердце умирят правильным дыханием, а черные мысли верой в друзей. Разлук, разлучений, отсуствий вообще не существует, — я убедилась в этом недавно и имела случай еще проверить эту истину почти на днях. Щедро делюсь с Вами этим моим новым опытом.

Вчера говорила с «домом». Ирина шлет Вам привет. Ника устроила для Вас письмо о Леопарди. Шлите Тагора, мы его перепишем на машинке и дадим младотурку. Борис произносит о Вашей пьесе очень большие слова.

Я уверена, что в 1963 г. с Вами было то же самое, а Вы проходили всю больницу без врача.

Не скучайте!

А.

Сегодня вышла «Юность» с моими стихами.

...и помните, что больница имеет свою монастырскую прелесть, как когда-то написал мне М. А. Лозинский».

«Пятница.

Ночь.

Толя,

сегодня огромный пустой день, даже без телефона и без малейших признаков «Ахматовки». Я почему-то почти все время спала. Была рада, когда Саша Нилин сказал, что Вы узнали библейские нарциссы. Благодарю товарища, который звонил от Вас.

Насколько уютнее было бы, если бы в больнице была я, а Вы бы меня навещали, как когда-то в Гавани.

Лида Ч. нашла эпиграф ко всем моим стихам:

На позорном помосте беды,
Как под тронным стою балдахином.

Но кажется, это не ко всем?!

Вечером приходила Раневская. Алексей приглашал ее в свою картину: «Три толстяка».

Завтра жду Нику.

Если Тагор утомляет Вас — бросьте его и, главное, при первом признаке усталости делайте перерыв: мы еще поедем и к березам и к Щучьему озеру.

Спокойной ночи!

А.

Б-у-д-у Вам писать часто.

«Дом» в первом письме взят в кавычки. В трехкомнатной квартире на улице Ленина, дом 34 жили, кроме Ахматовой, Ирина Николаевна Пунина с мужем и ее дочь Анна Каминская с мужем. И Пунина и Каминская относились к Ахматовой, разумеется, уважительно, но с оттенком недовольства — легкого, без объяснения конкретных причин и постоянного. Бывали периоды ласковости, большей близости, они сменялись охлаждением и ссорами, но некоторое недовольство, как и некоторая интимность, демонстрируемая обращением к Ахматовой «Акума», не подвергались колебаниям, они были вынесены за скобки. Про Пунину в ее лучший период Ахматова как-то сказала: «Ира — замиренный горец». К возвращению Ахматовой из Москвы зимой «дом» старался достать путевку в Дом творчества в Комарове; по возвращении из Будки ее, часто через считанные дни, собирали и отправляли в Москву.

Ее комната, длинная, с окном на улицу, была рядом с кухней. Над кроватью висел рисунок Модильяни, у противоположной стены стоял сундук-креденца с бумагами, который она отчетливо называла «краденца». От этого и сундук, и столик с поворачивающейся столешницей, под которой тоже лежали письма и бумаги, и гобеленого вида картинка с оленем, стоявшая на столике и оказавшаяся бюваром, также хранившим письма, и овальное зеркало, и надбитый флакон, и цветочные вазы, и все прочие старинные вещи, выглядевшие в этой комнате одновременно ахматовскими и случайными, соединились в моем сознании с описанием спальни Ольги Судейкиной, героини Поэмы, кончающимся строчкой «Полукрадено это добро». Однажды к ней пришел молоденький воспитанник Оксфорда, занимавшийся темой «Народные истоки творчества Ахматовой»,

продекламировал с легким акцентом: «Лучше б мне частушки задорно выкликать, а тебе на хриплой гармонике играть»,— объяснив таким образом, что он подразумевает под народными истоками. Через некоторое время разговор коснулся Модильяни, она попросила меня показать рисунок, я подошел к кровати, сделал приглашающий жест, он не двинулся с места; решив, что он чего-то не понимает, я объяснил, что вот он, рисунок, потянул гостя за рукав, стал подталкивать. Он с испугом взглянул на портрет и сейчас же вернулся на место. Когда он ушел, Ахматова сказала: «Они там не привыкли видеть постели старых дам. На нем лица не было, когда вы его тащили к краю пучины». Потом: «Они не могут поверить, что мы так живем. И не могут понять, как мы в этих условиях еще что-то пишем». И после новой паузы: «Мог бы про народность у Ахматовой придумать что-нибудь остроумней частушек и гармошки».

Муж Пуниной, тещ-декламатор Роман Альбертович Рубинштейн (которого Анна Андреевна за глаза также называла зощенковским «артист драмы»), выступал с поэмой Смелякова «Строгая любовь» в библиотеках, клубах и таких неожиданных местах, как, например, ординаторские в больницах: в восемь утра, на пересменке ночных и дневных врачей.

Жить в Доме творчества писателей она не любила: всегда на людях, причем не ею выбранных, казарменный «подъем» и «отход ко сну», общий завтрак-обед-ужин, одна ванна на всех,— но мирилась с этим как с неизбежностью. Одна из гостей стала жаловаться ей, что ее знакомому, писателю, достойному всяческого уважения, дали в Малеевке маленький двухкомнатный коттедж, тогда как бездарному, но секретарю Союза — роскошному пятикомнатный. Когда за ней закрылась дверь, Ахматова сказала: «Зачем она мне это говорила? Все свои стихи я написала на подоконнике или на краешке чего-то». В тот раз, когда мы оказались в комаровском Доме творчества вместе, за соседним столиком в столовой сложилась компания писателей средних лет, которые от еды к еде со все большей страстью беседовали на одну и ту же тему: покрошишь голубям хлеб, а воробьи налетают и тотчас склевывают. От еды к еде голуби становились все более простодушными и беззащитными, воробьи — хитрыми и хищными, так что вскоре это уже были никакие не голуби и не воробьи, а совершенно другие существа, одних из которых собеседники хотели облагодетельствовать, других — растерзать. Ахматова сидела спиной к этому столу. За каким-то обедом на нем появилось шампанское. Один из писателей, крупный круглолицый мужчина в точно таком же финском свитере, как и его крупная круглолицая жена, приблизился с двумя бокалами к Ахматовой, прося ее выпить по случаю дня его рождения. Не давая ему договорить, она очень резко объявила, что ей запрещено врачом. Он смутился и, комкая фразы, напомнил ей, что они знакомы по совместному выступлению в 1936 или 1937 году в НКВД. «Вы сошли с ума! — сказала она.— Вы просто не знаете, кто я такая».

В другое ее проживание в этом доме мы сидели на скамейке у входа, когда появился благообразный старик с чемоданчиком в руке, известный ленинградский поэт. Он родился в Царском Селе, о чем любил широкозначительно упоминать, в семье священника, на чем внимание публики старался не останавливать. «Точь-в-точь отец,— проговорила вполголоса Ахматова,— когда он шел на требы». Через час стало известно, что поэт сюда сослан: в Ленинграде раскрыли притон, он оказался одним из посетителей, жена на суде заявила, что после этого не хочет мыться в одной ванне с ним, и его сослали в Дом творчества на несколько месяцев. Ахматова воскликнула: «А я хочу мыться в одной ванне с ним?!»

К мужу Каминской, художнику Леониду Зыкову, она относилась с симпатией, хлопотала за него, когда у него начались неприятности с военкоматом, и однажды попала из-за него в двусмысленное положение. В Ленинграде ее навестила дочь Шагала, сентиментально и торжественно рассказывала ей о любви родителей к ее стихам. Потом спросила, что она может прислать ей из Парижа, какие духи, книги, лекарства... Нет, ничего не нужно, спасибо. Ну что-нибудь, что угодно, это никого не затруднит, будет только приятно. И тут Ахматова, вспомнив, что недавно обсуждалось, где достать Лёне для работы пастель, попросила ее прислать. Через месяц кто-то, приехавший из Франции, передал ей, что Шагал спрашивает, какую именно пастель, раннюю ли, или, может быть, Ахматова имеет в виду какую-то определенную вещь. В Париж поплыло разъяснение, что речь идет о красках. Наконец в Москву приехала коробочка пастелей. История огорчила Ахматову, она в жизни ничего ни у кого не просила, к Шагалу относилась как к великому художнику-современнику и приговаривала удрученно: «Вот тебе и „опишу я, как свой Витебск — Шагал!“ — строчкой из «Царскосельской оды».

О Ленином брате Владимире Зыкове, пронизательном, спокойном, красивом человеке, тогда начинающем технике, сказала: «Типичный русский молодой инженер. Вот такие вдруг появились в стране после александровских реформ: врачи, судьи, инженеры, земские деятели. За несколько лет они преобразили лицо России, в середине шестидесятых они были уже повсюду».

Тем временем от «дела Бродского», месяц как кончившегося отправкой его в Коношу, продолжали расходиться круги, потряхивавшие его друзей и защитников. Обвинение в тунеядстве на тех же основаниях угрожало реально еще нескольким молодым людям, не имевшим официального статуса литератора, в частности мне, тем более что я добился от одного из издательств справки о сотрудничестве в нем Бродского в качестве переводчика. Справка фигурировала в суде, я был квалифицирован как мошенник, провокатор и прочее, а выдавший справку завредакцией получил выговор как поддавшийся на мошенничество, провокацию и прочее. К тому же инициатор всего «дела» прежде заведовал клубом в институте, где я учился, и знал меня лично, пятью годами раньше опубликовал донос на меня. Ситуация тревожила Ахматову, особенно после истории с Ионисьяном.

Зимой 1963/64 года в Москве случилось несколько жестоких убийств, почти во всех подробностях повторявших одно другое. В середине дня в квартире раздавался звонок, на вопрос «кто там?» убийца из-за двери отвечал: «Мосгаз», входил, доставал из портфеля топор, убивал присутствовавших, по большей части одинокую старушку, старушку и девочку, забирал какую-то ерунду из вещей, к примеру старый телевизор, который потом волок к стоянке такси, и исчезал. При этом не таился, так что впоследствии многие вспоминали его внешность, и милиция составила словесный портрет. Москвичи были в меру терроризированы, в меру возбуждены и увлечены развитием событий. Искали мистических объяснений его одновременному присутствию в разных местах Москвы: в полдень он произносил «Мосгаз» в Тропареве, в пять минут первого — в Бескудникове. Затем прошел слух, что в одно из утр к генеральному прокурору без предупреждения и без охраны приехал Хрущев и объявил, что дает на поимку убийцы три дня срока. Преступника схватили к концу вторых суток, в ночь, когда такси, в котором я ехал с Ордынки на проспект Мира, где снимал комнату, через каждые сто — двести метров останавливали милицейские патрули и проверяли мои и шофера документы под светом полностью включенных уличных фонарей. Его молниеносно судили, приговорили к расстрелу и тотчас же расстреляли.

Через несколько дней квартирная хозяйка сказала, что в мое отсутствие приходил участковый, сделал обыск в моей комнате и вызвал меня в отделение. В отделении меня принял милицейский капитан, мой протест по поводу обыска добродушно отклонил, а полистав принесенные мною книжки с моими переводами, сказал не без удовольствия: «Что же, что вы писатель, — он вон тоже был артист». Полез в ящик стола, бросил передо мной фоторобот — маленький и невнятный — Ионисьяна и уточнил: «Массовик-затейник». Оказалось, что преступника обнаружили чуть ли не в его околотке, во всяком случае история коснулась его непосредственно и дала ему благоприятный шанс. Заодно он проверял всех сомнительных, к которым дворник или какой-то бдительный сосед, естественно, причислил меня.

Все это происходило в прямом смысле слова на глазах Ахматовой. Я снимал эту случайную комнату уже несколько месяцев, когда Анна Андреевна сообщила мне, что по приглашению Нины Леонтьевны Шенгели переезжает к ней, и попросила помочь при переезде. Мы поехали, и она велела шоферу остановиться — у моего подъезда. После первых мгновений немоты я сказал ей об этом, нагнула ее очередь изумиться. Я жил на втором этаже, Шенгели на седьмом.

Вернувшись из милиции, я поднялся к Ахматовой. Она выслушала мой рассказ, помолчала, потом проговорила: «Ионисьяном мог оказаться не он, а вы. С той же вероятностью. Так что благодарите судьбу. Выигрышная роль могла достаться и мне: старая опытная наводчица и скупщица краденого. Я, как вы знаете, тоже живу без прописки. Не много ли нас на одну лестницу?» Я не отнесся к происшедшему серьезно и вскоре переехал к друзьям. Она же приняла все, как казалось мне тогда, чересчур близко к сердцу: несколько раз, уже без тени юмора, убеждала меня в том, что я избежал смертельной опасности — настоящей, невыдуманной, — и рассказывала эту историю многим тогдашним своим гостям. Поэтому она и торопила

издательство дать мне еще до заключения договора на Леопарди гарантийное письмо на тот случай, если органы охраны порядка возьмутся за меня более решительно.

«Ника» — Ника Николаевна Глен — была редактором в Гослитгиздате, занималась болгарской литературой, за что Анна Андреевна, нежно и уважительно всегда о ней говорившая, называла ее болгарской королевой. Она пользовалась исключительным доверием Ахматовой, предоставляла, живя вдвоем с матерью, одну из двух маленьких комнат в коммунальной квартире в ее распоряжение, приезжала ухаживать за ней в Комарово и некоторое время до 1963 года исполняла у нее секретарские обязанности. Высокий редакторский профессионализм, литературную одаренность и точное знание специальных предметов она сочетала с настолько незаметным для окружающих проявлением этих своих качеств, что назвать их скромностью было бы преувеличением. В то время в Гослитгиздате сошлось несколько редакторов высокого класса, настоящих специалистов, ученых, интеллигентов, Ахматова знала им цену, да и ко всему издательству относилась, в общем, с симпатией. Когда она приходила за гонораром, начинался «малый крестный ход в Тверской губернии»: выходили навстречу знакомые, незнакомые, бухгалтеры, корректоры, заведующие. Со слов Пастернака, она рассказывала, что, когда во время травли из-за «Живаго» он появлялся, также по гонорарным делам, в какой-нибудь из издательских комнат, бедные редакторы зарывались носами в бумаги и шептали оттуда: «Борис Леонидович, мы вас очень любим, мы вас очень любим». Впрочем, редакторы были разные — хотя бы тот, которого по совокупности качеств, внешности и поведения Ахматова беззлобно прозвала младотурком...

В том же 1964 году у меня то ли начинался, то ли кончался роман с театром «Современник». Я написал пьесу, в которой двух главных героев-антагонистов должен был играть один актер, так же как их жен — одна актриса. Про эту пьесу и говорил Ахматовой «очень большие слова» Борис, младший из «мальчишек Ардовых», о ней же, «вглядевшись» в сюжет, написала она в одном из следующих писем: «Все дело в Вашей пьесе». Ей показалось, что пьеса содержит недолжные аллюзии: самый замысел двойничества был ею истолкован как попытка замаскировать ситуацию, имевшую отношение к ней, вернее к тому, что она тогда писала. Нечаянно я дал к этому повод, введя в действие лицо, имевшее слишком явное сходство с человеком из ее окружения. Последовало неприятное объяснение, размолвка, потом примирение.

«Лида Ч.» — Лидия Корнеевна Чуковская — с исчерпывающей полнотой передавала содержание и подробности своих многолетних отношений с Ахматовой в трехтомных «Записках»: ее имя отныне навсегда связано с ахматовским. Они были люди разного времени, разного склада, разных вкусов и идей — теперь, когда история делает их чуть ли не ровесницами, это следует подчеркнуть. Ахматова, как мне казалось, в полной мере оценила не только общепризнанные ее достоинства: честность, бесстрашие, прямоту, — а еще и более редкие: наивность и даже прямолинейность (над которыми могла подтрунить за глаза, но никогда не в ущерб неизменному уважению к этой верности идеалу), особенно привлекательные на фоне уступчивой и мертвящей изобретательности, которой владело большинство. Эпиграф, предложенный ею к ахматовским стихам, — это строчки из четверостишия, открывающего цикл «Черепки»:

Мне, лишенной огня и воды,
Разлученной с единственным сыном...
На позорном помосте беды,
Как под тронным стою балдахином.

«Но кажется, это не ко всем?!» — уточнение необходимое, лукавое и тонкое. Это эпиграф скорее к образу Ахматовой из «Записок» Чуковской, чем к ахматовской поэзии. Отношения между двумя женщинами начались в кошмаре 30-х годов, это задавало тональность и их развитию в дальнейшем. Но Ахматова была и такая, и другая, и, как любила она говорить, «еще третья». Дневники — уникальный документ, но беседа с установкой, пускай бессознательной, на запись лишается той нелогичности, бессвязности, а часто и бессмысленности, которые делают ее подлинно живой. К тому же и Ахматова подозревала, что за ней записывают — правда, среди предполагаемых ею эккерманов имени Чуковской я не слышал, — и иногда она говорила на запись, на память, на потомков, превращаясь из Анны Андреевны в «реперенниуспирамидальциус». Ахматова была с Чуковской совсем не та, что, например, с Равневской, — не лучше-хуже, не выше-ниже, просто не та.

Что касается упоминания об Алексее Баталове и «Трех толстяках», то он незадолго до того снял свой первый фильм «Шинель» и готовился снимать второй, по политической сказке Олеси. Как актер после картины «Дело Румянцева» он был баснословно популярен и любим кинозрителями обоих полов и всех возрастов. Ахматова притворно жаловалась, что посетители, знающие о ее дружбе с этим семейством, непременно спрашивают у нее: «А не знаете, над чем сейчас работает Баталов?» Он ее утешал: «В любом клубе, на всякой встрече со зрителями меня первым делом спрашивают, как здоровье Смоктуновского». Как-то раз, когда все сели обедать, ему принесли телеграмму от испанской красотки, героини его недавнего флирта: «Писать бесполезно». Испанку и ее умение вместить все в два слова присутствующие достойно оценили. Ахматова сказала, улыбнувшись: «Красиво... Ах, какие сволочные телеграммы я давала за свою жизнь...» Раневская согласилась сниматься в фильме, приезжала в Петергоф на кинопробы, но в конце концов тетупку Ганимеда сыграла Рина Зеленая, с которой ему как режиссеру было проще сговориться.

* * *

Возможно, сейчас я располагаю письма не совсем в том порядке, в каком они приходили ко мне, хотя доводы именно в пользу такой последовательности достаточно основательные.

«Толя,

Анюта по ошибке захватила томик Мистраль и мои стихи. Пусть Таня вернет их на место.

Вчера у меня были Карпушкин и Маруся. Очень спешат с Тагором, которого необходимо сдать до 1 июня.

Ахм.

Не вздумайте мне звонить. Я знаю, что Вам запрещено вставать».

«Толя!

Все дело в Вашей пьесе. Это я объясню подробнее при встрече. Очень прошу мне верить. Остальное все на прежних местах. Берегите себя. Если можно, напишите мне несколько слов — я еще не верю, что говорила с Вами.

Ну и утро было у сегодняшнего дня! — Бред.

А.».

«9 вечера.

Толя,

Наташа Горбаневская принесла мне «Польшу». Там стихи, которые Вам кое-что напомнят. Мы посадили сына Наташи на большую белую лошадь, он сморщился. Я спросила: «Ты боишься?» Он ответил: «Нет, конь боится».

Н. А. жалуется, что Вы очень строгий. Толя, не безумствуйте. <...> Не могу сказать, что мне было очень приятно это слышать... Унижение очень сложная вещь. Кажется, как всегда, накаркала я. Помните, как часто я говорила, что Природа добрее людей и редко мешается в наши дела. Она наверно подслушала и вежливо напомнила о себе.

Дайте мне слово, что против очевидности Вы не выйдете из больницы. Это значило бы только то, что Вы хотите в нее очень скоро вернуться и уже на других основаниях. Я про больницу знаю все. Но довольно про больницу — будем считать, что это уже пройденный этап. Главное, это величие замысла, как говорит Иосиф.

Саша расскажет Вам, что я делаю. А в самом деле я сонная и отсутствующая. Люди стали меня немного утомлять. Никому не звоню. Вечер будет 23 мая.

Напишите мне совсем доброе письмо.

А это правда, что Вы написали стихи?

Анна.

2 мая. Ордынка».

«3 мая.

Толя,

и я благодарю Вас за доброе письмо. Сегодня день опять был серый, пустой и печальный. По новому Мишиному радио слышала конец русской обедни из Лондона. Ангельский хор. От первых звуков — заплакала. Это случается со мной так редко. Вечером был Кома — принес цветы, а Ника принесла оглавление моей болгарской книжки — она составила ее очень изящно. Была у меня и ленинградская гостя — Женя Берковская.

Не утомляйте себя Тагором.

Пишите о себе.

Нина категорически утверждает, что мне до Вас не добраться, но я вспоминаю седьмой этаж у Шенгели! — Помните.

Завтра мне привезут летнее пальто — начну выходить.

Спокойной ночи!

А.

Сегодня Ира сеет привезенный Вами мавританский газон около Будки, костер сохнет, кукушка говорит что-то вроде ку-ку, а я хочу знать, что делает Ваш тополь?»

«5 мая.

Толя,

сейчас придет Галя Корнилова и я передам ей эту записку. 7-го у здешних Хайкиных будет исполнена моя «Тень». Может быть, пойдем вместе.

Писать все труднее от близости встречи. Я совершенно одна дома. Вокруг оглушительная тишина, здешний тополь (у окна столовой) тоже готов зазеваться.

Вчера у нас были Слонимы и Ильина, сегодня Муравьев принесет летнее пальто и ленинградские письма. Впрочем, Вы все это уже знаете.

До свиданья.

А.»,

«Толя милый,

очевидно мне судьба писать Вам каждый день. Дело в том, что сейчас звонил сам Ибрагимов — он заключает с Вами договор и не знает Вашего адреса. Очевидно надо сообщить ленинградский адрес, как делаю я.

Лежите тихо, тихо.

Видите, как все ладно.

Пришла книга Рива, где он требует для меня Нобелевскую премию.

Если можно, напишите два слова и адрес для Ибрагимова.

А.»,

Первые две записки были вызваны путаницей, сплетенной из реальности, случайностей и воображения. Контур ее, и без того расплывчатый, стал, когда все разъяснилось, быстро терять отчетливость, а мелочи, которые остались в памяти, сейчас нег смысла ворошить. Художница Анюта Шервинская, старшая дочь переводчика-античника Сергея Шервинского, с Ахматовой познакомилась еще девочкой: летом 1936 года та гостила в их доме недалеко от Коломны. Поэтесса и переводчица Таня Макарова, дочь Алигер, была для Ахматовой тоже из тех детей, которые «родились у знакомых». Из историй об этих детях она с удовольствием рассказывала такую. Однажды она была в Переделкине и встретила на улице с критиком Зелинским, который попросил ее на минуту свернуть к его даче посмотреть на сына. «К калитке подошла молодая женщина с годовалым ангелом на руках: голубые глаза, золотые кудри и все прочее. Через двадцать лет на улице в Ташкенте Зелинский попросил на минуту свернуть к его дому посмотреть на сына. Было неудобно напоминать, что я с ним уже знакома. К калитке подошла молодая женщина с годовалым ангелом на руках: голубые глаза, золотые кудри. И женщина и ангел были новые, но все вместе походило на дурной сон».

В 1963 году вышел сборник стихов Габриелы Мистраль в переводах Савича. На некоторое время эта книжечка стала главным чтением Ахматовой. Обе поэтессы родились в один год, первую известность Мистраль получила в 1914-м, ее любимыми

писателями были русские. Выяснилось, что она нобелевская лауреатка и умерла совсем недавно. Тональность ее стихов, неожиданно акмеистических, особенно из раздела «Боль», удивительно близка ахматовской, параллели и совпадения чуть не дословные. Ахматова почти с восхищением говорила: «Краснокожая обошла меня» (Мистраль была индианкой). Стихотворение «Фонтан» она несколько раз просила прочитать ей вслух, заставляла читать гостей и требовала немедленной оценки.

В журнале «Польша», который принесла Горбаневская, были стихи полячки Веславы Шимборской в ахматовском переводе. Наталья Горбаневская была полонифилка, цитировала польские стихи по памяти, особенно почитала Норвида. Она жила в Москве, но часто появлялась в Ленинграде, добираясь на попутных грузовиках. Ахматова шутя объявляла: «Звонила Наташа — как всегда, приехала на встречахных машинах». Как поэтесса она была сразу признана Ахматовой, стихи были оценены без скидок на возраст, на неблагоприятные обстоятельства и так далее. Из них особенно выделяла Ахматова два «ударных» — «Послушай, Барток, что ты сочинил?» и «Как андерсовской армии солдат» с прелестными строчками:

Но преданы мы, бой идет без нас.
Погоны Андерса — как пряжки танцовщицы.
Как туфельки и прочие вещицы —
И этим заменен боезапас.

Это, конечно же, напоминало Ахматовой о ее ташкентских встречах с андерсовцем Иозефом Чапским, которому адресовано «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума».

Горбаневская перепечатывала свои стихи на маленьких листах, вкладывала их в обложку и дарила эти тоненькие тетрадочки знакомым, в частности и Ахматовой. Однажды Анна Андреевна попросила меня найти среди бумаг нужную ей рукопись, объяснила, где она вероятнее всего лежит, как выглядит. Я перебрал несколько папок, рукописи не нашел. Поискал в другом месте, в третьем, сказал, что нет, не вижу. И похожего ничего? И похожего ничего. «А стихи Горбаневской?» — спросила она вдруг. Я, засмеявшись, ответил, что и их не обнаружил. Она обреченно проговорила: «Раньше хоть ее стихи можно было найти, сейчас и они пропали».

Против окна моей палаты рос высокий тополь. За то время, что я там лежал, его набухшие почки приоткрылись, он сделался бледно-зеленым. Он стоял на солнце, а тот, что рос посреди двора на Ордынке, — в тени, он на несколько дней опаздывал, это была такая игра: хвалиться тем, что чей тополь успел сделать. Палата была на третьем этаже, а все лестницы с некоторого времени сравнивались по степени трудности подъема с лестницей у Шенгели. А дело было вот какое. Как-то раз я проводил Ахматову после гостей к Шенгели. Когда мы подошли к лифту, он оказался выключен. До квартиры было семь высоких этажей, времени — час ночи. Я стал искать выход: предлагал поймать такси, поехать к тем-то, к тем-то — никто, разумеется, не откажет; найти механика, чтобы исправил лифт... Она сказала, что единственное спасение — немедленно начать подниматься. Мы одолевали лестницу больше получаса: какие бы я ни придумывал способы помочь ей, она коротко и категорично их отвергала. Поднималась по обычной своей методе: ставила по очереди обе ноги на каждую ступеньку и на площадке между маршами делала пять-шесть глубоких размеренных вдохов-выдохов, унимая таким образом сердцебиение («Сердце умирят правильным дыханьем»). Это называлось «дыхание йогов», а Нина Антоновна, имитируя артистку Бирман в роли сиделки в популярном тогда спектакле, определяла такой подъем как «шажок! — отдохнули!». Дважды она садилась на ступени. Войдя в квартиру, попросила хозяйку накапать ей валокордину и перед моим уходом сказала, что теперь она похожа на ту прустовскую бабушку или тетушку, которой расхваливали погоду и воздух на Елисейских полях, соблазняя ее погулять; она соглашалась, намечала для прогулки ближайшее воскресенье, и все знали, что она из дому никогда не выйдет из-за убежденности, что попросту не может этого сделать; однако когда дом загорелся, старуха спустилась по пожарной лестнице — кажется, даже не касаясь перил. Лестница у Шенгели придавала ей уверенности и опыта: в Италии во дворец, где ей должны были вручать премию, вела высокая мраморная лестница с крутыми ступенями — по ее словам, она вспомнила то ночное восхождение и не раздумывая двинулась вверх.

«Кома», принесший цветы, — это Вячеслав Всеволодович Иванов, ученый — лингвист и филолог, носивший такое домашнее имя; а «Саша» — это Александр Нилин,

Александр Павлович, ближайший друг «мальчиков Ардовых», уже промелькнувший в одном из предыдущих писем с букетом нарциссов. «Маруся» — Мария Сергеевна Петровых — тоже участвовала в тагоровском предприятии. Карпушкин был ответственный, не то внешний, редактор переводов. Суега, нагнетавшаяся вокруг переводов, казалась необходимой и важной, кто-то противодействовал заключению договора, кто-то проталкивал его; едва переводы вышли, уже нельзя было вспомнить не только, в чем состояло дело, но и почему оно до такой степени всех захватило. И эта тревога и нервность, от которых через короткое время не найти было следов, повторялись потом еще много раз, всегда с одинаковой силой и остротой. Когда у меня начались заурядные неприятности на сценарных курсах и я беспокоился и мрачнел, Ахматова утешала: «Через две недели после их окончания вы навеки забудете, что такое кино» (она ошиблась на несколько дней).

«Ленинградская гостя» Жена Берковская, Евгения Михайловна, одна из тех шестидесятилетних, измученных жизнью, но не предьявляющих к ней никаких претензий, никогда не жалующихся женщин, которых было несколько в окружении Ахматовой, происходила из благополучнейшей петербургской семьи и претерпела все, что за такое происхождение полагалось. В то время она жила по чужим углам, зарабатывала вязанием и перепечаткой рукописей на машинке, в частности и для Ахматовой. Ахматова была с ней неизменно ласкова, поддерживала ее — в первую очередь психологически; Берковская, лишившись ее, осиротела окончательно, как-то сразу обессилела и очень скоро умерла... Как правило, знакомые ленинградцы и москвичи, курсируя между двумя столицами, довозили Ахматовой что-то, забытое в одной из них, почту или, если она задерживалась надолго, одежду по сезону (так сделал, например, упомянутый в записке Владимир Сергеевич Муравьев).

Стихотворение «Тень», посвященное Саломее Андронниковой, о которой перед поездкой в Англию Ахматова написала в дневнике: «Мы не виделись 49 лет, да и не увидимся, она ведь слепая», — было положено на музыку Артуром Лурье, и ноты присланы в Москву. Братья Хайкины — известный дирижер и известный физик — были кузенами Ардова, но «Тень» исполнялась дома ни у того, ни у другого, а у сына физика, женатого на музыкантше. Сохранилась магнитофонная запись того вечера, дважды спетый романс, а затем стихи Ахматовой, которые она с охотой стала после музыки читать.

Илья Львович Слоним, скульптор из тех немногочисленных, которые видят глазами и осязают пальцами линии, плоскости и объемы, выводимые пространством из самого себя, а не ваяют фантомов, похожих на человека, только вдвое или вдесятеро раздувшегося, был женат на Татьяне Максимовне Литвиновой, писательнице и художнице. Он лепил голову Ахматовой, для чего она несколько раз приезжала к нему в мастерскую на Масловку, но портрет не вполне удался, как бывает, когда натура сама по себе слишком «скульптурна». Ахматова, за свою жизнь позировавшая нескольким десяткам художников, чувствовала себя в студии непринужденно, вела себя во время сеанса профессионально. Примерно в это же время она сказала: «Хочу видеть вашего Целкова». С художником Олегом Целковым я дружил с юности, с Ленинграда, и мы часто виделись в Москве. Я привез Ахматову в его комнату в Тушине, служившую также мастерской. Он поставил стул у стены, усадил ее и стал холст за холстом с промежутком в минуту-две прислонять к противоположной стене. Мне показалось, что она ожидала увидеть что-то более поверхностное, менее серьезное и талантливое. Когда я рассказал ей о коллажах на выставке поп-арта, ставшего тогда последним криком моды, она беззвучно пошевелила губами, считая, и произнесла: «Пятый раз на моей памяти», — возможно, к чему-то подобному она приготовилась и сейчас. Показывая картины, Целков болтал со мной, а она изредка роняла легкие светские реплики, которых он, делая паузу в нашем разговоре, улыбался. Когда появилась «Групповой портрет с агавами», она спросила: «Это какие цветы?» Он немедленно ответил: «Такие же, какие и люди». Она внимательно посмотрела на него, он на нее, потом мы попили чай и уехали. Через несколько дней она сказала: «Поблагодарите вашего друга еще раз». Она любила быстрым росчерком рисовать на первой странице рукописи не то знак, не то букву а, и это была единственная выходявшая из-под ее пальцев — если оставить в стороне почерк — графика. Однажды я пришел на Ордынку, и она, показав на восьмилетнюю внучку Нины Антоновны, игравшую в соседней комнате, рассказала, что та попросила ее что-нибудь нарисовать. «А я, когда она была совсем маленькая, что-то по ее просьбе выводила на бумаге. Но после се-

годняшнего художества она вежливо спросила: «Вы разучились рисовать?» Это она научилась».

Книга Рива, «где он требует нобелевскую премию» для Ахматовой,— по-видимому, та самая, «Роберт Фрост в России», в которой он описывает их комаровскую встречу.

Меня задержали в больнице еще на несколько дней, и последняя полученная мною там записка была такая:

«Толя милый!

Сейчас уезжаю с «Легендарной Ордынки». Дала Нине для Вас Леопарди, у меня другой — подарок Лиды Чуковской. Нина объяснит Вам, почему все хорошо, а я думаю, что

За ландышевый май
В моей Москве столгавой
Отдам я звездных стай
Сияния и славы..

А.

12 мая

1964

Москва».

* * *

В конце этого года Ахматова поехала в Рим, оттуда на Сицилию, в Таормин (она так и не решила, как называть город: Таормин, Таормино, Таормина), затем в Катани и ей вручили литературную премию. Сопроводить ее должна была Нина Антоновна, которая, пока оформлялись документы, уехала в Минск ставить в тамошнем театре спектакль,— и в сентябре ее разбил неожиданный инсульт. Ахматова тяжело и остро переживала это несчастье, сразу попросила меня слетать в Минск, я звонил ей оттуда, сообщал о состоянии больной. Болезнь приняла затяжной характер, вместо Ольшевской в Италию отправилась Пунина. Я получил за время поездки семь писем (по большей части открыток, вложенных в конверт), телеграмму, разговаривал с Ахматовой по телефону. Однажды, в Комарове, когда принесли очередную почту, я сказал про письмо из-за границы, которое находилось в пути чуть не два месяца: «Пешком шло». «И неизвестно, с кем под ручку»,— отозвалась Ахматова, как бы вынося эти слова в эпиграф ко всей такого рода корреспонденции.

[Из Рима в Ленинград, почтовый штамп на конверте 7.12.64. Открытка с видом площади Испании]

«Вот он какой — этот Рим. Такой и даже лучше. Совсем тепло. Подъезжали сквозь ослепительно розово-алую осень, а за Минском плясали метели и я думала о Нине.

Во вторник едем в Таормино. Хотят устроить вечер стихов. Прошу передать мой привет Вашим родителям...

А. Ахматова».

[Из Рима в Ленинград, почтовый штамп неразборчив. Открытка с видом площади дель'Эздера]

«Вернулись ли Вы в Ленинград? В среду мы едем в Таормино. Сегодня полдня ездили по Риму, успели осмотреть многое снаружи, но красивее того розового дня на Суворовском ничего не было. Обе здоровы.

Ахм.

[Приписка сверху:] Привет милым ленинградцам».

[Из Рима в Ленинград, почтовый штамп 9.12.64. Открытка с видом Пантеона]

«Жду врача из Посольства. Пусть скажет, могу ли я ехать [в] Таормин и пр. Сны такие темные и страшные, будто то, что в Вильнюсе сказала дочка Трауберга,— правда.

Где вы?

Мы еще не знаем дня вручения премии.

Звоните Ане. Пусть меня все помнят.

Ахм.».

[Из Рима в Ленинград, почтовый штамп 9.12.64. Открытка с видом фонтана Треви]

«Сегодня был совсем особенный день — мы проехали по *via Appia* — древнейшему кладбищу римлян. Кругом жаркое рыжее лето и могилы, могилы.

Потом ездили на могилу Рафаэля. Кажется, он похоронен вчера (в Пантеоне).

Завтра едем в Таормин. Ира две ночи подряд говорила с Аней по телефону.
Ахм.»

[Из Таормина в Ленинград, почтовый штамп 10.12.64, письмо пришло, несмотря на перепутанный адрес: вместо «проспект Карла Маркса» Ахматова написала «проспект Ленина». Открытка с видом Пантеона ночью]

«Из Таормина проездом

Сегодня с утра мы уже в Таорминине *[так!]*. Здесь все, о чем я Вам только что говорила. Целый день дремала. Сейчас у меня был Ал-ей Алекс. Он бодр и очень заботлив. Сказал, что г-жа Манцони хочет писать мой лит. портрет. Поэтому просит, чтобы ее приняла *[Над строкой приписка:]* нужна библиография. Ей очевидно должна заняться Женя. Я так и знала, что Вы загоститесь в Москве. Целую мою Нину в Москве. Привет Вашим.

А.»

[Из Таормина в Ленинград, почтовый штамп 11.12.64. Открытка с репродукцией гравюры А. П. Остроумовой-Лебедевой «Крюков канал»]

«Из Таормино проездом, Ахматова.

А вот и наш Ленинград. Я — почти в Африке. Все кругом цветет, светится, благоухает. Море — лучезарное. Завтра — вечер. Буду читать стихи из «Пролога». Все читают на своих языках. У меня уже были журналисты. Грозят телевизором.

Пишу Нине.

Думаю о ней. Всем привет.

Ахм.

[Приписка сверху:] Ира говорит: «Позвоним когда вернемся в Рим».

[Приписка сбоку:] Покупайте воскресную „Униту“.

[Из Таормина в Ленинград, почтовый штамп 12.12.64]

«А сегодня для разнообразия вместо открытки — письмо.

Вечером в отеле стихотворный концерт. Все читают на своих языках. Я решила прочесть по тексту «Нового мира» три куска из «Пролога», о чем, кажется, уже писала Вам.

Завтра вручение премии в торжественной обстановке — в Катанье, потом опять Рим и... дом.

Все, как во сне. Почему-то совсем не трудно писать письма. Вероятно, меня кто-нибудь загипнотизировал. Врач дал чудесное лекарство и мне сразу стало легче. Как моя Нина? — Чем бы ее потешить...

Надо думать — Вы уже в Ленинграде. Прошу Вас передать мой привет Вашим родным. Сейчас ездила смотреть древний греко-римский театр на вершине горы.

Позвоните Ане и скажите, что мы с Ирой живем дружно и она чувствует себя хорошо.

Будем звонить из Рима

А.»

[Телеграмма. Из Катании 14.12.64 в Ленинград]

tous va bien demain partons pour Rome Achmatova
(все благополучно завтра едем в Рим Ахматова).

Как-то раз Ахматова попросила меня отвезти письмо Суркову. Я предварительно позвонил ему по телефону — оказалось, он за границей. «Ну, значит, скоро вернется, — сказала Ахматова. — Это раньше за границу уезжали надолго, а сейчас две недели — и назад». Такая же была и ее поездка.

Ей предшествовала встреча в Москве с Джанкарло Вигорелли, председателем Европейского литературного сообщества, кажется, им самим и организованного. Ах-

матова принимала его на Ордынке: на ордынском совете решено было, что удобнее и эффективнее всего сделать это в «детской», полулежа на кушетке. Она надела кимоно, припудрилась и прилегла, опираясь на руку, — классическая поза держательницы европейского салона, мадам Рекамье и др., на что-то в этом духе и был направлен замысел сценария; плюс сразу возникшее сходство с рисунком Модильяни, неожиданное. Кимоно было новое, может быть, уже то, которое прислал брат Виктор из Америки, кроме него, ее гардероб украшали — как домашнее, и одновременно слишком парадное для домашнего, платье — еще одно-два старых, чтобы не сказать ветхих, давнего происхождения. (Возможно, этот стиль начался с Пунина, с его поездки в Японию; о визитах к ней японцев-переводчиков упоминалось мимоходом — за исключением одного, который произвел на нее сильное впечатление. Это был переводчик полного собрания сочинений Толстого, она из вежливости спросила его, переводил ли он еще кого-нибудь из русских, он ответил: «Да, всего Достоевского».)

Я выглянул в окно и увидел топчущихся в пустом дворе, разглядывающих номера подъездов двух толстячков, по виду иностранцев. Я спустился, спросил по-французски, кого они ищут, и показал дорогу. Один просиял, другой отглядел меня неприязненно, он был наш — сопровождающее лицо из Союза писателей. Вигорелли вошел в комнату, остановился в дверях, картинно отшатнулся, картинно раскинул руки, воскликнул: «Анна!» Она подняла ладошку, легонько помахала ею в воздухе и произнесла не без строгости: «Привет, привет». Он поцеловал ей руку, сел на стул и заговорил сразу деловым тоном.

Литературное предприятие синьора Вигорелли было просоветского направления, если не прямо коммунистическое. Союз писателей, возглавлявшийся тогда Сурковым, искал случая подружиться, не теряя собственного достоинства, с «реалистически мыслящими» литераторами Запада. Недавний скандал с Пастернаком затруднял сближение, желательное и той и другой стороне. Ахматова оказалась фигурой хотя и вызывавшей претензии тех (не левая — не революционна, как сформулировал Пазолини) и других (не советская и все прочее), но идеальной для создавшейся коллизии («Реакционность — для нас; ранг, авторитет и известность — для всех»). Однако то, что «Ал-ей Алекс.» (Алексей Александрович Сурков) «очень заботлив», вовсе не означало, что он был заинтересован сохранить привезенный товар в лучшем виде и больше ничем. С Ахматовой его связывали долгие и не схематичные (начальник — подчиненная) отношения. Он напечатал цикл ее верноподданнических стихов после постановления и второго ареста сына — и он же искал ее одобрения своим стихам, говоря о себе: «Я — последний акмеист». Он издал после многолетнего перерыва первый со времени постановления сборник ее стихотворений, прозванный по причине темно-красного переплета и «официального» шрифта «Манифестом коммунистической партии», — жутковатую книжку со стихами о мире (которые она, даря экземпляр, заклеивала автографами других своих стихотворений), с многочисленными безликими ее переводами, — но издал. У него она могла попросить за кого-то, похлопотать о чьей-то жилплощади, он был ее начальство, вполне ее устраивающее. Время от времени она за глаза называла его снисходительно-ласковой кличкой домашнего, но не вполне выясненного происхождения — Сурковер. Она написала, что он был бодр, но когда я читал письмо первый раз, я прочел «добр», и это показалось мне естественным.

Поездка была короткой, Рим не успевал заслонить Ленинград, Аппиева дорога — Крюков канал, Пантеон — Суворовский проспект. Выделенное в письме отгочием созвучие «Рим и... дом» — это не только ахматовская шутка-рифма *Roma — doma* и вывернутый наизнанку *Urbs — Orbis*¹, а как будто из опыта добытое знание, сообщаемое на потом еще не умудренному жизнью адресату, что Рим-мир меньше дома, что дом, во всяком случае к концу жизни, не говоря уж о доме последнем, заключает в себе и все Римы и весь мир.

В Италию, так же как через полгода в Англию, она ездила поездом. Ей вообще нравились путешествия по железной дороге — отчасти потому, что их характер да и само существо почти не изменилось с начала века, когда она путешествовала легко и много, разве что скорости сколько-то возросли. Она вспоминала, как возвращалась с юга в Петроград (мне показалось, это было в самом начале 20-х, а может быть, в 1916-м) через Москву: «Приехала в Москву утром, уезжала вечером, видеть никого

¹ Город — мир (лат.).

не хотелось, с вокзала поехала на извозчике к Иверской, помолилась, потом весь день ходила по улицам, было так хорошо быть никем». В этом воспоминании, как и во всех других такого рода, не появлялось и тени тягот передвижения, не только всегда рассказчиками красочно описываемых, но и действительно составлявших чуть не все содержание путешествий того и последующих времен. «Что может быть приятнее поездки через зимнюю Финляндию в комфортабельном русском вагоне! Образец уюта», — сказала она в один из невеселых морозных дней в Комарове, когда серая влажная стужа пронизывала до костей. В последние годы, однако, переезды давались ей все труднее, главным образом из-за болезни сердца. За час до выхода из дома появлялись симптомы *Reisefieber*, предотъездной лихорадки, иногда случался сердечный приступ. Ездил она только с какой-нибудь близкой знакомой или свойственницей. На вокзал прибывали задолго до подачи поезда к перрону. Как-то раз сидели в зале ожидания на Московском вокзале в Ленинграде, и сопровождавшая ее Стенич-Большинцова вспомнила, как они с мужем провозжали Мандельштама и тоже приехали раньше времени; в зале стояла пальма в кадке, Мандельштам повесил на нее свой узелок и произнес: «Одинокий странник в пустыне». Кто-нибудь из молодых назначался ответственным за ахматовский багаж, кто-то постоянно находился возле нее с нитроглицерином под рукой — другой флакон с нитроглицерином всегда лежал у нее в сумочке. Шла к вагону она медленно, опираясь на чью-нибудь руку, и время от времени останавливалось отдохнуть. Я часто бывал или провожающим, или встречающим — главное было идти не торопясь.

Она читала Эйнштейна, понимала теорию относительности, к достижениям же техники относилась довольно сдержанно. К лифту — неприязненно, но терпимо; пишущую машинку, особенно в союзе с копировальной бумагой, терпеть не могла. Вспоминала, как в Гаспре в 1929 году физики или астрономы издевались: «Анне Андреевне бинокль в руки не давайте, взорвется». Лишь автомобиль пользовался безоговорочным признанием. Как-то раз наше такси остановилось у бензоколонки рядом с новеньким сверкающим «мерседесом», я сказал: «Красиво, правда?» Она ответила пренебрежительно: «Вам в самом деле нравится? У вас буржуазный вкус. Она, наверное, еще из этих современных, гонимых: «Залейте бензин, он на исходе! Снизьте скорость, не оставьте своих детей сиротами!» Бр-р!» Ей нравилось, когда даже малознакомые владельцы машин приглашали ее прокатиться на автомобиле; довольно часто она находила повод вызвать по телефону такси поехать куда-то за чем-то, а иногда без повода: «Давайте прокатимся». Именно о таком бесцельном катании розовым днем — хотя у меня остался в памяти зеленовато-розовый летний вечер — по Суворовскому проспекту она напоминает в письме. «Вы знаете фокус со Смольным? Если медленно ехать по площади мимо собора, он начинает кружиться, а угол зрения остается один и тот же. Я вам сейчас покажу», — сказала она и попросила шофера повернуть с Невского на Суворовский. А в письме в больницу: «Мы еще поедем и к березам и к Щучьему озеру» — это напоминание о других автомобильных прогулках.

Однажды Наталья Иосифовна Ильина предложила Ахматовой, а Ахматова мне, выехать на час из Москвы. Был бессолнечный день поздней осени, Ильина выехала на Рублевское шоссе и остановила машину на опушке березовой рощи, облетевшей, ослепительно белой, сплошь из высоких и как бы по чьему-то замыслу расставленных стволов. Ослепительность при этом смягчали, гасили беловатое небо и воздух, подкрашенный прямым и отраженным от берез дневным светом. Было тепло и невероятно тихо. Мы погуляли по опавшей листве и поехали обратно в город. Подозреваю, что ахматовская запись о березах: «огромные, могучие и древние, как друиды» и «как Пергамский алтарь», — возникла после этой прогулки. На Щучье же озеро в трех километрах от ее комаровского дома ездили не раз, и по крайней мере один раз с Ильиной: четвертым тогда был Бобышев. Мы с ним купались, Ахматова посидела на пне, Ильина побродила по берегу, потом все погрузились в автомобиль, Наталья Иосифовна стала разворачиваться, и тут Бобышев заговорил — в почти куртуазной, в общем, не свойственной ему манере, с паузами и эканьем, — что вот, мол, он, не позволяя себе и в мыслях вмешаться в процесс вождения и так далее и так далее, хочет только любезно обратить любезное внимание водительницы на то, что заднее колесо, над которым он сидит, приближимо, приближается к... Она ударила по тормозу на мгновение раньше того, как я крикнул: «Яма!» Мы втроем выскочили из машины: колесо всеело над метровым обрывом, другое остановилось на самом краю. С великими предосторожностями мы откатали машину от ямы — Ахматова беззаботно и торжественно сидела внутри. Когда

все было позади, я поинтересовался у Бобышева, почему он так долго говорил, — ответила Ахматова: «Что за вопрос? Так человек устроен». Смеясь, она рассказала мне в другой раз, как Бобышев, выслушав от нее комплимент моим последним стихам, сказал угрюмо и многообещающе: «Я мог бы предъявить Толе ряд упреков», «И на том замолчал навеки. Это мне напомнило мальчика Валу Смירнова: он был мой сосед по пунинской квартире, погиб в блокаду. Он заглядывал ко мне в комнату и объявлял: «Сегодня вечером будет кино». Из этого ровно ничего не следовало. То есть ровно ничего: так ему требовалось для какой-то его игры». Потом прибавила: «Кроме этой, он говорил еще одну прелестную вещь. Я с ним занималась французским, учила: le singe — обезьяна, le sэнж, повтори. Он убежал из комнаты, потом просовывал в дверь голову, спрашивал: «Люсаньч — годится?» — и опять убежал». (Она могла, прочитав гостю свои новые стихи и слыша его восторженное бормотанье, вдруг произнести: «В общем, люсаньч годится?»)

В переделку, по-настоящему серьезную, попали мы с ней средь бела дня на Горюховой. Она хотела успеть в сберкассу, времени же оставалось в обрез: начинался «ахматовский час» — так назывался час обеденного перерыва в учреждениях, необъяснимо начинавшийся как раз в ту минуту, когда туда приезжала Ахматова. Таксист, молоденький парень, желая нам помочь, гнал отчаянно, хотя улицы были узкие и забиты транспортом. Обгоняя колонну грузовиков и троллейбусов, мы выскочили на крутой мостик через Мойку — и оказались лоб в лоб со встречной полторкой. Наш шофер рванул руль влево, мы вылетели на левый тротуар, к счастью, пустой, и тут же, круто взяв правое, снова втиснулись в свой ряд. Маневр был выполнен на большой скорости, так что подробности мы осознали с некоторым опозданием, но, осознав, мгновенно как-то обмякли. Мы — это шофер и я. Ахматова поморщилась от тряски и вновь сидела прямая, невозмутимая, глядя вперед. Тотчас нашу машину взяли в кольцо другие, водители которых видели наш вольт. С искаженными от пережитого страха и возмущения лицами они все как один кричали, что наш шофер пьян. Я попробовал за него вступиться, мне бросили: «Ты благодари бога, что жив». Решили везти нашу машину — вместе с нами — в ближайшую милицию. Только тут Ахматова пошевелилась, повернулась к ним, выглянула в окно и произнесла: «В таком случае наша поездка потеряет смысл». Внешность была так внушительна, тон так неожиданно спокоен и убедителен, что пробка стала рассасываться: мы успели минута в минуту.

Среди «катавших» Ахматову ленинградцев особое место занимала Ольга Александровна Ладыженская, известная математичка, которую Ахматова рекомендовала гостям случайным как Софью Ковалевскую наших дней, а близким — пародировав нескладную грамматическую формулу «женщина-математик» как «собаку-математика». Ей посвящено стихотворение «В Выборге», возникшее в результате забавного стечения обстоятельств. Обычно маршрут автомобильной прогулки пролегал вдоль Финского залива, не далее Черной речки, где была могила Леонида Андреева, — именно одну из таких прогулок воспела Ахматова в «Земля хотя и не родная». Но чаще она просила остановить машину между шестидесятым и семидесятым километром Приморского шоссе, где был дикий, усеянный огромными гранитными валунами, безлюдный берег... В Выборг, однако, ее свозила не Ладыженская. Меня навел на московский приятель, который проезжал на автомобиле через Ленинград. Я предложил Ахматовой прокатиться. Мы выбрали красивую дорогу, соединявшую Приморское и Выборгское шоссе, и не торопясь ехали по ней. Внезапно кому-то в голову пришла мысль отправиться в Выборг. Она согласилась, и началась головоломная гонка, потому что к ней вскоре должен был прийти гость, а до Выборга было больше ста двадцати километров. Со скоростью сто и быстрее мы примчались в Выборг, покругились возле парка и причала, не выходя из машины, съели по эскимо и так же стремительно вернулись. Она сказала только: «Средней силы населенный пункт...» Через несколько дней Ладыженская, навестив Ахматову, рассказала, что она съездила в Выборг, как там было прекрасно и какое впечатление на нее произвел гранитный монолит, ступенями уходящий под воду. Ахматова посмотрела на меня с притворной сокрушенностью и обидой и сообщила госте, что мы ничего такого там не заметили. Через день, если не на следующий, ею были написаны стихи «Огромная подводная ступень» и так далее, с посвящением Ладыженской.

В последний раз по Москве мы поехали кататься в феврале 1966 года, вскоре после ее выписки из больницы, дней за десять до смерти. Было морозно, садилось солнце. Попросили шофера отвезти нас к Андроникову монастырю. Такси было старое, дребезжало, вояло бензином. Улица, ведущая к монастырю, оказалась закиданной

глыбами льда, видимо, недавно сколотого, машину стало трясти. Ахматова поморщилась, взялась рукой за сердце, я велел возвращаться на Ордынку. Она пососала нитроглицерин, шофер стал огибать белую монастырскую стену. Продолжая держаться за грудь, она сказала: «Могучая кладка, на века». А в одну из первых поездок по Москве мы спускались с Большого Каменного моста, и машина поравнялась с тремя страшными темно-серыми многоэтажными домами возле «Ударника». Многие их жильцы были расстреляны в годы террора. «А за то, что люди должны каждый день видеть этот ужас,— сказала Ахматова,— архитектора не надо расстрелять, как вам кажется?»

3 марта 1966 года Ахматова с Ольшевской отправились в домодедовский санаторий под Москвой. Ехали двумя машинами, пригласили медсестру из отделения, где до этого лежала Ахматова. Доехали, несмотря на сравнительно длинную дорогу и поломку в пути, без приступа. Санаторий был для привилегированной публики, с зимним садом, коврами и вышколенным персоналом. К желтому зданию вели широкие ступени полукругом, упиравшиеся в белую колоннаду. Мы медленно по ним поднялись, она огляделась и пробормотала: *L'année dernière à Marienbad*. «В прошлом году в Мариенбаде» Роб-Грийе была чуть ли не последней книгой, которую она прочла.

В письмах из Италии, так же как в московских, часты упоминания о том, что она спала: «я сонная и отсутствующая», «сны такие темные», «целый день дремала». Конечно же, это объясняется возрастом и состоянием здоровья, но не только этим. В то время ей на глаза попало...— надо немного отступить: в то время я читал стихи Йетса...— и еще немного: в то время мне подарили книжку Йетса; и в результате соединения этих как будто случайностей ей на глаза попало — если про стихотворение, прочитанное Ахматовой, вообще можно говорить: попало — его «When you are old and gray and full of sleep» («Когда ты старый, и седой, и сонный»), которое я тогда же пытался переводить. С тех пор всякая реплика о сонливости стала ссылкой на эти стихи. Но, кроме того, почти всякий сон, по крайней мере думаю, что всякий, о котором она упоминала, был сновидением, и «дремала» в сочетании со «сны такие темные и страшные» больше похоже на «грезила» (английское *dream*), чем на «поспала». А «то, что в Вильнюсе сказала дочка Трауберга», Наталья Леонидовна, было тогда расхожей темой в кругу молодежи, настроенной связывать свои представления об аде и рае с моралью, в частности с моралью ничего не подозревавших их знакомых и полужнакомых, решая, кто из них ангел, кто демон.

* * *

«Толя,

вот и моя Московская зима пришла к концу. Она была трудной и мутной. Я совсем ничего не успела сделать и это очень скучно.

Теперь думаю только о доме. Пора!

Надо платить за Будку и получать пенсию.

А по Комарову уже бродят «морские белые ночи», кричит кукушка и шуршат сосны. Может быть там ждет меня книга о Пушкине.

Привет всем.

Анна Ахматова».

Письмо не датировано и помещено здесь, то есть после итальянских, условно. Память о подробностях его получения смешалась с позднейшей — о том, как я перечитывал его в первый раз через несколько лет после ее смерти, какую близость с «Приморским сонетом» находил, наполняя новым, прощальным, содержанием слова «дом», «пора!»; как гадал, намеренно она первоначально написала вместо «мутной» — «мудрой», то есть еще чему-то ее научившей, и потом исправила или это была описка. Есть достаточно аргументов в пользу того, что оно было написано весной и 1964 года, и 1963-го, и 1965-го, есть доводы и против каждого из них.

В этих трех зимах больше было сходства, чем различий: переезды с места на место, два картонных чемодана с рукописями, звонки из редакций с предложением что-то чем-то заменить, издание «Бега времени», непомерно растянувшееся, недомогания, болезни и — гости, визитеры, реже приемы, еще реже поездки к кому-то с визитом. Не нам судить, насколько светской сочли бы Ахматову светские дамы 10-х годов, о которых она вспоминала без восторга, но в наших глазах ее светскость, лишенная фона для сравнений, была образцовой, а в глазах дам 60-х — даже чрезмерной, в ущерб искренности. На самом же деле светскость как раз тот инструмент, ко-

торый дозирует искренность, как и все прочие реакции на происходящее, в точном, выверенном соответствии с происходящим, и всегда быть искренним — столько же недостаток, сколько достоинство. Другое дело, что светскость — как ритуализированное раз навсегда поведение, внешность, манеры — могла привести к почти полной искусственности общения, и Ахматова, говоря о некоторой засушенности петербургских дам, одетых по моде двадцатилетней давности, противопоставляла им крупных, крепких, с грубыми чертами лица фрейлин двора (между прочим, возмутительно не похожих на смазливых стройненьких барышень, какими их изображали в голливудских фильмах). Когда она захотела познакомиться с моими родителями и они навестили ее в Комарове, то по прошествии двух или трех недель я неожиданно услышал от нее фразу, смутившую меня старомодностью: «Узнайте у ваших родителей, когда я могу отдать им визит». Я узнал, привез ее, опять ей пришлось подниматься на пятый этаж без лифта, она завела легкую беседу, посидела недолгое время за столом, и мы уехали. А в их приезд к ней отец дорогой спрашивал меня, любит ли она стихи Есенина, а также сравнение Львом Толстым поэзии с пахарем, который стал бы приседать на каждом втором или третьем шаге, и получил в обоих случаях ответ, что нет, не любит. Тем не менее, едва войдя на дачу, он объявил, что его любимый поэт — Есенин, написавший «Ты жива еще, моя старушка», после чего прочитал несколько строф этого стихотворения, и что он согласен с Толстым, что поэзия — это пахота с приседанием на втором или третьем шаге. На оба выпада она произнесла только: «Да-да, я знаю», а когда я проводил их на станцию и вернулся, сказала: «Ваш отец очаровательный человек».

Вообще же тем, кто приходил к ней впервые, было самым недвусмысленным образом страшно переступить порог. Мои знакомые в коридоре шепотом упрасивали меня не оставлять их с глазу на глаз с нею — это забавляло ее и сердило. За долгие годы сложился и отлился в точную, завершенную форму обряд приема более или менее случайных посетителей. «Уладьте цветы,— говорила она кому-нибудь из домашних, освобождая гостя от букета, и ему: — Благодарю вас». Затем: «Курите, не стесняйтесь, мне не мешает — я сама больше тридцати лет курила». Когда время визита, по мнению гостя, истекало и он собирался уходить, она спрашивала: «А который час?» — и в зависимости от ответа назначала оставшийся срок — услышав, например, что без четверти восемь, говорила: «Посидите ровно до восьми». Когда же решала, что визит окончен, то без предупреждения подавала руку, благодарила, провожала до двери и произносила: «Не забывайте нас». Молодых, с кем была хорошо знакома, напутствовала: «Ну, бегайте». Разговаривать с ней по телефону было невозможно — посередине твоей фразы раздавалось: «Приезжайте», — и трубка вешалась.

В беседе она всегда была самой собой, произносила фразы спокойным тоном, предельно ясно и лаконично, не боялась пауз и не облегалась, как это принято, ничего не значащими репликами положение собеседника, если ему было не по себе. К тому, что люди приходят из любопытства или тщеславия, относилась покорно, как к чему-то неизбежному, и бывала довольна, если во время такого визита возникало что-нибудь неожиданно интересное. Некоторые решались прийти к ней просто поделиться горестями, чуть не исповедаться, — и уходили утешенные, хотя она говорила мало. В больницах, узнав, кто она, к ней подходили советоваться соседки, нянечки; начало у всех было одно и то же: «Ну, с мужем я не живу уже три месяца» (разница была в сроках). Как правило, одинаковый был и конец: «Скажите, будет когда-то ей, разлучнице, так же худо, как мне сейчас?» И Ахматова отвечала: «Это я вам обещаю, тут можете не сомневаться».

В ее стихах юмор — редкость, а в разговоре, особенно с близкими, она часто шутила, и вообще шутливый тон всегда был наготове. Иногда она намеренно сгущала краски, описывая какое-то событие, какое-то свое дело, ей предлагали тот или иной выход, и она говорила: «Не утешайте меня — я безутешна». Если негодовала из-за чего-то и ее пытались разубедить, это называлось «оказание первой помощи». Когда ей советовали что-то, что было неприемлемо, она произносила иронически: «Я благожелательно рассмотрю ваше предложение». Ольшевская жаловалась на нее, что вот столько дней безвыходно просидела дома, не дышала свежим воздухом, она добродушно защищалась: «Грязная клевета на чистую меня».

Она смеялась анекдотам, иногда в голос, иногда прыскала. Вставляла в разговор центральную фразу из того или другого, не ссылаясь на самый анекдот: «И как правильно указывает товарищ из буйного отделения...», «Сначала уроки, выпить потом...»,

«То ли, се ли, батюшка, а то я буду голову мыть...» К пошлости была нетерпима, однажды сказала, возмущившись: «Все-таки есть вещи, которые нельзя прощать. Например, „папа спит, молчит вода зеркальная“, как недавно осмелились при мне пошутить. А сегодня резвился гость моих хозяев: „Отчего Н. лысый — от дум или от дам?“ Терпеть не могла и каламбуры, выделяя только один — за универсальное содержание: «Маразм крепчал». Однажды сказала: «Я всю жизнь была такая анти-антисемитка, что когда кто-то стал рассказывать еврейский анекдот, то присутствовавший там Х. воскликнул: „Вы с ума сошли — как можно при Анне Андреевне!“ Как-то раз я к случаю вспомнил такой: «Один пьяный спрашивает Другого: „Ты Маркса знаешь?“ — „Нет“. — „А Энгельса?“ — „Нет“. — „А Фейербаха?“ — „Але, отстань: у вас своя компания, у нас своя“». Ей было смешно. Через несколько дней я приехал в Комарово, и она рассказала, что поэт Азаров приводил к ней поэта Соснору. Я тотчас отозвался: «У вас своя компания, у нас своя». Она рассмеялась, но без промедления парировала: «Да? И кто же ваша компания?»

Очень хорошо знала и любила Козьму Прутоква, не затасканные афоризмы, а например: «Он тихо сказал: „Я уезжаю на мызу“ — и на всю гостиную: „Пойдем на антресоли!“» «Пойдем на антресоли» говорилось, когда Ахматовой нужно было уединиться от гостей с кем-нибудь из приятельниц. Признавалась в любви к стихам Ал. К. Толстого, не только в нежной, с ранней молодости, к «Коринфской невесте», первую строфу которой «свирельным» голосом читала наизусть, но и в обычной читательской к «Балладе о камергере Деларю» и «Сну Попова» и декламировала скороговоркой:

Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал,
А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал!» —

и торжественно!

Мадам Гриневич мной не предана,
Страженко цел, и братья Шулаковы
Постыдно мной не ввержены в оковы.

Хотя считается, что сатира чужда ахматовской поэзии, в 30-е годы она сочинила вариации на известную русскую стихотворную тему «Где же те острова», из которых я запомнил строфу:

Где Ягода-злодей
Не гонял бы людей
К стенке,
А Алешня Тойстой
Не снимал бы густой
Пенки,—

(разумеется, о современном ей А. Н. Толстом).

В обиходе она нередко как приемом пользовалась произнесением вслух — от декламации до проборматывания — чьих-то известных строчек, как правило, парадоксально подходящих к месту. Например, ища запропастившуюся куда-то сумочку, могла сказать из любимого ею «Дяди Власа», переменяя некрасовскую интонацию: «Кто снимал рубашку с пахаря? Крал у нищего суму?» («Власу худо; кличет знахаря,— да поможешь ли тому, кто снимал рубашку с пахаря, крал у нищего суму?»),— причем поощряла скорее утилитарное и даже своекое отношение к стихам, чем трепетное, как к священному тексту. Некрасов был употребителен в таких случаях, особенно: «Не очень много шили там, и не в шитье была там сила» — из «Убогой и нарядной»; или: «Хоть бы раз Иван Мосеич кто меня назвал» — из «Эй, Иван» («Пил дегина ерофеич, плакал да кричал: „Хоть бы раз Иван Мосеич кто меня назвал..“»). Последнее жалобно, наравне с «Фирса забыли, человека забыли!» из нелюбимого «Вишневого сада» — когда собирались куда-то ехать, шофер вызванного такси уже звонил в дверь, поднималась суматоха, внимание провожавших сосредотачивалось на том, «все ли взято»: нитроглицерин, сумочка, если нужно, чемоданчик,— а она в пальто, в платке, с палкой в руке садилась в коридоре на стул и приговаривала: «Фирса забыли». В ее стихи попадал общественный, обличительный Некрасов, прочитанный «в сознательном возрасте», чью «кнутом иссеченную музу» Ахматова превращала в «музу засékли мою»; а тот, с мамино голоса, с детства, домашний, шел на домашние нужды: члены «Цеха поэтов», развлекаясь, читала «У купца у Семипалова живут люди не говеючи» в переводе на латынь: «Heptadactylus mercator servos semper nutrit carne». Это легкое и веселое об-

ращение со стихами она распространяла и на собственные: переодевшись в ожидании гостей, выносила из своей комнаты затрапезное кимоно и совала его в руки кому-нибудь из домашних со словами: «Ах, милые улики, куда мне прятать вас?» («Он дал мне три гвоздики, не поднимая глаз: ах, милые улики, куда мне прятать вас?»)

Она шутила щедро, вызывая улыбку или смех неожиданностью, контрастностью, парадоксальностью, но еще больше — точностью своих замечаний и никогда — абсурдностью, в те годы входившей в моду. Она шутила, если требовалось — изысканно, иногда и эзотерично; если требовалось — грубо, вульгарно; бывали шутки возвышенные, чаще — на уровне партнера. Но никогда она не участвовала в своей шутке целиком, не отдавалась ей, не «добывала» шутку, видя, что она не доходит, а всегда немного наблюдала за ней и за собой со стороны — подобно шуту-профессионалу, в разгар поднятого им веселья помнящему о высшем шутовстве. Она буквально расхоталась однажды на райкинский репризу: «Потом меня перебресли на парфюмерную фабрику, и я стал выпускать духи „Вот солдаты идут“». И с чувством и как о чем-то немаловажном и не случайном рассказывала позднее, что Райкин, во время ее оксфордского чествования находившийся в Англии, не то приехал поздравить, не то дал телеграмму; она была признательна за внимание, однако рассказ строился так, что то, что он знаменитость, отступало на дальний план, а на передний выходило, что вот — королевство... королева... и как бы королевский шут... И тут же, снижая сказанное: «А Вознесенский — тоже откуда-то из недр Англии — прислал по этому случаю свою книжку: „Многоуважаемой...“ — и так далее, а потом сверху еще „и дорогой“ — совершенный уже Карамазов: „и цыпленочку“».

Подобное отношение проявлялось у нее и ко всему вообще бытовому: между «бытом», «делами», с одной стороны, и «величием замысла» — с другой, существовало равновесие, подвижное, хрупкое, стрелка которого иногда смещалась в направлении «быта», и тогда жизнь становилась «трудной и мутной» и бывало «очень скучно», а иногда к «величию», и тогда становилась ясной, сама себя выстраивая из множества разрозненных наблюдений, «книга о Пушкине», и все — от пронзительного скрипа колесезного ворота до стука в дверь, на который она не отозвалась, потому что недослышала, — оказывалось стихами, «Полночными», из «Пролога» или из много лет назад начатых циклов и книг.

Запись об оплате путевки в Дом творчества и стихи о «заповеднейшем кедре» под его окнами соседствовали в ее дневнике и уравнивали друг друга в ее реальной жизни так же, как намеренно безынтонационное проговаривание «Камергера Деларю», исключительно для развлечения гостей: «Тут в левый бок ему кинжал ужасный злодей вогнал...» — с отчетливо выделенной ею в ровной беседе репликой об особом значении в ее поэзии стихотворения «Углем наметил» на левом боку место, куда стрелять». Точно так же естественно и свободно были сбалансированы и дополняли друг друга в ее передаче подлинная цена того или другого человека или произведения искусства и их официальная репутация. Она слишком хорошо знала невидимые для публики пружины, действовавшие в создании чьей-то — и своей собственной — славы или бесславия, чтобы оболящаться по поводу присуждения какого-то звания или премии. Когда я, развернув газету, спросил, главным образом риторически, за что это такому-то дали Ленинскую премию по литературе, она буркнула судейское: «По совокупности», — а когда я с молодым задором заметил, что «все-таки это безобразие», она довольно резко меня оборвала: «Стыдитесь — их премия, сами себе и дают». И если свою итальянскую «Этну-Таормину» и свою оксфордскую «шпачку-с-кисточкой» она подавала достаточно серьезно, то в этом было куда меньше тщеславия и прочих извинимых слабостей, чем убежденности в том, что не ей, а другим, верящим в справедливость людям необходимо, чтобы «Ахматовой было воздано по заслугам». «Когда после войны командование союзников обменивалось приемами, — рассказывала она, — и Жуков верхом въехал в западную зону Берлина, то Монтгомери и Эйзенхауэр, пешие, взяли его лошадь под уздцы и повели по улице. Это был его конец, потому что Сталин воображал, что он въедет на белом коне и те пойдут по бокам от него». Нобелевка в ее глазах была этим самым белым конем истинного победителя в изнурительной полувековой войне.

* * *

Ахматова довела до нашего времени свое, эстетику и лицо которого в значительной мере определяла. Понятие «свое время» сложным образом суммирует более пятидесяти лет, временное пространство между 10-ми и 60-ми годами, которое она

прошла, простегала траекторией своей судьбы и строчками своих стихов. Точно такие же слова, с поправкой на содержание биографии и поэзии, можно в полной мере отнести и к Пастернаку. Его смерть в 1960 году и ее в 1966-м завершили историю русской культуры первой половины XX века: насколько я мог видеть, при их жизни нельзя было не оглянуться на них; нельзя было сказать и поступить так, как стало возможно уже через месяц-два после ахматовских похорон.

Она часто говорила о начале столетия то, что впоследствии записала: «XX век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как XIX начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют. Несомненно, символизм — явление XIX века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми XX века и не хотели оставаться в предыдущем...» Ее стихи «Мы на сто лет состарились» не только свидетельство об ужасах первой мировой войны, трагедия которой дала молодым опыт стариков, но и буквальный переход из века в век, то есть вдруг оказалось прожито на век больше. Опоздание на те же полтора десятилетия отдаляет подлинную середину нашего века от календарной.

Ни ей, ни Пастернаку не требовалось, даже если бы у них было намерение, идти в ногу со временем: ускорение, задаваемое времени истинной поэзией, всегда больше максимального ускорения эпохи, что и делает творчество поэта вневременным. Ожидание чудес от Джека Алтаузена в 20-х годах было перенесено любителями стихов в 50-е годы на другие имена, но Ахматова — Пастернак, по словам не любившей шутить критики, «не сумевшие вовремя умереть», простым наличием в списке, пусть и среди тех, кто прижат к обочине, в сочетании с неучастием в гонке портили удовольствие уже от самого ожидания и, в конце концов, сводили объявленные чудеса на нет, в лучшем случае — к трюку. Несмотря на коренную разницу эстетических установок Ахматовой, писавшей так, чтобы потомки «на таинственном склепе чьи-то, вздрогнув, прочли имена», и Пастернака, писавшего так, чтобы в момент чтения строки продолжало быть видно, как сохнут чернила под его рукой, циркуль для измерения масштаба ее «монументальности» был растворен столь широко, что оказывался непригоден для оценки величины других, и те, от кого ждали чудес, наглядно проигрывали в сравнении с ними, попросту выпадали из сравнения. После их смерти все резко переменялось: масштабы, метод измерения, наконец, сами циркули. Переменялась атмосфера.

Вечер, конец дня, конец года, конец века предполагают спад активности, замедление, откладывание дел, мыслей и самой жизни на начало следующего — дня, года, века. В конце-начале половинных сроков все это проявляется в более стертом виде, выражено менее остро, но все же ощущается отчетливо. К середине 60-х годов усталость, накопленная за полвека, усугубленная его катаклизмами и по-новому отяжелевшая после облегчения, полученного от смерти Сталина, дала себя знать в самых разных областях. Силы, которые собирались к началу второй половины столетия, справиться с ней не могли, хотя в свою меру и старались: в частности, поэзия стала уступать место литературе, публицистике, широко — от Евтушенко до Солженицына — понимаемому диссидентству, прозе, а в узколитературном плане — анализу прежде написанных стихов. Но признаки деградации можно было заметить и раньше — в «оттепель» и даже в «расцвет нового интереса к поэзии», как говорила Ахматова в начале 60-х годов. Исподволь демонстрировать их, делать всем заметными, ненавязчиво, но неоспоримо, удавалось в первую очередь ей самой.

«Стара собака стала», — приговаривала она время от времени, отнюдь не жалуясь и констатируя не только физическую тяжесть прожитых лет, но и невозможность не знать то, что она знала. Она вспоминала запись Вяземского, которую он оставил, прочитав «Войну и мир», то есть уже стариком, о днях его юности и молодости. Он писал, что «покойному императору», так он называл Александра I, многое можно поставить в упрек, но одного качества в нем не было и следа — вульгарности: он был безукоризненно воспитан и не мог, как описывает молодой граф Толстой, бросать деньги в народ. Не то чтобы она была на стороне Вяземского: когда я однажды сказал, что согласен с каждым его словом в оценке пушкинского «Клеветникам России», она сердито бросила: «А я нет. Верно или нет, но тот сказал, что хотел, во всеуслышанье, а этот — в своем дневнике, велика заслуга». И не шпилькой Толстому, которого она деланно свирепо ругала «мусорным стариком» за заведомую неправду в изображении Анны Карениной и вообще за жертвенную приверженность идеям, было ее замечание. Но подобные сопоставления выстраивались,

сплошь и рядом без ее желания, в четкие параллели: было — стало. Не брезжание «было лучше, стало хуже», а: было так — стало не так, а кому что больше нравится — дело вкуса. Она рассказала о жене Стравинского Вере, ослепительной красавице, прозванной петербургскими ценителями красоты Бякой: в эмиграции в Париже она открыла шляпную мастерскую; клиентка примеряла перед зеркалом шляпу и если сомневалась, Бяка надевала эту шляпу на себя и говорила: «Ну как?» — после чего та немедленно убеждалась, что шляпа изумительно красива, и платила деньги. «Она была настоящая красавица, — сказала Ахматова, — это такая редкость. Вот эта грузинка, жена нашего славного поэта, вы ее видели, она ведь безукоризненно красива — но пронеси бог мимо такой красоты».

В другой раз она вспомнила передававшуюся из уст в уста в 10-х годах, если не в конце 900-х, столичную историю с известной театральной актрисой, возлюбленной художника Коровина. Он был у нее, когда без предупреждения явилась портниха Ламанова. «А это как если бы сейчас к вам домой приехал сам... — она назвала имя Диора или какого-то другого парижского модного дома, — и даже больше: она была такая одна. Тут уже было не до Коровина. Хозяйка выбежала к ней, что-то на себя накинув, и объяснила это тем, что как раз в ту минуту ее осматривает приехавший с визитом врач. Примерка очень затянулась, Коровину надоело ждать, и он неожиданно вышел в кое-как застегнутой рубашке и с незавязанными шнурками. Актриса находчиво воскликнула: „Доктор, что за шутки!“ И то ли незадолго до, то ли вскоре после этого рассказа Ахматова спросила меня, слышал ли я историю про пудреницу. В конце 50-х — начале 60-х годов московская светская дама, писательница, приходила в гости, предпочитая многолюдные, доставала из сумочки пудреницу, пудрилась и оставляла ее открытой на середине стола. Рассказчики варьировали детали: не оставляла открытой, зато каждую минуту открывала и пудрилась; не на середине стола, а, наоборот, куда-то прятала. В конце концов кто-то обратил на это внимание, заподозрил неладное, как бы случайно сбросил пудреницу на пол — оказалось, что в ней миниатюрный магнитофон. «Так вот, знаете, кто эта дама?» — спросила Ахматова, предвкусная эффект, и произнесла имя одной из своих знакомых, регулярно бывавшей у нее и пусть неискренне, но привечаемой ею. Это было так невероятно, что даже неинтересно, и впоследствии я как бы и помнил и в то же время как бы не знал этого. Интересно было только напрашивающееся сравнение того, что становилось шумной историей тогда и что теперь.

В одну из сравнительно ранних наших встреч я передал ей содержание монолога, который накануне выслушал от общего знакомого. Он утверждал, что уже созданного искусством вполне достаточно для нынешних нужд; что XX век не предložил ничего по-настоящему нового и если в начале он еще снимал пенку с предшествующих, то теперь и этого нет в помине; что в истории такое уже бывало, Рим долгое время пользовался искусством Греции, и множество других известных примеров; что в такой точке зрения нет ничего разрушительного, ибо на смену искусству приходит свободная, вне его рамок жизнь, скажем вопль живой кошки в симфонии конкретной музыки; и что если сейчас еще что-то есть, то это в лучшем случае один-единственный кадр в фильме, одна-единственная строчка в поэме. «И это не снобизм, — сказал я, — вы же знаете: он человек весьма просвещенный, все превосходший...» «Да-да: невзрачный, но очень талантливый, как про таких говорят, — вступила она. — Именно потому, что просвещенный, это и есть снобизм. Помню, в десятых годах один просвещеннейший молодой человек, вернувшись из-за границы, утверждал, что нельзя сказать, что в Лувре совсем уже нечего смотреть: он нашел там одну штучку. Нет, не живопись — скульптура, и даже не скульптура, а кусок скульптуры — из раскопок; словом, бюст без головы, без рук — но какой камень!»

Как будто из бездонного мешка, набитого ее прошлым, она доставала нужные ей или собеседнику факты, эпизоды, фразы, при надобности снабжаемые академически пунктуальным комментарием дат, мест и обстоятельств, а чаще без ссылок на происхождение, оторванно от времени или упоминая о нем приблизительно или намеренно темно. Однажды порознь приглашенные к обеду общей знакомой, мы ехали из разных мест, и я, опоздав на четверть часа, не нашел ничего лучшего как начать в извинение объяснять, что принимал ванну, когда отключили горячую воду, и так далее, что было правдой. Ахматова, уже сядя за столом, смотрела на меня ледяным взглядом и, едва я кончил, процедила сквозь зубы: «Гигиена и нравственность», — лозунг или какое-то название, словом, когда-то замеченный ею штамп времени. В другой же раз, когда я

получил неожиданный гонорар и хотел пригласить в ресторан всю ордынскую компанию, она посоветовала вместо этого купить ведро пива и ведро раков и прямо с двумя ведрами в руках явиться к Ардовым; и когда я так и сделал, купив ведра в хозяйственных магазинах, раков на Сретенке, пиво в Кадашевских банях, и, догрызая последние клешни и дочерпывая со дна остатки пива после еще одной или более ходок в те же бани, все шумно отдала должное замыслу и его осуществлению, Ахматова, с таким же красным и опухшим, как у остальных, лицом, но без их горячности и многословия, произнесла: «Дай Бог на Пасху, как говорил солдат нашей няни».

Что-то отзывалось 10-ми годами, что-то 30-ми. Уходя от нее после одного из первых посещений, я надевал в прихожей пальто, и она помогла мне попасть в рукав — смутившись, я почти выдернул его из ее руки, пробормотал: «Ну что вы!» Она ответила: «Академик Павлов стал подавать пальто уходящему от него аспиранту. Тот тоже вырвал: вы! мне! как можно? Павлов сказал: „Поверьте, молодой человек, у меня нет никаких оснований к вам подольщаться“». И еще, в связи с уходами вообще: «Мандельштам говорил, что самый страшный в мире просчет — это выражение глаз, которое сменяет улыбку на лице хозяина на долю мгновения раньше, чем выходящий за дверь гость перестал на него смотреть». А уже в разговоре о просчетах, действиях не вовремя, о доле мгновения и тому подобном рассказала о таком эпизоде. Когда Гумилев был в Африке, она почти безвыходно сидела дома и лишь однажды заночевала у подруги. В эту ночь он вернулся. Она, приехав наутро и увидев его, заговорила, захваченная врасплох, что надо же такому случиться, первый раз за несколько месяцев спала не дома — и именно сегодня. Кажется, при этом присутствовал ее отец, и не то он, не то муж обронил, когда она замолчала: «Вот так все вы, бабы, и попадаетесь!»

После визита к ней поэта Сосноры рассказала: «Читал стихи про то, кто как поет. Страшные, абсолютно цензурные, будут нравиться. Тайны в них нет. Спросил, знаю ли я, что поют „Сероголазого короля“. Я ответила: „Боже, как устарело! Еще в сорок седьмом пели: „Слава тебе, безысходная боль, отрекся от трона румынский король“».

Любила по ходу разговора сослаться на Мандельштама, привести то или другое его бонмо. Из недатируемых — «Воевать поляки не умеют — но бунтова-ать!..», несколько цинично комментирующее его же стихи «Поляки! я не вижу смысла в безумном подвиге стрелков». Из датируемых — об Абраме Эфросе: когда в Москву приехал Андре Жид, Эфросу предложили или поручили сопровождать знаменитого писателя; вернувшись во Францию, Жид написал о Советском Союзе не то, чего здесь от него ждали, и Эфроса сослали, но «времена были еще вегетарианские», он легко отделался, попал в Ростов Великий, сравнительно недалеко, на что Мандельштам сказал: «Это не Ростов — великий, это Абрам — великий».

Когда в журнале «Юность» намечалась публикация нескольких моих стихотворений и число их по мере продвижения по редакционным инстанциям на каждом этапе уменьшалось вдвое-втрое, дошло до одного, но и оно было в последнюю минуту выброшено, она сказала: «Я все это проходила с Мандельштамом. Дайте пятнадцать, чтобы было из чего выбрать восемь. Из восьми в трех главный нашел аллюзии, два несвоевременных, три печатаем. Вернее, не три, а два, из-за недостатка места. И на всякий случай принести еще что-нибудь на замену... Это единственное иногда прорывалось». Когда ее стихи напечатали в «Литературной России», или в «Литературе и жизни», как она прежде называлась, то «передовая интеллигенция» в придаточных предложениях давала ей понять, что напрасно она согласилась на публикацию в этой *реакционной* по сравнению с «Литературной» газете и тем сыграла на руку противникам прогресса. Она раздраженно сказала после одного такого разговора: «Не печатают везде одинаково. Зачем я буду выскидывать микроскопическую разницу, когда печатают?»

Ее не обманывало внешнее сходство: «Когда начался нэп, все стало выглядеть, как раньше, — рестораны, лихачи, красотки в мехах и бриллиантах. Но все это было «как»: притворялось прежним, подделывалось. Прежнее ушло бесповоротно, дух, люди, — новые только подражали им. Разница была такая же, как между обэриутами и нами».

«Почему все так сокрушаются о судьбе МХАТа! Я не согласна, — говорила она, когда этот театр как театр, тем более как МХАТ, умирал. — У чего было начало, должен быть конец. Это же не «Комеди Франсез» или наш Малый — сто лет играет Островского и еще сто будет играть... Открытие Станиславского заключалось в том,

что он объяснил, как надо ставить Чехова. Он понял, что это драматургия новая и ей нужен театр с новыми интонациями и со всеми этими знаменитыми паузами. И после грандиозного провала в Александринке он заставил публику валом валить к нему на «Чайку». Я помню, что не побывать в Художественном считалось в то время дурным тоном, и учителя и врачи из провинции специально приезжали в Москву, чтобы его увидеть. И впоследствии все, что было похоже или могло быть похоже на Чехова, стало новилосось удачей театра, а все остальное неудачей. А война мышей и лягушек разыгралась оттого, что одни считали систему Станиславского чем-то вроде безотказной чудотворной иконы, а другие не могли им этого простить. И все. Тогда было начало, теперь — конец».

Она дождалась конца множества возникших при ней и с ней начал. Рассказ о событиях 50-х годов мог вызвать эхо 20-х. «Когда Роман Якобсон прибыл в Москву в первый раз после смерти Сталина, он был уже мировой величиной, крупнейшим славистом. На аэродроме у самолетного трапа его встречала Академия наук, все очень торжественно. Вдруг сквозь ограждения прорвалась Лиля Брик и с криком: «Рома, не выдавай!» — побежала ему навстречу...» После паузы с легким мстительным смешком: «Но Рома выдал». Имелась в виду все эти годы скрывавшаяся Бриками парижская любовь Маяковского и его стихи Татьяна Яковлевой.

Создавалось впечатление, что *in my beginning is my end* («в моем начале мой конец») — это не только вечная тень, отбрасываемая смертью на рождение, и не только корни будущего, прячущиеся в вызывающе не похожем на него настоящем, но что конец — это обязательная пара к началу, что начало без конца недействительно. Ее жизнь казалась более длинной, чем у любой другой женщины, родившейся и умершей в одно с ней время, потому, разумеется, что она была так насыщена событиями, потому, что не просто включила в себя, а выразила собой несколько исторических эпох, но и потому, что она словно бы тормозила, затягивалась до завершения еще одного и еще одного растянувшегося на десятилетия эпизода, до еще одного подтверждения догадки или наблюдения. До конца каждого из ее начал и тем самым до Конца ее Начала, до полного совершения судьбы. До того, чтобы про все происходящее она могла сказать: это как *то-то*, — причем сказать таким образом, чтобы «это как *то-то*» стало единственной истинной метафорой происходящего. Не сравнением вещей по сходству или контрасту их признаков, не произвольным сопоставлением, а необходимым и естественным соединением конца с началом и потому — бесспорной правдой бесспорной реальности.

За два месяца до смерти, уже в больнице, она прочла тоненькую книжку стихов Алисы Мейнелл, родившейся за несколько лет до Ахматовой и умершей в 1922 году. Из нее она выбрала строчки для эпиграфа к своим стихам:

...none dare
Hope for a part in they despair

(«...никто не смеет надеяться на долю в твоём отчаянии»). Они остались без употребления, но однажды перед стихами Ахматовой уже стояли похожие слова: «Не теряйте Вашего отчаяния» (фраза Пунина — не то из письма к ней, не то из разговора).

Даже если конкретное «это как *то-то*» оказывалось ошибочным, оно не отменяло верности самого принципа и общей правоты. Во времена газетных статей о фанатической преданности китайцев Мао Цзэдуна она сказала: «Китайцы предаются какой-то одной идее на десять тысяч лет. Я знаю — мне самый главный китаист объяснял. Десять тысяч лет они верят Конфуцию, потом — как рукой снимает, появляется что-нибудь новое — и опять на десять тысяч лет». Кроме В. М. Алексеева, самым главным китаистом быть было некому, а он вряд ли объяснял дело именно так. Поэта Семена Липкина, известного в ту пору как переводчик главным образом восточной поэзии, она называла «мудрец Китая», и похоже, что это сочетание было получено из того же несерьезного источника, что и «десять тысяч лет». Любви китайцев к Мао на столько лет не хватало, но убедительности и — против очевидности — впечатления, что это правда, или по крайней мере должно быть правдой, больше было в ахматовской сказочке о китайцах, чем в последовавшей вскоре перемене их идей.

Октябрьским днем 1964 года мы ехали в такси по Кировскому мосту. Небо над Невой было сплошь в низких тучах с расплывающимися краями, но внезапно за зданием Биржи стал стремительно разгораться, вытягиваясь вертикально, световой столб, красноватый, а при желании что-то за ним увидеть и страшноватый. Потом в верхней

его части возникло подобие поперечины, потом тучи в этом месте окончательно разошлись, блеснуло солнце, и видение пропало. Назавтра мы узнали, что в этот день был смещен Хрущев. Ахматова прокомментировала: «Это Лермонтов. В его годовщины всегда что-то жуткое случается. В столетие рождения, в четырнадцатом году, первая мировая, в столетие смерти, в сорок первом, Великая Отечественная. Сто пятьдесят лет — дата так себе, ну и событие поуже. Но все-таки — с небесным значением...» Она говорила о себе: «Я хрущевка», — из-за освобождения сталинских зеков и официального разоблачения террора. А наша поездка в такси каким-то своим боком в минуту упоминания о Лермонтове наложилась на ее поездку полвека назад на извозчишке, «таком старом, что мог еще Лермонтова возить». И эти ахматовские пятьдесят, и извозчицкие почти сто, и лермонтовские сто пятьдесят, и ее такое личное, нежное к поэту отношение — как товарки по цеху, как старшей сестры, как бабки Арсеньевой — так переплелись, что таинственным образом растянули ее собственную жизнь чуть не вдвое, одновременно переведа и хрущевское падение из ряда сиюминутных происшествий в ряд динамических событий вообще — декабрьского и других восстаний, дворцовых переворотов и прочего. «Про Лермонтова можно сказать «мой любимый поэт», сколько угодно, — заметила она однажды. — А про Пушкина — это все равно что «кончаю письмо, а в окно смотрит Юпитер, любимая планета моего мужа», как догадалась написать Раневской Щепкина-Куперник».

Контекст ее биографии переделывал «под себя» все попадавшее в ее орбиту, даже явления периферийные, даже чуждые ей. «В Ташкенте, — рассказывала она, — надо мной поселились бежавшие в свое время от Гитлера антифашисты. Они так ругались между собой и дрались, что я думала: если такие антифашисты, то какие — фашисты?!» За символом, зверем, бранным словом «фашист» в ее реплике вдруг проглядывал еще муссолиниевский балбес в раннем романтическом ореоле. Так же «по-ахматовски» звучала ее характеристика неподлинных, псевдозначительных людей, книг, мыслей — «надувное-набивное», — взятая из канцелярского перечня ассортимента товаров: «игрушка надувная-набивная». Равно как и газетное «народные чаянья» — в применении к желаемому, выдававшемуся за действительное.

Когда мы бывали в чем-то не согласны и каждый настаивал на своем, особенно если речь шла о практических делах, она нередко произносила с напускным апломбом: «Кто мать Зои Космодемьянской, вы или я?» Услышав в первый раз, я спросил, откуда это. Она сказала, что когда после войны в Сталинграде выбирали место для строительства нового тракторного завода взамен разрушенного, то в комиссию среди представителей общественности входила мать Зои Космодемьянской; неожиданно для всех она заявила, что строить надо не там, где выбрали специалисты, а вот здесь, и когда ее попытались вежливо урезонить, задала этот риторический антично-убийственный вопрос: «Кто мать Зои Космодемьянской, вы или я?»

Она делала чужое своим с такой легкостью, как если бы принимала данное ею когда-то взаймы, и если вникнуть в этот процесс поглубже, так оно и было. Вернувшись из поездки к Бродскому, я рассказал ей, как уютно было по вечерам, затопив печь, слушать радио, исподпено заполнявшее вологодскую тьму за окном призраками Парижа, Ленинграда, Лондона. И как, слушая рассказ об обеде, устроенном в честь Пристли каким-то обществом или клубом, мы оба были взволнованы пронзительным концом ответной речи писателя, где он цитировал слова Эдгара из «Короля Лира» о невластности человека над выбором мига появления на свет и ухода из него, завершающиеся знаменитым: «Ripeness is all!» («Готовность — все!»). Бродский позднее взял эпитафю к своей книге весь эдгаровский пассаж целиком, а Ахматова сразу после моих слов записала в дневнике: «K. L. — is all», — как бы между прочим. Около того времени она встретилась с ленинградской писательницей, в годы войны бывшей чуть ли не простым матросом на Балтийском или Северном флоте, а теперь ради справедливости активно отбивавшей «этого молокососа Оську» у «этих паразитов». Она настояла на свидании с Ахматовой отчасти из стратегических соображений, отчасти из любопытства, но вышла от нее разочарованной: «Она же недослышит, а нам нужны люди без изъянов». Ахматова, когда я вошел к ней, выглядела, напротив, довольной, гостя ей понравилась, и на мое «ну как?» она ответила одобрительно: «Морская пехота». А вскоре Бродский разом связал и разрешил обе темы, военную и ссыльную, когда, освободившись, приехал в Комарово и немедленно стал копать под Будкой бомбоубежище для Ахматовой. Придя из леса, я застал его уже по плечи в яме, а ее у окна улыбающейся, но немного растерянной: «Он говорит, что на случай атомной бомбардировки». В ее

словах слышался вопрос — я ответил: «У него диплом спеца по противоатомной защите».

В одном из разговоров я сказал, что замечаю, как люди, сдающие одну позицию за другой, возмещают это желанием укрепить внутри себя нечто, что было бы недоступно для остальных и противостояло собственной слабости, и как часто это нечто, если оценивать непредвзято, оказывается просто озлобленностью. Она отозвалась резко: «Ни в коем случае нельзя кормить это чудовище, пусть сдохнет с голоду. Озлобленность дает ужасные результаты, пример — Городецкий». И через некоторое время: «Когда человек живет так долго, как я, у него появляются некие конечные идеи... Добро делать так же трудно, как просто делать зло. Нужно заставлять себя делать добро». «Такая добрая», — говорила она с радостью про первую жену ее брата Виктора, самоотверженную, предупредительную Ханну Вульфовну Горенко, по первому зову приезжавшую из Риги. Даже когда сердилась на нее, в словах сквозило умиление: «Ханна напозволяла».

Назавтра после того, как я принес посвященное ей стихотворение, судя по некоторым знакам, пришедшее по вкусу, она заговорила о нем уже подробно, потом на другую тему и вдруг перебила себя, как бы вспомнив: «Да! Там у вас лишняя стопа в [такой-то] строчке, надо бы исправить». Я сосчитал стопы про себя, затем, уже выйдя от нее, на пальцах, затем дома нарисовал схему — лишней не было. Я сказал ей об этом в следующую встречу. Она не стала слушать: «Лишняя, точно, точно, можете не проверять, не ошиблась. Пятьдесят лет на этом деле сижу». Ее упрямство огорчило меня, и лишь позднее я понял, что это значило: стопа была лишняя не метрически, а музыкально-ритмически, та строка требовала укорочения, перебой, равномерность делала ее расслабленной. Это была еще одна ее правота против правил, правота из наиболее очевидных, не из глубинных. Одна из ее правд в самых разных планах и поэзии и всей жизни, правд, которые она могла утверждать ссылкой на то, что просидела на этом деле пятьдесят лет.

* * *

Среди нескольких десятков портретов Ахматовой альтмановский был на особом счету, хотя тышлеровский и Тырсы ей нравились больше. Может быть, потому, что Альтман писал ее в счастливые дни ее жизни, или сами сеансы проходили в особой интимно-дружеской атмосфере и с ними было связано что-то, что потом приятно вспоминать, или потому, что это был первый «знаменитый» ее портрет. Про Альтмана она рассказывала, что после частых встреч в 10-е годы он пропал почти на тридцать лет, потом вдруг позвонил по телефону: «Анна Андреевна, вы сейчас заняты?» — «Нет». — «Так я зайду?» — «Да». И зашел, как будто так и надо, и мы заговорили непринужденно, словно виделись вчера. А когда он меня писал, в студию иногда поднимался один иностранец, смотрел на картину и говорил: „Это—будет—большой—змязь!“ Она изредка повторяла этот пифийский приговор, но никогда не объясняла значения таинственного слова: я считал его производным от «смех», чем-то вроде ставшим существительным «смеясь», в то же время передающим и грандиозность вещи, события. Фраза оказалась более или менее универсальной, подходила почти ко всему случающемуся вокруг, по крайней мере вокруг Ахматовой. «Это будет большой змязь» — о поездке в Англию за мантией, о суде над Бродским, о намерении перелицевать пальто, о выходе за границей «Реквиема»...

Подобных изречений, средних между каламбуром и пророчеством, было несколько. В одном из писем в больницу она упоминает о болезни, которую я годом раньше «проходил без врача». Это случилось в конце лета, и она, узнав, «командировала» ко мне из Ленинграда Бродского, как вскоре меня к Ольшевской. С ним она передала свое новое стихотворение, его рукой переписанное и ее подписью заверенное, «Тринадцать строчек», которых, однако, как нарочно, оказалось двенадцать, потому что он одну по невнимательности пропустил, а она не заметила. В первом же разговоре об этих стихах я стал возражать против «предстояло»: «И даже я, кому убийцей быть божественного слова предстояло», — потому что если *предстояло*, то я и ты в стихотворении не равноправны, герой находится во власти героини и лишь играет роль участника драмы, а не участвует в ней полноценно. С доводами она соглашалась, но стихи защищала — мягко, главным образом тем, что «зато хорошо получилось». Через год или полтора, после сходного, только более резкого спора об одном четверостишии из «Пролога», она взяла ластик и стерла в тетрадке написанные ка-

рандашом строчки. Но в тот раз она, засмеявшись, сказала: «Вы напомнили мне Колю. Он говорил, что вся моя поэзия — в украинской песенке:

Сама же наливала,
Ой-ей-ей,
Сама же выпивала,
Ой, боже мой!»

И тотчас продолжила: «Зато мы, когда он вернулся из Абиссинии, ему пели: «Где же тебя черти носили? Мы бы тебя дома женили!» Тоже хорошо, хоть и не так точно».

Ее острый слух («собачий», «как у борзой», если использовать ее замечания о других) вылавливал в обыденной беседе, в радиопередаче, в прочитанном ей стихотворении несколько слов, и эти слова, произнесенные Ахматовой, выделенные, обособленные, обретали новый смысл, вид, вес. «„Я сюда проберусь еще тенью“,— выхватила она одну мою строчку.— Годится на эпиграф. И ударение неправильное — хорошая строчка». В другой раз, когда я читал только что переизданного Светония и наткнулся на чудное замечание: «В хулителях у Вергилия не было недостатка», — она отозвалась: «Первоклассный эпиграф». А по поводу самой книги однажды сказала: «Светония, Плутарха, Тацита и далее по списку читать во всяком случае полезно. Что-то остается на всю жизнь. Знаю по себе — кого-то помню с гимназии, кого-то с «великой бессонницы», когда я прочла пропасть книг... «Солдатские цезари» симпатичнее предыдущих — кроме, может быть, Кая Юлия. «Божественному Августу» не прощаю ссылки Овидия. Пусть дело темное — все равно: опять царь погубил поэта». И еще: «Насколько все понятно про Рим, настолько ничего не понятно про Афины», — то есть римская цивилизация — основа и часть вообще европейской, а государство, культура, жизнь Древней Греции не похожи ни на что.

В очередной пушкинский юбилей (кажется, сто двадцать пять лет со дня смерти) в «Литературной газете» была напечатана заметка о том, что, судя по отскоку пули, Дантес, вероятно, стрелялся в кольчуге. «Кто написал?» — в ярости почти рявкнула она. Я сказал, что, кажется, Гессен. «Это Гессен стрелялся бы в кольчуге! — как будто тоже выстрелила она.— Вам известно, как я люблю Дантеса, но он был кавалергард и сын посланника, человек света, ему мысль такая не могла прийти в голову: для того, кто вышел драться, предохраняя себя таким образом, смерть была бы избавлением! А вообще это из типичных юбилейных открытий. Раз в десять — двадцать лет обнаруживают совершенно новые неопровержимые доказательства того, что Пушкина убил Дантес, Моцарта отравил Сальери, «Слово о полку» написано Бояном, но что «Илиаду» и «Одиссею» сочинил не Гомер, а другой старик, тоже слепой».

В один из жарких летних вечеров 1963 года мы поехали в гости к Петровых (Ахматова жила тогда на Орданке). Около полуночи я был послан за такси и пошел, как обычно, к бензозаправке на Беговой, в этот час они туда одно за другим подъезжали на заправку. Сев в машину, я стал показывать дорогу, ехать было два шага, но по извилистым, расходящимся аллеям, к тому же густо заросшим зеленью, и мимо совершенно одинаковых и несимметрично раскиданных по обширному участку домиков. Вскоре стало ясно, что мы заблудились, и тут в открытом темном окне ближайшего дома появилась привлеченная шумом автомобиля могучая женская фигура в ночной рубашке. Я вышел и спросил, где корпус два, она спросила, а кого я ищу. Я назидательно заметил, что не важно кого, ищу корпус два. Она, опершись о подоконник, еще назидательнее возразила, что обществу все важно. В эту минуту из кустов вышли милиционер, мужчина в штатском и женщина, от них пахло вином. Милиционер осведомился, в чем дело, и потребовал у меня «документ». Едва я его вынул, как в штатском не глядя положил мое удостоверение в карман, нырнул в такси на заднее сиденье и оттуда приказал всем ехать в милицию. Я полез отбирать «документ», но милиционер ловко подпихнул меня, втиснулся сам, так что я очутился между ними, женщина села впереди, дверцы захлопнулись. Шофер, которому все это не нравилось, грубо сказал, что никуда не поедет, пока ему не заплатят. Штатский показал свое удостоверение, пригрозил ему карами, и мы медленно тронулись. В тот же миг я увидел корпус два с ярко горящим окном на втором этаже, крикнул: «Стоп!» — и машина остановилась. Милиционер согласился выйти, хотя второй сопротивлялся как мог. Всей компанией мы поднялись по лестнице, я позвонил, Мария Сергеевна открыла дверь, и мы ввалились. Милиционер был смущен, но спросил, указывая на меня: «Вы знаете этого гражданина?» Ахматова сидела за столом почти спиной к двери, она не обернулась, лишь повернула в нашу сторону голову всего на не-

сколько градусов, только чтобы показать, что видит нас, и звучно, разделяя слова, проговорила: «Да. Это наш друг...» — и назвала мое имя, отчество и фамилию. Мне вернули удостоверение, охранники порядка удалились. Мы спустились и поехали. По дороге я рассказал, что случилось, шофер дополнил мой рассказ выразительными характеристиками, например, «шалашовка драная» — о женщине, севшей рядом с ним. Выслушав, Ахматова произнесла строчку из Феофана Прокоповича: «Что, россияне, мы творим?» Я проводил ее до ардовской квартиры и на том же такси поехал к себе. Прощаясь, шофер сказал: «Старая резюмирует точно: как мы, русские, честное слово, друг друга в рот по нотам!» Назавтра я ей это передал, она была довольна, но заметила: «Шалашовка было лучше. Она вот именно шалашовка».

Среди скопленных за жизнь емких словечек, которыми она озаглавливала и покрывала обширные области человеческих проявлений, отношений, самих условий существования, регулярным спросом пользовалось еще одно из записей Вяземского, не то Горбунова — «и ведмедю хорошо». Оно было из тех немногих, произнесение которых она любила сопровождать пересказом всей истории. «Это в городскую усадьбу Шереметевых зимой скачет мужик сказать господам, что выследили и всей деревней обложили медведя. Господа начинают быстро собираться, гонца отправляют на кухню выпить стакан водки. Там его обступает дворня, расспрашивает и рассуждает. «Вон тебе-то хорошо, господа тебя заметили». «Мне-то хорошо», — не протестует тот, разозливший и польщенный общим вниманием. «И господам хорошо, побалууются». «И господам хорошо». — «И мужикам — небось каждому по целковому». — «И мужикам хорошо». «И бабам хорошо — всех угостят, подарки получат», — постепенно заходятся дворовые. «И бабам», — соглашается герой. «И ведмедю хорошо!» «И ведмедю, конечно, хорошо!» — авторитетно подтверждает он».

Она бывала капризна, деспотична, несправедлива к людям, временами вела себя эгоистично и как будто напоказ прибавляла к явлению и понятию «Анна Ахматова» все новые и новые восторги читателей, робость и трепет поклонников, само поклонение как определяющее качество отношения к ней. Вольно и невольно она поддерживала в людях желание видеть перед собой фигуру исключительную, не их ранга, единственную — и нужную им, чтобы воочию убедиться в том, сколь исключительным, какого ранга может быть человек. И пусть то, что она в самом деле была такой фигурой, выглядело — с близкого расстояния — естественной основой и побудителем ее поведения, однако главным и самостоятельным, чуть ли не обособившимся от первопричины казалось поведение.

По прошествии лет и тот и другой план — и существо и поведение — встроились в перспективу, вмещающую в себя большее пространство, но зато и сужающуюся, уменьшающую непосредственное впечатление от вещей. Коллекционирование преклонения и даже одних и тех же комплиментов начинает казаться теперь не проявлением или данью эгоистичности, а скорее, наоборот, постоянно тревожащей памятью о необходимости отдать «жизнь свою за други своя». Истину о том, что ученик не больше своего учителя, она распространяла и на себя. Она знала, что уступает Вячеславу Иванову в образованности, Недоброву — в тонкости, Гумилеву — в уверенности (имена и качества здесь взяты почти наугад), но она превосходила их талантом, а время ставило требование таланта впереди всех прочих. У разных эпох в цене разные вещи, и тут нужда была не в обширных знаниях, философских системах, религиозно-нравственных учениях и т. д., но в первую очередь в таланте, в таланте и в дерзком его проявлении, а у нее был и талант и необходимая смелость. Таким образом, ей выпало и удалось высказаться во всеулышание за тех, от кого она чему-то научилась и кто по той или иной причине не высказался сам, за тех, на чьих черновиках она писала. Это им всем по прихотливо составленному списку: от своих матери и отца, от Ольги Глебовой, от Лозинского до Данте и Гомера, через себя, — собирала она славу.

Однако воспринятые ею от и через живых учителей знания, принципы, критерии в сочетании с ее мощным и гибким умом, а главное, ее здравый смысл, размером и всеохватностью не уступавший таланту, ставили границы той свободе, неожиданности, непредсказуемости, которые неубедительно, но всем понятно зовутся гениальностью. «Он награжден каким-то вечным детством», — сказала она об этом качестве пастернаковского дарования с восхищением и одновременно снисходительно, но без тонкого сарказма: дескать, сколько можно? Его стихи выкипали через края выстроенной по акмеистически вселенной: он вызывающе заявлял, что не разбиравшаяся в Пушкине Гончарова — жена лучшая, чем Щеголев и позднейшие пушкинисты, что Шекспир

долго не мог найти нужного слова и потому затягивал сцены; его безвкусицы вроде «О, ссадины вокруг женских шей» или «Хмелья», которых она ему не прощала, были так же ярки, как его несомненные удачи,— словом, «он ставил себя над искусством», как записала Чуковская ее слова. Она говорила, что у Манделштама «черствые лестницы» («...с черствых лестниц, с площадей... круг Флоренции своей Алигьери пел...») законны, оправданы дантовским «хлебом чужим», а «простоволосая трава» — уже запрещенный прием.

Когда вышла книжечка переводов Рильке, сделанных хорошо ей знакомым и уважаемым ею человеком, она огорченно сказала, что все на месте, а великого поэта не получилось. Мы заговорили о «Реквиеме по одной женщине», в книжку не вошедшем. Я сказал, что это гениальные стихи: там и смерть героини, и она при жизни, и она воскресшая, и поэт, который просит ее не приходите... «Вот это и ужасно,— тотчас ответила Ахматова.— Это обязательное свойство гения... Она после смерти приходит к нему, а он: «Нет, простите, пожалуйста, не надо». Или Толстой в «Отце Сергии» — не замечает, что он заставляет женщину делать. Потом что-то отрубает или не отрубает — как будто мне после того, что было, это нужно. А Толстому важно только то, что там, вдали... А Достоевский! Митя Карамзев ведь настоящий убийца: он так ударяет Григория, что тот лежит с раскрытым черепом. Но гении — потому что они гении — делают так, что никто этого не замечает...» Я сказал, что если оставить лесть в стороне, то Ахматова не гений, а некий антигений... Она выслушала это без удовольствия, буркнула: «Не знаю, не знаю». Я объяснил, что употребил это определение как позитивное, по аналогии, например, с «антипротоном». «Это не означает ничего обидного, тем более дурного...» Она закончила с юмором, примирительно: «А я почти уверена, что означает, но спросить не у кого».

Надо ли говорить, что эти границы ни в самой малой мере не мешали искусству? Они пролегли внутри его, ставили ему внутренние пределы, а ни от чего не ограживали. Она говорила, что у Достоевского, если говорить строго, нет ни одного, собственно, романа, кроме «Преступления и наказания»: в остальных «главные события происходят до начала, где-то в Швейцарии, а тут уже все летит вверж тормашками, читатель задыхается, все ужасно...». И сразу прибавила: «Но вообще у настоящего прозаика — адская кухня. Они успевают написать за свою жизнь в пять раз больше того, что потом входит в полное собрание сочинений. Поэтому я не верю, что можно написать большой роман и после ничего, как Шолохов». (Может быть, к этой реплике ее подтолкнули «Дневники» Кафки, которые она в то время читала; в них под 17 декабря 1910 года запись: «То, что я так много забросил и повычеркивал,— а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году,— тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора, в пять раз больше того, что я вообще когда-либо написал, и уже одной массой своей она прямо из-под пера утаскивает к себе все, что я пишу».) Она объясняла, что пушкинистика в ближайшее время вряд ли добьется сколько-нибудь значительных результатов, потому что пушкинисту, кроме чутья, таланта, трудолюбия и других обязательных для ученого качеств, необходимо еще и хорошее знание французского, английского, истории эпохи, а такое сочетание сейчас редко. Она требовала от писателя образованности Томаса Манна и приводила в пример «Волшебную гору», правда с оговоркой, что рассуждения о времени уступают уровню всей книги, которую она любила, как казалось, специфически лично, может быть, из-за описания быта туберкулезного санатория: я читал ее, лежа в больнице, и она сказала: «А это и есть больничное чтение».

Но при этом она выделяла Хармса-прозаика: «Он был очень талантливый. Ему удавалось то, что почти никому не удается,— так называемая проза двадцатого века: когда описывают, скажем, как герой вышел на улицу и вдруг полетел по воздуху. Ни у кого он не летит, а у Хармса летит». Она говорила: «Фрейд — искусству враг номер один. Искусство светом спасает людей от темноты, которая в них сидит. А фрейдизм ищет объяснения всему низкому и темному на уровне именно низкого и темного, потому-то он так и симпатичен обывателю. Искусство хочет излечить человека, а фрейдизм оставляет его с его болезнью, только загнав ее поглубже. По Фрейду, нет ни очищающих страданий, ни просветления «Карамазовых», а есть лишь несколько довольно гнусных объяснений, почему при таких отношениях между отцом и матерью и таком детстве ничего, кроме случившегося, случиться и не могло. А к чему это?» Она рассказала про письмо одной ее приятельницы другой, Надежде Яковлевне Манделштам, о книге, которую написал Хазин, брат Надежды Яковлевны. «А написал

он роман, кажется, о восьмьсот двенадцатом годе: о чем пишут люди, чтобы не умереть с голоду? И между прочим, в похвалу автору она [приятельница] заметила, что он умеет забалтываться, а это необходимое качество настоящего прозаика. И дальше — я читала своими глазами, потому что Надя хотела меня поссорить с той и показала письмо: «Это знают все и даже Анна Андреевна». Правда, и та меня ссорила с Надей». Она посмеялась, но то, что прозе нужно забалтываться, что прозе нужна избыточность, «ненужная деталь», было для нее азбукой искусства. Может быть, из-за того, что теперь «это знают все», она ставила прозу середины века выше прозы ее молодости, когда блистали перлы вроде «Степь чутко молчала» — чья-то фраза, в свое время попавшая на язык Манделштаму. Ей понравился рассказ Аксенова «Победа», а несколькими годами раньше рассказ Рида Грачева «Подозрение». Но «выше — ниже» был уровень средней прозы — в десятом году еще писал Лев Толстой: «всо-таки», как шутила она.

Больше, чем отзывающуюся произволом свободу и непредсказуемость гениальности, она ценила тайну. «В этих стихах есть тайна» — было первой *настоящей* ее похвалой. Другая: «В этих стихах есть песня», — была в ее устах исключительной редкостью, я слышал такое лишь два раза, о Блоке и о Бродском по поводу «Рождественского романса», но и вообще о его стихах. Однажды Бродский стал с жаром доказывать, что у Блока есть книжки, в которых все стихи плохие. «Это неправда, — спокойно возразила Ахматова, — у Блока, как у всякого поэта, есть стихи плохие, средние и хорошие». А после его ухода сказала, что «в его стихах тоже есть песня» (о Блоке это было сказано прежде), «может быть, потому он так на него и бросается».

Как заметил знаменитый трубач и певец Луи Армстронг, «сперва я думал, что людям нужна песня, но скоро понял, что им нужен спектакль». Что же касается тайны, то уже при жизни Ахматовой тайна стала заменяться намеком, а после ее смерти поэзия намеков сделалась общепринятой и общепризнанной. В 70-е годы поэт намеков имел большую, преданную ему, им самим воспитанную аудиторию, которая прекрасно разбиралась, о каком политическом событии или лице идет речь в стихах, посвященных рыбной ловле: «мальки» означали молодежь, «сети» — цензуру. Это был символизм наоборот, поэзия второй половины XX века.

* * *

Это правда, что мелочи, попадавшие в сферу ее внимания, она наделяла грандиозностью, которая окружающим казалась излишней. Таков был эффект масштаба ее личности, эффект слишком широко растворенного циркуля: в нашем представлении тысяча миллиметров много меньше одной тысячной километра. Когда ей понадобилось подтверждение какого-то факта из истории 10-х годов, она по телефону попросила приехать Ольгу Николаевну Высотскую, в прошлом актрису, сын которой от Гумилева был немного моложе Льва Николаевича. Мы с Борисом Ардовым привезли ее в такси с Полянки на Ордынку. Ахматова сидела величественная, тщательно причесанная, с подкрашенными губами, в красивом платье, окруженная почтительным вниманием, а ее когдатопшня соперница — слабая, старая, словно бы сломленная судьбой. Она подтвердила факт, на мой взгляд, второстепенный, из тех, которые укладываются в ахматовские же стихи «В биографии славной твоей разве можно оставить пробелы?», и Ахматова распорядилась ответить ее домой. Она подтвердила факт — и подтвердила победу Ахматовой. Участок фронта был тоже второстепенный, тут не требовалось артиллерии столь крупного калибра, но другой у нее не было.

Этим в немалой степени объясняются ее так называемые преувеличения и ни из чего не следующие заключения. Чуковская записала в 1940 году слова Владимира Гаршина, ставшего в то время близким другом Ахматовой: «Вы заметили, она всегда берет за основу какой-нибудь факт, весьма сомнительный, и делает из него выводы с железной последовательностью, с неоспоримой логикой?..» О том же вспоминает Исайя Берлин: «Ее суждения о людях и поступках совмещали в себе острое проникновение в нравственный центр характеров и ситуаций... с догматическим упрямством в объяснении мотивов и намерений... что казалось мне, часто не знавшему обстоятельств, неправдоподобным и иногда в самом деле вымышленным... Мне казалось, что Ахматова строила на догматических предпосылках теории и гипотезы, которые она развивала с исключительной последовательностью и ясностью. Ее непоколебимое

убеждение, что наша встреча имела серьезные исторические последствия, было примером таких *idées fixes*. Она также думала, что Сталин дал приказ, чтобы ее медленно отравили, но потом отменил его; что уверенность Манделштама перед смертью, будто пища, которой его кормили в лагере, отравлена, была обоснованной... что Иннокентий Анненский был затравлен врагами до смерти. Эти убеждения не имели действительного очевидного основания — они были интуитивны, но они не были лишены смысла, не были прямыми фантазиями, они были элементами в связной концепции ее собственной и ее народа жизни и судьбы, тех центральных вещей, которые Пастернак хотел обсуждать со Сталиным, были зрением, которое поддерживало и формировало ее воображение и ее искусство. Она не была визионером, у нее было по большей части сильное ощущение реальности». На другую тему, но характеризуя то же ее свойство, писал Недоброво о молодой, только еще начинавшей Ахматовой: «Несчастливая любовь, так проникающая самую сердцевину личности, а в то же время и своею странностью и способностью мгновенно вдруг исчезнуть *внушающая поозрение в выдуманности*, так что мнится, *самогельный* призрак до телесных болей томит живую душу,— эта любовь многое ставит под вопрос для человека, которому доведется ее испытать...»

Словами Гаршина и Берлина можно было бы объяснить многие вещи и события, случившиеся и в последние годы жизни Ахматовой, неожиданные повороты ситуаций и бесед, некоторые письма. Какую-то сторону реальности, стоявшей за «Прологом», «Полночными стихами» и сопутствовавшими им, описывают выделенные мною места из статьи Недоброво. Хотелось бы сказать, что она вела себя *неадекватно*, если бы это не было *линией* ее поведения, построенной, как выяснялось при внимательном взгляде, из множества ответов на происходящее, абсолютно адекватных конкретным эпизодам. *Сомнительное*, если всмотреться в него, состояло из последовательных точностей. Все было почти медицински, почти милицейски точно: несколько крошечных коричневых пятнышек на глазном яблоке, соединенных тончайшей прожилкой в кружок, образовывали «тот ржавый колючий веночек»; по линиям и выпуклостям руки хиромант в самом деле мог прочесть «на ладони те же чудеса».

Эти и менее отчетливые детали действительности она замечала тем обостреннее, что вся жизнь с ранней юности была прожита ею под знаком *emento mori*. Возможно, что ткань ее стихов последнего времени так истончена еще и потому, что смерть приобрела необратимые и неоспоримые черты — старости и болезни.

Еще два письма я получил от нее из Боткинской больницы, куда ее отвезли в ноябре 1965 года с инфарктом. В палате лежали несколько больных, а говорить с ней из-за того, что она недослышивала, надо было громко, поэтому мы в необходимых случаях переписывались на клочках бумаги, но эти два она прислала по почте, когда я уехал в Ленинград.

«2 января 1966.

Толя,

пишу Вам только потому, что Вы так просите и заставляет Маруся, сама же я еще не чувствую себя готовой писать письма.

Вы обо мне все знаете, Иосиф видел, как я хожу, могу немного читать, не все время сплю, начала что-то есть.

Благодарю Вас за письма и телеграммы, последняя даже принесла мне радость.

Москва была мне доброй матерью, здесь все добрые.

Жду лирику Египта.

Всем привет.

Ахматова».

«31 янв 1966

Толя,

забыла Ваш адрес и потому решаюсь беспокоить Асю Давыдовну.

Благодарю Вас за довольно толковую телеграмму.

Вчера у меня был Миша Мейлах с Арсением, но я была еле живая. Это от лекарства, кот. сегодня отменено. Новостей, конечно, никаких нет, кроме одной типа сюрприза. Не будьте любопытным.

Пишу воспоминания о Лозинском, но выходит вяло и чуть-чуть слезливо

Со своей стороны шлю приветы моим милым согражданам.
 Передайте поклон Вашим родителям <...>. Позвоните Нине.

А.».

[На обороте адрес моей матери и обратный: от Ахматовой А. А. Москва, Боткинская больница, корп. 6]

«Арсений» — это Тарковский, Арсений Александрович — поэт, первое признание получивший в 60-е годы, когда ему было уже за пятьдесят и за спиной изувечившая его война и больше четверти века писания стихов. К тому времени он был знаком с Ахматовой уже несколько лет, читал ей стихи разных периодов, и она говорила о нем ласково: «Вот этими руками я тащила Арсения из мандельштамовского костра», то есть помогала ему освободиться от влияния Мандельштама.

Когда ей стало лучше и дело пошло к выписке, я несколько раз приходил в больницу, по пути забегая на ипподром, который был рядом. Однажды, войдя с мороза и подозревая, что запах коньяка, проглоченного только что в буфете для согрева, может быть ею уловлен, я решил предупредить необходимое объяснение малоизобретательной риторикой: «Вам никогда не догадаться, откуда я сюда пришел». Ее вид показывал, что ей это и неинтересно. Я сказал: «С ипподрома!» Она ответила безразличным тоном: «Я только это про вас и слышу». И едва заметной отмашкой ладони дав понять, что и объяснение и его неуклюжесть позади, заговорила о более существенном — моя игра на бегах была развлечением, возможно, слабым, но не пороком и уж во всяком случае не идеей. Прочтя у Бродского в любовных стихах: «Мы будем в карты воевать с тобой», — она поморщилась и высказалась неодобрительно.

«Бег времени» только что вышел, она надписывала по несколько экземпляров в день. В книжку не попало изрядное количество центральных стихотворений, были выброшены многие, напечатать которые еще теплилась надежда, привкус горечи явно ощущался в словах благодарности, которыми она отвечала на комплименты. Зная наверное, что когда-то стихи опубликуют, она хотела сделать это сейчас, при жизни, пока они сами еще живые и дикие, «с рогами, копытами и хвостом», а не в виде священной, а главное — съедобной коровы, вылепленной из фарша, который будет пропущен публикатором через мясорубку своего времени.

Медсестры, санитарки, соседки по отделению, брошенные или бросаемые мужьями и возлюбленными, шли к ней как к «специалистке по женской любви» и говорили бедные слова, которым она, у них подслушав, их отчасти научила. Каждая говорила то же, что и другая, то же, что и Ахматова, только не так ясно и точно. Она была «специалисткой по любви», потому что любовь была ее поэзия: «Одной надеждой меньше стало — одною песней больше будет». Женская любовь была не какой-то особой, присущей женскому существу, а более острой, глубокой, полной — лучшей любовью, как о том свидетельствовал еще Тирезий. «Научно доказано, что мужчины — низшая раса», — приговаривала она. Или: «Овцу, если вдуматься, тоже жалко: у них на всех один муж и тот — баран». Она жалела всех приходивших к ее постели и «оказывала им первую помощь» и посмеивалась над ними и над собою, повторяя услышанную мной и сразу ею взятую на вооружение фразу: «Я не ревную, мне просто противно». Она жалела и утешала всех женщин вообще. Ее раздражало ее раннее стихотворение «Я не любви твоей прошу» («Им, этим дурочкам, нужней сознание полное победы, чем дружбы светлые беседы и память первых нежных дней»). «Почему дурочкам? — возмущалась она. — Если он предпочел другую, так уж она сразу и дура?» Потому же ей претила цветаевская «Попытка ревности» («Как живется вам с тухлою?», «Как живется вам с стотысячной?») — «тон рыночной торговли».

В середине февраля, кажется, 19-го, ее выписали, на начало марта были добыты путевки в санаторий — для нее и Ольшевской. Эти десять — двенадцать дней на Ордынке ей становилось то лучше, то хуже, вызывали неотложку, делали уколы, бегали за кислородными подушками.

5 марта я с букетиком нарциссов отправился в Домодедово — 3-го, прощаясь, мы условились, что я приеду переписать набело перед сдачей в журнал воспоминания о Лозинском, которые вчера были уже готовы и требовали лишь незначительных доделок и компоновки. Стоял предвесенний солнечный полдень, потом небо стало затягиваться серой пеленой — впоследствии я наблюдал, что так часто бывает в этот и соседние мартовские дни. Встретившая меня в вестибюле женщина в белом халате

пошла со мной по коридору, говоря что-то тревожное, но смысла я не понимал. Когда мы вошли в палату, там лежала в постели, трудно дыша — как выяснилось, после успокоительной инъекции, — Нина Антоновна; возле нее стояла заплаканная Аня Каминская, только что приехавшая. Женщина в халате закрыла за мной дверь и сказала, что два часа назад Ахматова умерла. Она лежала в соседней палате, с головой укрытая простыней; лоб, когда я его поцеловал, был уже совсем холодный.

Празднование женского дня 8 Марта отодвинуло похороны на несколько дней. Что она умерла в день смерти Сталина, вспомнили позднее. 9 марта была гражданская панихида в морге Института Склифосовского, потом гроб запаляли и самолетом отправили в Ленинград. После отпевания и многочасового прощания с телом в Никольском соборе и гражданской панихиды в Союзе писателей 10-го во второй половине дня ее похоронили на кладбище в Комарове.

Среди подаренных мне ею книжек две связывают надписи. На «Anno Domini MCMXXI»: «Анатолию Найману в начале его пути, Анна Ахматова, 23 апреля 1963, Ленинград». И ровно через два года на аполоновском оттиске «Поэмы у самого моря»: «Анатолию Найману — а теперь мое начало у Хрустальной бухты. А. 23 апреля 1965, Ленинград». Она принесла с собой «свое время» — и унесла его; в нынешнем ей живой места не нашлось бы — «ведь тех, кто умер, мы бы не узнали». Буква «А» в последней надписи, строчная в размер прописной, перечеркнута легким горизонтальным штрихом.

1986—1987.

В первом номере нашего журнала за этот год на стр. 176 опечатка; четверостишие Ахматовой следует читать:

И вовсе я не пророчица,
Жизнь моя светла, как ручей,
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.

НАДЕЖДА КОНДАКОВА



КУНСТКАМЕРЫ



Музыканты сфер небесных, выше!
Не ворона и не воробей,
Я не слышу музыки, не слышу,
Я ее не слышу, хоть убей.

Помню немца пленного в вагоне,
И, фальшивя, за его спиной
На послевоенном перегоне
Мир рыдал гармоникой губной.

Помню, как, с травой спутав косы,
Перед расставаньем целовал,
И смычок надломленной березы
От непониманья завывал.

А теперь и скрипки бесполезны —
Даже замедляя звездный ход,
Я не слышу, это дышит бездна
Или Варя Панина поет.

И почти над пропастью, у края,
Я не понимаю, почему
Музыканты все-таки играют
То, что не доступно никому.

Мед

словно синяя мушка внутри янтаря
ты в прозрачные дни заточен был не зря
и от мыслей прозрачных еще не отвык
твой живой непорочный барочный язык

там на рынке стоят крепкогубые кринки
и девчонка в дешевой заморской косынке
льет в прозрачный сосуд опрозраченный мед
и налет и губами с мизинца слизнет

там в прозрачной пылице и распавшейся пыли
словно тени прозрачные автомобили
там у девочки бледной прозрачные банты
там тебе вместо сердца вживили куранты

и поэтому если на солнце смотреть
можно вовремя вплоть до секунд умереть

Рембрандт

на «Данае» мне зренье открылось двойное
я увидела в срезе растенья иное
и не женщину даже и не паранойю
а гнездовье что ласточка лепит слюною

оттоптав у пространства закут для обиды
я смотала тиранство выдавшее виды
как клубок шерстяной уворованной пряжи
на лубок что прославит родные пейзажи

треугольник коленок в метро у соседа
я укрыла пуховою тенью от пледа
и растенью открывшему мне обновление
я посмертно вернула умершее зренье

чтобы сыт капилляр был не кровью венозной
чтобы быт оперял не фонарь кариозный
а свет из надмирной лампы циклопа
как до Евангеля и до Потопа.

Кунсткамеры

как на булавку букашку и бабочку и скарабея
век надевает идеи ничуть не робея
за руки взявшись проходим кунсткамеры эти
непроходимые непобедимые сети
дети героев безумцев безусые дети
в свете презумпций в почти отвратительном свете
в нетях в запрете в полете в кошмарном ответе
в первой ли трети в последней ли трети в подклети
в темной холодной подклети почти что в подвале
нас на допрос перед совестью не вызывали
нас не водили в походы и марши и гимны
наши погоды и всходы увы не взаимны
как на булавку букашку и бабочку и скарабея
из-под прилавка из главка и по лотерее
мы получали идеи и тайной владея
их надевали как бабочку и скарабея
этот паноптикум эти базарные виды
нас не смущали смещеньем беды и обиды
вечности нет а у времени вроде поминки
ветра-афганца сухие слепящие снимки
слепки прозрений презрений глухих негативы
при фотовспышках они выходили на диво
эти пенаты и эти шестые палаты
эти до рвоты знакомые всем экспонаты
платы не надо за лестное честное слово
присно и пресно и все же безвестно и ново
века родного в огне проросли метастазы
этой аскезы и этой снотворной заразы

АНДРЕЙ ВОЛОС



ЛАВАШ

Рассказ

Билетов не было.

Помаячив на перроне, Черевин подошел снова.

— Ну дай билет, дай! — сказал он, глядя исподлобья. — Дай билет! Ну позарез надо!

Билет стоил ровно десятку, но в пальцах Черевин сжимал двенадцать рублей. Он просунул ладонь в окошечко так, чтобы кассирша видела: не десять здесь, двенадцать!

— Нет билетов, — повторила кассирша. Она не поднимала головы от какой-то ведомости и быстро чиркала в ней карандашиком.

— Очень надо, — повторил Черевин. — Дай. — Он переступил с ноги на ногу.

— Билетов нет, — ответила она. Черевин услышал, как в горле у нее что-то хрупнуло, словно порвалась какая-то пленочка. Она прокашлялась. — Через час подойдите.

— Через час? — переспросил он так, словно не знал, что через час поступят сведения о ереванском, который к этому времени подползет к Адлеру.

— Через час, да.

— Дала бы ты мне билет, а? — сказал Черевин, не убирая денег.

— Да вы что, в конце концов! — возмутилась кассирша, вскинув голову. — Отойдите, нет билетов! Я же сказала: через час!

Черевин выдернул ладонь из окошка и, схватившись обеими руками за хлипкий подоконничек, прильнув к стеклу бешеным глазом, забормотал угрожающе:

— А, мало тебе! Мало вам всем! Конечно, я сотню кинуть не могу! Я тут жить должен! Мне билета нет!

Он дергал подоконник. Тряслась вся будка.

— Прекрати! — крикнула кассирша. — Милиция!

— У, сволочь! — буркнул Черевин, отходя от кассы в темноту перрона.

Ночь висела над ним черным пологом. Здесь, где фонари не слепили глаза и рельсы не сверкали, а только матово поблескивали, над головой были видны звезды. Их было много. Черевин смотрел на них, задрав голову. Он качался с носка на пятку.

— Сволочь, — повторил он устало, — мне как будто ехать не надо.

Он медленно дошел до конца перрона. Перрон был низким. Черевин ступил на гравий и сделал еще несколько шагов. Гравий хрустел. Он нагнулся, выискал среди пыльных камней покрупнее и почти минуту играл им на ладони, представляя, что будет, если засветить кассирше в лоб. Размахнулся, запустил камень в темноту. От нечего делать он покопал гравий носком узконосой туфли. Потом взобрался на перрон и пошел назад, туда, где на скамейках вокруг билетного киоска люди клевали носами возле своих чемоданов.

Пахло хлебом.

На скамье рядом с человеком лежал плоский кругляк свежего лаваша. Черевин даже в этой полутьме видел, какой он тонкий в середи-

не, как плавно сначала, а потом все резче утолщается к краям. Запах наплывал волнами, и когда он шел мимо лаваша в одну сторону, пахло сильнее, а когда в другую — запах почти пропадал.

Черевин сплонул, развернулся, пошел назад и, проходя мимо, на этот раз решительно сбил шаг и сел на скамью. Сев, он стал смотреть прямо перед собой, тихо мурлыча что-то под нос.

Лаваш лежал между ними.

Человек поднял низко согнутую дремой голову и посмотрел на Черевина. Боковым зрением Черевин видел, что тот все смотрит и смотрит, никак не отвернется. Тогда он сам повернул голову, и они встретились глазами.

У человека на скамье взгляд был такой спокойный, словно все на свете было известно ему наперед. Черевину показалось, будто что-то сжалось у него в животе, в первый момент он принял этого человека за того, с которым схлестнулся вчера спьяну в городском парке. Вот и глаза точно такие же. Черевин было надел на него поначалу, напер, но потом отступил на виду у всех, и до сих пор позор этого отступления жег ему грудь. Слишком спокойные были глаза. А побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто спокойнее.

Человек отвернулся, почесал щеку. Потащил из кармана сигареты. Нос у него был кривой.

— Билетов нет, — сказал осторожно Черевин.

Тот покосился, кивнул. Потом чиркнул спичкой, и оба они ослепли на несколько секунд.

— Я ей говорю, — заторопился вдруг Черевин, — дай мне билет. Позарез мне ехать надо, говорю.

Он смотрел на лаваш, белеющий во тьме, словно упавшая с неба луна.

— Кушай, пожалуйста, — сказал человек, медленно поворачивая к нему голову. — Пожалуйста. Кушай.

— Нет, нет, — сказал Черевин, замотав головой из стороны в сторону. — Нет, я не хочу. Я ел недавно. Я хлеба не ем. Лаваш — это же ваш хлеб, да?

— Хлэб, да, — сказал кривоносый. — Кушай.

— А она говорит: через час. Я знаю. Тут ведь как. Тут у кого деньги есть — тот король. Я ей сотню не могу кинуть. Через час! Я уже два поезда пропустил.

— Крушение, — сказал кривоносый, — авария. Билетов нет. Ты кушай, кушай.

— Нет, не хочу, — сказал Черевин, глотая слюну. — Крушение, да. Я к ней и так и этак. Дай, говорю, билет. Не дает. А как мне быть? Знаешь, продай мне половину, а? — сказал он. — Продай! Я тебе сейчас заплачу! — Черевин привстал и, сунув руку в карман, стал шарить там, звеня мелочью и приговаривая: — Сейчас! У меня же есть деньги. Если бы у меня денег не было... Сейчас!..

Кривоносый смотрел на него спокойно, огонек сигареты был ярко-красным. Когда наконец выгудил Черевин из кармана несколько блеснувших ртутью монеток, протягиваемых на ладони, он сказал медленно:

— Не продается.

И отвернулся.

Черевин помолчал, сжав монеты в кулаке и не зная, что делать с кулаком, потом сказал просительно:

— Ну продай, что ты... Тебе же много. А я есть хочу. И взять негде. Продай.

Издалека послышался гудок, и вдруг по товарному составу, стоявшему на дальних путях, побежал удар, перескакивая со звоном и гулом от буфера к буферу, от вагона к вагону. Он дробно прокатился от самого тепловоза, боднувшего крайний вагон своей упрямой железной головой, до самого последнего вагона, дернувшегося, чтобы пе-

передать движение соседу, но не сумевшего его передать, потому что соседа не было. Тепловоз уперся колесами в рельсы покруче и повел в другую сторону, и снова рывком, опять побежал стук, словно не вагоны, а люди подставляли друг другу железные ладоши. Тихо, а потом все быстрее вагоны покатались друг за другом по своему железному пути. Скоро все затихло. Только вдалеке, казалось, кто-то позванивает по рельсам молоточком.

— Ну можно, я оторву, что ли?.. — сказал Черевин.

— Кушай, пожалуйста, — отозвался кривоносый, — кушай.

Черевин помедлил, потом протянул к лавашу обе руки и стал тянуть его теплую влажную плоть в разные стороны, чувствуя, как она поддается, как тянется, как начинает рваться. Он откусил от краюхи и стал медленно жевать, чтобы душистый хлебный сок постепенно стекал в горло.

— Я не люблю так, — сказал он с набитым ртом и откусывая еще, — я люблю, когда все ясно.

Кривоносый хмыкнул неопределенно.

— Я люблю, когда без одолжений, — упрямо сказал Черевин. — Зачем эти одолжения? Я не люблю.

Он снова откусил и, несколько раз яростно жевнув, откусил еще раз.

— Зачем они? — спросил он. — Зачем? Чтобы сделаться должным? Я не люблю быть в долгу. Зачем, если можно купить? Верно?

Кривоносый молчал.

— Вот ты мне дал хлеба, верно? — говорил Черевин. — Теперь я тебе должен что-нибудь дать. А если у меня ничего нет? Тогда как? Лучше бы ты взял у меня деньги. Я же не знаю, что ты у меня попросишь теперь. — Черевин говорил эти слова, чувствуя, что с каждым из них, безвозвратно вылетающих в пространство из набитого хлебом рта и так же безвозвратно меняющих мир в худшую сторону, ядовитый зуд мщениия не утихает, как должен был бы, а, напротив, становится все сильнее. — Почему я должен быть должным? — шипло спрашивал Черевин, откусывая еще и еще от задыхающей в кулаке мякоти. — Почему? Что, без этого нельзя, что ли? Обязательно все друг другу должны быть что-то должны?

Кривоносый внимательно на него смотрел — не моргая, не щурясь. Черевин задохнулся. Он почувствовал, что говорит правильно, в нужном направлении, что главное — не менять тона и тогда еще несколько слов, десятков от силы, и он его ударит, этот кривоносый. И уж тогда у Черевина будут все основания впиться ему в горло так, как впивается он сейчас в его хлеб.

— Верно? — спрашивал Черевин, глядя ему в глаза. — Верно? Ведь кабы я знал, что ты у меня потом попросишь, то это одно. А я не знаю. Верно? Чем же мой долг измерить? Ничем. Нечем. Кроме денег. Вот я и говорил: возьми деньги. Помнишь? — Черевин сделал легкое движение к нему, чуть придвигааясь и как бы подставляя щеку. — Нет, ты помнишь? — сказал он, чувствуя легкое замирание души: вот оно, сейчас. — Так я и говорю: взял бы ты деньги.

И, расширив глаза, чтобы не зажмуриться ненароком, он протянул на плоской ладони все это время сжимаемые в кулаке монеты.

Они блеснули, отразив не то фонарный, не то звездный свет. Их было три — круглых и блестящих. Ладонь подрагивала. Черевин распрямлял ее изо всех сил — так, что пальцы загнулись в другую сторону. Остервенение, испытываемое им, было похоже на легкий хмель. Что-то позванивало в ушах, и толчками гуляла по всему телу кровь. Если бы оставалось хоть немного времени, он бы еще кое-что ему сказал. Ему было что сказать. Подарочки? Одолжения? Протянуть кусок хлеба не глядя все равно что отмахнуться. Отмахнуться, не заметив, не посмотрев в лицо, не узнав того, что есть на свете такой человек — Черевин. Не надо одолжений. Надо взглянуть. Остановить-

ся. Запнуться об него. Вот он — Черевин. Нет, мимо не пройдешь. Не пройдешь. Вот оно, сейчас.

— Не надо,— мягко сказал кривоносый и обеими своими широкими и костистыми ладонями плавным теплым движением обнял ладонь Черевина так, что она сама собой медленно закрылась, спрятав в черноте своей блестящие только что монеты.

— Ах ты! — только и успел сказать Черевин, резко выдергивая руку; почувствовав, что начинает задыхаться, он резко вздохнул, желая распрямить грудь и наполнить ее порцией свежего воздуха; но действие это привело к обратному результату: толика хлебных крошек и полупрожеванной мякоти забила горло, и Черевин согнулся, силло и жестко кашляя. Он поворачивал голову, чуть разгибаясь, и видел, что кривоносый стоит возле, говоря что-то на непонятном ему языке куда-то в сторону кассы. Потом он взял сумку и пошел. Черевин захрипел и хотел было броситься за ним, но приступ кашля снова повалил его на скамью.— Сволочь!..— удавалось ему сказать время от времени.

В конце концов перхота прошла и он смог выпрямиться, откинувшись на спинку. Стал высматривать кривоносого, но так и не высмотрел. Возле кассы стояли несколько человек — должно быть, время подходило к урочному часу.

Лаваш лежал рядом. Сейчас он был похож на расколовшуюся луну с изъяном в том месте, откуда отрывал Черевин. Он не лах уже так одурающе, как раньше. Может быть, потому, что Черевин уже не так хотел есть. Он смотрел на лепешку и не знал, что с ней сделать — просто швырнуть в темноту или бросить под ноги и топтать. Он оглянулся еще, покрутил головой, ища кривоносого, чтобы проделать это у него на глазах. Кривоносого не было. Черевин протянул руку, взял лаваш, потом сложил его пополам и сунул под мышку. К кассе он подошел вовремя — ему удалось убедить усатого старика, что в прошлой очереди он стоял как раз перед ним. Ему достался третий по счету билет. Черевин молча его взял в обмен на десятку.

— Еще два рубля! — сказала кассирша.— Плацкартных нет. Купе.

— Мне купе не надо,— сказал Черевин,— плацкартный мне.

Но сзади наперли нетерпеливо, и он сунул в окно последние два рубля. Оставалась теперь только та мелочь, что он хотел отдать кривоносому.

Поезд появился из темноты, предваряемый широким полотном белого электрического света. Рельсы вспыхнули. Кучи гравия по сторонам пути побелели и зашатались. Ключья бумаги и мятые стаканчики от мороженого тоже отбросили свои тени. Снова стало темно, пахнуло гарью, покатались друг за другом вагоны.

С лавашем под мышкой Черевин трусцой бежал по перрону. Вагон катился все медленнее. Проводница уже открывала дверь. Вот она распахнула ее.

— Восьмой? — крикнул Черевин.

Она кивнула.

Поезд встал, залязгав, проводница откинула стальной полки.

— Что, без вещей? — спросила она ворчливо, рассматривая билет.

— А что? — спросил он.

— Да ничего...— буркнула она,— как с пожарища... Проходи.

Черевин пожал плечами и прошел было, но потом вернулся и сказал мстительно ей в спину:

— А что, обязательно вещи должны быть? А я вот без вещей! Нет у меня вещей! Лаваш вот у меня есть! А?

Проводница повернулась и тяжело посмотрела на него. Лицо у нее было помятое и толстое. Должно быть, ей хотелось спать. Ей было лет пятьдесят. От форменной тужурки исходил форменный же запах вокзала.

— Не обязательно...— снова буркнула она,— проходи, проходи.

По перрону бежали.

Черевин вошел в купе, резко грохотнув дверью. В купе никого не было. Он сел к окну. Лаваш был положен им на столик.

Поезд стоял тихо, молча. Кругом спали, должно быть. Шаги в коридоре бухали так, словно кто-то специально стучал каблуками. Дверь распахнулась. Черевин приветливо кивнул.

— Вместе поедим? — сказал он.

Давешний старик сел к окну, принялся поглаживать усы, его сын — рядом с ним.

— Кушать не хотите? — осведомился Черевин. — Кушайте, пожалуйста.

Старик серьезно кивнул и отщипнул крошечный кусочек. Он осторожно положил его в рот и мелко пожевал.

— Кушайте, кушайте, — повторил Черевин, улыбаясь.

Сын тоже протянул руку и тоже отщипнул.

Поезд едва заметно качнулся. Что-то заскрипело в его негибких сочленениях. Дверь поехала, ударилась, загремев, в купе шагнул кривоносый и, механически поздоровавшись, уперся затем взглядом в лицо Черевина. Черевин отвернулся и стал смотреть в черное стекло. Там рождались и гасли огни фонарей и окон, фары машин редкими двуглазыми тарачились у мелькнувшего переезда.

Сын старика вышел и скоро вернулся с бельем. Простыни, когда он стал расправлять их по матрасу, распространили запах влаги и мыла. Проводница сидела у себя в купе, сложив руки на подоле черной мятой юбки. Черевин встал в дверях и завис внутрь, не переступая порога.

— Белье брать будете? — привычно молвила она и, не дожидаясь ответа, стала вытаскивать из белого холщового мешка, распространявшего точно такой же запах сырости, комья отдельных предметов. — Полотенец нет, — сказала она.

— Переселите меня, — сказал Черевин. — Есть место в другом купе?

— Нет, — сказала она. — А что такое?

— Я с ним ехать не могу, — сказал Черевин. — Переселите, а?

— Рубль за белье, — сказала проводница. Она его не слушала.

— Слышите? — спросил Черевин. — Разбудите кого-нибудь, мы с ним местами поменяемся.

— Не буду я никого будить, — сказала она.

— Ну я сам разбужу, — сказал Черевин.

— Я тебе разбужу... — пообещала проводница.

— Нет у меня рубля, — ввернул тогда Черевин, — нет у меня рубля на белье.

— Нет? — удивилась она.

— Нет, — повторил Черевин.

— А на матрасе спать нельзя.

— Ну и черт бы с ним, с матрасом вашим...

Длинный коридор был пуст и холоден.

В купе свет был уже погашен, и в темноте он не смог различить, где кто — где старик, где сын его, где кривоносый. Все были одинаково накрыты белыми простынями, словно в покойницкой.

Черевин расшнуровал туфли и стащил их с ног. Потом он лег на матрас и стал смотреть в потолок. Потолок был черным. Изредка по нему пробегали фиолетовые блики. Дверь снова взвизгнула, отъехала. Коридорный свет был желт и пронзителен.

— Где ты тут? — спросила проводница.

Мучительно щурясь, она нашарила белое лицо Черевина зрачками и тогда, неловко размахнувшись, кинула ему на ноги тяжелую стопку сырого белья.

Н. КОРЖАВИН

★

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Ленинград

Он был рожден имперской стать столицей.
В нем этим смыслом все озарено.
И он с иною ролью примириться
Не может.

И не сможет все равно.

Он отдал дань надеждам и страданиям.
Но прежний смысл в нем все же не ослаб.
Имперской власти не хватает зданьям,
Имперской властью грезит Главный штаб.

Им целый век в иной эпохе прожит.
А он грустит, хоть эта грусть — смешна.
Но камень изменить лица не может,
Какие б ни настали времена.

В нем смысл один — неистребимый, главный,
Как в нас всегда одна и та же кровь.
И Ленинграду снится скиптр державный,
Как женщине покинутой —
любовь.

1960

Памяти Марины Цветаевой

Поколение, где краше
Был — кто жарче страдал.

М. Ц.

Тут не шепот гадалок:
Мол, конец уже близок, —
Мартиролог — каталог
«Современных записок».

Не с изгнанием свыкались,
Не страдали спесиво —
Просто так задыхались
Вдалеке от России.

Гнет вопросов усталых:
«Ах, когда ж это будет?»
Мартиролог — каталог
Задохнувшихся судеб.

Среди пошлости сытой
И презренья к несчастью —
Мартиролог открытый,
Верных только отчасти.

Вера в разум средь ночи,
Где не лица, а рожки, —
Мартиролог пророчеств.
Подтвердившихся. Позже.

Не кормились — писали,
Не о муках — о деле.
Не спасались — спасали
Как могли и умели.

Не себя возносили
И не горький свой опыт —
Были болью России
О закате Европы.

Не себя возносили,
Хоть открыли немало,—
Были знанием России!..
А Россия — не знала.

А Россия мечтала
И вокруг не глядела,
А Россия считала:
Это плевое дело.

Шла в штывы, бедовала —
Как играла в игрушки.
...И опять открывала,
Что на свете был Пушкин.

1962.

Церковь Спаса на крови

Церковь Спаса на крови!
Над каналом дождь, как встарь.
Ради Правды и Любви
Тут убит был русский царь.

Был разорван на куски
Не за грех иль подвиг свой —
От безвыходной тоски
И за морок вековой.

От неправды давних дел,
Веры в то, что выпал срок.
А ведь он и сам хотел
Морок вытравить... Не смог.

И убит был. Для любви.
Не оставил ничего.
Эта церковь на крови —
Память званья его.

Широка, слепа, тупа,
Смотрит, благостно скорбя.
Словно дворников толпа
Топчет в ярости тебя.

В скорби — радость торжества:
То народ не снес обид.
Шутка ль! Ради баловства
Самый добрый царь убит.

Ради призрачной мечты!
Самозванство! Стыд и срам!..
Подтвержденье правоты
Всех неправых — этот храм.

И летит в столетья весть,
В крест отлитая. В металл.
Про «дворянов» злую месть.
Месть за то, что волю дал.

Церковь Спаса на крови!
Довод ночи против дня...
Сколько раз так — для любви! —
Убивали и меня.

И терпел, скрепив свой дух:
Это — личная беда!
И не ведал, что вокруг
Накоплялась темнота.

Надоел мне этот бред!
Кровь зазря — не для любви.
Если кровь — то спасу нет,
Ставь хоть церковь на крови.

Но предстанет вновь — заря,
Морок, сонь... Мне двадцать лет.
И не кто-то — я царя
Жду и верю: вспыхнет свет.

Жду и верю: расцветет
Все вокруг. И в чем-то — лгу.
Но не верить — знать, что гнет
Будет длиться... — не могу.

Не могу, так пусть — «авось!»...
Русь моя! Наш вечный рок —
Доставанье с неба звезд,
Вера в то, что выпал срок.

Не с того ль твоя судьба:
Смертный выстрел — для любви?
С Богом — дворников толпа,
Церковь Спаса — на крови?

Чу! Карета вдалеке...
Стук копыт. Слышней...
Слышней...

Все!
В надежде — и в тоске
Сам пошел навстречу ей.

1967.

* * *

Довольно!.. Хватит!.. Стала ленью грусть.
Гляжу на небо, как со дна колодца.
Я, может быть, потом еще вернусь,
Но то, что я покинул,— не вернется.

Та ярость мыслей, блеск их остроты,
 Та святость дружб, и нежность, и веселье.
 Тот каждый день в плену тупой беды,
 Как бы в чаду свинцового похмелья.

...Там стыдно жить — пусть Бог меня простит.
 Там ложь, как топь, и в топь ведет дорога.
 Но там толкает к откровенью стыд
 И стыд приводит к постиженью Бога.

Там невозможно вызволить страну
 От мутных чар, от мертвого кумира,
 Но жизнь стоит все время на кону,
 И внятна связь судеб — своей и мира.

Я в этом жил и возвращенья жду,
 Хоть дни мои глотает жизнь иная.
 Хоть все равно я многих не найду,
 Когда вернусь... И многих — не узнаю.

Пусть будет так... Устал я жить, стыдясь,
 Не смог так жить... И вот — ушел оттуда.
 И не ушел... Все тех же судеб связь
 Меня томит... И я другим — не буду.

Все та же ярость, тот же стыд во мне,
 Все то же слово с губ сейчас сорвется.
 И можно жить... И быть в чужой стране
 Самим собой... И это — отзовется.

И там, и здесь...

Не лень, не просто грусть,
 А вера в то, что все не так уж страшно.
 Что я — вернусь...

Хоть, если я вернусь,
 Я буду стар. И будет все не важно...

1974.

* * *

Ах ты жизнь моя — морок и месиво.
 След кровавый — круги по воде.
 Как мы жили! Как прыгали весело -
 Карасями на сковороде.

Из огня — в небеса ледовитые...
 Нас прожгло. А иных — и сожгло.
 Дураки, кто теперь нам завидует,
 Что при нас посторонним тепло.

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

★

1984*

Роман

ВТОРАЯ

I

Было еще утро; Уинстон пошел из своей кабины в уборную. Навстречу ему по пустому ярко освещенному коридору двигался человек. Оказалось, что это темноволосая девица. С той встречи у лавки старьевщика минуло четыре дня. Подойдя поближе, Уинстон увидел, что правая рука у нее на перевязи; издали он этого не разглядел, потому что повязка была синяя, как комбинезон. Наверно, девица сломала руку, поворачивая большой калейдоскоп, где «набрасывались» сюжеты романов. Обычная травма в литературном отделе.

Когда их разделяло уже каких-нибудь пять шагов, она споткнулась и упала чуть ли не плашмя. У нее вырвался крик боли. Видимо, она упала на сломанную руку. Уинстон замер. Девица встала на колени. Лицо у нее стало молочно-желтым, и на нем еще ярче выступил красный рот. Она смотрела на Уинстона умоляюще, и в глазах у нее было больше страха, чем боли.

Уинстоном владели противоречивые чувства. Перед ним был враг, который пытался его убить; в то же время перед ним был человек — человеку больно, у него, быть может, сломана кость. Не раздумывая он пошел к ней на помощь. В тот миг, когда она упала на перевязанную руку, он сам как будто почувствовал боль.

— Вы ушиблись?

— Ничего страшного. Рука. Сейчас пройдет.— Она говорила так, словно у нее сильно колотилось сердце. И лицо у нее было совсем бледное.

— Вы ничего не сломали?

— Нет. Все цело. Было больно и прошло.

Она протянула Уинстону здоровую руку, и он помог ей встать. Лицо у нее немного порозовело; судя по всему, ей стало легче.

— Ничего страшного,— повторила она.— Немного ушибла запястье, и все. Спасибо, товарищ!

С этими словами она пошла дальше — так бодро, как будто и впрямь ничего не случилось. А длилась вся эта сцена, наверно, меньше чем полминуты. Привычка не показывать своих чувств вьелась настолько, что стала инстинктом, да и происходило все это прямо перед телекраном. И все-таки Уинстон лишь с большим трудом сдержал удивление: за те две-три секунды, пока он помогал девице встать, она что-то сунула ему в руку. О случайности тут не могло быть и речи. Что-то маленькое и плоское. Входя в уборную, Уинстон сунул эту вещь в карман и там ощупал. Листок бумаги, сложенный квадратиком.

Перед писсуаром он сумел после некоторой возни в кармане расправить листок. По всей вероятности, там что-то написано. У него возникло искушение

сейчас же зайти в кабинку и прочесть. Но это, понятно, было бы чистым безумием. Где как не здесь за телекранами наблюдают непрерывно!

Он вернулся к себе, сел, небрежно бросил листок на стол к другим бумагам, надел очки и придвинул речепис. Пять минут, сказал он себе, пять минут самое меньшее! Стук сердца в груди был пугающе громок. К счастью, работа его ждала рутинная — уточнить длинную колонку цифр — и сосредоточенности не требовала.

Что бы ни было в записке, она наверняка политическая. Уинстон мог представить себе два варианта. Один, более правдоподобный: женщина — агент полиции мыслей, чего он и боялся. Непонятно, зачем полиции мыслей прибегать к такой почте, но, видимо, для этого есть резоны. В записке может быть угроза, вызов, приказ покончить с собой, западня какого-то рода. Существовало другое, выкое предположение, Уинстон гнал его от себя, но оно упорно лезло в голову. Записка вовсе не от полиции мыслей, а от какой-то подпольной организации. Может быть, Братство все-таки существует! И девица, может быть, оттуда! Идея, конечно, была нелепая, но она возникла сразу, как только он ошупал бумажку. А более правдоподобный вариант пришел ему в голову лишь через несколько минут. И даже теперь, когда разум говорил ему, что записка, возможно, означает смерть, он все равно не хотел в это верить, бессмысленная надежда не гасла, сердце гремело, и, диктуя цифры в речепис, он с трудом сдерживал дрожь в голосе.

Он свернул листы с законченной работой и засунул в пневматическую трубу. Прошло восемь минут. Он поправил очки, вздохнул и притянул к себе новую стопку заданий, на которой лежал тот листок. Расправил листок. Крупным неустоявшимся почерком там было написано:

Я вас люблю.

Он так опешил, что даже не сразу бросил улику в гнездо памяти. Понимая, насколько опасно выказывать к бумажке чрезмерный интерес, он все-таки не удержался и прочел ее еще раз — убедиться, что ему не померещилось.

До перерыва работать было очень тяжело. Он никак не мог сосредоточиться на нудных задачах, но, что еще хуже, надо было скрывать свое смятение от телекрана. В животе у него словно пылал костер. Обед в душевой, людной, шумной столовой оказался мучением. Он рассчитывал побыть в одиночестве, но, как назло, рядом плюхнулся на стул идиот Парсонс, острым запахом пота почти заглушив жестяной запах тушенки, и завел речь о приготовлениях к Неделе ненависти. Особенно он восторгался громадной двухметровой головой Старшего Брата из папье-маше, которую изготавливал к праздникам дочкин отряд. Досаднее всего, что из-за гама Уинстон плохо слышал Парсонса, приходилось переспрашивать и по два раза выслушивать одну и ту же глупость. В дальнем конце зала он увидел темноволосую — за столиком еще с двумя девушками. Она как будто не заметила его, и больше он туда не смотрел.

Вторая половина дня прошла легче. Сразу после перерыва прислали тонкое и трудное задание — на несколько часов, — и все посторонние мысли пришлось отставить. Надо было подделать производственные отчеты двухлетней давности таким образом, чтобы бросить тень на крупного деятеля внутренней партии, попавшего в немилость. С подобными работами Уинстон справлялся хорошо, и на два часа с лишним ему удалось забыть о темноволосой женщине. Но потом ее лицо снова возникло перед глазами, и безумно, до невыносимости, захотелось побыть одному. Пока он не останется один, невозможно обдумать это событие. Сегодня ему надлежало присутствовать в общественном центре. Он проглотил безвкусный ужин в столовой, прибежал в центр, поучаствовал в дурацкой торжественной «групповой дискуссии», сыграл две партии в настольный теннис, несколько раз выпил джину и высидел получасовую лекцию «Шахматы и их отношение к англоцу». Душа корчилась от скуки, но вопреки обыкновению ему не хотелось улизнуть из центра. От слов «я вас люблю» нахлынуло желание пролить себе жизнь, и теперь даже маленький риск казался глупостью. Только в двадцать три часа, когда он вернулся и улегся в постель — в темноте даже телекран не страшен, если молчишь, — к нему вернулась способность думать.

Предстояло решить техническую проблему: как связаться с ней и условиться о встрече. Предположение, что женщина расставляет ему западню, он уже отбро-

сил. Он понял, что нет: она определенно волновалась, когда давала ему записку. Она не помнила себя от страха — и это вполне объяснимо. Уклониться от ее авансов у него и в мыслях не было. Всего пять дней назад он размышлял о том, чтобы проломить ей голову булыжником, но это уже дело прошлое. Он мысленно видел ее голой, видел ее молодое тело — как тогда во сне. А ведь сперва он считал ее дурой вроде остальных — напичканной ложью и ненавистью, с замороженным низом. При мысли о том, что можно ее потерять, что ему не достанется молодое белое тело, Уинстона лихорадило. Но встретиться с ней было немислимо сложно. Все равно что сделать ход в шахматах, когда тебе поставили мат. Куда ни сунься — отовсюду смотрит телекран. Все возможные способы устроить свидание пришли ему в голову в течение пяти минут после того, как он прочел записку; теперь же, когда было время подумать, он стал перебирать их по очереди — словно раскладывал инструменты на столе.

Очевидно, что встречу, подобную сегодняшней, повторить нельзя. Если бы женщина работала в отделе документации, это было бы более или менее просто, а в какой части здания находится отдел литературы, он плохо себе представлял, да и повода пойти туда не было. Если бы он знал, где она живет и в котором часу кончает работу, то смог бы перехватить ее по дороге домой; следовать же за ней небезопасно — надо околачиваться вблизи министерства, и это наверняка заметят. Послать письмо по почте невозможно. Не секрет, что всю почту вскрывают. Теперь почти никто не пишет писем. А если надо с кем-то снестись — есть открытки с напечатанными готовыми фразами, и ты просто зачеркиваешь ненужные. Да он и фамилии ее не знает, не говоря уж об адресе. В конце концов он решил, что самым верным местом будет столовая. Если удастся подсесть к ней, когда она будет одна, и столик будет в середине зала, не слишком близко к телекранам, и в зале будет достаточно шумно... если им дадут побыть наедине хотя бы тридцать секунд, тогда, наверно, он сможет перекинуться с ней несколькими словами.

Всю неделю после этого жизнь его была похожа на беспокойный сон. На другой день женщина появилась в столовой, когда он уже уходил после свистка. Вероятно, ее перевели в более позднюю смену. Они разошлись, не взглянув друг на друга. На следующий день она обедала в обычное время, но еще с тремя женщинами и прямо под телекраном. Потом было три ужасных дня — она не появлялась вовсе. Ум его и тело словно приобрели невыносимую чувствительность, пронцаемость, и каждое движение, каждый звук, каждое прикосновение, каждое услышанное и произнесенное слово превращались в пытку. Даже во сне он не мог отделаться от ее образа. В эти дни он не прикасался к дневнику. Облегчение принесла только работа — за ней он мог забыть иной раз на целых десять минут. Он не понимал, что с ней случилось. Спросить было негде. Может быть, ее распылили, может быть, она покончила с собой, ее могли перевести на другой край Океании; но самое вероятное и самое плохое — она просто передумала и решила избегать его.

На четвертый день она появилась. Рука была не на перевязи, только пластырь вокруг запястья. Он почувствовал такое облегчение, что не удержался и смотрел на нее несколько секунд. На другой день ему чуть не удалось поговорить с ней. Когда он вошел в столовую, она сидела одна и довольно далеко от стены. Час был ранний, столовая еще не заполнилась. Очередь продвигалась, Уинстон был почти у раздачи, но тут застрял на две минуты: впереди кто-то жаловался, что ему не дали таблетку сахара. Тем не менее когда Уинстон получил свой поднос и направился в ее сторону, она по-прежнему была одна. Он шел, глядя поверху, как бы отыскивая свободное место позади ее стола. Она уже в каких-нибудь трех метрах. Еще две секунды — и он у цели. За спиной у него кто-то позвал: «Смит!» Он притворился, что не слышал. «Смит!» — повторили свاذи еще громче. Нет, не отделаться. Он обернулся. Молодой, с глупым лицом блондин по фамилии Уилшер, с которым он был едва знаком, улыбаясь, приглашал на свободное место за своим столиком. Отказаться было небезопасно. После того как его узнали, он не мог усесться с обедавшей в одиночестве женщиной. Это привлекло бы внимание. Он сел с дружелюбной улыбкой. Глупое лицо сияло в ответ. Ему представилось, как он бьет по нему киркой — точно в середину. Через несколько минут у женщины тоже появились соседи.

Но она наверняка видела, что он шел к ней,— и, может быть, поняла. На следующий день он постарался прийти пораньше. И не зря: она сидела примерно на том же месте и опять одна. В очереди перед ним стоял маленький, юркий, жукоподобный мужчина с плоским лицом и подозрительными глазками. Когда Уинстон с подносом отвернулся от прилавка, он увидел, что маленький направляется к ее столу. Надежда в нем опять увяла. Свободное место было и за столом подалее, но вся повадка маленького говорила о том, что он позаботится о своих удобствах и выберет стол, где меньше всего народу. С тяжелым сердцем Уинстон двинулся за ним. Пока он не останется с ней один на один, ничего не выйдет. Тут раздался страшный грохот. Маленький стоял на четвереньках, поднос его еще летел, а по полу текли два ручья — суп и кофе. Он вскочил и злобно оглянулся, подозревая, видимо, что Уинстон дал ему подножку. Но это было не важно. Пятью секундами позже с громяющим сердцем Уинстон уже сидел за ее столом.

Он не взглянул на нее. Освободил поднос и немедленно начал есть. Важно было заговорить сразу, пока никто не подошел, но на Уинстона напал дикий страх. С первой встречи прошла неделя. Она могла передумать, наверняка передумала! Ничего из этой истории не выйдет — так не бывает в жизни. Пожалуй, он и не решился бы заговорить, если бы не увидел Амплфорта, поэта с шерстяными ушами, который плелся с подносом, ища глазами свободное место. Рассеянный Амплфорт был по-своему привязан к Уинстону и, если бы заметил его, наверняка подсел бы. На все оставалось не больше минуты. И Уинстон и женщина усердно ели. Ели они жидкое рагу — скорее суп с фасолью. Уинстон заговорил вполголоса. Оба не поднимали глаз; размеренно черпая похлебку и отправляя в рот, они тихо и без всякого выражения обменялись несколькими необходимыми словами.

— Когда вы кончаете работу?

— В восемнадцать тридцать.

— Где мы можем встретиться?

— На площади Победы, у памятника.

— Там кругом телекраны.

— Если в толпе, это не важно.

— Знак?

— Нет. Не подходите, пока не увидите меня в гуще людей. И не смотрите на меня. Просто будьте поблизости.

— Во сколько?

— В девятнадцать.

— Хорошо.

Амплфорт не заметил Уинстона и сел за другой стол. Женщина быстро доела обед и ушла, а Уинстон остался курить. Больше они не разговаривали и, насколько это возможно для двух сидящих лицом к лицу через стол, не смотрели друг на друга.

Уинстон пришел на площадь Победы раньше времени. Он побродил вокруг основания громадной желобчатой колонны, с вершины которой статуя Старшего Брата смотрела на юг небосклона, туда, где в битве за Взлетную полосу 1 он разгромил евразийскую авиацию (несколько лет назад она была остазийской). Напротив на улице стояла конная статуя, изображавшая, как считалось, Оливера Кромвеля. Прошло пять минут после назначенного часа, а женщины все не было. На Уинстона снова напал дикий страх. Не идет, передумала! Он добрал до северного края площади и вяло обрадовался, узнав церковь святого Мартина, ту, чьи колокола — когда на ней были колокола — вызванивали: «Отдавай мне фартинг». Потом увидел женщину: она стояла под памятником и читала, или делала вид, что читает, плакат, спиралью обвивавший колонну. Пока там не собрался народ, подходить было рискованно. Вокруг постамента стояли телекраны. Но внезапно где-то слева загалдели люди и послышался гул тяжелых машин. Все на площади бросилось в ту сторону. Женщина быстро обогнула львов у подножья колонны и тоже побежала. Уинстон устремился следом. На бегу он понял по выкрикам, что везут пленных евразийцев.

Южная часть площади уже была запружена толпой. Уинстон, принадлежавший к той породе людей, которые в любой свалке норовят оказаться с краю,

ввинчивался, протискивался, пробивался в самую гущу народа. Женщина была уже близко — рукой можно достать, — но тут глухой стеной мяса дорогу ему преградил необъятный прол и такая же необъятная женщина — видимо, его жена. Уинстон извернулся и со всей силы вогнал между ними плечо. Ему показалось, что два мускулистых бока раздавят его внутренности в кашу, и тем не менее он прорвался, слегка вспотев. Очутился рядом с ней. Они стояли плечо к плечу и смотрели вперед неподвижным взглядом.

По улице длинной вереницей ползли грузовики, и в кузовах по всем четырем углам с застывшими лицами стояли автоматчики. Между ними вплотную сидели на корточках мелкие желтые люди в обтрепанных зеленых мундирах. Монгольские их лица смотрели поверх бортов печально и без всякого интереса. Если грузовик подбрасывало, раздавалось звяканье металла — пленные были в ножных кандалах. Один за другим проезжали грузовики с печальными людьми. Уинстон слышал, как они едут, но видел их лишь изредка. Плечо женщины, ее рука прижимались к его плечу и руке. Щека была так близко, что он ощущал ее тепло. Она сразу взяла инициативу на себя, как в столовой. Заговорила, едва шевеля губами, таким же невыразительным голосом, как тогда, и этот полусшепот тонул в общем гаме и рычании грузовиков.

— Слышите меня?

— Да.

— Можете вырваться в воскресенье?

— Да.

— Тогда слушайте внимательно. Вы должны запомнить. Отправитесь на Паддингтонский вокзал...

С военной точностью, изумившей Уинстона, она описала маршрут. Полчаса поездом; со станции — налево; два километра по дороге, ворога без перекладины; тропинкой через поле; дорожка под деревьями, заросшая травой; тропа в кустарнике; упавшее замшелое дерево. У нее словно карта была в голове.

— Все запомнили? — шепнула она наконец.

— Да.

— Повернете налево, потом направо и опять налево. И на воротах нет перекладины.

— Да. Время?

— Около пятнадцати. Может, вам придется подождать. Я приду туда другой дорогой. Вы точно все запомнили?

— Да.

— Тогда отойдите скорей.

В этих словах не было надобности. Но толпа не позволяла разойтись. Колонна все шла, люди глазели ненасытно. Вначале раздавались выкрики и свист, но шумели только партийные, а вскоре и они умолкли. Преобладающим чувством было обыкновенное любопытство. Иностранцы — из Евразии ли, из Остзии — были чем-то вроде диких животных. Ты их никогда не видел — только в роли военнопленных, да и то мельком. Неизвестна была и судьба их — кроме тех, кого вешали как военных преступников; остальные просто исчезали — надо думать, в каторжных лагерях. Круглые монгольские лица сменились более европейскими, грязными, небритыми, изнуренными. Иногда заросшее лицо останавливало на Уинстоне необычайно пристальный взгляд, и сразу же он скользил дальше. Колонна подходила к концу. В последнем грузовике Уинстон увидел пожилого человека, до глаз заросшего седой бородой; он стоял на ногах, скрестив перед животом руки, словно привык к тому, что они скованы. Пора уже было отойти от женщины. Но в последний миг, пока толпа их еще сдавливала, она нашла его руку и незаметно пожалала.

Длилось это меньше десяти секунд, но ему показалось, что они держат друг друга за руки очень долго. Уинстон успел изучить ее руку во всех подробностях. Он трогал длинные пальцы, продолговатые ногти, затвердевшую от работы ладонь с мозолями, нежную кожу запястья. Он так изучил эту руку на ощупь, что теперь узнал бы ее и по виду. Ему пришло в голову, что он не заметил, какого цвета у нее глаза. Наверно, карие, хотя у темноволосых бывают и голубые. Повернуть голову и посмотреть на нее было бы крайним безрассудством. Стисну-

тые толпой, незаметно держась за руки, они смотрели прямо перед собой, и не ее глаза, а глаза пожилого пленника тоскливо уставились на Уинстона из чащи спутанных волос.

II

Уинстон шел по дорожке в пятнистой тени деревьев, изредка вступая в лучицы золотого света — там, где не смыкались кроны. Под деревьями слева земля туманилась от колокольчиков. Воздух ласкал кожу. Было 2 мая. Где-то в глубине леса кричали вяхири.

Он пришел чуть раньше времени. Трудностей в дороге он не встретил; женщина, судя по всему, была так опытна, что он даже боялся меньше, чем полагалось бы в подобных обстоятельствах. Он не сомневался, что она выбрала безопасное место. Вообще трудно было рассчитывать на то, что за городом безопаснее, чем в Лондоне. Телекранов, конечно, нет, но в любом месте может скрываться микрофон — твой голос услышат и опознают, кроме того, путешествующий в одиночку непременно привлечет внимание. Для расстояний меньше ста километров отметка в паспорте не нужна, но иногда около станции ходят патрули, там они проверяют документы у всех партийных и задают неприятные вопросы. На патруль он, однако, не налетел, а по дороге со станции не раз оглядывался — нет ли слежки. Поезд был набит пролами, довольно жизнерадостными по случаю теплой погоды. Он ехал в вагоне с деревянными скамьями, полностью оккупированном одной громадной семьей — от беззубой прабабушки до месячного младенца, — намеревавшейся погостить денек «у сватьев» в деревне и, как они без опаски объяснили Уинстону, раздобыть на черном рынке масла.

Деревья расступились, он вышел на тропу, о которой она говорила, — тропу в кустарнике, протоптанную скотом. Часов у него не было, но пришел он определенно раньше пятнадцати. Колокольчики росли так густо, что невозможно было на них не наступать. Он присел и стал рвать цветы — отчасти чтобы убить время, отчасти со смутным намерением преподнести ей букет. Он собрал целую охапку и только понюхал слабо и душно пахшие цветы, как звук за спиной заставил его похолодеть: под чьей-то ногой хрустели веточки. Он продолжал рвать цветы. Это было самое правильное. Может быть, сзади — она, а может, за ним все-таки следили. Оглянешься — значит, что-то с тобой нечисто. Он сорвал колокольчик, потом еще один. Его легонько тронули за плечо.

Он поднял глаза. Это была она. Она помотала головой, веля ему молчать, потом раздвинула кусты и быстро пошла по тропинке к лесу. По-видимому, она здесь бывала: топкие места она обходила уверенно. Уинстон шел за ней с букетом. Первым его чувством было облегчение, но теперь, глядя сзади на сильное стройное тело, перехваченное алым кушаком, который подчеркивал крутые бедра, он остро ощутил, что недостоин ее. Даже теперь ему казалось, что она может обернуться, посмотреть на него — и раздумает. Нежный воздух и зелень листвы только увеличивали его робость. Из-за этого майского солнца он, еще когда шел со станции, почувствовал себя грязным и чахлым — комнатное существо с забитыми лондонской пылью и копотью порами. Он подумал, что она ни разу не видела его при свете дня и на просторе. Перед ними было упавшее дерево, о котором она говорила на площади. Женщина отбежала в сторону и раздвинула кусты, стоявшие сплошной стеной. Уинстон полез за ней, и они очутились на прогалине, крохотной лужайке, окруженной высоким подростом и отовсюду закрытой. Женщина обернулась.

— Пришли, — сказала она.

Он смотрел на нее с расстояния нескольких шагов. И не решался приблизиться.

— Я не хотела разговаривать по дороге, — объяснила она. — Вдруг там микрофон. Вряд ли, конечно, но может быть. Чего доброго, узнают голос, сволочи. Здесь не опасно.

Уинстон все еще не осмеливался подойти.

— Здесь не опасно? — переспросил он.

— Да. Смотрите, какие деревья. — Это была молодая ясеневая поросль на месте вырубки — лес жердочек толщиной не больше запястья. — Все тоненькие, микрофон спрятать негде. Кроме того, я уже здесь была.

Они только разговаривали. Уинстон все-таки подошел к ней поближе. Она стояла очень прямо и улыбалась как будто с легкой иронией — как будто недоумевая, почему он мешкает. Колокольчики посыпались на землю. Это произошло само собой. Он взял ее за руку.

— Верите ли, — сказал он, — до этой минуты я не знал, какого цвета у вас глаза. — Глаза были карие, светло-карие, с темными ресницами. — Теперь, когда вы разглядели, на что я похож, вам не прогивно на меня смотреть?

— Нисколько.

— Мне тридцать девять лет. Женат и не могу от нее избавиться. У меня расширение вен. Пять вставных зубов.

— Какое это имеет значение? — сказала она.

И сразу — непонятно даже, кто тут был первым, — они обнялись. Сперва он ничего не чувствовал, только думал: этого не может быть. К нему прижималось молодое тело, его лицо касалось густых темных волос, и — да! наяву! — она подняла к нему лицо, и он целовал мягкие красные губы. Она сцепила руки у него на затылке, она называла его милым, дорогим, любимым. Он потянул ее на землю, и она покорила ему, он мог делать с ней что угодно. Но в том-то и беда, что физически он ничего не ощущал, кроме прикосновений. Он испытывал только гордость и до сих пор не мог поверить в происходящее. Он радовался, что это происходит, но плотского желания не чувствовал. Все случилось слишком быстро... он испугался ее молодости и красоты... он привык обходиться без женщины... — он сам не понимал причины. Она села и вынула из волос колокольчик. Потом прислонилась к нему и обняла его за талию.

— Ничего, милый. Некуда спешить. У нас еще полдня. Правда, замечательное укрытие? Я разведала его во время одной туристской вылазки, когда отстала от своих. Если кто-то будет подходить, услышим за сто метров.

— Как тебя зовут? — спросил Уинстон.

— Джулия. А как тебя зовут, я знаю. Уинстон — Уинстон Смит.

— Откуда ты знаешь?

— Наверно, как разведчица я тебя способней, милый. Скажи, что ты обо мне думал до того, как я дала тебе записку?

Ему совсем не хотелось лгать. Своего рода предисловие к любви — сказать для начала самое худшее.

— Видеть тебя не мог, — ответил он. — Хотел тебя изнасиловать, а потом убить. Две недели назад я серьезно размышлял о том, чтобы проломить тебе голову бульжником. Если хочешь знать, я вообразил, что ты связана с полицией мыслей.

Джулия радостно засмеялась, восприняв его слова как подтверждение того что она прекрасно играет свою роль.

— Неужели с полицией мыслей? Нет, ты правда так думал?

— Ну, может, не совсем так. Но глядя на тебя... Наверно, оттого, что ты молодая, здоровая, свежая, понимаешь... я думал...

— Ты думал, что я примерный член партии. Чиста в делах и помыслах. Знамена, шествия, лозунги, игры, туристские походы — вся эта дребедень. И подумал, что при малейшей возможности угроблю тебя — донесу как на мыслепреступника?

— Да, что-то в этом роде. Знаешь, очень многие девушки именно такие.

— Все из-за этой гадости, — сказала она и, сорвав алый кушак Молодежного антиполового союза, забросила в кусты.

Она будто вспомнила о чем-то, когда дотронулась до пояса, и теперь, порывшись в кармане, достала маленькую шоколадку, разломилась и дала половину Уинстону. Еще не взяв ее, по одному запаху он понял, что это совсем не обыкновенный шоколад. Темный, блестящий и завернут в фольгу. Обычно шоколад был тускло-коричневый, крошился и отдавал — точнее его вкус не опишешь — дымом горящего мусора. Но когда-то он пробовал шоколад вроде этого. Запах сразу напомнил о чем-то — о чем, Уинстон не мог сообразить, — напомнил мощно и тревожно.

— Где ты достала?

— На черном рынке, — безразлично ответила она. — Да, на вид я именно такая. Хорошая спортсменка. В разведчицах была командиром отряда. Три ве-

чера в неделю занимаюсь общественной работой в Молодежном антиполовом союзе. Часами расклеиваю их паскудные листки по всему Лондону. В шестивях всегда несу транспарант. Всегда с веселым лицом и ни от чего не отлыниваю. Всегда ори с толпой — мое правило. Только так ты в безопасности.

Первый кусочек шоколада растаял у него на языке. Вкус был восхитительный. Но что-то все шевелилось в глубинах памяти — что-то, ощущаемое очень сильно, но не принимавшее отчетливой формы, как предмет, который ты заметил краем глаза. Уинстон отогнал непрояснившееся воспоминание, поняв только, что оно касается какого-то поступка, который он с удовольствием аннулировал бы, если б мог.

— Ты совсем молодая, — сказал он. — На десять или пятнадцать лет моложе меня. Что тебя могло привлечь в таком человеке?

— У тебя что-то было в лице. Решила рискнуть. Я хорошо угадываю чужаков. Когда увидела тебя, сразу поняла, что ты против них.

«Они», по-видимому, означало партию, и прежде всего внутреннюю партию, о которой она говорила издевательски и с открытой ненавистью, — Уинстону от этого становилось не по себе, хотя он знал, что здесь они в безопасности, насколько безопасность вообще возможна. Он был поражен грубостью ее языка. Партийцам сквернословить не полагалось, и сам Уинстон ругался редко, по крайней мере вслух, но Джулия не могла помянуть партию, особенно внутреннюю партию, без какого-нибудь словца из тех, что пишутся мелом на заборах. И его это не отталкивало. Это было просто одно из проявлений ее бунта против партии, против партийного духа и казалось таким же здоровым и естественным, как чихание лошади, понохавшей прелого сена. Они ушли с прогалины и снова гуляли в пятнистой тени, обняв друг друга за талию — там, где можно было идти рядом. Он заметил, насколько мягче стала у нее талия без кушака. Разговаривали шепотом. Пока мы не на лужайке, сказала Джулия, лучше вести себя тихо. Вскоре они вышли к опушке рощи. Джулия его остановила.

— Не выходи на открытое место. Может, кто-нибудь наблюдает. Пока мы в лесу — все в порядке.

Они стояли в орешнике. Солнце проникало сквозь густую листву и грело им лица. Уинстон смотрел на луг, лежавший перед ними, со странным чувством медленного узнавания. Он знал этот пейзаж. Старое пастбище с короткой травой, по нему бежит тропинка, там и сям кротовые кочки. Неровной изгородью на дальней стороне встали деревья, ветки вязов чуть шевелились от ветра, и плотная масса листьев волновалась, как женские волосы. Где-то непременно должен быть ручей с зелеными заводями, в них ходит плотва.

— Тут поблизости нет ручейка? — прошептал он.

— Правильно, есть. На краю следующего поля. Там рыбы, крупные. Их видно — они стоят под ветлами, шевелят хвостами.

— Золотая Страна... почти что, — пробормотал он.

— Золотая Страна?

— Это просто так. Это место я вижу иногда во сне.

— Смотри! — шепнула Джулия.

Метрах в пяти от них почти на уровне их лиц на ветку слетел дрозд. Может быть, он их не видел. Он был на солнце, они в тени. Дрозд расправил крылья, потом не торопясь сложил, нагнул на секунду голову, словно поклонился солнцу, и запел. В послеполуденном затишье песня его звучала ошеломляюще громко. Уинстон и Джулия прильнули друг к другу и замерли очарованные. Музыка лилась и лилась, минута за минутой, с удивительными вариациями, ни разу не повторяясь, будто птица нарочно показывала свое мастерство. Иногда она замолкала на несколько секунд, расправляла и складывала крылья, потом раздувала яркую грудь и снова разражалась песней. Уинстон смотрел на нее с чем-то вроде почтения. Для кого, для чего она поет? Ни подруги, ни соперника поблизости. Что ее заставляет сидеть на опушке необитаемого леса и выплескивать эту музыку в никуда? Он подумал: а вдруг здесь все-таки спрятан микрофон? Они с Джулией разговаривали тихим шепотом, их голосов он не поймает, а дрозд услышит наверняка. Может быть, на другом конце линии сидит маленький жукоподобный человек и внимательно слушает — слушает это. Постепенно поток музыки вымыл из его головы все рассуждения. Она лилась на него словно влага и сме-

шивалась с солнечным светом, цедившимся сквозь листву. Он перестал думать и только чувствовал. Талия женщины под его рукой была мягкой и теплой. Он повернул ее так, что они стали грудь в грудь, ее тело словно растаяло в его теле. Где бы он ни тронул рукой, оно было податливо, как вода. Их губы соединились; это было совсем не похоже на их жадные поцелуи вначале. Они отодвинулись друг от друга и перевели дух. Что-то спугнуло дрозда, и он улетел, шурша крыльями. Уинстон прошептал ей на ухо:

— Сейчас.

— Не здесь, — шепнула она в ответ. — Пойдем на прогалину. Там безопасней.

Похрустывая веточками, они живо пробрались на свою лужайку, под защиту молодых деревьев. Джулия повернулась к нему. Оба дышали часто, но у нее на губах снова появилась слабая улыбка. Она смотрела на него несколько мгновений, потом взялась за «молнию». Да! Это было почти как во сне. Почти так же быстро, как там, она сорвала с себя одежду и отшвырнула великолепным жестом, будто зачеркнувшим целую цивилизацию. Ее белое тело сияло на солнце. Но он не смотрел на тело — он не мог оторвать глаз от веснушчатого лица, от легкой дерзкой улыбки. Он стал на колени и взял ее за руки.

— У тебя уже так бывало?

— Конечно... Сотни раз... ну ладно, десятки.

— С партийными?

— Да, всегда с партийными.

— Из внутренней партии тоже?

— Нет, с этими сволочами — нет. Но многие были бы рады, будь у них хоть один шанс из ста. Они не такие святые, как изображают.

Сердце у него взыграло. Это бывало у нее десятки раз — жаль, не сотни... не тысячи. Все, что пахло порчей, вселяло в него дикую надежду. Кто знает, может, партия внутри сгнила, ее культ усердия и самоотверженности — бутафория, скрывающая распад. Он заразил бы их всех проказой и сифилисом — с какой бы радостью заразил! Что угодно — лишь бы растлить, подорвать, ослабить. Он потянул ее вниз — теперь оба стояли на коленях.

— Слушай, чем больше у тебя было мужчин, тем больше я тебя люблю. Ты понимаешь?

— Да, отлично.

— Я ненавижу чистоту, ненавижу благонравие. Хочу, чтобы добродетелей вообще не было на свете. Я хочу, чтобы все были испорчены до мозга костей.

— Ну, тогда я тебе подхожу, милый. Я испорчена до мозга костей.

— Ты любишь этим заниматься? Не со мной, я спрашиваю, — а вообще?

— Обожаю.

Это он и хотел услышать больше всего. Не просто любовь к одному мужчине, но животный инстинкт, неразборчивое вождение — вот сила, которая разорвет партию в клочья. Он повалил ее на траву, на рассыпанные колокольчики. На этот раз все получилось легко. Потом, отдышавшись, они в сладком бессилии отвалились друг от друга. Солнце как будто грело жарче. Обоим захотелось спать. Он протянул руку к отброшенному комбинезону и прикрыл ее. Они почти сразу уснули и проспали с полчаса.

Уинстон проснулся первым. Он сел и посмотрел на веснушчатое лицо, спокойно лежавшее на ладони. Красивым в нем было, пожалуй, только рот. Возле глаз, если приглядеться, уже залегли морщинки. Короткие темные волосы были необычайно густы и мягки. Он вспомнил, что до сих пор не знает, как ее фамилия и где она живет.

Молодое сильное тело стало беспомощным во сне, и Уинстон смотрел на него с жалостливым, покровительственным чувством. Но та бессмысленная нежность, которая овладела им в орешнике, когда пел дрозд, вернулась не вполне. Он поднял край комбинезона и посмотрел на ее гладкий белый бок. Прежде, подумал он, мужчина смотрел на женское тело, видел, что оно желанно, и дело о концом. А нынче не может быть ни чистой любви, ни чистого вождения. Нет чистых чувств, все смешаны со страхом и ненавистью. Их любовные объятия были боем, а завершение — победой. Это был удар по партии. Это был политический акт.

III

— Мы можем прийти сюда еще раз, — сказала Джулия. — Два раза использовать одно укрытие, в общем, неопасно. Но, конечно, не раньше чем через месяц или два.

Проснулась Джулия другой — собранной и деловитой. Сразу оделась, зянула на себе алый кушак и стала объяснять план возвращения. Естественно было предоставить руководство ей. Она обладала практической сметкой — не в пример Уинстону, — а кроме того, в бесчисленных туристских походах досконально изучила окрестности Лондона. Обратный маршрут она дала ему совсем другой, и заканчивался он на другом вокзале. «Никогда не возвращайся тем же путем, каким приехал», — сказала она, будто провозгласила некий общий принцип. Она уйдет первой, а Уинстон должен выждать полчаса.

Она назвала место, где они смогут встретиться через четыре вечера после работы. Это была улица в бедном районе — там рынок, всегда шумно и людно. Она будет бродить возле ларьков якобы в поисках шнурков или ниток. Если она сочтет, что опасности нет, то при его приближении высморкается; в противном случае он должен пройти мимо, как бы не заметив ее. Но если повезет, то в гущу народа можно четверть часа поговорить и условиться о новой встрече.

— А теперь мне пора, — сказала она, когда он усвоил предписания. — Я должна вернуться к девятнадцати тридцати. Надо отработать два часа в Молодежном антиполовом союзе — раздавать листовки или что-то такое. Ну не гадость? Отряхни меня, пожалуйста. Травы в волосах нет? Ты уверен? Тогда до свидания, любимый, до свидания.

Она кинулась к нему в объятия, поцеловала его почти иступленно, а через мгновение уже протиснулась между молодых деревьев и бесшумно исчезла в лесу. Он так и не узнал ее фамилию и адрес. Но это не имело значения: под крышей им не встретиться и писем друг другу не писать.

Вышло так, что на прогулку они больше не вернулись. За май им только раз удалось побыть вдвоем. Джулия выбрала другое место — колокольню разрушенной церкви в почти безлюдной местности, где тридцать лет назад сбросили атомную бомбу. Убежище было хорошее, но дорога туда — очень опасна. В остальном они встречались только на улицах, каждый вечер в новом месте и не больше чем на полчаса. На улице можно было поговорить — более или менее. Двигаясь в толчее по тротуару не рядом и не глядя друг на друга, они вели странный разговор, прерывистый, как миганье маяка: когда поблизости был телекран или навстречу шел партиз в форме, разговор замолкал, потом возобновлялся на середине фразы; там, где они условились расстаться, он резко обрывался и продолжался снова почти без вступления на следующий вечер. Джулия, видимо, привыкла к такому способу вести беседу — у нее это называлось разговором в рассрочку. Кроме того, она удивительно владела искусством говорить не шевеля губами. За месяц, встречаясь почти каждый вечер, они только раз смогли поцеловаться. Они молча шли по переулку (Джулия не разговаривала, когда они уходили с больших улиц), как вдруг раздался оглушительный грохот, мостовая всколыхнулась, воздух потемнел, и Уинстон очутился на земле, испуганный, весь в ссадинах. Ракета, должно быть, упала совсем близко. В нескольких сантиметрах он увидел лицо Джулии, мертвенно бледное, белое как мел. Даже губы были белые. Убита! Он прижал ее к себе, и вдруг оказалось, что целует он живое, теплое лицо, только на губах у него все время какой-то порошок. Лица у обоих были густо засыпаны алебастровой пылью.

Случались и такие вечера, когда они приходили на место встречи и расходились, не взглянув друг на друга: то ли патруль появился из-за поворота, то ли зависел над головой вертолет. Не говоря об опасности, им было попросту трудно выкроить время для встреч. Уинстон работал шестьдесят часов в неделю, Джулия еще больше, выходные дни зависели от количества работы и совпадали не часто. Вдобавок у Джулии редко выдавался вполне свободный вечер. Удивительно много времени она тратила на посещение лекций и демонстраций, на раздачу литературы в Молодежном антиполовом союзе, изготовление лозунгов к Неделе ненависти, сбор всяческих добровольных взносов и тому подобные дела. Это окупается, сказала она, — маскировка. Если соблюдаешь мелкие правила, можно нару-

шать большие. Она и Уинстона уговорила пожертвовать еще одним вечером — записаться на работу по изготовлению боеприпасов, которую добровольно выполняли во внеслужебное время усердные партийцы. И теперь раз в неделю, изнемогая от скуки, в сумрачной мастерской, где гуляли сквозняки и унылый стук молотков мешался с телемузыкой, Уинстон по четыре часа свинчивал какие-то железки — наверно, детали бомбовых взрывателей.

Когда они встретились на колокольне, пробелы в их отрывочных разговорах были заполнены. День стоял знойный. В квадратной комнатке над звонницей было душно и нестерпимо пахло голубиным пометом. Несколько часов они просидели на пыльном полу, замусоренном хворостинками, и разговаривали; иногда один из них вставал и подходил к окошкам — посмотреть, не идет ли кто.

Джулия было двадцать шесть лет. Она жила в общежитии еще с тридцатью молодыми женщинами («Все провоняло бабами! До чего я ненавижу баб!» — заметила она мимоходом), а работала, как он и догадывался, в отделе литературы на машине для сочинения романов. Работа ей нравилась — она обслуживала мощный, но капризный электромотор. Она была «неспособной», но любила работать руками и хорошо разбиралась в технике. Могла описать весь процесс сочинения романа — от общей директивы, выданной плановым комитетом, до заключительной правки в редакционной группе. Но сам конечный продукт ее не интересовал. «Читать не охотница», — сказала она. Книги были одним из потребительских товаров, как пювздо и шнурки для ботинок.

О том, что происходило до шестидесятих годов, воспоминаний у нее не сохранилось, а среди людей, которых она знала, лишь один человек часто говорил о дореволюционной жизни — это был ее дед, но он исчез, когда ей шел девятый год. В школе она была капитаном хоккейной команды и два года подряд выигрывала первенство по гимнастике. В разведчицах она была командиром отряда, а в Союзе юных, до того, как вступила в Молодежный антиполовой союз, — секретарем отделения. Всюду на отличном счету. Ее даже выдвинули (признак хорошей репутации) на работу в порносеке, подразделении литературного отдела, выпускающем дешевую порнографию для пролов. Сотрудники называли его Навозным домом, сказала она. Там Джулия проработала год, занимаясь изготовлением таких книжечек, как «Озорные рассказы» и «Одна ночь в женской школе», — эту литературу рассылают в запечатанных пакетах, и пролетарская молодежь покупает ее украдкой, полагая, что покупает запретное.

— Что это за книжки? — спросил Уинстон.

— Жуткая дребедень. И скучища, между прочим. Есть всего шесть сюжетов, их слегка тасуют. Я, конечно, работала только на калейдоскопах. В редакционной группе — никогда. Я, милый, мало смыслю в литературе.

Он с удивлением узнал, что, кроме главного, все сотрудники порносека — девушки. Идея в том, что половой инстинкт у мужчин труднее контролируется, чем у женщин, а следовательно, набраться грязи на такой работе мужчина может с большей вероятностью.

— Там даже замужних женщин не держат, — сказала Джулия. — Считается ведь, что девушки — чистые создания. Перед тобой пример обратного.

Первый роман у нее был в шестнадцать лет — с шестидесятилетним партийцем, который впоследствии покончил с собой, чтобы избежать ареста. «И правильно сделал, — добавила Джулия. — У него бы и мое имя вытянули на допросе». После этого у нее были разные другие. Жизнь в ее представлении была штука простая. Ты хочешь жить весело; «они», то есть партия, хотят тебе помешать; ты нарушаешь правила как можешь. То, что «они» хотят отнять у тебя удовольствия, казалось ей таким же естественным, как то, что ты не хочешь попасться. Она ненавидела партию и выражала это самыми грубыми словами, но в целом ее не критиковала. Партийным учением Джулия интересовалась лишь в той степени, в какой оно затрагивало ее личную жизнь. Уинстон заметил, что и новоязовских слов она не употребляет — за исключением тех, которые вошли в общий обиход. О Братстве она никогда не слышала и верить в его существование не желала. Любой организованный бунт против партии, поскольку он обречен, представлялся ей глупостью. Умный тот, кто нарушает правила и все-таки остается жив. Уинстон рассеянно спросил себя, много ли таких, как она, в молодом поколении — среди людей, которые выросли в революционном мире, ничего другого

не знают и принимают партию как нечто незыблемое, как небо, не встают против ее владычества, а просто пытаются из-под него ускользнуть, как кролик от собаки.

О женитьбе они не заговаривали. Слишком призрачное дело — не стоило о нем и думать. Даже если бы удалось избавиться от Кэтрин, жены Уинстона, ни один комитет не даст им разрешения. Даже как мечта это безнадежно.

— Какая она была — твоя жена? — спросила Джулия.

— Она?.. Ты знаешь, в новоязе есть слово «благомыслящий». Означает: правоверный от природы, не способный на дурную мысль.

— Нет, слова не знаю, а породу эту знаю, и даже очень.

Он стал рассказывать ей о своей супружеской жизни, но, как ни странно, все самое главное она знала и без него. Она описала ему, да так, словно сама видела или чувствовала, как цепенела при его прикосновении Кэтрин, как, крепко обнимая его, в то же время будто отталкивала изо всей силы. С Джулией ему было легко об этом говорить, да и Кэтрин из мучительного воспоминания давно превратилась всего лишь в противное.

— Я бы вытерпел, если бы не одна вещь. — Он рассказал ей о маленькой холодной церемонии, к которой его принуждала Кэтрин, всегда в один и тот же день недели. — Терпеть этого не могла, но помешать ей было нельзя никакими силами. У нее это называлось... никогда не догадаешься.

— Наш партийный долг, — без промедления отозвалась Джулия.

— Откуда ты знаешь?

— Милый, я тоже ходила в школу. После шестнадцати лет — раз в месяц беседы на половые темы. И в Союзе юных. Это вбивают годами. И я бы сказала, во многих случаях действует. Конечно, никогда не угадаешь: люди — лицемеры...

Она увлеклась темой. У Джулии все неизменно сводилось к ее сексуальности. И когда речь заходила об этом, ее суждения бывали очень пронизательны. В отличие от Уинстона она поняла смысл пуританства, насаждаемого партией. Дело не только в том, что половой инстинкт творит свой собственный мир, который неподвластен партии, а значит, должен быть по возможности уничтожен. Еще важнее то, что половой голод вызывает истерию, а она желательна, ибо ее можно преобразовать в военное неистовство и в поклонение вождю. Джулия выразила это так:

— Когда спишь с человеком, тратишь энергию; а потом тебе хорошо и на все наплевать. Им это — поперек горла. Они хотят, чтобы энергия в тебе бурлила постоянно. Вся эта маршировка, крики, маханье флагами — просто секс протухший. Если ты сам по себе счастлив, зачем тебе возбуждаться из-за Старшего Брата, трехлетних планов, двухминутки ненависти и прочей гнусной ахинеи?

Очень верно, подумал он. Между воздержанием и политической правоверностью есть прямая и тесная связь. Как еще разогреть до нужного градуса ненависть, страх и кретинскую доверчивость, если не закупорив наглухо какой-то могучий инстинкт, дабы он превратился в топливо? Половое влечение было опасно для партии, и партия поставила его себе на службу. Такой же фокус проделали с родительским инстинктом. Семью отменить нельзя, напротив, любовь к детям, сохранившуюся почти в прежнем виде, поощряют. Детей же систематически настраивают против родителей, учат шпионить за ними и доносить об их отклонениях. По существу, семья стала придатком полиции мыслей. К каждому человеку круглые сутки приставлен осведомитель — его близкий.

Неожиданно мысли Уинстона вернулись к Кэтрин. Если бы Кэтрин была не так глупа и смогла уловить неортодоксальность его мнений, она непременно донесла бы в полицию мыслей. А напомнили ему о жене зной и духота, испарина на лбу. Он стал рассказывать Джулии о том, что произошло, а внее, не произошло в такой же жаркий день одиннадцать лет назад.

Случилось это через три или четыре месяца после женитьбы. В туристском походе, где-то в Кенте, они отстали от группы. Замешкались на каких-нибудь две минуты, но повернули не туда и вскоре вышли к старому меловому карьере. Путь им преградил обрыв в десять или двадцать метров; на дне лежали валуны. Спросить дорогу было не у кого. Сообразив, что они сбились с пути, Кэтрин забеспокоилась. Отстать от шумной ватаги туристов хотя бы на минуту для нее уже было нарушением. Она хотела сразу бежать назад, искать группу в другой

стороне. Но тут Уинстон заметил дербенник, росший пучками в трещинах каменного обрыва. Один был с двумя цветками — ярко-красным и кирпичным, — они росли из одного корня. Уинстон ничего подобного не видел и позвал Кэтрин:

— Кэтрин, смотри! Смотри, какие цветы. Вон тот кустик в самом низу. Видишь, двухцветный?

Она уже пошла прочь, но вернулась, не скрывая раздражения. И даже наклонилась над обрывом, чтобы разглядеть, куда он показывает. Уинстон стоял сзади и придерживал ее за талию. Вдруг ему пришло в голову, что они здесь совсем одни. Ни души кругом, листик не шелохнется, птицы и те затихли. В таком месте можно было почти не бояться скрытого микрофона, да если и есть микрофон — что он уловит, кроме звука? Был самый жаркий, самый сонный послеполуденный час. Солнце палило, пот щекотал лицо. И у него мелькнула мысль...

— Толкнул бы ее как следует, — сказала Джулия. — Я бы обязательно толкнула.

— Да, милая, ты бы толкнула. И я бы толкнул, будь я таким, как сейчас. А может... Не уверен.

— Жалеешь, что не толкнул?

— Да. В общем, жалею.

Они сидели рядышком на пыльном полу. Он притянул ее поближе. Голова ее легла ему на плечо, и свежий запах ее волос был сильнее, чем запах голубиного помета. Она еще очень молодая, подумал он, еще ждет чего-то от жизни, она не понимает, что, столкнув неприятного человека с кручи, ничего не решишь.

— По сути, это ничего бы не изменило.

— Тогда почему жалеешь, что не толкнул?

— Только потому, что действие предпочитаю бездействию. В этой игре, которую мы ведем, выиграть нельзя. Одни неудачи лучше других — вот и все.

Джулия упрямо передернула плечами. Когда он высказывался в таком духе, она ему возражала. Она не желала признавать законом природы то, что человек обречен на поражение. В глубине души она знала, что приговорена, что рано или поздно полиция мыслей настигнет ее и убьет, но вместе с тем верила, будто можно выстроить отдельный тайный мир и жить там, как тебе хочется. Для этого нужно только везение да еще ловкость и дерзость. Она не понимала, что счастья не бывает, что победа возможна только в отдаленном будущем и тебя к тому времени давно не будет на свете, что с той минуты, когда ты объявил партии войну, лучше всего считать себя трупом.

— Мы покойники, — сказал он.

— Еще не покойники, — прозаически поправила его Джулия.

— Не телесно. Через полгода, через год... ну, предположим, через пять. Я боюсь смерти. Ты молодая и, надо думать, боишься больше меня. Ясно, что мы будем оттягивать ее как можем. Но разница маленькая. Покуда человек остается человеком, смерть и жизнь — одно и то же.

— Тьфу, чепуха. С кем ты захочешь спать — со мной или со скелетом? Ты не радуешься тому, что жив? Тебе неприятно чувствовать: вот я, вот моя рука, моя нога, я хожу, я дышу, я живу! Это тебе не нравится?

Она повернулась и прижалась к нему грудью. Он чувствовал ее грудь сквозь комбинезон — спелую, но твердую. В его тело будто переливалась молодость и энергия из ее тела.

— Нет, это мне нравится, — сказал он.

— Тогда перестань говорить о смерти. А теперь слушай, милый, — нам надо условиться о следующей встрече. Свободно можем поехать на то место, в лес. Перерыв был вполне достаточный. Только ты должен добираться туда другим путем. Я уже все рассчитала. Садись в поезд... подожди, я тебе нарисую.

И, практичная, как всегда, она сгребла в квадратик пыль на полу и хворостинкой из голубиного гнезда стала рисовать карту.

IV

Уинстон обвел взглядом запущенную комнатку над лавкой мистера Чаррингтона. Широкая, с голым валиком кровать возле окна была застлана драпированными одеялами. На каминной доске тикали старинные часы с двенадцатичасо-

вым циферблатом. В темном углу на раздвижном столе поблескивало стеклянное пресс-папье, которое он принес сюда в прошлый раз.

В камине стояла помятая керосинка, кастрюля и две чашки — все это было выдано мистером Чаррингтоном. Уинстон зажег керосинку и поставил кастрюлю с водой. Он принес с собой полный конверт кофе «Победа» и сахариновые таблетки. Часы показывали двадцать минут восьмого, это значило девятнадцать двадцать. Она должна была прийти в девятнадцать тридцать.

Безрассудство, безрассудство, твердило ему сердце, самоубийственная прихоть и безрассудство. Из всех преступлений, какие может совершить член партии, это скрыть труднее всего. Идея зародилась у него как видение: стеклянное пресс-папье, отразившееся в крышке раздвижного стола. Как он и ожидал, мистер Чаррингтон охотно согласился сдать комнату. Он был явно рад этим нескольким лишним долларам. А когда Уинстон объяснил ему, что комната нужна для свиданий с женщиной, он и не оскорбился и не перешел на противный доверительный тон. Глядя куда-то мимо, он завел разговор на общие темы, причем с такой деликатностью, что сделался как бы отчасти невидим. Уединиться, сказал он, для человека очень важно. Каждому время от времени хочется побыть одному. И когда человек находит такое место, те, кто об этом знает, должны хотя бы из простой вежливости держать эти сведения при себе. Он добавил — причем создалось впечатление, будто его уже здесь почти нет, — что в доме два входа, второй — со двора, а двор открывается в проулок.

Под окном кто-то пел. Уинстон выглянул, укрывшись за муслиновой занавеской. Июньское солнце еще стояло высоко, а на освещенном дворе топала взад-вперед между корытом и бельевой веревкой громадная, мощная, как норманнский столб, женщина с красными мускулистыми руками и развешивала квадратные тряпочки, в которых Уинстон угадал детские пеленки. Когда ее рот освобождался от прищепок, она запевала сильным контральто:

Давно уж нет мечтаний, сердцу милых.
Они прошли, как первый день весны,
Но позабыть я и теперь не в силах
Тем голосом навеянные сны!

Последние недели весь Лондон был помешан на этой песенке. Их в бесчисленном множестве выпускала для пролов особая секция музыкального отдела. Слова сочинялись вообще без участия человека — на аппарате под названием версификатор. Но женщина пела так мелодично, что эта страшная дребедень почти радовала слух. Уинстон слышал и ее песню, и шарканье ее туфель по каменным плитам, и детские выкрики на улице, и отдаленный гул транспорта, но при всем этом в комнате стояла удивительная тишина: тут не было телекрана.

Безрассудство, безрассудство! — снова подумал он. Несколько недель встречаться здесь и не попасться — мыслимое ли дело? Но слишком велико для них было искушение иметь свое место — под крышей и недалеко. После свидания на колокольне они никак не могли встретиться. К Неделе ненависти рабочий день резко удлиненили. До нее еще оставалось больше месяца, но громадные и сложные приготовления всем прибавили работы. Наконец Джулия и Уинстон выхлопотали себе свободное время после обеда в один день. Решили поехать на прогалину. Накануне они ненадолго встретились на улице. Пока они пробирались навстречу друг другу в толпе, Уинстон, по обыкновению, почти не смотрел в сторону Джулии, но даже одного взгляда ему было достаточно, чтобы заметить ее бледность.

— Все сорвалось, — пробормотала она, когда увидела, что можно говорить. — Я о завтрашнем.

— Что?

— Завтра. Не смогу после обеда.

— Почему?

— Да обычная история. В этот раз рано начали.

Сперва он ужасно рассердился. Теперь, через месяц после их знакомства, его тянуло к Джулии совсем по-другому. Тогда настоящей чувственности в этом было мало. Их первое любовное свидание было просто волевым поступком. Но

после второго все изменилось. Запах ее волос, вкус губ, ощущение от ее кожи будто поселились в нем или же пропитали весь воздух вокруг. Она стала физической необходимостью, он ее не только хотел, но и как бы имел на нее право. Когда она сказала, что не сможет прийти, ему почудилось, что она его обманывает. Но тут как раз толпа прижала их друг к другу, и руки их нечаянно соединились. Она быстро сжала ему кончики пальцев, и это пожатие как будто просило не страсти, а просто любви. Он подумал, что, когда живешь с женщиной, такие осечки в порядке вещей и должны повторяться; и вдруг почувствовал глубокую, незнакомую доселе нежность к Джулии. Ему захотелось, чтобы они были мужем и женой и жили вместе уже десять лет. Ему захотелось идти с ней по улице, как теперь, только не таясь, без страха, говорить о пустяках и покупать всякую ерунду для дома. А больше всего захотелось найти такое место, где они смогли бы побыть вдвоем и не чувствовать, что обязаны урвать любви на каждом свидании. Но не тут, а только на другой день родилась у него мысль снять комнату у мистера Чаррингтона. Когда он сказал об этом Джулии, она на удивление быстро согласилась. Оба понимали, что это сумасшествие. Они сознательно сделали шаг к могиле. И сейчас, сидя на краю кровати, он думал о подвалах министерства любви. Интересно, как этот неотвратимый кошмар то уходит из твоего сознания, то возвращается. Вот он поджидает тебя где-то в будущем, и смерть следует за ним так же, как за девяносто девятью следует сто. Его не избежать, но оттянуть наперед можно; а вместо этого каждым таким поступком ты умышленно, добровольно его приближаешь.

На лестнице послышались быстрые шаги. В комнату ворвалась Джулия. У нее была коричневая брезентовая сумка для инструментов — с такой он не раз видел ее в министерстве. Он было обнял ее, но она поспешно освободилась — может быть, потому, что еще держала сумку.

— Подожди, — сказала она. — Дай покажу, что я притащила. Ты принес эту гадость, кофе «Победа»? Так и знала. Можешь отнести его туда, откуда взял, — он не понадобится. Смотри.

Она встала на колени, раскрыла сумку и вывалила лежавшие сверху гаечные ключи и отвертку. Под ними были спрятаны аккуратные бумажные пакеты. В первом, который она протянула Уинстону, было что-то странное, но как будто знакомое на ощупь. Тяжелое вещество подавалось под пальцами, как песок.

— Это не сахар? — спросил он.

— Настоящий сахар. Не сахарин, а сахар. А вот батон хлеба — порядочного белого хлеба, не нашей дряни... и баночка джема. Тут банка молока... и смотри! Вот моя главная гордость! Пришлось завернуть в мешковину, чтобы...

Но она могла не объяснять, зачем завернула. Запах уже наполнил комнату, густой и теплый; повеяло ранним детством, хотя и теперь случалось этот запах слышать: то в проулке им потянет до того, как захлопнулась дверь, то таинственно расплывется он вдруг в уличной толпе и тут же рассеется.

— Кофе, — пробормотал он, — настоящий кофе.

— Кофе для внутренней партии. Целый килограмм.

— Где ты столько всякого достала?

— Продукты для внутренней партии. У этих сволочей есть все на свете. Но, конечно, официанты и челядь воруют... смотри, еще пакетик чая.

Уинстон сел рядом с ней на корточки. Он надорвал угол пакета.

— И чай настоящий. Не черносмородиновый лист.

— Чай в последнее время появился. Индию заняли или вроде того, — рассеянно сказала она. — Знаешь что, милый? Отвернись на три минуты, ладно? Сядь на кровать с другой стороны. Не подходи близко к окну. И не оборачивайся, пока не скажу.

Уинстон празднично глядел на двор из-за муслиновой занавески. Женщина с красными руками все еще расхаживала между корытом и веревкой. Она вынула изо рта две прищепки и с сильным чувством запела:

Пусть говорят мне — время все излечит,
Пусть говорят — страдания забудь,
Но музыка давно забытой речи
Мне и сегодня разрывает груди!

Всю эту идиотскую песенку она, кажется, знала наизусть. Голос плыл в нежном летнем воздухе, очень мелодичный, полный какой-то счастливой меланхолии. Казалось, что она будет вполне довольна, если никогда не кончится этот летний вечер, не иссякнут запасы белья, и готова хоть тысячу лет развешивать тут пеленки и петь всякую чушь. Уинстон с удивлением подумал, что ни разу не видел партийца, поющего в одиночку и для себя. Это сочли бы даже вольнодумством, опасным чудачеством, вроде привычки разговаривать с собой вслух. Может быть, людям только тогда и есть о чем петь, когда они на грани голода.

— Можешь повернуться, — сказала Джулия.

Уинстон обернулся и не узнал ее. Он ожидал увидеть ее голой. Но она была не голая. Превращение ее оказалось куда замечательнее. Она накружилась.

Должно быть, она украдкой забежала в какую-нибудь из пролетарских лавочек и купила полный набор косметики. Губы — ярко-красные от помады, щеки нарумянены, нос напудрен; и даже глаза подвела: они стали ярче. Сделала она это не очень умело, но и запросы Уинстона были весьма скромны. Он никогда не видел и не представлял себе партийную женщину с косметикой на лице. Джулия похорошела удивительно. Чуть-чуть краски в нужных местах — и она стала не только красивее, но и, самое главное, женственнее. Короткая стрижка и мальчишеский комбинезон лишь усиливали впечатление. Когда он обнял Джулию, на него пахнуло синтетическим запахом фиалок. Он вспомнил сумрак полуподвальной кухни и рот женщины, похожий на пещеру. От нее пахло теми же духами, но сейчас это не имело значения.

— Духи! — сказал он.

— Да, милый, духи. И знаешь, что я теперь сделаю? Где-нибудь достану настоящее платье и надену вместо этих гнусных брюк. Надену шелковые чулки и туфли на высоком каблуке. В этой комнате я буду женщина, а не товарищ!

Они скинули одежду и забрались на громадную кровать из красного дерева. Он впервые разделся перед ней догола. До сих пор он стыдился своего бледного, хилого тела, синих вен на икрах, красного пятна над шиколоткой. Белья не было, но одеяло под ними было вытертое и мягкое, а ширина кровати обоих изумила.

— Клопов, наверно, тьма, но какая разница? — сказала Джулия.

Двухспальную кровать можно было увидеть только в домах у пролов. Уинстон спал на похожей в детстве; Джулия, сколько помнила, не лежала на такой ни разу.

После они ненадолго уснули. Когда Уинстон проснулся, стрелки часов подбирались к девяти. Он не шевелился — Джулия спала у него на руке. Почти все румяна перешли на его лицо, на валик, но и то небольшое, что осталось, все равно оттеняло красивую лепку ее скулы. Желтый луч закатного солнца падал на изножье кровати и освещал камин — там давно кипела вода в кастрюле. Женщина на дворе уже не пела, с улицы негромко доносились выкрики детей. Он лениво подумал: неужели в отмененном прошлом это было обычным делом — мужчина и женщина могли лежать в постели прохладным вечером, ласкать друг друга когда захочется, разговаривать о чем вздумается и никуда не спешить, просто лежать и слушать мирный уличный шум? Нет, не могло быть такого времени, когда это считалось нормальным. Джулия проснулась, протерла глаза и, приподнявшись на локте, поглядела на керосинку.

— Вода наполовину выкипела, — сказала она. — Сейчас встану, заварю кофе. Еще час есть. У тебя в доме когда выключают свет?

— В двадцать три тридцать.

— А в общежитии — в двадцать три. Но возвращаться надо раньше, иначе... Ах ты! Пошла, гадина!

Она свесилась с кровати, схватила с пола туфлю и, размахнувшись по-мальчишески, швырнула в угол, как тогда на двухминутке ненависти — словарем в Голдстейна.

— Что там такое? — с удивлением спросил он.

— Крыса. Из панели, тварь, морду высунула. Нсра у ней там. Но я ее хорошо пугнула.

— Крысы! — прошептал Уинстон. — В этой комнате?

— Да их полно, — равнодушно ответила Джулия и снова легла. — В некоторых районах кишмя кишат. А ты знаешь, что они нападают на детей? Нападают.

Кое-где женщины на минуту не могут оставить грудного. Бояться надо старых, коричневых. А самое противное — что эти твари...

— Перестаны! — Уинстон крепко зажмурил глаза.

— Миленький! Ты прямо побледнел. Что с тобой? Не переносишь крыс?

— Крыс... Нет ничего страшней на свете.

Она прижалась к нему, обвила его руками и ногами, словно хотела успокоить теплом своего тела. Он не сразу открыл глаза. Несколько мгновений у него было такое чувство, будто его погрузили в знакомый кошмар, который посещал его на протяжении всей жизни. Он стоит перед стеной мрака, а за ней — что-то невыносимое, настолько ужасное, что нет сил смотреть. Главным во сне было ощущение, что он себя обманывает: на самом деле ему известно, что находится за стеной мрака. Чудовищным усилием, выворотив кусок собственного мозга, он мог бы даже извлечь это на свет. Уинстон всегда просыпался, так и не выяснив, что там скрывалось... И вот прерванный на середине рассказ Джулии имел какое-то отношение к его кошмару.

— Извини, — сказал он. — Пустяки. Крыс не люблю, больше ничего.

— Не волнуйся, милый, мы этих тварей сюда не пустим. Перед уходом заткну дыру тряпкой. А в следующий раз принесу штукатурку, и забьем как следует.

Черный миг паники почти выветрился из головы. Слегка устыдившись, Уинстон сел к изголовью. Джулия слезла с кровати, надела комбинезон и сварила кофе. Аромат из кастрюли был до того силен и соблазнителен, что они закрыли окно: почует кто-нибудь на дворе и станет любопытничать. Самым приятным в кофе был даже не вкус, а шелковистость на языке, которую придавал сахар, — ощущение, почти забытое за многие годы питья с сахарином. Джулия, засунув одну руку в карман, а в другой держа бутерброд с джемом, бродила по комнате, безразлично скользила взглядом по книжной полке, объясняла, как лучше всего починить раздвижной стол, падала в кресло — проверить, удобное ли, — весело и снисходительно разглядывала двенадцатичасовой циферблат. Принесла на кровать, поближе к свету, стеклянное пресс-папье. Уинстон взял его в руки и в который раз залюбовался мягкой дождевой глубиной стекла.

— Для чего эта вещь, как думаешь? — спросила Джулия.

— Думаю, ни для чего... то есть ею никогда не пользовались. За это она мне и нравится. Маленький обломок истории, который забыли переделать. Весточка из прошлого века — знать бы, как ее прочесть.

— А картинка на стене, — она показала подбородком на гравюру, — неужели тоже прошлого века?

— Старше. Пожалуй, позапрошлого. Трудно сказать. Теперь ведь возраста ни у чего не установишь.

Джулия подошла к гравюре поближе.

— Вот откуда эта тварь высывалась, — сказала она и пнула стену прямо под гравюрой. — Что это за дом? Я его где-то видела.

— Это церковь — по крайней мере была церковью. Называлась — церковь святого Климента у датчан. — Он вспомнил начало стишка, которому его научил мистер Чаррингтон, и с грустью добавил: — «Апельсинчики как мед, — в колокол Сент-Клемент бьет».

К его изумлению, она подхватила:

— И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!
А Олд-Бейли ох сердит:
Возвращай должок! — гудит.

Что там дальше, не могу вспомнить. Помню только, чем кончается: «Вот зажгу я пару свеч — ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч — и голвка твоя с плеч».

Это было как пароль и отзыв. Но после «Олд-Бейли» должно идти что-то еще. Может быть, удастся извлечь из памяти мистера Чаррингтона, если правильно его настроить.

— Кто тебя научил? — спросил он.

— Дед научил. Я была еще маленькой. Его распылили, когда мне было восемь лет... во всяком случае, он исчез... Интересно, какие они были, апельсины, — неожиданно сказала она. — А лимоны я видела. Желтоватые, остроносые.

— Я помню лимоны, — сказал Уинстон. — В пятидесятые годы их было много. Такие кислые, что только понюхаешь — и то уже слюна бежит.

— За картинкой наверняка живут клопы, — сказала Джулия. — Как-нибудь сниму ее и хорошенько почищу. Кажется, нам пора. Мне еще надо смыть краску. Какая тоска! А потом сотру с тебя помаду.

Уинстон еще несколько минут поваялся. В комнате темнело. Он повернулся к свету и стал смотреть на пресс-папье. Не коралл, а внутренность самого стекла — вот что без конца притягивало взгляд. Глубина и вместе с тем почти воздушная его прозрачность. Подобно небесному своду, стекло замкнуло в себе целый крохотный мир вместе с атмосферой. И чудилось Уинстону, что он мог бы попасть внутрь, что он уже внутри — и он, и эта кровать красного дерева, и раздвижной стол, и часы, и гравюра, и само пресс-папье. Оно было этой комнатой, а коралл — жизнью его и Джулии, словно в вечность запаянной в сердцевину хрустала.

V

Исчез Сайм. Утром не пришел на работу; недалекие люди поговорили о его отсутствии. На другой день о нем никто не упоминал. На третий Уинстон сходил в вестибюль отдела документации и посмотрел на доску объявлений. Там был печатный список Шахматного комитета, где состоял Сайм. Список выглядел почти как раньше — никто не вычеркнут, — только стал на одну фамилию короче. Все ясно. Сайм перестал существовать; он никогда не существовал.

Жара стояла изнурительная. В министерских лабиринтах, в кабинетах без окон кондиционеры поддерживали нормальную температуру, но на улице тротуар обжигал ноги, и вонь в метро в часы пик была несусветная. Приготовления к Неделе ненависти шли полным ходом, и сотрудники министерств работали сверхурочно. Шествия, митинги, военные парады, лекции, выставки восковых фигур, показ кинофильмов, специальные телепрограммы — все это надо было организовать; надо было построить трибуны, смонтировать статуи, отшлифовать лозунги, сочинить песни, запустить слухи, подделать фотографии. В отделе литературы секцию Джулии сняли с романов и бросили на брошюры о зверствах. Уинстон в дополнение к обычной работе подолгу просиживал за подшивками «Таймс», меняя и разукрашивая сообщения, которые предстояло цитировать в докладах. Поздними вечерами, когда по улицам бродили толпы буйных пролов, Лондон словно лихорадило. Ракеты падали на город чаще обычного, а иногда в отдалении слышались чудовищные взрывы — объяснить эти взрывы никто не мог, и о них ползли дикие слухи.

Сочинена уже была и непрерывно передавалась по телекрану музыкальная тема Недели — новая мелодия под названием «Песня ненависти». Построенная на свирепом, лающем ритме и мало чем похожая на музыку, она больше всего напоминала барабанный бой. Когда ее орали в тысячу глоток, под топот ног, впечатление получалось устрашающее. Она полюбилась пролам и уже теснила на ночных улицах все еще популярную «Давно уж нет мечтаний». Дети Парсонса исполняли ее в любой час дня и ночи убийственно, на гребенках. Теперь вечера Уинстона были загружены еще больше. Отряды добровольцев, набранные Парсонсом, готовили улицу к Неделе ненависти, делали транспаранты, рисовали плакаты, ставили на крышах флагштоки, с опасностью для жизни натягивали через улицу проволоку для будущих лозунгов. Парсонс хвастал, что дом «Победа» один вывесит четыреста погонных метров флагов и транспарантов. Он был в своей стихии и радовался, как дитя. Благодаря жаре и физическому труду он имел полное основание переодеваться вечером в шорты и свободную рубашку. Он был повсюду одновременно — тянул, толкал, пилил, заколачивал, изобретал, по-товарищески подбадривал и каждой складкой неиссякаемого тела источал едкое пахнущий пот.

Вдруг весь Лондон украсился новым плакатом. Без подписи: огромный, в три-четыре метра, евразийский солдат с непроницаемым монголоидным лицом и в гигантских сапогах шел на зрителя с автоматом, целясь от бедра. Где бы ты

ни стал, увеличенное перспективой дуло автомата смотрело на тебя. Эту штуку клеили на каждом свободном месте, на каждой стене, и численно она превосходила даже портреты Старшего Брата. У пролов, войной обычно не интересовавшихся, сделался, как это периодически с ними бывало, припадок патриотизма. И, словно для поддержания воинственного духа, ракеты стали уничтожать больше людей, чем всегда. Одна угодила в переполненный кинотеатр в районе Степни и погребла под развалинами несколько сот человек. На похороны собрались все жители района; процессия тянулась несколько часов и вылилась в митинг протеста. Другая ракета упала на пустырь, занятый под детскую площадку, и разорвала в клочья несколько десятков детей. Снова были гневные демонстрации, жгли чучело Голдстейна, сотнями срывали и предавали огню плакаты с евразийцем; во время беспорядков разграбили несколько магазинов; потом разнесся слух, что шпионы наводят ракеты при помощи радиоволн, — у старой четы, заподозренной в иностранном происхождении, подожгли дом, и старики задохнулись в дыму.

В комнате над лавкой мистера Чаррингтона Джулия и Уинстон ложились на незастланную кровать и лежали под окном, голые из-за жары. Крыса больше не появлялась, но клоп плодился в тепле ужасающе. Их это не трогало. Грязная ли, чистая ли, комната была раем. Едва переступив порог, они посыпали все перцем, купленным на черном рынке, скидывали одежду и, потные, предавались любви; потом их смаривало, а проснувшись, они обнаруживали, что клопы воспряли и стягиваются для контракта.

Четыре, пять, шесть... семь раз встречались они так в июне. Уинстон избавился от привычки пить джин во всякое время дня. И как будто не испытывал в нем потребности. Он пополнил, варикозная язва его затянулась, оставив после себя только коричневое пятно над щиколоткой; прекратились и утренние приступы кашля. Процесс жизни перестал быть невыносимым; Уинстона уже не подмывало, как раньше, скорчить рожу телекрану или выругаться во весь голос. Теперь, когда у них было надежное пристанище, почти свой дом, не казалось лишением даже то, что приходиться сюда они могут только изредка и на каких-нибудь два часа. Важно было, что у них есть эта комната над лавкой старьевщика. Знать, что она есть и неприкосновенна, — почти то же самое, что находиться в ней. Комната была миром, заказником прошлого, где могут бродить вымершие животные. Мистер Чаррингтон тоже вымершее животное, думал Уинстон. По дороге наверх он останавливался поговорить с хозяином. Старик, по-видимому, редко выходил на улицу, если вообще выходил; с другой стороны, и покупателей у него почти не бывало. Незаметная жизнь его протекала между крохотной темной лавкой и еще более крохотной кухонькой в тылу, где он стряпал себе еду и где стоял среди прочих предметов невероятно древний граммофон с огромнейшим раструбом. Старик был рад любому случаю поговорить. Длинноносый и сутулый, в толстых очках и бархатном пиджаке, он бродил среди своих бесполезных товаров, похожий скорее на коллекционера, чем на торговца. С несколько остывшим энтузиазмом он брал в руку тот или иной пустяк — фарфоровую затычку для бутылки, разрисованную крышку бывшей табакерки, латунный медальон с прядкой волос неведомого и давно умершего ребенка, — не купить предлагаая Уинстону, а просто полюбоваться. Беседовать с ним было все равно что слушать звон изношенной музыкальной шкатулки. Он извлек из закоулков своей памяти еще несколько забытых детских стишков. Один был «Птицы в пироге», другой про корову с гнутым рогом, а еще один про смерть малиновки. «Я подумал, что вам это может быть интересно», — говорил он с неодобрительным смешком, воспроизведя очередной отрывок. Но ни в одном стихотворении он не мог припомнить больше двух-трех строк.

Они с Джулией понимали — и, можно сказать, все время помнили, — что долго продолжаться это не может. В иные минуты грядущая смерть казалась не менее ощутимой, чем кровать под ними, и они прижимались друг к другу со страстью отчаянья — как душа, обреченная аду, хватая последние крохи наслаждения за пять минут до боя часов. Впрочем, бывали такие дни, когда они тешили себя иллюзией не только безопасности, но и постоянства. Им казалось, что в этой комнате с ними не может случиться ничего плохого. Добираться сюда трудно и опасно, но сама комната — убежище. С похожим чувством Уинстон вглядывался однажды в пресс-папье: казалось, что можно попасть в сердцевину

стеклянного мира и, когда очутись там, время остановится. Они часто предавались грезам о спасении. Удача их не покинет, и роман их не кончится, пока они не умрут своей смертью. Или Кэтрин отправится на тот свет, и путем разных ухищрений Уинстон с Джулией добьются разрешения на брак. Или они вместе покончат с собой. Или скроются: изменят внешность, научатся пролетарскому выговору, устроятся на фабрику и, никем не узнанные, доживут свой век на задворках. Оба знали, что все это ерунда. В действительности спасения нет. Реальным был один план — самоубийство, но и его они не спешили осуществить. В подвешенном состоянии, день за днем, из недели в неделю, тянуть настоящее без будущего велел им непобедимый инстинкт — так легкие всегда делают следующий вдох, откуда есть воздух.

А еще они иногда говорили о деятельном бунте против партии — но не представляли себе, с чего начать. Даже если мифическое Братство существует, как найти к нему путь? Уинстон рассказал ей о странной близости, возникшей — или как будто возникшей — между ним и О'Брайеном, и о том, что у него бывает желание прийти к О'Брайену, объявить себя врагом партии и попросить помощи. Как ни странно, Джулия не сочла эту идею совсем безумной. Она привыкла судить о людях по лицам, и ей казалось естественным, что, один раз переглянувшись с О'Брайеном, Уинстон ему поверил. Она считала само собой разумеющимся, что каждый человек, почти каждый, тайно ненавидит партию и нарушит правила, если ему это ничем не угрожает. Но она отказывалась верить, что существует и может существовать широкое организованное сопротивление. Рассказы о Голдстейн и его подпольной армии — ахинея, придуманная партией для собственной выгоды, а ты должен делать вид, будто веришь. Невесть сколько раз на партийных собраниях и стихийных демонстрациях она надсаживала горло, требуя казнить людей, чьих имен никогда не слышала и в чьи преступления не верила ни секунды. Когда происходили открытые процессы, она занимала свое место в отрядах Союза юных, с утра до ночи стоявших в оцеплении вокруг суда, и выкрикивала с ними: «Смерть предателям!» На двухминутках ненависти громче всех поносила Голдстейна. При этом очень смутно представляла себе, кто такой Голдстейн и в чем состоят его теории. Она выросла после революции и по молодости лет не помнила идеологические баталии пятидесятых и шестидесятых годов. Независимого политического движения она представить себе не могла; да и в любом случае партия неуязвима. Партия будет всегда и всегда будет такой же. Противиться ей можно только тайным неповиновением, самое большее — частными актами террора: кого-нибудь убить, что-нибудь взорвать.

В некоторых отношениях она была гораздо проницательнее Уинстона и меньше подвержена партийной пропаганде. Однажды, когда он обмолвился в связи с чем-то о войне с Евразией, Джулия ошеломила его, небрежно сказав, что, по ее мнению, никакой войны нет. Ракеты, падающие на Лондон, может быть, пускает само правительство, «чтобы держать людей в страхе». Ему такая мысль просто не приходила в голову. А один раз он ей даже позавидовал: когда она сказала, что на двухминутках ненависти самое трудное для нее — удержаться от смеха. Но партийные идеи она подвергала сомнению только тогда, когда они прямо затрагивали ее жизнь. Зачастую она готова была принять официальный миф просто потому, что ей казалось не важным, ложь это или правда. Например, она верила, что партия изобрела самолет, — так ее научили в школе. (Когда Уинстон был школьником — в конце пятидесятых годов, — партия претендовала только на изобретение вертолета; десятью годами позже, когда в школу пошла Джулия, изобретением партии стал уже и самолет; еще одно поколение — и она изобретет паровую машину.) Когда он сказал Джулии, что самолеты летали до его рождения и задолго до революции, ее этонисколько не взволновало. В конце концов какая разница, кто изобрел самолет? Но больше поразило его другое: как выяснилось из одной мимоходом брошенной фразы, Джулия не помнила, что четыре года назад у них с Евразией был мир, а война — с Остзией. Правда, войну она вообще считала мошенничеством; но что противник теперь другой, она даже не заметила. «Я думала, мы всегда воевали с Евразией», — сказала она равнодушно. Его это немного испугало. Самолет изобрели задолго до ее рождения, но враг-то переменялся всего четыре года назад, она была уже вполне взрослой. Он растолковывал ей это, наверное, четверть часа. В конце концов

ему удалось разбудить ее память, и она с трудом вспомнила, что когда-то действительно врагом была не Евразия, а Остазия. Но отнеслась к этому безразлично. «Не все ли равно? — сказала она с раздражением. — Не одна сволочная война, так другая, и всем понятно, что сводки врут».

Иногда он рассказывал ей об отделе документации, о том, как занимаются наглыми подтасовками. Ее это не ужасало. Пропасть под ее ногами не разверзлась оттого, что ложь превращают в правду. Он рассказал ей о Джонсе, Аронсоне и Резерфорде, о том, как в руки ему попал клочок бумаги — потрясающая улика. На Джулию и это не произвело впечатления. Она даже не сразу поняла смысл рассказа.

— Они были твои друзья? — спросила она.

— Нет, я с ними не был знаком. Они были членами внутренней партии. Кроме того, они гораздо старше меня. Это люди старого времени, дореволюционного. Я их и в лицо-то едва знал.

— Тогда почему столько переживаний? Кого-то все время убивают, правда?

Он попытался объяснить:

— Это случай исключительный. Дело не только в том, что кого-то убили. Ты понимаешь, что прошлое, начиная со вчерашнего дня, фактически отменено? Если оно где и уцелело, то только в материальных предметах, никак не привязанных к словам, — вроде этой стекляшки. Ведь мы буквально ничего уже не знаем о революции и дореволюционной жизни. Документы все до одного уничтожены или подделаны, все книги исправлены, картины переписаны, статуи, улицы и здания переименованы, все даты изменены. И этот процесс не прерывается ни на один день, ни на минуту. История остановилась. Нет ничего, кроме нескончаемого настоящего, где партия всегда права. Я знаю, конечно, что прошлое поддельвают, но ничем не смог бы это доказать — даже когда сам совершил подделку. Как только она совершенна, свидетельства исчезают. Единственное свидетельство — у меня в голове, но кто поручится, что хоть у одного еще человека сохранилось в памяти то же самое? Только в тот раз, единственный раз в жизни, я располагал подлинным фактическим доказательством — после событий, несколько лет спустя.

— И что толку?

— Толку никакого, потому что через несколько минут я его выбросил. Но если бы такое произошло сегодня, я бы сохранил.

— А я — нет! — сказала Джулия. — Я согласна рисковать, но ради чего-то стоящего, не из-за клочков старой газеты. Ну сохранил ты его — и что бы ты сделал?

— Наверно, ничего особенного. Но это было доказательство. И кое в ком посеяло бы сомнения, если бы я набрался духу кому-нибудь его показать. Я вовсе не воображаю, будто мы способны что-то изменить при нашей жизни. Но можно вообразить, что там и сям возникнут очажки сопротивления — соберутся маленькие группы людей, будут постепенно расти и, может быть, даже оставят после себя несколько документов, чтобы прочло следующее поколение и продолжило наше дело.

— Следующее поколение, милый, меня не интересует. Меня интересуют мы.

— Ты бунтовщица только ниже пояса, — сказал он.

Шутка показалась Джулии замечательно остроумной, и она в восторге обняла его.

Хитросплетения партийной доктрины ее не занимали совсем. Когда он рассуждал о принципах англоца, о двоемыслии, об изменчивости прошлого и отрицании объективной действительности, да еще употребляя новоязовские слова, она сразу начинала скучать, смущалась и говорила, что никогда не обращала внимания на такие вещи. Ясно ведь, что все это чепуха, так зачем волноваться? Она знает, когда кричать «ура» и когда улюлюкать, — а больше ничего не требуется. Если он все-таки продолжал говорить на эти темы, она обыкновенно засыпала, чем приводила его в замешательство. Она была из тех людей, которые способны заснуть в любое время и в любом положении. Беседуя с ней, он понял, до чего легко представляться идейным, не имея даже понятия о самих идеях. В некотором смысле мировоззрение партии успешнее всего прививалось людям, не способным его понять. Они соглашались с самыми вопиющими искажениями

действительности, ибо не понимают всего безобразия подмены и, мало интересуясь общественными событиями, не замечают, что происходит вокруг. Непонятливость спасает их от безумия. Они глотают все подряд, и то, что они глотают, не причиняет им вреда — не оставляет осадка, подобно тому как кукурузное зерно проходит непереваренным через кишечник птицы.

VI

Случилось наконец. Пришла долгожданная весть. Всю жизнь, казалось ему, он ждал этого события.

Он шел по длинному коридору министерства и, приближаясь к тому месту, где Джулия сунула ему в руку записку, почувствовал, что по пятам за ним идет кто-то — кто-то крупнее его. Неизвестный тихонько кашлянул, как бы намереваясь заговорить. Уинстон замер на месте, обернулся. Перед ним был О'Брайен.

Наконец-то они очутились с глазу на глаз, но Уинстоном владело как будто одно желание — бежать. Сердце у него выпрыгивало из груди. Заговорить первым он бы не смог. О'Брайен, продолжая идти прежним шагом, на миг дотронулся до руки Уинстона, и они пошли рядом. О'Брайен заговорил с важной учтивостью, которая отличала его от большинства членов внутренней партии.

— Я ждал случая с вами поговорить, — начал он. — На днях я прочел вашу статью на новоязе в «Таймс». Насколько я понимаю, ваш интерес к новоязу — научного свойства?

К Уинстону частично вернулось самообладание.

— Едва ли научного, — ответил он. — Я всего лишь дилетант. Это не моя специальность. В практической разработке языка я никогда не принимал участия.

— Но написана она очень изящно, — сказал О'Брайен. — Это не только мое мнение. Недавно я разговаривал с одним вашим знакомым — определенно специалистом. Не могу сейчас вспомнить его имя.

Сердце Уинстона опять заторопилось. Сомнений нет — речь о Сайме. Но Сайм не просто мертв, он отменен — н е л и ц о. Даже завуалированное упоминание о нем смертельно опасно. Слова О'Брайена не могли быть ничем иным, как сигналом, паролем. Совершив при нем это маленькое мыслепреступление, О'Брайен взял его в сообщники. Они продолжали медленно идти по коридору, но тут О'Брайен остановился. Поправил на носу очки — как всегда, в этом жесте было что-то обезоруживающее, дружелюбное. Потом продолжал:

— Я, в сущности, вот что хотел сказать: в вашей статье я заметил два слова, которые уже считаются устаревшими. Но устаревшими они стали совсем недавно. Вы видели десятое издание словаря новояза?

— Нет, — сказал Уинстон. — По-моему, оно еще не вышло. У нас в отделе документации пока пользуются девятым.

— Десятое издание, насколько я знаю, выпустят лишь через несколько месяцев. Но сигнальные экземпляры уже разосланы. У меня есть. Вам интересно было бы посмотреть?

— Очень интересно, — сказал Уинстон, сразу поняв, куда он клонит.

— Некоторые нововведения чрезвычайно остроумны. Сокращение количества глаголов... я думаю, это вам понравится. Давайте подумаем — прислать вам словарь с курьером? Боюсь, я крайне забывчив в подобных делах. Может, вы сами зайдете за ним ко мне домой — в любое удобное время? Минутку. Я дам вам адрес.

Они стояли перед телекраном. О'Брайен рассеянно порылся в обоих карманах, потом извлек кожаный блокнот и золотой чернильный карандаш. Прямо под телекраном, в таком месте, что наблюдающий на другом конце легко прочел бы написанное, он набросал адрес, вырвал листок и вручил Уинстону.

— Вечерами я, как правило, дома, — сказал он. — Если меня не будет, словарь вам отдаст слуга.

Он ушел, оставив Уинстона с листком бумаги, который на этот раз можно было не прятать. Тем не менее Уинстон заучил адрес и несколькими часами позже бросил листок в гнездо памяти вместе с другими бумагами.

Разговаривали они совсем недолго. И объяснить эту встречу можно только одним. Она подстроена для того, чтобы сообщить Уинстону адрес О'Брайена. Иного способа не было: выяснить, где человек живет, можно, лишь спросив об этом прямо. Адресных книг нет. «Если захотите со мной повидаться, найдете меня там-то» — вот что на самом деле сказал ему О'Брайен. Возможно, в словаре будет спрятана записка. Во всяком случае, ясно одно: разговор, о котором Уинстон мечтал, все-таки существует и Уинстон приблизился к нему вплотную.

Рано или поздно он явится на зов О'Брайена. Завтра явится или будет долго откладывать — он сам не знал. То, что сейчас происходит, — просто развитие процесса, начавшегося сколько-то лет назад. Первым шагом была тайная нечаянная мысль, вторым — дневник. От мыслей он перешел к словам, а теперь от слов к делу. Последним шагом будет то, что произойдет в министерстве любви. С этим он примирился. Конец уже содержится в начале. Но это пугало; точнее, он как бы уже почувал смерть, как бы стал чуть менее живым. Когда он говорил с О'Брайеном, когда до него дошел смысл приглашения, его охватил озноб. Чувство было такое, будто он ступил в сырую могилу; он и раньше знал, что могила недалеко и ждет его, но легче ему от этого не стало.

VII

Уинстон проснулся в слезах. Джулия сонно привалилась к нему и пролепетала что-то невнятное — может быть: «Что с тобой?»

— Мне снилось... — начал он и осекся. Слишком сложно: не укладывалось в слова. Тут был и сам по себе сон, и воспоминание, с ним связанное, — оно всплыло через несколько секунд после пробуждения.

Он снова лег, закрыл глаза, все еще налитый сном. Это был просторный, светозарный сон, вся его жизнь раскинулась перед ним в этом сне, как пейзаж летним вечером после дождя. Происходило все внутри стеклянного пресс-папье, но поверхность стекла была небосводом, и мир под небосводом был залит ясным мягким светом, открывшим глазу бескрайние дали. Кроме того, мотивом сна — и даже его содержанием — был жест материнской руки, повторившийся тридцать лет спустя в кинохронике, где еврейка пыталась загородить маленького мальчика от пуля, а потом вертолет разорвал обоих в клочья.

— Ты знаешь, — сказал Уинстон, — до этой минуты я думал, что убил мать.

— Зачем убил? — спросонок сказала Джулия.

— Нет, я ее не убил. Физически.

Во сне он вспомнил, как в последний раз увидел мать, а через несколько секунд после пробуждения восстановилась вся цепь мелких событий того дня. Наверное, он долгие годы отталкивал от себя это воспоминание. К какому времени оно относится, он точно не знал, но лет ему было тогда не меньше десяти, а то и все двенадцать.

Отец исчез раньше — намного ли раньше, он не помнил. Лучше сохранились в памяти приметы того напряженного и сумбурного времени: паника и сидение на станции метро по случаю воздушных налетов, груды битого кирпича, невразумительные воззвания, расклеенные на углах, ватаги парней в рубашках одинакового цвета, громадные очереди у булочных, пулеметная стрельба вдалеке и, в первую голову, вечная нехватка еды. Он помнил, как долгими послеполуденными часами вместе с другими ребятами рылся в мусорных баках и на помойках, отыскивая хрюпу, картофельные очистки, а то и заплесневелую корку, с которой они тщательно соскабливали горелое; как ждали грузовиков с фуражом, едущих по определенному маршруту: на разбитых местах дороги грузовик подбрасывало, иногда высыпалось несколько кусочков жмыха.

Когда исчез отец, мать ничем не выдала удивления или отчаяния, но как-то вдруг вся переменялась. Из нее будто жизнь ушла. Даже Уинстону было видно, что она ждет чего-то неизбежного. Дома она продолжала делать всю обычную работу — стирала, стирала, штопала, стелила кровать, подметала пол, вытирала пыль, — только очень медленно и странно, без единого лишнего движения, словно оживший манекен. Ее крупное красивое тело как бы само собой впадало в неподвижность. Часами она сидела на кровати, почти не шевелясь, и держала

на руках его младшую сестренку — маленькую, болезненную, очень тихую девочку двух или трех лет, от худобы похожую лицом на обезьянку. Иногда она обнимала Уинстона и долго прижимала к себе, не произнося ни слова. Он понимал, несмотря на свое малолетство и эгоизм, что это как-то связано с тем близким и неизбежным, о чем она никогда не говорит.

Он помнил их комнату, темную, душную комнату, половину которой занимала кровать под белым стеганым покрывалом. В комнате был камин с газовой конфоркой, полка для продуктов, а снаружи, на лестничной площадке, — коричневая керамическая раковина, одна на несколько семей. Он помнил, как царственное тело матери склонялось над конфоркой — она мешала в кастрюле. Но лучше всего помнил непрерывный голод, яростные и безобразные свары за едой. Он ныл и ныл, почему она не дает добавки, он кричал на нее и скандалил (даже голос свой помнил — голос у него стал рано ломаться, и время от времени он вдруг взрывал басом) или бил на жалость и хныкал, пытаясь добиться большей доли. Мать с готовностью давала ему больше. Он принимал это как должное: ему, «мальчику», полагалось больше всех, но сколько бы ни дала она лишнего, он требовал еще и еще. Каждый раз она умоляла его не быть эгоистом, помнить, что сестренка больна и тоже должна есть, — но без толку. Когда она переставала накладывать, он кричал от злости, вырывал у нее половник и кастрюлю, хватал куски с сестриной тарелки. Он знал, что из-за него они голодают, но ничего не мог с собой сделать; у него даже было ощущение своей правоты. Его как бы оправдывал голодный бунт в желудке. А между трапезами, стояло матери отвернуться, тащил из жалких припасов на полке.

Однажды им выдали по талону шоколад. Впервые за несколько недель или месяцев. Он ясно помнил эту драгоценную плиточку. Две унции (тогда еще считали на унции) на троих. Шоколад, понятно, надо было разделить на три равные части. Вдруг словно со стороны Уинстон услышал свой громкий бас — он требовал все. Мать сказала: не жадничай. Начался долгий, нудный спор с бесконечными повторениями, криками, нытьем, слезами, уговорами, торговлей. Сестра, вцепившись в мать обеими ручонками, совсем как обезьяний детеныш, оглядывалась на него через плечо большими печальными глазами. В конце концов мать отломала от шоколада три четверти и дала Уинстону, а оставшуюся четверть — сестре. Девочка взяла свой кусок и тупо смотрела на него, может быть не понимая, что это такое. Уинстон наблюдал за ней. Потом подскочил, выхватил у нее шоколад и бросился вон. «Уинстон, Уинстон! — кричала вдогонку мать. — Вернись! Отдай сестре шоколад!»

Он остановился, но назад не пошел. Мать не сводила с него тревожных глаз. Даже сейчас она думала о том же, близком и неизбежном... — Уинстон не знал о чем. Сестра поняла, что ее обидели, и слабо заплакала. Мать обхватила ее одной рукой и прижала к груди. По этому жесту он как-то догадался, что сестра умирает. Он повернулся и сбегал по лестнице, держа в кулаке тающую шоколадку.

Матери он больше не видел. Когда он проглотил шоколад, ему стало стыдно, и несколько часов, пока голод не погнал его домой, он бродил по улицам. Когда он вернулся, матери не было. В ту пору такое уже становилось обычным. Из комнаты ничего не исчезло, кроме матери и сестры. Одежду не взяли, даже материн пальто. Он до сих пор не был вполне уверен, что мать погибла. Не исключено, что ее лишь отправили в каторжный лагерь. Что до сестры, то ее могли поместить, как и самого Уинстона, в колонию для беспризорных (эти «воспитательные центры» возникли в результате гражданской войны), или вместе с матерью в лагерь, или просто оставили где-нибудь умирать.

Сновидение еще не погасло в голове — особенно обнимающий, охранный жест матери, в котором, кажется, и заключался весь его смысл. На память пришел другой сон, двухмесячной давности. В сегодняшнем она сидела на бедной кровати с белым покрывалом, держа сестренку на руках, в том же сидела, но на тонущем корабле, далеко внизу, и, с каждой минутой уходя все глубже, смотрела на него снизу сквозь темнеющий слой воды.

Он рассказал Джулии, как исчезла мать. Не открывая глаз, Джулия перевернулась и легла поудобнее.

— Вижу, ты был тогда порядочным свиненком, — пробормотала она. — Дети все свинята.

— Да. Но главное тут...

По дыханию ее было понятно, что она снова засыпает. Ему хотелось еще поговорить о матери. Из того, что он помнил, не складывалось впечатления о ней как о женщине необыкновенной, а тем более умной; но в ней было какое-то благородство, какая-то чистота — просто потому, что нормы, которых она придерживалась, были личными. Чувства ее были ее чувствами, их нельзя было изменить извне. Ей не пришло бы в голову, что, если действие безрезультатно, оно бессмысленно. Когда любишь кого-то, ты его любишь, и если ничего больше не можешь ему дать, ты все-таки даешь ему любовь. Когда не стало шоколадки, она прижала ребенка к груди. Проку в этом не было, это ничего не меняло, это не вернуло шоколадку, не отравило смерть — ни ее смерть, ни ребенка; но для нее было естественно так поступить. Беженка в шляпке так же прикрыла ребенка рукой, хотя рука могла защитить от пули не лучше, чем лист бумаги. Ужасную штуку сделала партия: убедила тебя, что сами по себе чувства, порыв ничего не значат, и в то же время отняла у тебя всякую власть над миром материальным. Как только ты попал к ней в лапы, что ты чувствуешь и чего не чувствуешь, что ты делаешь и чего не делаешь — все одно. Что бы ни произошло, ты исчезнешь, ни о тебе, ни о твоих поступках никто никогда не услышит. Тебя выдернули из потока истории. А ведь людям позапрошлого поколения это не показалось бы таким уж важным — они не пытались изменить историю. Они были связаны личными узами верности и не подвергали их сомнению. Важны были личные отношения, и совершенно беспомощный жест, объятие, слеза, слово, сказанное умирающему, были ценны сами по себе. Пролы, вдруг сообразил он, в этом состоянии и остались. Они верны не партии, не стране, не идее, а друг другу. Впервые в жизни он подумал о них без презрения — не как о косной силе, которая однажды пробудится и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не зачерствели внутри. Они сохранили простейшие чувства, которым ему пришлось учиться сознательно. Подумав об этом, он вспомнил — вроде бы и не к месту, — как несколько недель назад увидел на тротуаре оторванную руку и пинком отшвырнул в канаву, словно это была капустная кочерыжка.

— Пролы — люди, — сказал он вслух. — Мы — не люди.

— Почему? — спросила Джулия, опять проснувшись.

— Тебе когда-нибудь приходило в голову, что самое лучшее для нас — выйти отсюда, пока не поздно, и больше не встречаться?

— Да, милый, приходило, не раз. Но я все равно буду с тобой встречаться.

— Нам везло, но долго это не продлится. Ты молодая. Ты выглядишь нормальной и неиспорченной. Будешь держаться подальше от таких, как я, — можешь прожить еще пятьдесят лет.

— Нет. Я все обдумала. Что ты делаешь, то и я буду делать. И не унывай. Живучести мне не занимать.

— Мы можем быть вместе еще полгода... год... никому это не ведомо. В конце концов нас разлучат. Ты представляешь, как мы будем одиноки? Когда нас заберут, ни ты, ни я ничего не сможем друг для друга сделать, совсем ничего. Если я сознаюсь, тебя расстреляют, не сознаюсь — расстреляют все равно. Что бы я ни сказал и ни сделал, о чем бы ни умолчал, я и на пять минут твою смерть не отсрочу. Я даже не буду знать, жива ты или нет, — и ты не будешь знать. Мы будем бессильны, полностью. Важно одно — не предать друг друга, хотя и это совершенно ничего не изменит.

— Если ты — о признании, — сказала она, — признаемся как миленькие. Там все признаются. С этим ничего не поделаешь. Там пытаются.

— Я не о признании. Признание не предательство. Что ты сказал или не сказал — не важно, важно только чувство. Если меня заставят разлюбить тебя — вот будет настоящее предательство.

Она задумалась.

— Этого они не могут, — сказала она наконец. — Этого как раз и не могут. Сказать что угодно — что угодно — они тебя заставят, но поверить в это не заставят. Они не могут в тебя влезть.

— Да, — ответил он уже не так безнадежно, — да, это верно. Влезть в тебя они не могут. Если ты чувствуешь, что оставаться человеком стоит — пусть это ничего не дает, — ты все равно их победил.

Он подумал о телекране, этом недреманном ухе. Они могут следить за тобой день и ночь, но если не потерял голову, ты можешь их перехитрить. При всей своей изощренности они так и не научились узнавать, что человек думает. Может быть, когда ты у них уже в руках, это не совсем так. Неизвестно, что творится в министерстве любви, но догадаться можно: пытки, наркотики, тонкие приборы, которые регистрируют твои нервные реакции, изматывание бессонницей, одиночеством и непрерывными допросами. Факты, во всяком случае, утаить невозможно. Их распутают на допросе, вытянут из тебя пыткой. Но если цель — не остаться живым, а остаться человеком, тогда какая, в конце концов, разница? Чувств твоих они изменить не могут; если на то пошло, ты сам не можешь их изменить, даже если захочешь. Они могут выяснить до мельчайших подробностей все, что ты делал, говорил и думал, но душа, чьи движения загадочны даже для тебя самого, остается непрístupной.

VIII

Удалось, удалось наконец!

Они стояли в длинной, ровно освещенной комнате. Приглушенный телекран светился тускло, синий ковер мягкостью своей напоминал бархат. В другом конце комнаты за столом, у лампы с зеленым абажуром сидел О'Брайен, слева и справа от него высились стопки документов. Когда слуга ввел Джулию и Уинстона, он даже не поднял головы.

Уинстон боялся, что не сможет заговорить — так стучало у него сердце. Удалось, удалось наконец — вот все, о чем он мог думать. Прихсд сюда был опрометчивостью, а то, что явились вдвоем, вообще безумие; правда, шли они разными дорогами и встретились только перед дверью О'Брайена. В дом войти — и то требовалось присутствие духа. Очень редко доводилось человеку видеть изнутри жилье членов внутренней партии и даже забредать в их кварталы. Сама атмосфера громадного дома, богатство его и простор, непривычные запахи хорошей еды и хорошего табака, бесшумные стремительные лифты, деловитые слуги в белых пиджаках — все внушало робость. Хотя он явился сюда под вполне основательным предлогом, страх не отставал от него ни на шаг: вот сейчас из-за угла появится охранник в черной форме, потребует документы и прикажет убраться. Однако слуга О'Брайена впустил их беспрекословно. Это был щуплый человек в белом пиджаке, черноволосый, с ромбовидным и совершенно непроницаемым лицом — возможно, китаец. Он провел их по коридору с толстым ковром, кремовыми обоями и белыми панелями, безукоризненно чистыми. И это внушало робость. Уинстон не помнил такого коридора, где стены не были бы обтерты телами.

О'Брайен держал в пальцах листок бумаги и внимательно читал. Его мясистое лицо, повернутое так, что виден был очерк носа, казалось и грозным и умным. Секунд двадцать он сидел неподвижно. Потом подтянул к себе речепис и на гибридном министерском жаргоне отчеканил:

— «Позиции первую запятая пятую запятая седьмую одобрить сквозь точка предложение по позиции шесть плюсплюс нелепость грани мыслепреступления точка непродолжать конструктивно до получения плюсовых цифр перевыполнения машиностроения точка конец записки».

Он неторопливо встал из-за стола и бесшумно подошел к ним по ковру. Официальность он частично отставил вместе с новоязовскими словами, но глядел угрюмее обычного, будто был недоволен тем, что его потревожили. К ужасу, владевшему Уинстоном, вдруг примешалась обыкновенная растерянность. А что, если он просто совершил дурацкую ошибку? С чего он взял, что О'Брайен — политический заговорщик? Всего один взгляд да одна двусмысленная фраза; в остальном — лишь тайные мечтания, подкрепленные разве что сном. Он даже не может отговориться тем, что пришел за словарем: зачем тогда здесь Джулия? Проходя мимо телекрана, О'Брайен вдруг словно вспомнил о чем-то. Он остановился и нажал выключатель на стене. Раздался щелчок. Голос смолк.

Джулия тихонько взвизгнула от удивления. Уинстон, несмотря на панику, был настолько поражен, что не удержался и воскликнул:

— Вы можете его выключить?!

— Да, — сказал О'Брайен, — мы можем их выключать. Нам дано такое право.

Он уже стоял рядом. Массивный, он возвышался над ними, и выражение его лица прочесть было невозможно. С некоторой суровостью он ждал, что скажет Уинстон, — но о чем говорить? Даже сейчас вполне можно было понять это так, что занятой человек О'Брайен раздражен и недоумеваает: зачем его потревожили? Никто не произнес ни слова. Телекран был выключен, и в комнате стояла мертвая тишина. Секунды шли одна за другой, долгие. Уинстон с трудом смотрел в глаза О'Брайену. Вдруг угрюмое лицо хозяина смягчилось как бы обещанием улыбки. Характерным жестом он поправил очки на носу.

— Мне сказать, или вы скажете? — начал он.

— Я скажу, — живо отозвался Уинстон. — Он в самом деле выключен?

— Да, все выключено. Мы одни.

— Мы пришли сюда потому, что... — Уинстон запнулся, только теперь поняв, насколько смутные побуждения привели его сюда. Он сам не знал, какой помощи ждет от О'Брайена, и объяснить, зачем он пришел, было нелегко. Тем не менее он продолжал, чувствуя, что слова его звучат неубедительно и претенциозно: — Мы думаем, что существует заговор, какая-то тайная организация борется с партией и вы в ней участвуете. Мы хотим в нее вступить и для нее работать. Мы враги партии. Мы не верим в принципы англсоца. Мы мыслепреступники. Кроме того, мы развратники. Говорю это потому, что мы предаем себя вашей власти. Если хотите, чтобы мы сознались еще в каких-то преступлениях, мы готовы.

Он умолил и оглянулся — ему показалось, что сзади открыли дверь. И в самом деле, маленький желтолицый слуга вошел без стука. В руках у него был поднос с графином и бокалами.

— Мартин свой, — бесстрастно объяснил О'Брайен. — Мартин, несите сюда. Поставьте на круглый стол. Стульев хватает? В таком случае мы можем сесть и побеседовать с удобствами. Мартин, возьмите себе стул. У нас дело. На десять минут можете забыть, что вы слуга.

Маленький человек сел непринужденно, но вместе с тем почтительно — как низший, которому оказали честь. Уинстон наблюдал за ним краем глаза. Он подумал, что этот человек всю жизнь разыгрывал роль и теперь боится сбросить личину даже на несколько мгновений. О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил стаканы темно-красной жидкостью. Уинстону смутно вспомнилась виденная давным-давно — то ли на стене, то ли на ограде — громадная бутылка из электрических огней, перебежавших так, что из нее как бы лилось в стакан. Сверху жидкость казалась почти черной, а в графине, на просвет, горела, как рубин. Запах был кисло-сладкий. Джулия взяла свой стакан и с откровенным любопытством понюхала.

— Называется — вино, — с легкой улыбкой сказал О'Брайен. — Вы, безусловно, читали о нем в книгах. Боюсь, что членам внешней партии оно не часто достается. — Лицо у него снова стало серьезным, и он поднял бокал. — Мне кажется, будет уместно начать с тоста. За нашего вождя — Эммануэля Голдстейна.

Уинстон взялся за бокал нетерпеливо. Он читал о вине, мечтал о вине. Подобно стеклянному пресс-папье и полузабытым стишкам мистера Чаррингтона, вино принадлежало мертвому романтическому прошлому, или, как Уинстон называл его про себя, минувшим дням. Почему-то он всегда думал, что вино должно быть очень сладким, как черносмородиновый джем, и сразу бросаться в голову. Но первый же глоток разочаровал его. Он столько лет пил джин, что сейчас, по правде говоря, и вкуса почти не почувствовал. Он поставил пустой бокал.

— Так, значит, есть такой человек — Голдстейн? — сказал он.

— Да, такой человек есть, и он жив. Где он, я не знаю.

— И заговор, организация? Это в самом деле? Не выдумка полиции мыслей?

— Не выдумка. Мы называем ее Братством. Вы мало узнаете о Братстве, кроме того, что оно существует и вы в нем состоите. К этому я еще вернусь.— Он посмотрел на часы.— Выключать телекран больше чем на тридцать минут даже членам внутренней партии не рекомендуется. Вам не стоило приходить вместе, и уйдете вы порознь. Вы, товарищ,— он слегка поклонился Джулии,— уйдете первой. В нашем распоряжении минут двадцать. Как вы понимаете, для начала я должен задать вам несколько вопросов. В общем и целом, что вы готовы делать?

— Все, что в наших силах,— ответил Уинстон.

О'Брайен слегка повернулся на стуле — лицом к Уинстону. Он почти не обращался к Джулии, полагая, видимо, что Уинстон говорит и за нее. Прикрыл на секунду глаза. Потом стал задавать вопросы — тихо, без выражения, как будто это было что-то заученное, катехизис, и ответы он знал заранее.

— Вы готовы пожертвовать жизнью?

— Да.

— Вы готовы совершить убийство?

— Да.

— Совершить вредительство, которое будет стоить жизни сотням ни в чем не повинных людей?

— Да.

— Изменить родине и служить иностранным державам?

— Да.

— Вы готовы обманывать, совершать подлоги, шантажировать, растлевать детские умы, распространять наркотики, способствовать проституции, разносить венерические болезни — делать все, что могло бы деморализовать население и ослабить могущество партии?

— Да.

— Если, например, для наших целей потребуется плеснуть серной кислотой в лицо ребенку — вы готовы это сделать?

— Да.

— Вы готовы подвергнуться полному превращению и до конца дней быть официантом или портовым рабочим?

— Да.

— Вы готовы покончить с собой по нашему приказу?

— Да.

— Готовы ли вы — оба — расстаться и больше никогда не видеть друг друга?

— Нет! — вмешалась Джулия.

А Уинстону показалось, что, прежде чем он ответил, прошло очень много времени. Он как будто лишился дара речи. Язык шевелился беззвучно, прилаживаясь к началу то одного слова, то другого, опять и опять. И куда Уинстон не произнес ответ, он сам не знал, что скажет.

— Нет,— выдавил он наконец.

— Хорошо, что вы сказали. Нам необходимо знать все.— О'Брайен повернулся к Джулии и спросил, уже не так бесстрастно: — Вы понимаете, что, если даже он уцелеет, он может стать совсем другим человеком? Допустим, нам придется изменить его совершенно. Лицо, движения, форма рук, цвет волос... даже голос будет другой. И вы сама, возможно, подвергнетесь такому же превращению. Наши хирурги умеют изменить человека до неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда мы даже ампутуруем конечность.

Уинстон не удержался и еще раз искоса взглянул на монголоидное лицо Мартина. Никаких шрамов он не разглядел. Джулия побледнела так, что выступили веснушки, но смотрела на О'Брайена дерзко. Она пробормотала что-то утвердительное.

— Хорошо. Об этом мы условились.

На столе лежала серебряная коробка сигарет. С рассеянным видом О'Брайен подвинул коробку к ним, сам взял сигарету, потом поднялся и стал рассказывать по комнате, как будто ему легче думалось на ходу. Сигареты оказались очень хорошими — толстые, плотно набитые, в непривычно шелковистой бумаге. О'Брайен снова посмотрел на часы.

— Мартин, вам лучше вернуться в буфетную, — сказал он. — Через четверть часа я включу. Пока не ушли, хорошенько присмотритесь к лицам товарищей. Вам предстоит еще с ними встретаться. Мне, возможно, нет.

Точно так же, как при входе, темные глаза слуги пробежали по их лицам. В его взгляде не было и намека на дружелюбие. Он запоминал их внешность, но интереса к ним не испытывал — по крайней мере не проявлял. Уинстон подумал, что синтетическое лицо просто не может изменить выражение. Ни слова не говоря и никак с ними не попрощавшись, Мартин вышел и бесшумно затворил за собой дверь. О'Брайен мерил комнату шагами, одну руку засунув в карман черного комбинезона, в другой держа сигарету.

— Вы понимаете, — сказал он, — что будете сражаться во тьме? Все время во тьме. Будете получать приказы и выполнять их, не зная для чего. Позже я пошлю вам книгу, из которой вы уясните истинную природу нашего общества и ту стратегию, при помощи которой мы должны его разрушить. Когда прочтете книгу, станете полноправными членами Братства. Но все, кроме общих целей нашей борьбы и конкретных рабочих заданий, будет от вас скрыто. Я говорю вам, что Братство существует, но не могу сказать, насчитывает оно сто членов или десять миллионов. По вашим личным связям вы не определите даже, наберется ли в нем десяток человек. В контакте с вами будут находиться трое или четверо; если кто-то из них исчезнет, на смену появятся новые. Поскольку здесь — ваша первая связь, она сохранится. Если вы получили приказ, знайте, что он исходит от меня. Если вы нам понадобится, найдем вас через Мартина. Когда вас схватят, вы сознаетесь. Это неизбежно. Но помимо собственных акций сознаваться вам будет почти не в чем. Выдать вы сможете лишь горстку незначительных людей. Вероятно, даже меня не сможете выдать. К тому времени я погибну или стану другим человеком, с другой внешностью.

Он продолжал расхаживать по толстому ковру. Несмотря на громоздкость, О'Брайен двигался с удивительным изяществом. Оно сказывалось даже в том, как он засовывал руку в карман, как держал сигарету. В нем чувствовалась сила, но еще больше — уверенность и проницательный, ироничный ум. Держался он необычайно серьезно, но в нем не было и намека на узость, свойственную фанатикам. Когда он вел речь об убийстве, самоубийстве, венерических болезнях, ампутации конечностей, изменении лица, в голосе проскальзывали насмешливые нотки. Это неизбежно, говорил его тон, мы пойдем на это не дрогнув. Но не этим мы будем заниматься, когда жизнь снова будет стоить того, чтоб люди жили. Уинстон почтительно прилив восхищения, сейчас он почти преклонялся перед О'Брайеном. Неопределенная фигура Голдстейна отодвинулась на задний план. Глядя на могучие плечи О'Брайена, на тяжелое лицо, грубое и вместе с тем интеллигентное, нельзя было поверить, что этот человек потерпит поражение. Нет такого коварства, которого он бы не разгадал, нет такой опасности, которой он не предвидел бы. Даже на Джулию он произвел впечатление. Она слушала внимательно, и сигарета у нее потухла. О'Брайен продолжал:

— До вас безусловно доходили слухи о Братстве. И у вас сложилось о нем свое представление. Вы, наверное, воображали широкое подполье, заговорщиков, которые собираются в подвалах, оставляют на стенах надписи, узнают друга друга по условным фразам и особым жестам. Ничего подобного. Члены Братства не имеют возможности узнать друг друга, каждый знает лишь нескольких человек. Сам Голдстейн, попади он в руки полиции мыслей, не смог бы выдать список Братства или такие сведения, которые вывели бы ее к этому списку. Списка нет. Братство нельзя истребить потому, что оно не организация в обычном смысле. Оно не скреплено ничем, кроме идеи, идея же неистребима. Вам не на что будет опереться, кроме идеи. Не будет товарищей, не будет ободрения. В конце, когда вас схватят, помощи не ждите. Мы никогда не помогаем нашим. Самое большее, если необходимо обеспечить чье-то молчание, — нам иногда удастся переправить в камеру бритву. Вы должны привыкнуть к жизни без результатов и без надежды. Какое-то время вы будете работать, вас схватят, вы сознаетесь, после чего умрете. Других результатов вам не увидеть. О том, что при нашей жизни наступят заметные перемены, думать не приходится. Мы покойники. Подлинная наша жизнь — в будущем. В нее мы войдем горсткой праха, обломками костей. Когда наступит это будущее, не ведомо никому. Быть может — через тысячу лет.

Сейчас же ничто невозможно — только понемногу расширять владения здравого ума. Мы не можем действовать сообща. Можем лишь передавать наше знание — от человека к человеку, из поколения в поколение. Против нас — полиция мыслей, иного пути у нас нет.

Он умолил и третий раз посмотрел на часы.

— Вам, товарищ, уже пора,— сказал он Джулии.— Подождите. Графин наполвину не выпит.

Он наполнил бокалы и поднял свой.

— Итак, за что теперь? — сказал он с тем же легким оттенком иронии.— За посрамление полиции мыслей? За смерть Старшего Брата? За человечность? За будущее?

— За прошлое,— сказал Уинстон.

— Прошлое — важнее,— веско подтвердил О'Брайен.

Они осушили бокалы, и Джулия поднялась. О'Брайен взял со шкафчика маленькую коробку и дал ей белую таблетку, велел сосать. Нельзя, чтобы от вас пахло вином, сказал он, лифтеры весьма наблюдательны. Едва за Джулией закрылась дверь, он словно забыл о ее существовании. Сделав два-три шага, он остановился.

— Надо договориться о деталях,— сказал он.— Полагаю, у вас есть какое-либо убежище?

Уинстон объяснил, что есть комната над лавкой мистера Чаррингтона.

— На первое время годится. Позже мы устроим вас в другое место. Убежища надо часто менять. А пока что постараюсь как можно скорее послать вам книгу (Уинстон отметил, что даже О'Брайен произносит это слово с нажимом), книгу Голдстейна, вы понимаете. Возможно, я достану ее только через несколько дней. Как вы догадываетесь, экземпляров в наличии мало. Полиция мыслей разыскивает их и уничтожает чуть ли не так же быстро, как мы печатаем. Но это не имеет большого значения. Книга неистребима. Если погибнет последний экземпляр, мы сумеем воспроизвести ее почти дословно. На работу вы ходите с портфелем?

— Как правило, да.

— Какой у вас портфель?

— Черный, очень обтрепанный. С двумя застёжками.

— Черный, с двумя застёжками, очень обтрепанный... Хорошо. В ближайшее время — день пока не могу назвать — в одном из ваших утренних заданий попадется слово с пометкой, и вы затребуете повтор. На следующий день вы отправитесь на работу без портфеля. В этот день на улице вас тронет за руку человек и скажет: «По-моему, вы обронили портфель». Он даст вам портфель с книгой Голдстейна. Вы вернете ее ровно через две недели.

Наступило молчание.

— До ухода у вас минуты три,— сказал О'Брайен.— Мы встретимся снова... если встретимся...

Уинстон посмотрел ему в глаза.

— Там, где нет темноты? — неуверенно закончил он.

О'Брайен кивнул, несколько не удивившись.

— Там, где нет темноты,— повторил он так, словно это был понятный ему намек.— А пока — не хотели бы вы что-нибудь сказать перед уходом? Пожелание? Вопрос?

Уинстон задумался. Спрашивать ему было больше не о чем; еще меньше хотелось изрекать на прощание высокопарные банальности. В голове у него возникло нечто, не связанное прямо ни с Братством, ни с О'Брайеном: видение, в котором совместились темная спальня, где провела последние дни мать, и комната у мистера Чаррингтона со стеклянным пресс-папье и гравюрой в рамке розового дерева. Почти произвольно он спросил:

— Вам не приходилось слышать один старый стишок с таким началом: «Апельсинчики как мед,— в колокол Сент-Клемент бьет»?

О'Брайен и на этот раз кивнул. Любезно и с некоторой важностью он закончил строфу:

Апельсинчики как мед,—
 В колокол Сент-Клемент бьет.
 И звонит Сент-Мартин:
 Отдавай мне фартинг!
 И Олд-Бейли ох сердит:
 Возвращай должок! — гудит.
 Все верну с получки! — хнычет
 Колокольный звон Шордитча.

— Вы знаете последний стих! — сказал Уинстон.

— Да, я знаю последний стих. Но боюсь, вам пора уходить. Пойдите. Разрешите и вам дать таблетку.

Уинстон встал, О'Брайен подал руку. Ладонь Уинстона была смята егожатием. В дверях Уинстон оглянулся, но О'Брайен уже думал о другом. Он ждал, положив руку на выключатель телекрана. За спиной у него Уинстон видел стол с лампой под зеленым абажуром, речепи и проволочные корзинки, полные документов. Эпизод закончился. Через полминуты, подумал Уинстон, хозяин вернется к ответственной партийной работе.

IX

От усталости Уинстон превратился в студень. Студень — подходящее слово. Оно пришло ему в голову неожиданно. Он чувствовал себя не только дряблым, как студень, но и таким же полупрозрачным. Казалось, если поднять ладонь, она будет просвечивать. Трудовая оргия выпила из него кровь и лимфу, оставила только хрупкое сооружение из нервов, костей и кожи. Все ощущения обострились чрезвычайно. Комбинезон тер плечи, тротуар щекотал ступни, даже кулак сжать стоило такого труда, что хрустели суставы.

За пять дней он отработал больше девяноста часов. И так — все в министерстве. Но теперь аврал кончился, делать было нечего — совсем никакой партийной работы до завтрашнего утра. Шесть часов он мог провести в убежище и еще девять — в своей постели. Под мягким вечерним солнцем, не торопясь, он шел по грязной улочке к лавке мистера Чаррингтона и, хоть поглядывал настороженно, нет ли патруля, в глубине души был уверен, что сегодня вечером можно не бояться, никто не остановит. Тяжелый портфель стучал по колену при каждом шаге, и удары легким покалыванием отдавались по всей ноге. В портфеле лежала книга, лежала уже шестой день, но до сих пор он не то что раскрыть ее — даже взглянуть на нее не успел.

На шестой день Недели ненависти, после шестив, речей, криков, пения, лозунгов, транспарантов, фильмов, восковых чучел, барабанной дроби, визга труб, маршевого топота, лязга танковых гусениц, рева эскадрилий и оружейной пальбы, при заключительных судорогах всеобщего оргазма, когда ненависть дошла до такого кипения, что попадись толпе те две тысячи евразийских военных преступников, которых предстояло публично повесить в последний день мероприятия, их непременно растерзали бы, — в этот самый день было объявлено, что Океания с Евразией не воюет. Война идет с Остазией. Евразия — союзник.

Ни о какой перемене, естественно, и речи не было. Просто стало известно — вдруг и всюду разом, — что враг Остазия, а не Евразия. Когда это произошло, Уинстон как раз участвовал в демонстрации на одной из центральных площадей Лондона. Был уже вечер, мертвенный свет прожекторов падал на белые лица и алые знамена. На площади стояло несколько тысяч человек, среди них — примерно тысяча школьников, одной группой, в форме разведчиков. С затаенной кумачом трибуны выступал оратор из внутренней партии — тощий человечек с необычайно длинными руками и большой лысой головой, на которой развевались отдельные мягкие прядки волос. Корчась от ненависти, карлик одной рукой душил за шейку микрофон, а другая, громадная на костлявом запястье, угрожающе загребала воздух над головой. Металлический голос из репродукторов гремел о бесконечных зверствах, боянях, выселениях целых народов, грабежах, насилиях, пытках военнопленных, бомбардировках мирного населения, пропагандистских вымыслах, наглых агрессиях, нарушенных договорах. Слушая его, через минуту не поверить, а через две не взбеситься было почти невозможно. То и дело ярость в толпе перекипала через край, и голос оратора тонул

в зверском реве, вырывавшемся из тысячи глоток. Свирепее всех кричали школьники. Речь продолжалась уже минут двадцать, как вдруг на трибуну взбежал курьер и подsunул оратору бумажку. Тот развернул ее и прочел, не переставая говорить. Ничто не изменилось ни в голосе его, ни в повадке, ни в содержании речи, но имена вдруг стали иными. Без всяких слов по толпе прокатилась волна понимания. Воюем с Остазией! В следующий миг возникла гигантская суматоха. Все плакаты и транспаранты на площади были неправильные! На половине из них совсем не те лица! Вредительство! Работа голдстейновских агентов! Была бурная интерлюдия: со стен сдирали плакаты, рвали в клочья и топтали транспаранты. Разведчики показывали чудеса ловкости, карабкаясь по крышам и срезая лозунги, трепетавшие между дымоходами. Через две-три минуты все было кончено. Оратор, еще державший за горло микрофон, продолжал речь без заминки, сутулясь и загребая воздух. Еще минута — и толпа вновь разразилась первобытными криками злости. Ненависть продолжалась как ни в чем не бывало — только предмет стал другим.

Задним числом Уинстон поразился тому, как оратор сменил линию буквально на полудфразе, не только не запнувшись, но даже не нарушив синтаксиса. Но сейчас ему было не до этого. Как раз во время суматохи, когда срывали плакаты, кто-то тронул его за плечо и произнес: «Прошу прощения, по-моему, вы обронили портфель». Он рассеянно принял портфель и ничего не ответил. Он знал, что в ближайшие дни ему не удастся заглянуть в портфель. Едва кончилась демонстрация, он пошел в министерство правды, хотя время было — без чего-то двадцать три. Все сотрудники министерства поступили так же. Распоряжения явиться на службу, которые уже неслись из телекранов, были излишни.

Океания воюет с Остазией: Океания всегда воевала с Остазией. Большая часть всей политической литературы последних пяти лет устарела. Всякого рода сообщения и документы, книги, газеты, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии — все это следовало молниеносно уточнить. Хотя указания на этот счет не было, стало известно, что руководители решили уничтожить в течение недели всякое упоминание о войне с Евразией и союзе с Остазией. Работы было невпроворот, тем более что процедуры, с ней связанные, нельзя было называть своими именами. В отделе документации трудились по восемнадцать часов в сутки с двумя трехчасовыми перерывами для сна. Из подвалов принесли матрасы и разложили в коридорах; из столовой на тележках возили еду — бутерброды и кофе «Победа». К каждому перерыву Уинстон старался очистить стол от работы, и каждый раз, когда он приползал обратно со слипающимися глазами и ломотой во всем теле, его ждал новый сугроб бумажных трубочек, почти заваливший речепис и даже ссыпавшийся на пол; первым делом, чтобы освободить место, он собирал их в более или менее аккуратную горку. Хуже всего, что работа была отнюдь не механическая. Иногда достаточно было заменить одно имя другим; но всякое подробное сообщение требовало внимательности и фантазии. Чтобы только перенести войну из одной части света в другую, и то нужны были немалые географические познания.

На третий день глаза у него болели невыносимо, и каждые несколько минут приходилось прогирать очки. Это напоминало какую-то непосильную физическую работу: ты как будто и можешь от нее отказаться, но нервический азарт подхлестывает тебя и подхлестывает. Задумываться ему было некогда, но, кажется, его нисколько не тревожило то, что каждое слово, сказанное им в речепис, каждый росчерк чернильного карандаша — преднамеренная ложь. Как и все в отделе, он беспокоился только об одном — чтобы подделка была безупречна. Утром шестого дня поток заданий стал иссякать. За полчаса на стол не выпало ни одной трубочки; потом одна, и опять ничего. Примерно в то же время работа пошла на спад повсюду. По отделу пронесся глубокий и, так сказать, затаенный вздох. Великий негласный подвиг совершен. Ни один человек на свете документально не докажет, что война с Евразией была. В двенадцать ноль-ноль неожиданно объявили, что до завтрашнего утра сотрудники министерства свободны. С книгой в портфеле (во время работы он держал его между ног, а когда спал — под собой) Уинстон пришел домой, побрился и едва не уснул в ванне, хотя вода была чуть теплая.

Сладостно хрустя суставами, он поднялся по лестнице в комнатку у мистера Чаррингтона. Усталость не прошла, но спать уже не хотелось. Он распахнул окно, зажег грязную керосинку и поставил воду для кофе. Джулия скоро придет, а пока — к н и г а. Он сел в засаленное кресло и расстегнул портфель.

На самодельном черном переплете толстой книги заглавия не было. Печать тоже оказалась слегка неровной. Страницы, обтрепанные по краям, раскрывались легко — книга побывала во многих руках. На титульном листе значилось:

Эммануэль Голдстейн
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВИЗМА

Уинстон начал читать:

Г л а в а 1
НЕЗНАНИЕ — СИЛА

На протяжении всей зафиксированной истории и, по-видимому, с конца неолита в мире были люди трех сортов: высшие, средние и низшие. Группы подразделялись самыми разными способами, носили всевозможные наименования, их численные пропорции, а также взаимные отношения от века к веку менялись; но неизменной оставалась фундаментальная структура общества. Даже после колоссальных потрясений и необратимых, казалось бы, перемен структура эта восстанавливалась, подобно тому как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули.

Цели этих трех групп совершенно несовместимы...

Уинстон прервал чтение — главным образом для того, чтобы еще раз почувствовать: он читает спокойно и с удобствами. Он был один: ни телекрана, ни уха у замочной скважины, ни нервного позыва оглянуться и прикрыть страницу рукой. Издалека тихо доносились крики детей; в самой же комнате — ни звука, только часы стрекотали, как сверчок. Он уселся поглубже и положил ноги на каминную решетку. Вдруг, как бывает при чтении, когда знаешь, что все равно книгу прочтешь и перечтешь от доски до доски, он раскрыл ее наугад и попал на начало третьей главы. Он стал читать:

Г л а в а 3
ВОЙНА ЭТО МИР

Раскол мира на три сверхдержавы явился событием, которое могло быть предсказано и было предсказано еще до середины двадцатого века. После того как Россия поглотила Европу, а Соединенные Штаты — Британскую империю, фактически сложились две из них. Третья, Остазия, оформилась как единое целое лишь спустя десятилетие, наполненное беспорядочными войнами. Границы между сверхдержавами кое-где не установлены, кое-где сдвигаются в зависимости от военной фортуны, но в целом совпадают с естественными географическими рубежами. Евразия занимает всю северную часть европейского и азиатского континентов, от Португалии до Берингова пролива. В Океании входят обе Америки, атлантические острова, включая Британские, Австралия и юг Африки. Остазия, наименьшая из трех и с не вполне установившейся западной границей, включает в себя Китай, страны к югу от него, Японские острова и большие, но не постоянные части Маньчжурии, Монголии и Тибета.

В том или ином сочетании три сверхдержавы постоянно ведут войну, которая длится уже двадцать пять лет. Война, однако, — уже не то отчаянное, смертельное противоборство, каким она была в первой половине двадцатого века. Это военные действия с ограниченными целями, причем противники не в состоянии уничтожить друг друга, материально в войне не заинтересованы и не противостоят друг другу идеологически. Но неверно думать, что методы ведения войны и преобладающее отношение к ней стали менее жестокими и кровавыми. Напротив, во всех странах военная истерия имеет всеобщий и постоянный характер, а такие акты, как насилие, мародерство, убийство детей, обращение всех жителей в рабство, репрессии против пленных, доходящие до варки или погребения живьем, считаются нормой и даже доблестью — если совершены своей

стороной, а не противником. Но физически войной занята малая часть населения — в основном хорошо обученные профессионалы, — и людские потери сравнительно невелики. Бои — когда бои идут — разворачиваются на отдаленных границах, о местоположении которых рядовой гражданин может только гадать, или вокруг плавающих крепостей, которые контролируют морские коммуникации. В центрах цивилизации война дает о себе знать лишь постоянной нехваткой потребительских товаров да от случая к случаю — взрывом ракеты, уносящим порой несколько десятков жизней. Война, в сущности, изменила свой характер. Точнее, вышли на первый план прежде второстепенные причины войны. Мотивы, присутствовавшие до некоторой степени в больших войнах начала двадцатого века, стали доминировать, их осознали и ими руководствуются.

Дабы понять природу нынешней войны — а несмотря на перегруппировки, происходящие раз в несколько лет, это все время одна и та же война, — надо прежде всего усвоить, что она никогда не станет решающей. Ни одна из трех сверхдержав не может быть завоевана даже объединенными армиями двух других. Силы их слишком равны и естественный оборонный потенциал неисчерпаем. Евразия защищена своими необозримыми пространствами, Океания — шириной Атлантического и Тихого океанов, Остзия — плодovitостью и трудолюбием ее населения. Кроме того, в материальном смысле сражаться больше не за что. С образованием самодостаточных экономических систем борьба за рынки — главная причина прошлых войн — прекратилась, соперничество из-за сырьевых баз перестало быть жизненно важным. Каждая из трех держав настолько огромна, что может добыть почти все нужное сырье на своей территории. А если уж говорить о чисто экономических целях войны, то это война за рабочую силу. Между границами сверхдержав, не принадлежа ни одной из них постоянно, располагается неправильный четырехугольник с вершинами в Танжере, Браззавиле, Дарвине и Гонконге, в нем проживает примерно одна пятая населения Земли. За обладание этими густонаселенными областями, а также арктической ледяной шапкой и борются постоянно три державы. Фактически ни одна из них никогда полностью не контролировала спорную территорию. Части ее постоянно переходят из рук в руки; возможность захватить ту или иную часть внезапным предательским маневром как раз и диктует бесконечную смену партнеров.

Все спорные земли располагают важными минеральными ресурсами, а некоторые производят ценные растительные продукты, как, например, каучук, который в холодных странах приходится синтезировать, причем сравнительно дорогими способами. Но самое главное — они располагают неограниченным резервом дешевой рабочей силы. Тот, кто захватывает экваториальную Африку, или страны Ближнего Востока, или индонезийский архипелаг, приобретает сотни миллионов практически даровых рабочих рук. Население этих районов, более или менее открыто низведенное до состояния рабства, непрерывно переходит из-под власти одного оккупанта под власть другого и лихорадочно расходуетя ими, подобно углю и нефти, чтобы произвести больше оружия, чтобы захватить больше территории, чтобы получить больше рабочей силы, чтобы произвести больше оружия — и так до бесконечности. Надо отметить, что боевые действия всегда ведутся в основном на окраинах спорных территорий. Рубежи Евразии перемещаются взад и вперед между Конго и северным побережьем Средиземного моря; острова в Индийском и Тихом океанах захватывает то Океания, то Остзия; в Монголии линия раздела между Евразией и Остзией непостоянна; в Арктике все три державы претендуют на громадные территории — по большей части не заселенные и не исследованные; однако приблизительное равновесие сил всегда сохраняется, и метрополии всегда неприступны. Больше того, мировой экономике, по существу, не нужна рабочая сила эксплуатируемых тропических стран. Они ничем не обогащают мир, ибо все, что там производится, идет на войну, а задача войны — подготовить лучшую позицию для новой войны. Своим рабским трудом эти страны просто позволяют наращивать темп непрерывной войны. Но если бы их не было, структура мирового сообщества и процессы, ее под-держивающие, существенно не изменились бы.

Главная цель современной войны (в соответствии с принципом *д в о е м ы с л и я* эта цель одновременно признается и не признается руководящей головкой *внутренней партии*) — израсходовать продукцию машины, не повышая общий

уровень жизни. Вопрос, как быть с излишками потребительских товаров в индустриальном обществе, подспудно назрел еще в конце девятнадцатого века. Ныне, когда мало кто даже ест досыта, вопрос этот, очевидно, не стоит; возможно, он не встал бы даже в том случае, если бы не действовали искусственные процессы разрушения. Сегодняшний мир — скудное, голодное, запущенное место по сравнению с миром, существовавшим до 1914 года, а тем более если сравнивать его с безоблачным будущим, которое воображали люди той поры. В начале двадцатого века мечта о будущем обществе, невероятно богатом, с обилием досуга, упорядоченном, эффективном — о сияющем антисептическом мире из стекла, стали и снежно-белого бетона, — жила в сознании чуть ли не каждого грамотного человека. Наука и техника развивались с удивительной быстротой, и естественно было предположить, что так они и будут развиваться. Этого не произошло — отчасти из-за обнищания, вызванного длинной чередой войн и революций, отчасти из-за того, что научно-технический прогресс основывался на эмпирическом мышлении, которое не могло уцелеть в жестко регламентированном обществе. В целом мир сегодня примитивнее, чем пятьдесят лет назад. Развились некоторые отсталые области, созданы разнообразные новые устройства — правда, так или иначе связанные с войной и полицейской слежкой, — но эксперимент и изобретательство в основном отмерли и разруха, вызванная атомной войной пятидесятих годов, полностью не ликвидирована. Тем не менее опасности, которые несет с собой машина, никуда не делись. С того момента, когда машина заявила о себе, всем мыслящим людям стало ясно, что исчезла необходимость в черной работе, а значит, и главная предпосылка человеческого неравенства. Если бы машину направленно использовали для этой цели, то через несколько поколений было бы покончено и с голодом, и с изнурительным трудом, и с грязью, и с неграмотностью, и с болезнями. Да и не будучи употреблена для этой цели, а, так сказать, стихийным порядком — производя блага, которые иногда невозможно было распределить, — машина за пять десятков лет в конце девятнадцатого века и начале двадцатого разительно подняла жизненный уровень обыкновенного человека.

Но так же ясно было и то, что общий рост благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью, а в каком-то смысле и есть уже его гибель. В мире, где рабочий день короток, где каждый сыт и живет в доме с ванной и холодильником, владеет автомобилем или даже самолетом, самая очевидная, а быть может, и самая важная форма неравенства уже исчезла. Став всеобщим, богатство перестает порождать различия. Можно, конечно, вообразить общество, где б л а г а, в смысле личной собственности и удовольствий, будут распределены поровну, а в л а с т ь останется у маленькой привилегированной касты. Но на деле такое общество не может долго быть устойчивым. Ибо если обеспеченностью и досугом смогут наслаждаться все, то громадная масса людей, отупевших от нищеты, станет грамотной и научится думать самостоятельно; после чего эти люди рано или поздно поймут, что привилегированное меньшинство не выполняет никакой функции, — и выбросят его. В конечном счете иерархическое общество зиждется только на нищете и невежестве. Вернуться к сельскому образу жизни, как мечтали некоторые мыслители в начале двадцатого века, — выход нереальный. Он противоречит стремлению к индустриализации, которое почти повсеместно стало квазинстинктом; кроме того, индустриально отсталая страна беспомощна в военном отношении и прямо или косвенно попадет в подчинение к более развитым соперникам.

Не оправдал себя и другой способ: держать массы в нищете, ограничив производство товаров. Это уже отчасти наблюдалось на конечной стадии капитализма — приблизительно между 1920 и 1940 годами. В экономике многих стран был допущен застой, земли не возделывались, оборудование не обновлялось, большие группы населения были лишены работы и кое-как поддерживали жизнь за счет государственной благотворительности. Но это также ослабляло военную мощь, и, поскольку лишения явно не были вызваны необходимостью, неизбежно возникла оппозиция. Задача состояла в том, чтобы промышленность работала на полных оборотах, не увеличивая количество материальных ценностей в мире. Товары надо производить, но не надо распределять. На практике единственный путь к этому, — непрерывная война.

Сущность войны — уничтожение не только человеческих жизней, но и плодов человеческого труда. Война — это способ разбивать вдребезги, распылять в стратосфере, топить в морской пучине материалы, которые могли бы улучшить народу жизнь и тем самым в конечном счете сделать его разумнее. Даже когда оружие не уничтожается на поле боя, производство его — удобный способ истратить человеческий труд и не произвести ничего для потребления. Плавающая крепость, например, поглотила столько труда, сколько пошло бы на строительство нескольких сот грузовых судов. В конце концов она устаревает, идет на лом, не принеся никому материальной пользы, и вновь с громадными трудами строится другая плавающая крепость. Теоретически военные усилия всегда планируются так, чтобы поглотить все излишки, которые могли бы остаться после того, как будут удовлетворены минимальные нужды населения. Практически нужды населения всегда недооцениваются, и в результате — хроническая нехватка предметов первой необходимости; но она считается полезной. Это — обдуманная политика: держать даже привилегированные слои на грани лишений, ибо общая скудость повышает значение мелких привилегий и тем увеличивает различия между одной группой и другой. По меркам начала двадцатого века даже член внутренней партии ведет аскетическую и многотрудную жизнь. Однако немногие преимущества, которые ему даны — большая, хорошо оборудованная квартира, одежда из лучшей ткани, лучшего качества пища, табак и напитки, два или три слуги, персональный автомобиль или вертолет, — пропастью отделяют его от члена внешней партии, а тот в свою очередь имеет такие же преимущества перед беднейшей массой, которую мы именуем пролами. Это — социальная атмосфера осажденного города, где разница между богатством и нищетой заключается в обладании куском конины. Одновременно благодаря ощущению войны, а следовательно, опасности, передача всей власти маленькой верхушке представляется естественным, необходимым условием выживания.

Война, как нетрудно видеть, не только осуществляет нужные разрушения, но и осуществляет их психологически приемлемым способом. В принципе было бы очень просто израсходовать избыточный труд на возведение храмов и пирамид, рытье ям, а затем их засыпку или даже на производство огромного количества товаров, с тем чтобы после предавать их огню. Однако так мы создадим только экономическую, а не эмоциональную базу иерархического общества. Дело тут не в моральном состоянии масс — их настроения роли не играют, покуда массы приставлены к работе, — а в моральном состоянии самой партии. От любого, пусть самого незаметного, члена партии требуется знание дела, трудолюбие и даже ум в узких пределах, но так же необходимо, чтобы он был невопрошающим невежественным фанатиком и в душе его господствовали страх, ненависть, слепое поклонение и оргиастический восторг. Другими словами, его ментальность должна соответствовать состоянию войны. Не важно, идет ли война на самом деле, и, поскольку решительной победы быть не может, не важно, хорошо идут дела на фронте или худо. Нужно одно: находиться в состоянии войны. Осведомительство, которого партия требует от своих членов и которого легче добиться в атмосфере войны, приняло всеобщий характер, но чем выше люди по положению, тем активнее оно проявляется. Именно во внутренней партии сильнее всего военная истерия и ненависть к врагу. Как администратор член внутренней партии нередко должен знать, что та или иная военная сводка не соответствует истине, нередко ему известно, что вся война — фальшивка и либо вообще не ведется, либо ведется совсем не с той целью, которую декларируют; но такое знание легко нейтрализуется методом двоемыслия. При всем этом ни в одном члене внутренней партии не пошатнется мистическая вера в то, что война — настоящая, кончится победоносно и Океания станет безраздельной хозяйкой земного шара.

Для всех членов внутренней партии эта грядущая победа — догмат веры. Достигнута она будет либо постепенным расширением территории, что обеспечит подавляющее превосходство в силе, либо благодаря какому-то новому, неотразимому оружию. Поиски нового оружия продолжают постоянно, и это одна из немногих областей, где еще может найти себе применение изобретательный или теоретический ум. Ныне в Океании наука в прежнем смысле почти перестала существовать. На новоязе нет слова «наука». Эмпирический метод мышления,

на котором основаны все научные достижения прошлого, противоречит коренным принципам англо-американского общества. И даже технический прогресс происходит только там, где результаты его можно как-то использовать для сокращения человеческой свободы. В полезных ремеслах мир либо стоит на месте, либо движется вспять. Поля пахут конным плугом, а книги сочиняют на машинах. Но в жизненно важных областях, то есть в военной и полицейско-сыскальной, эмпирический метод поощряют или, по крайней мере, терпят. У партии две цели: завоевать весь земной шар и навсегда уничтожить возможность независимой мысли. Поэтому она озабочена двумя проблемами. Первая — как вопреки желанию человека узнать, что он думает, и вторая — как за несколько секунд без предупреждения убить несколько сот миллионов человек. Таковы суть предметы, которыми занимается оставшаяся наука. Сегодняшний ученый — это либо гибрид психолога и инквизитора, дотошно исследующий характер мимики, жестов, интонаций и испытывающий действие медикаментов, шоковых процедур, гипноза и пыток в целях извлечения правды из человека; либо это химик, физик, биолог, занятый исключительно такими отраслями своей науки, которые связаны с умерщвлением. В громадных лабораториях министерства мира и на опытных полигонах, скрытых в бразильских джунглях, австралийской пустыне, на уединенных островах Антарктики, неутомимо трудятся научные коллективы. Одни планируют материально-техническое обеспечение будущих войн, другие разрабатывают все более мощные ракеты, все более сильные взрывчатые вещества, все более прочную броню; третьи изобретают новые смертоносные газы или растворимые яды, которые можно будет производить в таких количествах, чтобы уничтожить растительность на целом континенте, или новые виды микробов, неуязвимые для антибиотиков; четвертые пытаются сконструировать транспортное средство, которое сможет прошивать землю, как подводная лодка — морскую толщу, или самолет, не привязанный к аэродромам и авианосцам; пятые изучают совсем фантастические идеи наподобие того, чтобы фокусировать солнечные лучи линзами в космическом пространстве или провоцировать землетрясения путем проникновения к раскаленному ядру Земли.

Ни один из этих проектов так и не приблизился к осуществлению, и ни одна из трех сверхдержав существенного преимущества никогда не достигала. Но самое удивительное: все три уже обладают атомной бомбой — оружием гораздо более мощным, чем то, что могли бы дать нынешние разработки. Хотя партия, как заведено, приписывает это изобретение себе, бомбы появились еще в сороковых годах и впервые были применены массировано лет десять спустя. Тогда на промышленные центры — главным образом в Европейской России, Западной Европе и Северной Америке — были сброшены сотни бомб. В результате правящие группы всех стран убедились: еще несколько бомб — и конец организованному обществу, а следовательно, их власти. После этого, хотя никакого официального соглашения не было даже в проекте, атомные бомбардировки прекратились. Все три державы продолжают лишь производить и накапливать атомные бомбы в расчете на то, что рано или поздно представится удобный случай, когда они смогут решить войну в свою пользу. В целом же последние тридцать — сорок лет военное искусство топчется на месте. Шире стали использоваться вертолеты; бомбардировщики по большей части вытеснены беспилотными снарядами, боевые корабли с их невысокой живучестью уступили место почти непотопляемым плавающим крепостям, в остальном боевая техника изменилась мало. Так, подводная лодка, пулемет, даже винтовка и ручная граната по-прежнему в ходу. И несмотря на бесконечные сообщения о кровопролитных боях в прессе и по телеэкранам, грандиозные сражения прошлых войн, когда за несколько недель гибли сотни тысяч и даже миллионы, уже не повторяются.

Все три сверхдержавы никогда не предпринимают маневров, чреватых риском тяжелого поражения. Если и осуществляется крупная операция, то, как правило, это внезапное нападение на союзника. Все три державы следуют — или уверяют себя, что следуют, — одной стратегии. Идея ее в том, чтобы посредством боевых действий, переговоров и своевременных изменнических ходов полностью окружить противника кольцом военных баз, заключить с ним пакт о дружбе и сколько-то лет поддерживать мир, дабы усыпить всякие подозрения. Тем временем во всех стратегических пунктах можно смонтировать ракеты с атомными

боевыми частями и наконец нанести массированный удар, столь разрушительный, что противник лишится возможности ответного удара. Тогда можно будет подписать договор о дружбе с третьей мировой державой и готовиться к новому нападению. Излишне говорить, что план этот — всего лишь греза, он неосуществим. Да и бои если ведутся, то лишь вблизи спорных областей у экватора и у полюса: вторжения на территорию противника не было никогда. Этим объясняется и неопределенность некоторых границ между сверхдержавами. Евразия, например, нетрудно было бы захватить Британские острова, географически принадлежащие к Европе; с другой стороны, и Океания могла бы отодвинуть свои границы к Рейну и даже Висле. Но тогда был бы нарушен принцип хотя и не провозглашенный, но соблюдаемый всеми сторонами — принцип культурной целостности. Если Океания завоюет области, прежде называвшиеся Францией и Германией, то возникнет необходимость либо истребить жителей, что физически трудно осуществить, либо ассимилировать стоимиллионный народ, в техническом отношении находящийся примерно на том же уровне развития, что и Океания. Перед всеми тремя державами стоит одна и та же проблема. Их устройство безусловно требует, чтобы контактов с иностранцами не было — за исключением военнопленных и цветных рабов, да и то в ограниченной степени. С глубочайшим подозрением смотрят даже на официального (в данную минуту) союзника. Если не считать пленных, гражданин Океании никогда не видит граждан Евразии и Остзии, и знать иностранные языки ему запрещено. Если разрешить ему контакт с иностранцами, он обнаружит, что это такие же люди, как он, а рассказы о них — по большей части ложь. Закупоренный мир, где он обитает, раскроется, и страх, ненависть, убежденность в своей правоте, которыми жив его гражданский дух, могут испариться. Поэтому все три стороны понимают, что, как бы часто ни переходили из рук в руки Персия и Египет, Ява и Цейлон, основные границы не должно пересекать ничто, кроме ракет.

Под этим скрывается факт, никогда не обсуждаемый вслух, но молчаливо признаваемый и учитываемый при любых действиях, а именно: условия жизни во всех трех державах весьма схожи. В Океании государственное учение именуется ангоцем, в Евразии — неолышевизмом, а в Остзии его называют китайским словом, которое обычно переводится как «культ смерти», но лучше, пожалуй, передало бы его смысл «стирание личности». Гражданину Океании не дозволено что-либо знать о догмах двух других учений, но он приучен проклинать их как варварское надругательство над моралью и здравым смыслом. На самом деле эти три идеологии почти неразличимы, а общественные системы, на них основанные, неразличимы совсем. Везде та же пирамидальная структура, тот же культ полубога-вождя, та же экономика, живущая постоянной войной и для войны. Отсюда следует, что три державы не только не могут покорить одна другую, но и не получили бы от этого никакой выгоды. Напротив, покуда они враждуют, они подпирают друг друга подобно трем снопам. И как всегда, правящие группы трех стран и сознают и одновременно не сознают, что делают. Они посвятили себя завоеванию мира, но вместе с тем понимают, что война должна длиться постоянно, без победы. А благодаря тому, что опасность быть покоренным государству не грозит, становится возможным отрицание действительности — характерная черта и ангоца и конкурирующих учений. Здесь надо повторить сказанное ранее: став постоянной, война изменила свой характер.

В прошлом война, можно сказать, по определению была чем-то, что рано или поздно кончалось — как правило, несомненной победой или поражением. Кроме того, в прошлом война была одним из главных инструментов, не дававших обществу оторваться от физической действительности. Во все времена все правители пытались навязать поданным ложные представления о действительности; но иллюзий, подрывающих военную силу, они позволяли себе не могли. Покуда поражение влечет за собой потерю независимости или какой-то другой результат, считающийся нежелательным, поражения надо остерегаться самым серьезным образом. Нельзя игнорировать физические факты. В философии, в религии, в этике, в политике дважды два может равняться пяти, но если вы конструируете пушку или самолет, дважды два должно быть — четыре. Недееспособное государство раньше или позже будет побеждено, а дееспособность не может опираться на иллюзии. Кроме того, чтобы быть дееспособным, необходимо умение учить-

ся на уроках прошлого, а для этого надо более или менее точно знать, что происходило в прошлом. Газеты и книги по истории, конечно, всегда страдали страстностью и предвзятостью, но фальсификация в сегодняшних масштабах прежде была бы невозможна. Война всегда была стражем здравого рассудка, и, если говорить о правящих классах, вероятно, главным стражем. Пока войну можно было выиграть или проиграть, никакой правящий класс не имел права вести себя совсем безответственно.

Но когда война становится буквально бесконечной, она перестает быть опасной. Когда война бесконечна, такого понятия, как военная необходимость, нет. Технический прогресс может прекратиться, можно игнорировать и отрицать самые очевидные факты. Как мы уже видели, исследования, называемые научными, еще ведутся в военных целях, но по существу — это своего рода мечтания, и никого не смущает, что они безрезультатны. Дееспособность и даже боеспособность больше не нужны. В Океании все плохо действует, кроме полиции мыслей. Поскольку сверхдержавы непобедимы, каждая представляет собой отдельную вселенную, где можно предаваться почти любому умственному извращению. Действительность оказывает давление только через обиходную жизнь: надо есть и пить, надо иметь кров и одеваться, нельзя глотать ядовитые вещества, выходить через окно на верхнем этаже и так далее. Между жизнью и смертью, между физическим удовольствием и физической болью разница все-таки есть — но и только. Отрезанный от внешнего мира и от прошлого, гражданин Океании, подобно человеку в межзвездном пространстве, не знает, где верх, где низ. Правители такого государства обладают абсолютной властью, какой не было ни у цезарей, ни у фараонов. Они не должны допустить, чтобы их подопечные мерли от голода в чрезмерных количествах, когда это уже представляет известные неудобства, они должны поддерживать военную технику на одном невысоком уровне; но коль скоро этот минимум выполнен, они могут извращать действительность так, как им заблагорассудится.

Таким образом, война, если подходить к ней с мерками прошлых войн, — мошеничество. Она напоминает схватки некоторых явчачных животных, чьи рога растут под таким углом, что они не способны ранить друг друга. Но хотя война нереальна, она не бессмысленна. Она пожирает излишки благ и позволяет поддерживать особую душевную атмосферу, в которой нуждается иерархическое общество. Ныне, как нетрудно видеть, война — дело чисто внутреннее. В прошлом правители всех стран, хотя и понимали порой общность своих интересов, а потому ограничивали разрушительность войн, воевали все-таки друг с другом, и победитель грабил побежденного. В наши дни они друг с другом не воюют. Войну ведет правящая группа против своих подданных, и цель войны — не избежать захвата своей территории, а сохранить общественный строй. Поэтому само слово «война» вводит в заблуждение. Мы, вероятно, не погрешим против истины, если скажем, что, сделавшись постоянной, война перестала быть войной. То особое давление, которое она оказывала на человечество со времен неолита и до начала двадцатого века, исчезло и сменилось чем-то совсем другим. Если бы три державы не воевали, а согласились вечно жить в мире и каждая оставалась бы неприкосновенной в своих границах, результат был бы тот же самый. Каждая была бы замкнутой вселенной, навсегда избавленной от отрезвляющего влияния внешней опасности. Мир, в подлинном смысле постоянный, был бы то же самое, что постоянная война. Вот в чем глубинный смысл — хотя большинство членов партии понимают его поверхностно — партийного лозунга ВОЙНА ЭТО МИР.

Уинстон перестал читать. Послышался гром — где-то вдалеке разорвалась ракета. Блаженное чувство — один с запретной книгой, в комнате без телекрана — не проходило. Одиночество и покой он ощущал физически, так же как усталость в теле, мягкость кресла, ветерок из окна, дышавший в щеку. Книга завораживала его, а вернее, укрепляла. В каком-то смысле книга не сообщила ему ничего нового — но тем-то и была она привлекательна. Она говорила то, что он сам бы мог сказать, если бы сумел привести в порядок отрывочные мысли. Она была произведением ума, похожего на его ум, только гораздо более сильного, более систематического и не изъязвленного страхом. Лучшие книги, понял он, говорят тебе то, что ты уже сам знаешь. Он хотел вернуться к первой главе, но

тут услышал на лестнице шаги Джулии и встал, чтобы ее встретить. Она уронила на пол коричневую сумку с инструментами и бросилась ему на шею. Они не виделись больше недели.

— Книга у меня, — объявил Уинстон, когда они отпустили друг друга.

— Да, уже? Хорошо, — сказала она без особого интереса и тут же стала на колени у керосинки, чтобы сварить кофе.

К разговору о книге они вернулись после того, как полчаса провели в по-стели. Вечер был нежаркий, и они натянули на себя одеяло. Снизу доносилось привычное пение и шарканье ботинок по каменным плитам. Могучая красноручная женщина, которую Уинстон увидел здесь еще в первый раз, будто и не уходила со двора. Не было такого дня и часа, когда бы она не шагала взад-вперед между корытом и веревкой, то затыкая себя прищепками для белья, то снова раздражаясь зычной песней. Джулия перевернулась на бок и совсем уже засыпала. Он поднял книгу, лежавшую на полу, и сел к изголовью.

— Нам надо ее прочесть, — сказал он. — Тебе тоже. Все, кто в Братстве, должны ее прочесть.

— Ты читай, — отозвалась она с закрытыми глазами. — Вслух. Так лучше. По дороге будешь мне все объяснять.

Часы показывали шесть, то есть восемнадцать. Оставалось еще часа три-четыре. Он положил книгу на колени и начал читать:

Глава 1 НЕЗНАНИЕ — СИЛА

На протяжении всей зафиксированной истории и, по-видимому, с конца неолита в мире были люди трех сортов: высшие, средние и низшие. Группы подразделялись самыми разными способами, носили всевозможные наименования, их численные пропорции, а также взаимные отношения от века к веку менялись; но неизменной оставалась фундаментальная структура общества. Даже после колоссальных потрясений и необратимых, казалось бы, перемен структура эта восстанавливалась, подобно тому как восстанавливает свое положение гироскоп, куда бы его ни толкнули.

— Джулия, не спишь? — спросил Уинстон.

— Нет, милый, я слушаю. Читай. Это чудесно.

Он продолжал:

Цели этих трех групп совершенно несовместимы. Цель высших — остаться там, где они есть. Цель средних — поменяться местами с высшими; цель низших — когда у них есть цель, ибо для низших то и характерно, что они давлены тяжким трудом и лишь от случая к случаю направляют взгляд за пределы повседневной жизни, — отменить все различия и создать общество, где все люди должны быть равны. Таким образом, на протяжении всей истории вновь и вновь вспыхивает борьба, в общих чертах всегда одинаковая. Долгое время высшие как будто бы прочно удерживают власть, но рано или поздно наступает момент, когда они теряют либо веру в себя, либо способность управлять эффективно, либо и то и другое. Тогда их свергают средние, которые привлекли низших на свою сторону тем, что разыгрывали роль борцов за свободу и справедливость. Достигнув своей цели, они сталкивают низших в прежнее рабское положение и сами становятся высшими. Тем временем новые средние отслаиваются от одной из двух других групп или от обеих, и борьба начинается сызнова. Из трех групп только низшим никогда не удается достичь своих целей, даже на время. Было бы преувеличением сказать, что история не сопровождалась материальным прогрессом. Даже сегодня, в период упадка, обыкновенный человек материально живет лучше, чем несколько веков назад. Но никакой рост благосостояния, никакое смягчение нравов, никакие революции и реформы не приблизили человеческое равенство ни на миллиметр. С точки зрения низших, все исторические перемены значили немногим больше, чем смена хозяев.

К концу девятнадцатого века для многих наблюдателей стала очевидной повторяемость этой схемы. Тогда возникли учения, толкующие историю как циклический процесс и доказывающие, что неравенство есть неизменный закон

человеческой жизни. У этой доктрины, конечно, и раньше были приверженцы, но теперь она преподносилась существенно иначе. Необходимость иерархического строя прежде была доктриной высших. Ее проповедовали короли и аристократы, а также паразитировавшие на них священники, юристы и прочие, и смягчали обещаниями награды в воображаемом загробном мире. Средние, пока боролись за власть, всегда прибегали к помощи таких слов, как «свобода», «справедливость» и «братство». Теперь же на идею человеческого братства ополчились люди, которые еще не располагали властью, а только надеялись вскоре ее захватить. Прежде средние устраивали революции под знаменем равенства и, свергнув старую тиранию, немедленно устанавливали новую. Теперь средние фактически провозгласили свою тиранию заранее. Социализм — теория, которая возникла в начале девятнадцатого века и явилась последним звеном в идейной традиции, ведущей начало от восстаний рабов в древности, — был еще весь пропитан утопическими идеями прошлых веков. Однако все варианты социализма, появившиеся после 1900 года, более или менее открыто отказывались считать своей целью равенство и братство. Новые движения, возникшие в середине века — ангсоц в Океании, неолевизм в Евразии и культ смерти, как его принято называть, в Остзии, — ставили себе целью увековечение несвободы и неравенства. Эти новые движения родились, конечно, из прежних, сохранили их названия и на словах оставались верными их идеологии, но целью их было — в нужный момент остановить развитие и заморозить историю. Известный маятник должен качнуться еще раз — и застыть. Как обычно, высшие будут свергнуты средними и те сами станут высшими, но на этот раз благодаря продуманной стратегии высшие сохраняют свое положение навсегда.

Возникновение этих новых доктрин отчасти объясняется накоплением исторических знаний и ростом исторического мышления, до девятнадцатого века находившегося в зачаточном состоянии. Циклический ход истории стал понятен или представлялся понятным, а раз он понятен, значит, на него можно воздействовать. Но основная, глубинная предпосылка заключалась в том, что уже в начале двадцатого века равенство людей стало технически осуществимо. Верно, разумеется, что люди по-прежнему не были равны в отношении природных талантов и разделение функций ставило бы одного человека в более благоприятное положение, чем другого; отпала, однако, нужда в классовых различиях и в большом материальном неравенстве. В прошлые века классовые различия были не только неизбежны, но и желательны. За цивилизацию пришлось платить неравенством. Но с развитием машинного производства ситуация изменилась. Хотя люди по-прежнему должны были выполнять неодинаковые работы, исчезла необходимость в том, чтобы они стояли на разных социальных и экономических уровнях. Поэтому с точки зрения новых групп, готовившихся захватить власть, равенство людей стало уже не идеалом, к которому надо стремиться, а опасностью, которую надо предотвратить. В более примитивные времена, когда справедливое и мирное общество нельзя было построить, в него легко было верить. Человека тысячелетиями преследовала мечта о земном рае, где люди будут жить по-братски, без законов и без тяжкого труда. Видение это влияло даже на те группы, которые выигрывали от исторических перемен. Наследники английской, французской и американской революций отчасти верили в собственные фразы о правах человека, о свободе слова, о равенстве перед законом и т. п. и до некоторой степени даже подчиняли им свое поведение. Но к четвертому десятилетию двадцатого века все основные течения политической мысли были уже авторитарными. В земном рае разувверились именно тогда, когда он стал осуществим. Каждая новая политическая теория, как бы она ни именовалась, звала назад, к иерархии и регламентации. И в соответствии с общим ужесточением взглядов, обозначившимся примерно к 1930 году, возродились давно (иногда сотни лет назад) оставленные обычаи — тюремное заключение без суда, рабский труд военнопленных, публичные казни, пытки, чтобы добиться признания, взятие заложников, выселение целых народов; мало того: их терпели и даже оправдывали люди, считавшие себя просвещенными и прогрессивными.

Должно было пройти еще десятилетие, полное войн, гражданских войн, революций и контрреволюций, чтобы ангсоц и его конкуренты оформились как законченные политические теории. Но у них были провозвестники — разные си-

стемы, возникшие ранее в этом же веке и в совокупности именуемые тоталитарными; давно были ясны и очертания мира, который родится из наличного хаоса. Кому предстоит править этим миром, было столь же ясно. Новая аристократия составила в основном из бюрократов, ученых, инженеров, профсоюзных руководителей, специалистов по обработке общественного мнения, социологов, преподавателей и профессиональных политиков. Этих людей, по происхождению служащих и верхний слой рабочего класса, сформировал и свел вместе выхолащенный мир монополистической промышленности и централизованной власти. По сравнению с аналогичными группами прошлых веков они были менее алчны, менее склонны к роскоши, зато сильнее жаждали чистой власти, а самое главное, отчетливее сознавали, что они делают, и настойчивее стремились сокрушить оппозицию. Это последнее отличие оказалось решающим. Рядом с тем, что существует сегодня, все тирании прошлого выглядели бы нерешительными и расхлябанными. Правящие группы всегда были более или менее заражены либеральными идеями, всюду оставляли люфт, реагировали только на явные действия и не интересовались тем, что думают их подданные. По сегодняшним меркам даже католическая церковь средневековья была терпимой. Объясняется это отчасти тем, что прежде правительства не могли держать граждан под постоянным надзором. Когда изобрели печать, стало легче управлять общественным мнением; радио и кино позволили шагнуть в этом направлении еще дальше. А с развитием телевизионной техники, когда стало возможно вести прием и передачу одним аппаратом, частной жизни пришел конец. Каждого гражданина, по крайней мере каждого, кто по своей значительности заслуживает слежки, можно круглые сутки держать под полицейским наблюдением и круглые сутки питать официальной пропагандой, перекрыв все остальные каналы связи. Впервые появилась возможность добиться не только полного подчинения воле государства, но и полного единства мнений по всем вопросам.

После революционного периода пятидесятых — шестидесятых годов общество, как всегда, расслоилось на высших, средних и низших. Но новые высшие в отличие от своих предшественников действовали не по наитию: они знали, что надо делать, дабы сохранить свое положение. Давно стало понятно, что единственная надежная основа для олигархии — коллективизм. Богатство и привилегии легче всего защитить, когда ими владеют сообща. Так называемая отмена частной собственности, осуществленная в середине века, на самом деле означала сосредоточение собственности в руках у гораздо более узкой группы — но с той разницей, что теперь собственницей была группа, а не масса индивидуумов. Индивидуально ни один член партии не владеет ничем, кроме небольшого личного имущества. Коллективно партия владеет в Океании всем, потому что она всем управляет и распоряжается продуктами так, как считает нужным. В годы после революции она смогла занять господствующее положение почти беспрепятственно потому, что процесс шел под флагом коллективизации. Считалось, что, если класс капиталистов лишит собственности, наступит социализм; и капиталистов, несомненно, лишили собственности. У них отняли все — заводы, шахты, землю, дома, транспорт; а раз все это перестало быть частной собственностью, значит, стало общественной собственностью. Ангсоц, выросший из старого социалистического движения и унаследовавший его фразеологию, в самом деле выполнил главный пункт социалистической программы — с результатом, который он предвидел и к которому стремился: экономическое неравенство было закреплено навсегда.

Но проблемы увековечения иерархического общества этим не исчерпываются. Правящая группа теряет власть по четырем причинам. Либо ее победил внешний враг, либо она правит так неумело, что массы поднимают восстание, либо она позволила образоваться сильной и недовольной группе средних, либо потеряла уверенность в себе и желание править. Причины эти не изолированные; обычно в той или иной степени сказываются все четыре. Правящий класс, который сможет предохраниться от них, удержит власть навсегда. В конечном счете решающим фактором является психическое состояние самого правящего класса.

В середине нынешнего века первая опасность фактически исчезла. Три державы, поделившие мир, по сути дела, непобедимы и ослабеть могут только за счет медленных демографических изменений; однако правительству с большими полномочиями легко их предотвратить. Вторая опасность тоже всего лишь теоре-

тическая. Массы никогда не восстают сами по себе и никогда не восстают только потому, что они угнетены. Больше того, они даже не сознают, что угнетены, пока им не дали возможности сравнивать. В повторявшихся экономических кризисах прошлого не было никакой нужды, и теперь их не допускают; могут происходить и происходят другие столь же крупные неурядицы, но политических последствий они не имеют, потому что не оставлено никакой возможности выразить недовольство во внятной форме. Что же до проблемы перепроизводства, подспудно зреющей в нашем обществе с тех пор, как развилась машинная техника, то она решена при помощи непрерывной войны (см. главу 3), которая полезна еще и в том отношении, что позволяет подогреть общественный дух. Таким образом, с точки зрения наших нынешних правителей, подлинные опасности — это образование новой группы способных, не полностью занятых, рвущихся к власти людей и рост либерализма и скептицизма в их собственных рядах. Иначе говоря, проблема стоит воспитательная. Это проблема непрерывной формовки сознания направляющей группы и более многочисленной исполнительной группы, которая помещается непосредственно под ней. На сознание масс достаточно воздействовать лишь в отрицательном плане.

Из сказанного выше нетрудно вывести — если бы кто не знал ее — общую структуру государства Океания. Вершина пирамиды — Старший Брат. Старший Брат непогрешим и всемогущ. Каждое достижение, каждый успех, каждая победа, каждое научное открытие, все познания, вся мудрость, все счастье, вся доблесть непосредственно пронстекают из его руководства и им вдохновлены. Старшего Брата никто не видел. Его лицо — на плакатах, его голос — в телекране. Мы имеем все основания полагать, что он никогда не умрет, и уже сейчас существует значительная неопределенность касательно даты его рождения. Старший Брат — это образ, в котором партия желает предстать перед миром. Назначение его — служить фокусом для любви, страха и почитания, чувств, которые легче обратить на отдельное лицо, чем на организацию. Под Старшим Братом — внутренняя партия; численность ее ограничена шестью миллионами — это чуть меньше двух процентов населения Океании. Под внутренней партией — внешняя партия; если внутреннюю уподобить мозгу государства, то внешнею можно назвать руками. Ниже — бессловесная масса, которую мы привычно именуем пролами; они составляют, по-видимому, восемьдесят пять процентов населения. По нашей прежней классификации, пролы — низшие, ибо рабское население экваториальных областей, переходящее от одного завоевателя к другому, нельзя считать постоянной и необходимой частью общества.

В принципе принадлежность к одной из этих трех групп не является наследственной. Ребенок членов внутренней партии не принадлежит к ней по праву рождения. И в ту и в другую часть партии принимают после экзамена в возрасте шестнадцати лет. В партии нет ни расовых предпочтений, ни по географическому признаку. В самых верхних эшелонах можно встретить и еврея, и негра, и латиноамериканца, и чистокровного индейца; администраторов каждой области набирают из этой же области. Ни в одной части Океании жители не чувствуют себя колониальным народом, которым управляют из далекой столицы. Столицы в Океании нет; где находится номинальный глава государства, никто не знает. За исключением того, что в любой части страны можно объяснить на английском, а официальный язык ее — новояз, жизнь никак не централизована. Правители соединены не кровными узами, а приверженностью к доктрине. Конечно, общество расслоено, причем весьма четко, и на первый взгляд расслоение имеет наследственный характер. Движения вверх и вниз по социальной лестнице гораздо меньше, чем было при капитализме и даже в доиндустриальную эпоху. Между двумя частями партии определенный обмен происходит — но лишь в той мере, в какой необходимо избавиться от слабых во внутренней партии и обезопасить честолюбивых членов внешней, дав им возможность повышения. Пролетариям дорога в партию практически закрыта. Самых способных — тех, кто мог бы стать катализатором недовольства, — полиция мыслей просто берет на заметку и устраняет. Но такое положение дел не принципиально для строя и не является неизменным. Партия — не класс в старом смысле слова. Она не стремится завещать власть своим детям как таковым; и если бы не было другого способа собрать наверху самых способных, она не колеблясь набрала бы целое

новое поколение руководителей в среде пролетариата. То, что партия не наследственный корпус, в критические годы очень помогло нейтрализовать оппозицию. Социализм старого толка, приученный бороться с чем-то, называвшимся классовыми привилегиями, полагал, что ненаследственное не может быть постоянным. Он не понимал, что преемственность олигархии необязательно должна быть биологической, и не задумывался над тем, что наследственные аристократии всегда были недолговечны, тогда как организации, основанные на наборе — католическая церковь, например, — держались сотни, а то и тысячи лет. Суть олигархического правления не в наследной передаче от отца к сыну, а в стойкости определенного мировоззрения и образа жизни, диктуемых мертвыми живым. Правящая группа до тех пор правящая группа, пока она в состоянии назначать наследников. Партия озабочена не тем, чтобы увековечить свою кровь, а тем, чтобы увековечить себя. Кто облечен властью — не важно, лишь бы иерархический строй сохранялся неизменным.

Все верования, обычаи, вкусы, чувства, взгляды, свойственные нашему времени, на самом деле служат тому, чтобы поддержать таинственный ореол вокруг партии и скрыть подлинную природу нынешнего общества. Ни физический бунт, ни даже первые шаги к бунту сейчас невозможны. Пролетариев бояться нечего. Предоставленные самим себе, они из поколения в поколение, из века в век будут все так же работать, плодиться и умирать, не только не покушаясь на бунт, но даже не представляя себе, что жизнь может быть другой. Опасными они могут стать только в том случае, если прогресс техники потребует, чтобы им давали лучшее образование; но поскольку военное и коммерческое соперничество уже не играет роли, уровень народного образования фактически снижается. Каких взглядов придерживаются массы и каких не придерживаются — безразлично. Им можно предоставить интеллектуальную свободу, потому что интеллекта у них нет. У партийца же, напротив, малейшее отклонение во взглядах, даже по самому маловажному вопросу, считается нетерпимым.

Член партии с рождения до смерти живет на глазах у полиции мыслей. Даже оставшись один, он не может быть уверен, что он один. Где бы он ни был, спит он или бодрствует, работает или отдыхает, в ванне ли, в постели — за ним могут наблюдать, и он не будет знать, что за ним наблюдают. Не безразличен ни один его поступок. Его друзья, его развлечения, его обращение с женой и детьми, выражение лица, когда он наедине с собой, слова, которые он бормочет во сне, даже характерные движения тела — все это тщательно изучается. Не только поступок, но любое, пусть самое невинное чудачество, любая новая привычка и нервный жест, которые могут оказаться признаками внутренней неурядицы, непременно будут замечены. Свободы выбора у него нет ни в чем. С другой стороны, его поведение не регламентируется законом или четкими нормами. В Океании нет закона. Мысли и действия, караемые смертью (если их обнаружили), официально не запрещены, а бесконечные чистки, аресты, посадки, пытки и распыления имеют целью не наказать преступника, а устранить тех, кто мог бы когда-нибудь в будущем стать преступником. У члена партии должны быть не только правильные воззрения, но и правильные инстинкты. Требования к его взглядам и убеждениям зачастую не сформулированы в явном виде — их и нельзя сформулировать, не обнажив противоречивости, свойственной ангосоцу. Если человек от природы правоверен («благомыслящий» на новоязе), он при всех обстоятельствах не задумываясь знает, какое убеждение правильно и какое чувство желательно. Но в любом случае тщательная умственная тренировка в детстве, основанная на новоязовских словах «самостоп», «белочерный» и «двоемыслие», отбивает у него охоту глубоко задумываться над какими бы то ни было вопросами.

Партийцу не положено иметь никаких личных чувств и никаких перерывов в энтузиазме. Он должен жить в постоянном неистовстве — ненавдя внешних врагов и внутренних изменников, торжествуя очередную победу, преклоняясь перед могуществом и мудростью партии. Недовольство, порожденное скудной и безрадостной жизнью, планомерно направляют на внешние объекты и рассеивают при помощи таких приемов, как двухминутка ненависти, а мысли, которые могли бы привести к скептическому или мятежному расположению духа, убиваются в зародыше воспитанной сызмала внутренней дисциплиной. Первая, и простейшая,

ступень дисциплины, которую могут усвоить даже дети, называется на новоязе с а м о с т о п. Самостоп означает как бы инстинктивное умение остановиться на пороге опасной мысли. Сюда входит способность не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, неверно истолковывать даже простейший довод, если он враждебен ангсоцу, испытывать скуку и отвращение от хода мыслей, который может привести к ереси. Короче говоря, самостоп означает спасительную глупость. Но глупости недостаточно. Напротив, от правоверного требуется такое же владение своими умственными процессами, как от человека-змеи в цирке — своим телом. В конечном счете строй зиждется на том убеждении, что Старший Брат всемогущ, а партия непогрешима. Но поскольку Старший Брат не всемогущ и непогрешимость партии не свойственна, необходима неустанная и ежеминутная гибкость в обращении с фактами. Ключевое слово здесь — б е л о ч е р н ы й. Как и многие слова новояза, оно обладает двумя противоположными значениями. В применении к оппоненту оно означает привычку бесстыдно утверждать, что черное — это белое вопреки очевидным фактам. В применении к члену партии — благонамеренную готовность назвать черное белым, если того требует партийная дисциплина. Но не только назвать: еще и в е р и т ь, что черное — это белое; больше того: з н а т ь, что черное — это белое, и забыть, что когда-то ты думал иначе. Для этого требуется непрерывная переделка прошлого, которую позволяет осуществлять система мышления, по сути охватывающая все остальные и имеваемая на новоязе двоемыслием.

Переделка прошлого нужна по двум причинам. Одна из них, второстепенная и, так сказать, профилактическая, заключается в следующем. Партиец, как и пролетарий, терпит нынешние условия отчасти потому, что ему не с чем сравнивать. Он должен быть отрезан от прошлого так же, как от зарубежных стран, ибо ему надо верить, что он живет лучше предков и что уровень материальной обеспеченности неуклонно повышается. Но несравненно более важная причина для исправления прошлого — в том, что надо охранять непогрешимость партии. Речи, статистика, всевозможные документы должны подгоняться под сегодняшний день для доказательства того, что предсказания партии всегда были верны. Мало того: нельзя признавать никаких перемен в доктрине и политической линии. Ибо изменить воззрения или хотя бы политику — это значит признаться в слабости. Если, например, сегодня враг — Евразия или Остазия (не важно кто), значит, она всегда была врагом. А если факты говорят обратное, тогда факты надо изменить. Так непрерывно переписывается история. Эта ежедневная подчистка прошлого, которой занято министерство правды, так же необходима для устойчивости режима, как репрессивная и шпионская работа, выполняемая министерством любви.

Изменчивость прошлого — главный догмат ангсоца. Утверждается, что события прошлого объективно не существуют, а сохраняются только в письменных документах и в человеческих воспоминаниях. Прошлое есть то, что согласуется с записями и воспоминаниями. А поскольку партия полностью распоряжается документами и умами своих членов, прошлое таково, каким его желает сделать партия. Отсюда же следует, что хотя прошлое изменчиво, его ни в какой момент не меняли. Ибо если оно воссоздано в том виде, какой сейчас надобен, значит, эта новая версия и е с т ь прошлое и никакого другого прошлого быть не могло. Сказанное справедливо и тогда, когда прошлое событие, как нередко бывает, меняется до неузнаваемости несколько раз в год. В каждое мгновение партия владеет абсолютной истиной; абсолютное же очевидно не может быть иным, чем сейчас. Понятно также, что управление прошлым прежде всего зависит от тренировки памяти. Привести все документы в соответствие с требованиями дня — дело чисто механическое. Но ведь необходимо п о м н и т ь, что события происходили так, как требуется. А если необходимо переиначить воспоминания и подделать документы, значит, необходимо з а б ы т ь, что это сделано. Этому фокусу можно научиться, так же как любому методу умственной работы. И большинство членов партии (а умные и правоверные — все) ему научаются. На староязе это прямо называют «покорение действительности». На новоязе — двоемыслием, хотя двоемыслие включает в себя и многое другое.

Д в о е м ы с л и е означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять

свои воспоминания; следовательно, сознает, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие — душа ангсоа, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твердо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобится, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, — все это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом «двоемыслие», необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаешь, что мошенничаешь с действительностью; еще один акт двоемыслия — и ты стер это в памяти; и так до бесконечности, причем ложь все время на шаг впереди истины. В конечном счете именно благодаря двоемыслию партии удалось (и кто знает, еще тысячи лет может удаваться) остановить ход истории.

Все прошлые олигархии лишались власти либо из-за окостенения, либо из-за дряблости. Либо они становились тупыми и самонадеянными, переставали приспособляться к новым обстоятельствам и рушились, либо становились либеральными и трусливыми, шли на уступки, когда надо было применить силу, — и опять-таки рушились. Иначе говоря, губила их сознательность или, наоборот, бессознательность. Достижение партии заключается в том, что она создала систему мышления, где оба состояния существуют одновременно. И ни на какой другой интеллектуальной основе ее владычество нерушимым быть не могло. Тому, кто правит и намерен править дальше, необходимо умение искажать чувство реальности. Ибо секрет владычества в том, чтобы вера в свою непогрешимость сочеталась с умением учиться на прошлых ошибках.

Излишне говорить, что тоньше всех владеют двоемыслием те, кто изобрел двоемыслие и понимает его как грандиозную систему умственного надувательства. В нашем обществе те, кто лучше всех осведомлен о происходящем, меньше всех способны увидеть мир таким, каков он есть. В общем, чем больше понимания, тем сильнее иллюзии; чем умнее, тем безумнее. Наглядный пример — военная истерия, нарастающая по мере того, как мы поднимаемся по социальной лестнице. Наиболее разумное отношение к войне — у покоренных народов на спорных территориях. Для этих народов война — просто нескончаемое бедствие, снова и снова прокатывающееся по их телам подобно цунами. Какая сторона побеждает, им безразлично. Они знают, что при новых властителях будут делать прежнюю работу и обращаться с ними будут так же, как прежде. Находящиеся в чуть лучшем положении рабочие, которых мы называем пролами, замечают войну лишь время от времени. Когда надо, их можно возбудить до иступленного гнева или страха, но, предоставленные самим себе, они забывают о ведущейся войне надолго. Подлинный военный энтузиазм мы наблюдаем в рядах партии, особенно внутренней партии. В завоевание мира больше всех верят те, кто знает, что оно невозможно. Это причудливое сцепление противоположностей — знания с невежеством, циничности с фанатизмом — одна из отличительных особенностей нашего общества. Официальное учение изобилует противоречиями даже там, где в них нет реальной нужды. Так, партия отвергает и чернит все принципы, на которых первоначально стоял социализм, — и занимается этим во имя социализма. Она проповедует презрение к рабочему классу, невиданное в минувшие века, — и одевает своих членов в форму, некогда привычную для людей физического труда и принятию именно по этой причине. Она систематически подрывает сплоченность семьи — и зовет своего вождя именем, прямо апеллирующим к чувству семейной близости. Даже в названиях четырех министерств, которые нами управляют, — беззастенчивое опрокидывание фактов. Министерство мира занимается войной, министерство правды — ложью, министерство любви — пытками, министерство изобилия морит голодом. Такие противоречия не случайны и происходят не просто от лицемерия. Это двоемыслие в действии. Ибо лишь примирение противоречий позволяет удерживать власть неограниченно долго. По-инному извечный цикл прервать нельзя. Если человеческое равенство надо навсегда сделать невозможным, если высшие, как мы их называем, хотят сохра-

нить свое место навеки, тогда господствующим душевным состоянием должно быть управляемое безумие.

Но есть один вопрос, который мы до сих пор не затрагивали. Почему надо сделать невозможным равенство людей? Допустим, механика процесса описана верно — каково же все-таки побуждение к этой колоссальной, точно спланированной деятельности, направленной на то, чтобы заморозить историю в определенной точке?

Здесь мы подходим к главной загадке. Как мы уже видели, мистический ореол вокруг партии, и прежде всего внутренней партии, обусловлен двоемыслием. Но под этим кроется исходный мотив, неисследованный инстинкт, который привел сперва к захвату власти, а затем породил и двоемыслие, и полицию мыслей, и постоянную войну, и прочие обязательные принадлежности строя. Мотив этот заключается...

Уинстон ощутил тишину, как ощущаешь новый звук. Ему показалось, что Джулия давно не шевелится. Она лежала на боку, до пояса голая, подложив ладонь под щеку, и темная прядь упала ей на глаза. Грудь у нее вздымалась медленно и мерно.

— Джулия.

Нет ответа.

— Джулия, ты не спишь?

Нет ответа. Она спала. Он закрыл книгу, опустил на пол, лег и натянул повыше одеяло — на нее и на себя.

Он подумал, что так и не знает главного секрета. Он понимал как, он не понимал зачем. Первая глава, как и третья, не открыла ему, в сущности, ничего нового. Она просто привела его знания в систему. Однако книга окончательно убедила его в том, что он не безумец. Если ты в меньшинстве — и даже в единственном числе, — это не значит, что ты безумец. Есть правда и есть неправда, и если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумец. Желтый луч закатного солнца протянулся от окна к подушке. Уинстон закрыл глаза. От солнечного тепла на лице, оттого, что к нему прикоснулось гладкое женское тело, им овладело крепкое, сонное чувство уверенности. Он в безопасности, и все хорошо. Он уснул, бормоча: «Здравый рассудок — понятие не статистическое», — и ему казалось, что в этих словах заключена глубокая мудрость.

Х

Проснулся он с ощущением, что спал долго, но по старинным часам получалось, что сейчас только двадцать тридцать. Он опять задремал, а потом во дворе запел знакомый грудной голос:

Давно уж нет мечтаний, сердцу милых,
Они прошли, как первый день весны.
Но позабыть я и теперь не в силах
Вылых надежд волнующие сны!

Дурацкая песенка, кажется, не вышла из моды. Ее пели по всему городу. Она пережила «Песню ненависти». Джулия, разбуженная пением, сладко потянулась и вылезла из постели.

— Хочу есть, — сказала она. — Сварим еще кофе? Черт, керосинка погасла, вода остыла. — Она подняла керосинку и поболтала. — Керосину нет.

— Наверное, можно попросить у старика.

— Удивляюсь, она у меня была полная. Надо одеться. Похолодало как будто.

Уинстон тоже встал и оделся. Неугомонный голос продолжал петь:

Пусть говорят мне — время все излечит.
Пусть говорят — страдания забудь.
Но музыка давно забытой речи
Мне и сегодня разрывает грудь!

Застегнув пояс комбинезона, он подошел к окну. Солнце опустилось за дома — уже не светило на двор. Каменные плиты были мокрые, как будто их только что вымыли, и ему показалось, что небо тоже мыли — так свежо и чисто голубело оно между дымоходами. Без усталости шагала женщина взад и вперед, закуривала себе рот и раскуривала, запевала, умолкала и все вешала пеленки, вешала, вешала. Он подумал: зарабатывает она стиркой или просто обстирывает двадцать — тридцать внуков? Джулия подошла и стала рядом: мощная фигура во дворе приковывала взгляд. Вот женщина опять приняла обычную позу — протянула толстые руки к веревке, оставив могучий круп, и Уинстон впервые подумал, что она красива. Ему никогда не приходило в голову, что тело пятидесятилетней женщины, чудовищно раздавленное от многих родов, а потом загрубевшее, затвердевшее от работы, сделавшееся плотным, как репа, может быть красиво. Но оно было красиво, и Уинстон подумал: а почему бы, собственно, нет? С шершавой красной кожей, прочное и бесформенное, словно гранитная глыба, оно так же походило на девичье тело, как ягода шиповника — на цветок. Но кто сказал, что плод хуже цветка?

— Она красивая, — прошептал Уинстон.

— У нее бедра два метра в обхвате, — отозвалась Джулия.

— Да, это красота в другом роде.

Он держал ее, обхватив кругом талии одной рукой. Ее бедро прижималось к его бедру. Их тела никогда не произведут ребенка. Этого им не дано. Только устным словом, от разума к разуму, передадут они дальше свой секрет. У женщины во дворе нет разума — только сильные руки, горячее сердце, плодоносное чрево. Он подумал: скольких она родила? Такая свободно могла и полтора десятка. Был и у нее недолгий расцвет, на год какой-нибудь распустилась, словно дикая роза, а потом вдруг набухла, как завязь, стала твердой, красной, шершавой, и пошло: стирка, уборка, штопка, стряпня, подметание, натирка, починка, уборка, стирка — сперва на детей, потом на внуков, — и так тридцать лет без передышки. И после этого еще поет. Мистическое благоговение перед ней как-то наложилось на картину чистого бледного неба над дымоходами, уходившего в бесконечную даль. Странно было думать, что небо у всех то же самое — и в Евразии, и в Ост-азии, и здесь. И люди под небом те же самые — всюду, по всему свету, сотни, тысячи миллионов людей, таких же, как эта; они не ведают о существовании друг друга, они разделены стенами ненависти и лжи и все же почти одинаковы — они не научились думать, но копят в сердцах, и чреслах, и мышцах мощь, которая однажды перевернет мир. Если есть надежда, то она — в пролах. Он знал, что таков будет и вывод Голдстейна, хотя не дочел книгу до конца. Будущее за пролами. А можно ли быть уверенным, что, когда придет их время, для него, Уинстона Смита, мир, ими созданный, не будет таким же чужим, как мир партии? Да, можно, ибо новый мир будет наконец миром здравого рассудка. Где есть равенство, там может быть здравый рассудок. Рано или поздно это произойдет — сила превратится в сознание. Пролы бессмертны: героическая фигура во дворе — лучшее доказательство. И пока это не произойдет — пусть надо ждать еще тысячу лет, — они будут жить наперекор всему, как птицы, передавая от тела к телу жизненную силу, которой партия лишена и которую она не может убить.

— Ты помнишь, — спросил он, — как в первый день на прогалине нам пел дрозд?

— Он не нам пел, — сказала Джулия. — Он пел для собственного удовольствия. И даже не для этого. Просто пел.

Поют птицы, поют пролы, партия не поет. По всей земле, в Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и Бразилии, в таинственных запретных странах за границей, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях на бескрайних равнинах России, на базарах Китая и Японии — всюду стоит эта крепкая непобедимая женщина, чудовищно раздавленная от родов и векового труда, и вопреки всему поет. Из этого мощного лона когда-нибудь может выйти племя сознательных существ. Ты — мертвец; будущее — за ними. Но ты можешь причаститься к этому будущему, еслиохранишь живым разум, как они сохранили тело, и передашь дальше тайное учение о том, что дважды два — четыре.

— Мы — покойники, — сказал он.

— Мы — покойники, — послушно согласилась Джулия.

— Вы покойники, — раздался железный голос у них за спиной.

Они отпрянули друг от друга. Внутренности у него превратились в лед. Он увидел, как расширились глаза у Джулии. Лицо стало молочно-желтым. Румяна на скулах выступили ярче, как что-то отдельное от кожи.

— Вы покойники, — повторил железный голос.

— Это за картинкой, — прошептала Джулия.

— Это за картинкой, — произнес голос. — Оставаться на своих местах. Двигаться только по приказу.

Вот оно, началось! Началось! Они не могли пошевелиться и только смотрели друг на друга. Спасаться бегством, удрать из дома, пока не поздно, — это им даже в голову не пришло. Немыслимо послушаться железного голоса из стены. Послышался щелчок, как будто отодвинули щеколду, зазвенело разбитое стекло. Гравюра упала на пол, и под ней открылся телекран.

— Теперь они нас видят, — сказала Джулия.

— Теперь мы вас видим, — сказал голос, — Встаньте в центре комнаты. Стоять спиной к спине. Руки за голову. Не прикасаться друг к другу.

Уинстон не прикасался к Джулии, но чувствовал, как она дрожит всем телом. А может, это он сам дрожал. Зубами он еще мог не стучать, но колени его не слушались. Внизу — в доме и снаружи — топали тяжелые башмаки. Дом будто наполнился людьми. По плитам тащили какой-то предмет. Песня женщины оборвалась. Что-то загромыhalo по камням — как будто через весь двор отшвырнули корыто, — потом поднялся галдеж, закончившийся криком боли.

— Дом окружен, — сказал Уинстон.

— Дом окружен, — сказал голос.

Он услышал, как лязгнули зубы у Джулии.

— Кажется, мы можем попрощаться, — сказала она.

— Можете попрощаться, — сказал голос.

Тут вмешался другой голос — высокий, интеллигентный, показавшийся Уинстону знакомым:

— И раз уж мы коснулись этой темы: «Вот зажгу я пару свеч — ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч».

Позади Уинстона что-то со звоном посыпалось на кровать. В окно просунули лестницу, и конец ее торчал в раме. Кто-то лез к окну. На лестнице в доме слышался топот многих ног. Комнату наполнили крепкие мужчины в черной форме, в кованых башмаках и с дубинками наготове.

Уинстон больше не дрожал. Даже глаза у него почти остановились. Одно было важно: не шевелиться, не шевелиться, чтобы у них не было повода бить! Задумчиво покачивая в двух пальцах дубинку, перед ним остановился человек с тяжелой челюстью боксера и щелью вместо рта. Уинстон встретился с ним взглядом. Ощущение наготы оттого, что ты стоишь, сцепив руки на затылке, а лицо и тело не защищены, было почти непереносимым. Человек высунул кончик белого языка, облизнул то место, где полагалось быть губам, и прошел дальше. Опять раздался треск. Кто-то взял со стола стеклянное пресс-папье и вдребезги разбил о камин.

По половику прокатился осколок коралла — крохотная розовая морщинка, как кусочек карамели с торта. До чего маленький, подумал Уинстон, до чего же он маленький! Сзади слышался удар по чему-то мягкому, кто-то охнул; Уинстона с силой пнули в лодыжку, чуть не сбив с ног. Один из полицейских ударил Джулию в солнечное сплетение, и она сложилась пополам, как складной метр. Она корчилась на полу и не могла вдохнуть. Уинстон не осмеливался повернуть голову на миллиметр, но ее бескровное лицо с разинутым ртом очутилось в поле его зрения. Несмотря на ужас, он словно чувствовал ее боль в своем теле — смертельную боль, и все же не такую невыносимую, как удушье. Он знал, что это такое: боль ужасная, мучительная, никак не отступающая — но терпеть ее еще не надо, потому что все заполнено одним: воздухом! Потом двое подхватили ее за колени и за плечи и вынесли из комнаты, как мешок. Перед Уинстоном мелькнуло ее лицо, запрокинувшееся, искаженное, желтое, с закрытыми глазами и пятнами румян на щеках; он видел ее в последний раз.

Он застыл на месте. Пока что его не били. В голове замелькали мысли совсем ненужные. Взяли или нет мистера Чаррингтона? Что они сделали с жен-

щиной во дворе? Он заметил, что ему очень хочется по малой нужде, и это его слегка удивило: он был в уборной всего два-три часа назад. Заметил, что часы на камине показывают девять, то есть двадцать один. Но на дворе было совсем светло. Разве в августе не темнеет к двадцати одному часу? А может быть, они с Джулией все-таки перепутали время — проспали полсутки, и было тогда не двадцать тридцать, как они думали, а уже восемь тридцать утра? Но развивать эту мысль не стал. Она его не занимала.

В коридоре послышались еще чьи-то шаги, более легкие. В комнату вошел мистер Чаррингтон. Люди в черном сразу притихли. И сам мистер Чаррингтон как-то изменился. Взгляд его упал на осколки пресс-папье.

— Подберите стекло, — резко сказал он.

Один человек послушно нагнулся. Простонародный лондонский выговор у хозяина исчез; Уинстон вдруг сообразил, что это его голос только что звучал в телекране. Мистер Чаррингтон по-прежнему был в старом бархатном пиджаке, но его волосы, почти совсем седые, стали черными. И очков на нем не было. Он кинул на Уинстона острый взгляд, как бы опознавая его, и больше им не интересовался. Он был похож на себя прежнего, но это был другой человек. Он выпрямился, как будто стал крупнее. В лице произошли только мелкие изменения — но при этом оно преобразилось совершенно. Черные брови казались не такими кустистыми, морщины исчезли, изменился и очерк лица; даже нос стал короче. Это было лицо настороженного хладнокровного человека лет тридцати пяти. Уинстон подумал, что впервые в жизни видит перед собой с полной определенностью сотрудника полиции мыслей.

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.

(Окончание следует)

ПУБЛИЦИСТИКА

С. МЕНЬШИКОВ

★

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СОЦИАЛИЗМА: ЧТО ВПЕРЕДИ?

Опыт прогноза

Чем больше идет перестройка, тем настойчивее звучит вопрос о том, что есть социализм — экономически, в социальном плане, политически. Социально-экономический аспект этой проблемы мне как экономисту наиболее близок.

Раньше, в 30-е годы, и вплоть до самого последнего времени многим из нас все казалось предельно ясным. Социализм был втиснут в тесное прокрустово ложе двух форм собственности: огосударственных предприятий и колхозов. Это «двоеформие» стало настолько привычной догмой и нормой, что многие из нас с опаской поглядывали на Венгрию, где с некоторых пор допускался частный сектор в промышленности и торговле (охватывавший в 1986 году лишь 1,5 процента промышленного производства и 2,2 процента оборота розничной торговли). Не секрет, что многие предельно скептически, если не отрицательно относились к венгерской реформе, усматривая в ней отступничество от социализма. А ведь она состояла главным образом отнюдь не во введении частного сектора, а в децентрализации социалистического сектора, в сильном росте кооперативов и аренды разного рода. И почему-то никогда не вызывало тревоги существование частного сектора в ГДР, где его доля даже превышала венгерскую, составляя 1,7 процента в промышленности и 11,1 процента в торговле. Быть может, потому, что тамошние «отступления» не сопровождались дубликатами в теории и идеологии, широко не рекламировались, не ставились в пример.

И всегда считалось нормальным стопроцентное обобществление экономики Чехословакии, хотя каждый, кто бывал там и работал, не мог не задавать себе вопроса: как это столько маленьких магазинчиков и кафе с одним-двумя продавцами или официантами, где нет ни директоров, ни бухгалтеров, — как все это уживается с полной социализацией и огосударствлением? Вникнув поглубже, можно было увидеть, что и здесь, как и в Венгрии и ГДР, нет нашего великого «двоеформия», что за государственной формой скрывается какая-то разновидность арендного подряда, мини-кооператива, чего угодно, только не чиновничье-бюрократического учреждения общепита и розницы с привычными для всех очередями, хамяством, скверным обслуживанием. Конечно, ни в одной из этих социалистических стран не было и нет того изобилия потребительских благ, которое характерно сейчас практически для любой капиталистической страны. Но насколько ближе они к рыночному равновесию между спросом и предложением! Думается, разгадка в том, что наши коллеги и друзья по социалистической системе меньше связаны нашими догмами, допускают в каких-то пределах большее разнообразие форм, соответствующих социализму. Иначе говоря, они мудрее, глубже смотрят в суть производственных, человеческих отношений при социализме.

К чему привело «двоеформие»

Да и у нас было время — 20-е годы, — когда допускались и кооперативы различных видов, и частные предприятия как с применением наемного труда, так и без него, иностранные капиталистические предприятия (концессии). Доля частного капитала в продукции всей ценовой промышленности — без мелких кустарей и ремесленников, не

применявших наемного труда, — составляла в 1925/26 хозяйственном году 4 процента, а вместе с частниками-кустарями даже 24 процента. В розничной торговле удельный вес частного сектора достигал 44 процентов, то есть почти половины. Даже в 1928 году, накануне «года великого перелома», доля частника в рознице составляла 35 процентов, в промышленной продукции — 14 процентов. Ликвидация его сопровождалась мгновенным появлением дефицитов, всеобщим введением карточной системы, от которой (но не от дефицитов) удалось избавиться лишь в 1935 году.

Ну а концессии? В экономической литературе привычной стала фраза, что они «не играли существенной роли». Да, их было не так уж много, они уступали внутреннему частнику. И все же в том же 1925 году действовало 92 иностранных концессии, из них 43 — в промышленности. На их предприятиях было занято 54 тысячи рабочих. Немного? Да, но и немало. И роль их на ряде участков была не так уж мала. Например, наш давний американский партнер капиталист Арманд Хаммер открыл тогда в Москве фабрику и очень быстро насытил спрос на перья и карандаши. Да еще какую-то их часть фабрика экспортировала. Другой наш американский хороший знакомый, Аверелл Гарриман, владеет тогда на концессионных началах марганцевыми рудниками в Чиатуре. Правда, побывав на приеме у тогдашнего председателя Концескома Л. Д. Троцкого, хитрый американец смекнул, что его благополучию скоро может прийти конец, и продал свои права Советскому государству. Стороны разошлись полюбовно. Гарриман оказался одним из первых. К 1937 году последний концессионный договор был аннулирован.

Тогда очень многих искренних коммунистов волновало допущение в страну отечественных и иностранных частников и капиталистов. Им убедительно отвечал В. И. Ленин, записавший на грампластинке свои мысли для всеобщего распространения в полуграмотной тогда стране:

«Не опасно ли приглашать капиталистов, не значит ли это развивать капитализм? — Да, это значит развивать капитализм, но это не опасно, ибо власть остается в руках рабочих и крестьян, а собственность помещиков и капиталистов не восстанавливается. Концессия есть своего рода арендный договор. Капиталист становится арендатором части государственной собственности, по договору, на определенный срок, но не становится собственником. Собственность остается за государством.

Советская власть наблюдает за тем, чтобы капиталист-арендатор соблюдал договор, чтобы договор был для нас выгоден, чтобы получилось улучшение положения рабочих и крестьян. На таких условиях развитие капитализма не опасно, а выгода для рабочих и крестьян состоит в увеличении продуктов»¹.

Ленинская мысль была проста и убедительна: допускай капиталиста как арендатора, опирайся на государственную собственность, наблюдай за частником, заставляй его работать на социализм, на рост производства, на удовлетворение нужд рабочих и крестьян. Это было в 20-х годах, когда сил у нашего государства было еще совсем немного. Но Ленин не боялся. Да и не было другого выхода.

После того как Сталин покончил с нэпом и утвердил «двоеформие», постепенно стало считаться аксиомой, что многоукладность — черта, характерная лишь для переходного периода от капитализма к социализму. Когда социализм построен, несоциалистические уклады отпадают или ликвидируются. Это и есть полная победа социализма. Так учили нас, так и мы учили других долгое время. Вопреки тому, что насыщенная ликвидация частных хозяйств на селе вызвала упадок земледелия и животноводства, от которого не можем полностью избавиться до сих пор. Вопреки тому, что ликвидация частных и кооперативных форм в торговле способствовала образованию хронического дефицита товаров личного потребления.

Было время, когда Советский Союз, обогнав многие индустриальные капиталистические страны, вышел на второе место в мире по уровню промышленного производства, после США. Была выдвинута задача догнать и перегнать Америку. И до середины 70-х годов казалось, что это возможно. Ибо статистические наши темпы (7 и более процентов прироста в год) были намного выше американских (3—4 процента). Но вот, достигнув, по данным нашего ЦСУ (ныне Госкомстата), более 75 и даже 80 процентов от США по промышленности, двух третей по национальному доходу, включающему также и сельское хозяйство, и транспорт, и другие отрасли, мы вдруг остановились. По-прежнему наша статистика показывала опережение в темпах, но доля от США странным образом оставалась прежней.

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 248—249.

В эпоху гласности оказалось возможным подорвать, но еще не полностью разрушить заговор молчания вокруг этих парадоксов. В работах ряда наших экономистов и статистиков — Г. Ханина, В. Селюнина, Р. Симоняна — убедительно показано, что темпы развития нашей экономики были в прошлом и остаются до сих пор завышенными (в нашей статистике, а не в реальной жизни), что доля наша от США едва ли превышает половину, а отнюдь не доходит до двух третей. И хотя Госкомстат отрицает это на словах, но признает де-факто, ибо не может же СССР продолжать развиваться быстрее США и при этом не сокращать разрыва с ними. Так не бывает при всех сложностях статистического сравнения различных стран. Горько признавать такие ошибки, но когда-то придется. Независимо от официальных признаний, всякий читающий, видящий, слышащий и думающий прекрасно понимает, что в последнее десятилетие мы не столько нагоняли США по основным экономическим показателям, сколько отставали от них.

Да только ли от США? По расчетам западных статистиков, несколько лет назад нас обогнала Япония по величине валового национального продукта. Помню, как, работая в новосибирском Академгородке в начале 70-х годов, я сделал модельный прогноз развития экономики США, СССР и Японии, сопоставив их тогдашние и будущие уровни. Получалось, что Япония нас обязательно превзойдет если не в 80-х, то в начале 90-х годов. Мне тогда не очень поверили, а на мое наивное предложение информировать наши высшие инстанции, предупредить о такой угрозе было сказано: «Ничего, выкрулим как-нибудь!» Не думаю, чтобы в те годы такая информация что-нибудь изменила в нашей экономической политике. Многие практические советы экономистов оставались без внимания. Ну а теперь прогнозы стали реальностью: СССР оказался на третьем месте по общему объему продукции, ему надо догонять Японию, а не только США.

Словом, командно-административное «двоеформие» так и не выявило своих исторических преимуществ. И вот мы видим, как в ходе перестройки возрождается многообразие форм, от которых страна отказалась шесть десятилетий назад и которые вторгаются в нашу жизнь стихийно, навязывают себя как насущную необходимость.

Кооперативы разных видов, индивидуальная трудовая деятельность, аренда, семейные фермы, акции, всевозможные банки, иностранные предприятия — все это вновь ломится в дверь. И получает теперь поддержку высших партийных инстанций. Казалось бы, как можно в наши дни, через полстолетия после насильственной ликвидации частного крестьянского хозяйства, говорить о его возрождении — хотя бы в форме долгосрочной аренды средств производства у колхозов, совхозов, государства? А М. С. Горбачев говорит и не видит в этом никакого противоречия с принципами социализма! «И пусть не смущает никого из нас, что в распоряжении крестьянина остаются на длительное пользование средства производства на основе договора с хозяйством. Ничего несоциалистического в этом нет. Это самый настоящий социализм, ибо он выводит человека на первый план. Социализм прежде всего должен покончить с отчуждением человека от средств производства, от политики, от достижений культуры» (доклад на Пленуме ЦК КПСС 29 июля 1988 года). Думается, эти слова Генерального секретаря ЦК КПСС относятся не только к проблеме семейных ферм и долгосрочной аренды на селе, а ко всей совокупности форм, рождаемых и возрождаемых перестройкой. Поэтому крайне важно, просто жизненно необходимо преодолеть сопротивление всевозможных учреждений, стремление поставить в очень жесткие законодательные, административные и экономические рамки все, что не относится к сталинскому «двоеформию». Такие рогадки только вредят делу, заведомо ограничивают свободный поиск наиболее эффективных способов экономической организации производительных сил.

Это наносит ущерб социализму как системе. Ограничивая себя какими-то определенными формами, он сам себя ослабляет, обкрадывает, превращает в искусственный, малоконкурентоспособный организм.

И все же иной читатель скажет: это же отступление от социализма, уступка частной собственности и капитализму, возврат к нэпу, переходному периоду. Раз допускаются частные хозяйства, совместные предприятия, значит, это уже не «полный» социализм. С этим я не могу согласиться. Давайте разберемся по порядку.

О чем говорит чужой опыт?

Чем объясняется необычайная живучесть капитализма? В частности, умением приспособлять самые различные формы (в том числе и, казалось бы, совершенно чуждые ему) к своим нуждам и принципам.

Многим нашим людям современное капиталистическое предприятие представляется таким, в котором собственность принадлежит одному или нескольким хозяевам. Отсюда и скоропалительные выводы вроде: у хозяина не побалуешь, там дисциплина строгая — и т. п. Да, так было когда-то, на заре капитализма действительно преобладала индивидуальная капиталистическая собственность. Есть она и сейчас. Но наибольшая часть промышленного производства, транспорта, банковского дела, торговли и услуг различного рода приходится на долю таких предприятий, где указать конкретного хозяина в старом смысле чрезвычайно трудно. Ибо организованы они на началах акционерных обществ, где средства производства принадлежат не отдельным лицам, а фирме в целом и ни один из владельцев акций не может претендовать на распоряжение станками, оборудованием и другими средствами производства, а лишь на право присутствовать и голосовать на общих собраниях, получать часть прибыли в виде дивиденда.

Вот типичный пример — крупнейший в мире промышленный концерн «Дженерал моторс». В 1984 году на его предприятиях (а их больше 150 только в США) было занято 750 тысяч рабочих и служащих. Число же лиц, владевших его акциями, достигло 957 тысяч, то есть приближалось к миллиону. Средняя заработная плата составляла в месяц 2,5 тысячи долларов, а средний дивиденд на одного акционера — лишь 132 доллара. Ясно, что большинство акционеров мелкие, им владение акциями дает не главный, а дополнительный доход. Есть и небольшое число очень крупных акционеров, в том числе мультимиллионеры. Но ни один из них не имеет даже одного процента акций, не говоря уж о контрольном пакете. Делами концерна руководят председатель совета директоров, президент, несколько десятков вице-президентов. Никто из них не является ведущим акционером, но каждый получает жалованье, которое вместе с премиями измеряется сотнями тысяч долларов в год. Зарботок председателя совета директоров превышает миллион долларов.

Итак, форма собственности формально коллективная, общественная, фактически же целиком приспособлена к нуждам частного присвоения. Акционеров так много, что собрать их на собрание практически невозможно. Большинство из них голосуют по почте, автоматически расписываясь на рассылаемых бланках. Так гарантируется принятие решений, нужных правлению.

Частная собственность на средства производства в ее традиционном понимании сведена к минимуму, а частное распоряжение собственностью (в том смысле, что распоряжается богатое меньшинство) остается в неприкосновенности.

Капитализм сумел интегрировать и такую по видимости чуждую ему форму, как государственная, общенародная собственность. Национализации подвергались предприятия и целые отрасли, ставшие нерентабельными. Капиталисты благословляли государство, спасшее их от банкротства, и вкладывали полученную компенсацию в более выгодные сферы. Государство предоставляло своим предприятиям самостоятельность, позволяло им жить по правилам обычных капиталистических фирм, передавало руководство ими все тем же высшим менеджерам с их гигантскими окладами и связями с частным бизнесом. А когда предприятия вновь становились рентабельными после модернизации за счет госбюджета, их вновь продавали в частные руки, как это делают теперь правительство М. Тэтчер, французское правительство, другие государства.

Еще одна отнюдь не чисто капиталистическая форма — государственное социальное страхование, пенсии, пособия, в некоторых странах — национализированная медицина, государственные университеты и муниципальные школы. В XIX веке ничего этого при капитализме не существовало, это пришлось вводить в наше время, потому что у буржуазии не было другого выхода. Рональд Рейган, как архиконсерватор, собрался свести к минимуму этот «ползучий социализм», как его презрительно именовали. И что же? Где-то удалось урезать, оторвать для военных расходов, но в целом здание социального страхования как стояло, так и стоит. И в государственном бюджете США по-прежнему больше 40 процентов идет на социальные нужды.

И кооперативная форма вполне уживается с капитализмом, хотя и не везде получила широкое распространение. Кооператив мог служить удобной формой как для сложения сил нескольких капиталистов (в виде партнерств, где главный принцип распределения дохода — денежный капитал участников), так и для объединения многочисленных непосредственных производителей (сельская кооперация). Часто кооперация служила средством защиты от крупных капиталистов. Фермеры в США, Канаде, других странах объединялись, чтобы добиваться более выгодных цен на свою продукцию, чем те, что назначал торговый капитал. В Швеции, Италии, Австрии, других странах

возникли сильные кооперативы потребителей, снабжающие своих членов продовольствием и промышленными товарами по более низким ценам, чем те, что господствуют обычно в розничной торговле. Разве можно такие объединения считать капиталистическими только потому, что они существуют в капиталистической по преимуществу экономике?

Главное, капитализм, как правило, не запрещал никаких форм, которые доказывали свою жизнеспособность, экономическую эффективность. Все формы были хороши и приемлемы, если они не ущемляли прав частной собственности, не сковывали рук капиталистическим предпринимателям. Перехода от одной формы к другой, допуская сосуществование и соревнование различных форм, постоянно меняя кожу, капитализм поддерживал свою живучесть, способность к техническому прогрессу. Быть может, этот урок что-то подскажет нашим жрецам «чистого» социализма?

А теперь вернемся к нашим реальностям и разберемся, от какого наследства мы отказываемся, допуская широкое разнообразие форм хозяйствования, от какого «полного» социализма отступаем. Давайте проведем четкую разницу между иллюзорным и фактическим состоянием социализма в том виде, в каком он существует ныне.

Социализм: факты и фикции

Как это ни печально, приходится признать, что государственные предприятия в нашей нынешней системе далеко не всегда являются подлинно социалистическими, как это провозглашалось в нашей догме. И колхозы наши далеко не во всех случаях подлинно кооперативные предприятия. Нередко обе эти формы хотя бы частично превратились либо в ответвления бюрократических ведомств, действующих вопреки законам и принципам социализма, либо в прикрытие для операций дельцов теневой экономики.

Для краткости ограничимся государственными предприятиями. Последующий анализ можно в значительной мере отнести и к колхозам, многие из которых фактически управляются так же, как государственные предприятия, с той лишь разницей, что колхозники получают от общественного хозяйства меньшие доходы и выплаты по социальному обеспечению, нежели рабочие, а доходы от приусадебных участков время от времени подвергаются государственной экспроприации в той или иной форме и достаточно ненадежны.

«Должны быть немедленно прекращены всякие попытки командовать колхозами и совхозами». Это сказано в резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС. Сказано сильно. Говорилось и прежде. Но разве положение с тех пор в корне изменилось? Все ли председатели колхозов у нас действительно избираются добровольно и свободно самими членами сельскохозяйственных кооперативов, а не присылаются сверху? Разве главной фигурой на наших телеэкранах при сообщениях о ходе полевых работ не являются по-прежнему председатели, директора, секретари райкомов или другие руководители районного масштаба, а отнюдь не земледельцы? Так было принято долгие годы. Но ведь колхоз-то от этого перестал быть подлинным кооперативом, то есть коллективным хозяйством по существу, а члены его — свободно ассоциированными крестьянами, если они даже когда-то были ими, хотя бы в порядке счастливого исключения.

Сколько у нас подлинных героев (не только Социалистического Труда, но и по существу), которые, как М. Г. Вагин, председатель горьковского колхоза имени Ленина, сумели добиться самостоятельности. А сколько других, а их, наверно, неизмеримо больше, заплатились так или иначе за свое «бунтарство»... Но даже и в независимых колхозах являются ли их члены подлинными коллективными собственниками, не стали ли они жертвой раскрестьянивания? Сам Вагин признает: «Ничейного много стало. По посевам на автомобиле, тракторе иной может проехать. А попробуй сосед по его огороду пройти — душу вынет. Вот и надо, чтобы на общественном поле каждый хозяином был» («Правда» от 4 июля 1988 года). А ведь это он и о своем хозяйстве, которое во многом освобождено от опеки извне. Значит, дело не только в опеке и вмешательстве, но и в том, как построено хозяйство изнутри.

Вернемся к государственным предприятиям. Необходимо сразу же подчеркнуть, что общественная собственность на средства производства в них не является юридической фикцией. Предприятия управляются прямыми представителями государства (его центральных, республиканских или местных органов), и наибольшая часть их доходов распределяется по решению государственных властей.

Однако положение непосредственных производителей, занятых на таких предприятиях, двусмысленно. Юридически они как граждане государства и члены общества выступают в качестве конечных собственников государственных средств производства. Кроме того, вследствие своего прямого трудового вклада в данное производство они в соответствии с принципами социализма являются частичными собственниками произведенной продукции и дохода от ее реализации. Но эти основополагающие принципы до последнего времени ни в чем конкретно не выражались, да и с переходом на так называемую первую модель полного хозрасчета получаемая заработная плата формируется по нормам, устанавливаемым государством, а не в порядке распределения фактического дохода предприятия.

Преобладает факт найма работника на предприятии, а не его юридическое положение как собственника. Конечно, работник получает премии и социальные выплаты из госбюджета, но до последнего времени даже юридически он никак прямо не участвовал ни в распределении дохода предприятия, ни в контроле над управлением им, ни в контроле за принятием экономических и финансовых решений государством и его органами. Даже когда нынешнее законодательство о предприятии будет полностью осуществлено, работник еще не станет реальным совладельцем средств производства (мы не касаемся пока аренды и акционерной формы, о которых речь пойдет ниже). Для его превращения в реального конечного собственника через демократический контроль над государственным управлением экономикой и финансами страны потребуются еще новые далеко идущие реформы политического механизма.

Весь этот порядок устанавливает и чрезмерную зависимость работника от государства как монополиста в предоставлении работы: кроме как на государственное предприятие или учреждение работать не пойдешь, без этого ты сразу оказываешься где-то за пределами, с сомнительными правами на непрерывный стаж, пенсию, социальные услуги и т. п. Да и ставки оплаты везде более или менее одинаковы, отсюда миграции рабочей силы на Север, в районы с коэффициентом, а то и просто туда, где дадут жилплощадь, где сравнительно сносное снабжение.

Разумеется, положение работника наших государственных предприятий отличается от положения наемного рабочего на капиталистическом предприятии. Отличие прежде всего в праве на труд. Работники социалистического предприятия не могут быть уволены индивидуально или коллективно без специальной процедуры, которая защищает право на труд, в том числе на получение новой работы при содействии прежнего нанимателя. Это важнейшее достижение социализма, которым было бы крайне опасно поступаться, как это предлагают некоторые наши реформаторы, забывающие, что безработица при капитализме отнюдь не главная причина более высокой производительности труда.

Ну а почему это так опасно?—спросит читатель. Разве у нас сознательность и трудовая дисциплина не таковы, что нуждаются в дополнительном экономическом стимуле — страхе потерять работу? Да и разве нет у нас фактической безработицы, «трудозбыточных» районов, скрытой, то есть «складируемой» на предприятиях, излишней рабочей силы, которую держат про запас, на момент ежеквартального и ежемесячного штурма или еще по каким-то другим причинам?

Ответ простой: за право на труд рабочий класс боролся и борется много десятилетий. Это право, которое защищает рабочего или служащего от произвола нанимателя, от несправедливостей в оплате, от чрезмерного «выжимания пота». Предприятие работает плохо не обязательно из-за лени, неспособности, расхлябанности его рабочих. Чаще всего причина в слабой организации производства, в неудовлетворительном материально-техническом снабжении, в устаревшем оборудовании, в ошибках управления или планирования. Если таковы причины плохой работы, то рабочие не должны нести ответственности, становятся безработными.

Недавно в одном из приладожских городков закрыли завод, долгие годы загрязнявший воды великого озера. И работы лишились люди, большинству из которых деваться просто некуда из-за отсутствия других предприятий, люди предпенсионного возраста и т. д. Но виновниками были не рабочие. Руководители же — и местные и центральные, те, кто допустил все это, — либо остались на своих местах, в ведомствах, либо получили другую работу. И они тоже, мол, были ни при чем.

Новый Закон о предприятии предусматривает в случае его закрытия помощь в трудоустройстве, выплату прежнего заработка в течение максимум трех месяцев. Но этот срок недостаточен. Так быстро трудоустроить людей сложно, особенно если закры-

тие нерентабельных предприятий примет широкие масштабы. Даже в США при их консервативном правительстве безработному уплачивается пособие в течение полугода, а в кризисных ситуациях — и до девяти месяцев. У нас даже нет законодательства о пособиях по принудительной безработице — крупнейшего завоевания рабочего класса в XX веке, принятого в 30—40-е годы, когда капитализм еще всерьез боялся своего поражения в состязании с социализмом.

Обратимся к администрации наших предприятий, которой тоже коснулось отчуждение. Директора, главные инженеры, их заместители никогда не имели свободы рук. Планы в основном спускались сверху, доходы изымались и перераспределялись министерствами, центральными ведомствами. Последние и обладали реальной властью, то есть были (и в значительной мере остаются) реальными распорядителями средств производства и результатов производства. Могут сказать, что их функции схожи с правами высших управляющих капиталистическими концернами с их многочисленными предприятиями. Формально это так, но только формально.

Даже министерства не могут у нас свободно распоряжаться всеми доходами, изымаемыми у предприятий. Им приходится конкурировать друг с другом (с другими отраслями) за главную часть фондов капитальных вложений, которой распоряжаются Госплан, другие высокие инстанции. А это распределение, как правило, диктуется не экономическими критериями, а сравнительной силой и влиянием соперничающих ведомств. Фонды делятся по силе, а не по эффективности.

Бюрократический характер поведения определяется главной целевой функцией министерств и ведомств, складывавшейся десятилетиями: от них требовали максимизации продукции отрасли либо в физическом выражении, либо по стоимости. На практике это означает заинтересованность в увеличении количества и повышении цен, но отнюдь не в улучшении качества, удовлетворении реального спроса, росте эффективности.

Примеров много, ими пестрят газеты, журналы. За последние двадцать лет, например, плановые задания по 170 важнейшим видам продукции, находившимся под контролем государства в лице Госплана и министерств, ни разу(!) не были выполнены, причем недовыполнение составляло 20—30 и более процентов. Надо ли удивляться, что круг дефицитных товаров — не только потребительских, но и производственных — систематически растет, товарный дефицит постепенно становится всеобщим.

За счет чего же выполняются наши планы? Ведь в ежегодных отчетах Госкомстата редко когда увидишь, что какое-то министерство не справилось с планом. Ну а о пятилетках и говорить не приходится. «Я планов наших люблю громадь!» — писал В. Маяковский. И все наши ведомства их тоже очень любят и лелеют. Лучший способ — выполнить план по общей стоимости, включив в него все что можно.

Помню, как меня поразили горькие сетования директора одного из колымских золотых приисков, которого в юбилейный год вынуждали включить в отчет о выполнении плана стоимость собственных дровозаготовок. В результате такой практики золотодобывающая промышленность (и остальные тоже) шла с огромными достижениями, плюсуя золото и дрова. Обобщая, тогдашний первый заместитель председателя Госплана на совещании, где я присутствовал, сказал: «План перевыполнен в основном на энтузиазме».

Со временем ведомственный «энтузиазм» становился все более разнообразным. Машиностроение, где много разных видов продукции, стало расти уже главным образом за счет выпуска меньшего числа машин более дорогих, но не слишком эффективных. На путь повышения цен стали легкая промышленность, большинство других отраслей. А когда у нашего министра финансов на недавней пресс-конференции журналисты спросили, есть ли в стране инфляция, он ответил, что определить это трудно, так как надежного индекса цен у нас нет, он еще только вырабатывается. Вот и остается гадать, где реальная продукция, а где фантом, мертвые души, настырный, никем в государстве не учитываемый рост цен.

Запасы накопленных в экономике излишних материальных ценностей достигают у нас 470 миллиардов рублей, или более половины валового национального продукта. Это данные официальные, наверно, еще и заниженные. А в США текущие запасы, которые всегда должны быть (без них экономика работать не может), не превышают 21 процента — в 2,5 раза меньше. Контраст разительный. У нас — колоссальное перепроизводство одних видов продукции при огромном недопроизводстве других.

И все это — результат «упорного труда» наших министерств, ведомств, «заботы» Госплана о «пропорциональном развитии». Противостоять этому предприятия не имели

возможности, а часто и сами способствовали, выдавая требуемое от них количество (то есть план) не при минимальных издержках, а любой ценой, то есть удорожая продукцию.

За деформацией количественной неизбежно следует деформация качественная. Как рабочие, так и руководители предприятия отчуждены от средств производства — положение, порождающее отсутствие интереса к производительному труду, неумение добиваться экономической эффективности. Это способствует созданию и гипертрофированному росту экономической бюрократии, основная функция которой состоит в том, чтобы индивидуально и коллективно руководить и распоряжаться средствами производства наименее эффективным, противоестественным, подчас просто разрушительным и разорительным образом.

Другое неизбежное следствие всеобщего отчуждения средств производства — возникновение теневой экономики в порах социалистических предприятий. Ее простейшей, наивной формой является спекуляция на ценах дефицитных государственных товаров, то есть нажива на разнице между официальной ценой и ценой черного рынка. Теневая экономика появилась раньше всего в производстве и потреблении продовольственных и других потребительских товаров. Она существует столько же лет, сколько «полностью победивший» социализм, и даже дольше. В последние два десятилетия эта раковая опухоль страшно выросла, усилив дефицит потребительских товаров и увеличив дань, которую платит общество как самой теневой экономике, так и ее покровителям. Оказалось, что размер дефицита прямо пропорционален дани, а может быть, растет еще быстрее, — измерить такие зависимости нелегко.

Нелегко прежде всего потому, что в нашей статистике нет даже приблизительных, заслуживающих доверия оценок того, как велика теневая экономика. Ныне покойный очень крупный и авторитетный советский экономист А. Бирман оценивал долю «второго номера», то есть неучтенной продукции, в общем промышленном производстве в 7—8 процентов. Это было в самом начале брежневской эпохи, к концу которой теневая экономика расцвела особенно пышным цветом. Стало быть, доля ее должна была возрасти. Если взять за эталон хлопок, где прирост достигал 1 миллиона тонн в год, то получается около 12 процентов годового производства. Много это или мало? Очень много. Одной восьмой части вполне хватало, чтобы держать под контролем практически всю отрасль, чуть ли не целые республики.

В. Ярошенко в статье «Принципы и нищие в свете теневой экономики» («Правда» от 12 октября 1988 года) считает доходы теневой экономики многомиллиардными. Не называя абсолютной цифры, автор говорит, что они намного превышают выплаты из социальных фондов пенсионерам и инвалидам, многодетным семьям и студентам, обитателям детских домов. Конкретизируем этот намек. В госбюджете СССР на 1989 год на социальное страхование и социальное обеспечение выделено 74 миллиарда рублей. Еще несколько миллиардов пойдет на выплату стипендий и на детские дома. Итого цифра под 80 миллиардов. «Намного больше» может означать что угодно, например 90 миллиардов. Это одна десятая часть валового национального продукта страны.

Почему же так много? Потому что в последние десятилетия быстро шел рост подпольного частного бизнеса и в производстве и распределении средств производства. В отличие от широкого потребителя ни руководители предприятий, ни ведомственные бюрократы юридически не могут свободно хозяйничать вверенными им средствами. Но это не послужило серьезным препятствием и надолго не задержало распространение теневой экономики на непотребительскую сферу.

Теневая экономика и ее функции

Начнем с одного важного теоретического положения. Работники любых, в том числе государственных, предприятий, не являясь юридическими собственниками средств производства или готовой продукции, могут воспользоваться возможностью распоряжаться чужими средствами производства и продукцией, располагать ими как своей собственностью и применять их ради собственного обогащения — индивидуального или коллективного. Всякий, кто практически контролирует использование ресурсов, принадлежащих другим (в данном случае государству), имеет возможность использовать их в личных целях (либо сам, либо вместе с другими), если юридический собственник не осуществляет достаточного и эффективного контроля. Следовательно, самая возможность тене-

вой экономики заключена в отчуждении государственных средств производства и в командной системе управления, делающей невозможной адекватный контроль.

Как руководящие, так и рядовые работники, по крайней мере их часть, вовлечены в теневую экономику. Кто из них проявляет инициативу, кто командует, а кто служит винтиком в подчас сложном механизме обогатительных операций — это в каждом случае вопрос конкретной ситуации. Не обходится и без посторонних лиц — сотрудников милиции, ОБХСС, контролеров, ведомственной и местной бюрократии в ее различных формах. Участие последней особенно важно, так как только она обладает властью создавать дефицит, пользуясь рычагами планирования и распределения ресурсов.

Эти положения являются всеобщими и относятся ко всем видам товаров и услуг — потребительских, средств производства и иных. И действительно, теневая экономика распространилась практически на все отрасли народного хозяйства.

Читатель спросит: как возможно частное обогащение на предприятиях, выпускающих сталь, нефть или любые другие средства производства, которые при «полном» социализме не должны, как правило, выходить за пределы оборота между государственными же предприятиями? Из описанной в печати практики можно указать на несколько вероятных путей: производится больше продукции, чем указано в отчетности, тогда доходы от продажи излишков идут в частную прибыль; перепродается налево без отражения в отчетах часть сырья, материалов и других средств производства, поставляемых предприятию; за поставку продукции предприятие получает взятки от заводов-клиентов; оформляется сбыт несуществующей продукции предприятию-получателю, которое подтверждает фиктивные поставки, участвуя в дележе добычи, и т. д.

В большинстве случаев необходимой предпосылкой для нелегальных операций служит дефицит. Если нет реального дефицита, он создается с помощью экономических бюрократов, занимающих соответствующие посты на нужных уровнях.

Дефицит нужен не только для того, чтобы заставить потребителя или клиента заплатить высокую цену, но и чтобы вовлекать новых менеджеров и бюрократов в теневую экономику. Большинство честных руководителей предприятий в такой обстановке не могут нормально выполнять даже свои официальные функции, не вступая в неформальные, часто незаконные сделки со своими подчиненными, с другими менеджерами, с представителями ведомств и иных распорядительных учреждений. Им приходится прибегать к не вполне легальным средствам, даже чтобы получить необходимые ресурсы для выполнения плана или государственного заказа. Продажа дефицитного товара по государственной цене тоже используется как форма взятки. Как правило, часть соответствующей продукции изымается из общей продажи или распределения и резервируется для особых клиентов. Это почти легальный «серый» рынок.

Лет двадцать назад после бесплодных поисков антифриза по городу Москве (это было в «дожигулевскую» эпоху) автор этих строк оказался в скромном магазинчике на Колхозной площади. На его полках практически ничего не было. Но стоило назвать магическое имя секретаря одного из московских шефов торговли, подсказанное милосердными друзьями, как посетителя тут же попросили пробить чек на нужное количество — причем по государственной цене. Затем мы спустились в просторнейший подвал, где штабелями стоял антифриз и многое другое.

Я вспомнил эту историю, читая недавно в «Правде» рассказы о первоклассных цветных телевизорах, красующихся на складах магазина в Борисове, о мебели, отправляемой из Москвы в Грузию, о мясе, которое выделяют для инвалидов, но торговцы-свердловчане распределяют его среди «особых клиентов». Все это, конечно, далеко не единичные примеры, а система, специально создаваемая и культивируемая.

Особенный размах искусственное создание дефицита приобрело в последние годы как бы нарочно, чтобы скомпрометировать экономическую реформу в глазах населения. Один дефицит следует за другим. Товары, ранее никогда не бывшие в недостатке, попадают в эту категорию. Введение карточек, осуществляемое сверху, во многих случаях не только не обосновано, но и как бы дает официальную санкцию на незаконные операции с товарами, за которыми выстраиваются очереди. Еще предстоит разобратся, сколько миллионов (или миллиардов) заработала теневая экономика на очередях за водкой, сахаром, мылом и прочими обыденными товарами привычного в прошлом потребительского спроса. Об овощах и говорить не приходится.

Впреки распространенному мнению теневая экономика в большинстве случаев не выполняет каких-либо полезных экономических функций. Она, как правило, не увеличивает производство товаров и услуг и тем самым не способствует достижению рыноч-

ного равновесия. Если бы рынок функционировал нормально, ни теневая экономика, ни в значительной мере сросшаяся с ней бюрократия не властвовали бы. Неудивительно, что именно из этих кругов рекрутируются особенно рьяные противники нынешних экономических реформ.

Спрашивается, не лучше ли узаконить теневую экономику, превратить ее из негативного в позитивный фактор? По-видимому, некоторые части ее могут быть легализованы, другие же нет. Бесмысленно возражать против создания частных или кооперативных предприятий для производства и сбыта товаров и услуг дополнительно к уже существующим государственным.

Но совершенно нерационально узаконивать частную деятельность в порях государственного предприятия, признавать де-факто липовую отчетность и другие формы фальсификации, разрешать пользоваться без какой-либо компенсации и совершенно неупорядоченно государственными средствами производства для частного обогащения.

Нужно идти дальше

Социализму предстоит пройти большой путь, чтобы отделить факты от фикции, отказать от иллюзий, основываться только на реальностях. Для этого необходимы дальнейшие реформы, предусматривающие допустимость и законность любых форм экономической организации, которые не противоречат социалистическим принципам и социальной справедливости, но зато обеспечивают минимум отчужденности человека от средств производства и максимум экономической эффективности. Каков же социально-экономический прогноз будущего? Куда пойдет развитие социализма, его экономической структуры? Думается, что прежде всего к еще большему многообразию. Для такого выхода есть серьезные основания.

Прежде всего о размерах предприятий в широком смысле слова, ибо и семейная ферма и металлургический комбинат — это вполне сопоставимые предприятия, экономические единицы, одно — мелкое, другое — крупное. В каждое данное время каждый вид экономической деятельности имеет свои оптимальные размеры, при которых предприятия не только выживают, но и демонстрируют максимальную эффективность. Это определяется существующей техникой и технологией, количеством и качеством земли, иных природных ресурсов, рабочей силы, другими производственными факторами. Чтобы построить небольшой дом, требуется четыре-пять, а то и меньше работников. Два-три работника справляются с работой на небольшой ферме, а то и на большой — при соответствующей механизации. Десятки, сотни и тысячи тружеников нужны для эффективной работы заводов и фабрик, для строительства дорог и каналов.

Исторически размеры предприятий имели тенденцию к росту, шла концентрация и обобществление производства. Развитие определено происходило от меньших к более крупным под влиянием усложнения техники, превращения рынков из локальных в национальные, а затем и в глобальные. Но на всех его стадиях, в том числе и на нынешней, всегда существовало некое органическое сочетание мелких, средних, крупных и сверхкрупных предприятий. Каждое из них имело и имеет свою объективную основу для устойчивости, живучести.

Многие марксисты по традиции полагали, что мелкое производство обречено историей, что будущее исключительно за крупным производством. Но Ленин четко объяснил, что крупное производство не может существовать без мелкого. Отнюдь не эффективно организовывать одинаковым образом различные сферы экономической деятельности. Есть много дополнительных факторов исторического, социального, культурного характера, помогающих мелким предприятиям существовать и временами даже процветать.

Да и современная техника вовсе не однозначно свидетельствует в пользу крупных предприятий. В последние два-три десятилетия развитие средств малой механизации совершенно неожиданно позволило укрепить конкурентоспособность мелких семейных ферм, освободить многие фермы, ранее существовавшие на капиталистических началах, от необходимости нанимать рабочую силу. Казалось, это противоречит всем известным законам развития капиталистического общества. Но оставалось фактом, что бывшие наниматели сельскохозяйственных рабочих теперь обходятся без них. Не все, но многие. В наши дни роботизация и микрокомпьютеры ставят тот же вопрос применительно к мелкому промышленному производству, которое опять растет не по дням, а по часам. В США, Англии, Японии «кустари-одиночки» с персональным компью-

тером не в шутку, а всерьез становятся непрременной частью общей картины капиталистического производства. В промышленности США за последние годы занятость возросла на несколько миллионов человек исключительно за счет мелких предприятий, а не крупнейших корпораций, где она даже сократилась.

Эта реальность не может обойти стороной и социализм. Очевидно, что многие товары и услуги, особенно небольшие, удовлетворяющие малые, но очень важные потребности, лучше всего создаются не крупными предприятиями по централизованному плану, а отдельными работниками, семьями — малыми и средними экономическими единицами. В первую очередь (хотя и не исключительно!) это относится к сфере потребительских товаров и услуг. Но это же справедливо и применительно к производству многих видов средств производства. В прошлом социализм немало пострадал, да и сейчас еще страдает гигантоманией.

Социализм не может рассчитывать на победу в соревновании с капитализмом, если не признает эту реальность и не обеспечит свободное развитие экономических единиц всяких размеров сообразно потребностям техники и общества в целом.

И эта реальность признана партией, призывающей перестроить аграрную политику, повсеместно переходить к долгосрочной аренде, семейной ферме. Во многих случаях в рамках существующих колхозов и совхозов, в других — самостоятельно, вне этих образований, которые в таких условиях могут стать и ненужной надстройкой.

Прошлым летом в «Правде» было помещено интервью с директором агропромышленного комбината «Раменский», который считается передовым, принимает многочисленную делегацию. И вот К. В. Куницкий жалуется, что от него «удаляется город», то есть городские власти перестали выделять из числа своих рабочих и служащих работников на поля этого АПК. «В часы пик не по силам нам ноша, зашиваемся, запахиваем в землю...»

Во всем мире фермеры, крестьяне справляются со своими полевыми и уборочными работами без помощи городских властей. Если надо, нанимают сезонных рабочих на обычных началах. Но стараются обходиться сами и по большей части обходятся. Если «Раменский» и другие подобные гиганты не в состоянии справиться с этой нележкой, но достаточно просто организованной в других странах работой, то они должны уйти, уступить место другим или как минимум перестроиться самым решительным образом. Причем сами, без помощи городских властей и жителей. Только так может ставиться вопрос о нормальных, эквивалентных отношениях между городом и деревней.

Частные предприятия?

Если допустимы экономические единицы небольших размеров, то соответствующими должны быть и способы их организации, то есть формы собственности и управления средствами производства. И возникает вопрос: как быть с частными предприятиями, причем не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, торговле, услугах?

Наше законодательство говорит об индивидуальной трудовой деятельности, избегая называть частника частником. Но всякий непосредственный производитель, работающий с помощью собственных средств производства и создающий при этом продукцию, в политэкономическом смысле может быть мелким частным предпринимателем, как бы он официально ни именовался, даже если он не нанимает чужого труда. Следовательно, в духе гласности об этом надо говорить вполне открыто, называя вещи своими именами. И, конечно, не путать частную собственность на средства производства с личной собственностью на предметы потребления.

В нашей стране после нескольких десятилетий «полного» социализма отношение к частной собственности в лучшем случае весьма сдержанное. И это понятно. Но раз общество фактически идет на допущение частника и частной собственности, эта тема требует серьезного обсуждения.

Обратимся к истории. Зарождение индивидуальной частной собственности исторически было связано с тем, что она хорошо приспособлена для обслуживания потребностей отдельного индивидуума и его семьи. Она годится для эффективной организации мелкого производства. Позже, когда размеры предприятий переросли возможности одной семьи, частная собственность на средства производства стала основой для найма чужой рабочей силы и ее эксплуатации. Для более крупных предприятий приходилось соединять, складывать капиталы нескольких семей. Так появились партнерства, а затем и акционерные общества. Постепенно акционерные общества захватили подавляющую

часть крупного производства, индивидуальная же форма частной собственности преобладает в мелком и среднем производстве.

Каков вытекающий из этого урок для социализма? Во-первых, частная собственность (в ее индивидуальной и коллективной формах) непосредственно применима к общественной организации небольших экономических единиц в рамках социалистического общества. Это форма, при которой производитель прямо владеет средствами производства и проблема отчуждения, как правило, не возникает. Что эта форма лучше подходит для мелких единиц, чем государственная собственность или крупные кооперативы, признано ныне и в ряде социалистических стран. Так называемые мини-кооперативы, получившие у нас юридическое признание, но еще отвергаемые социалистическими пуританами, в действительности также являются частными партнерствами-товариществами, использующими арендный и коллективный подряд как официально признанную форму существования.

Жизнь их по-прежнему нелегка. Их дискриминируют, стараются обмануть, обокрасть, обложить высоким налогом. Условия их создания обставлены препятствиями, иногда непреодолимыми. Почему? В значительной мере из-за сопротивления бюрократии и даже некоторых руководителей предприятий, которые страшатся мини-кооперативов как реального конкурента старой, неэффективной, но привычной псевдосоциалистической форме. Консерваторы от идеологии объявляют их несоциалистическими, противоречащими социализму. Но это не так.

Мелкие частные предприятия как таковые не могут служить основой для самостоятельной прочной и живучей общественно-экономической системы, противостоящей социализму. Исторически такое производство всегда было частью более крупной формации — рабовладельческой, азиатской, феодальной, капиталистической. Нет причин, почему оно не может быть интегрировано и в социалистическую экономику, использоваться ею.

Мелкие частные предприятия могут служить на благо социализма, так как небольшие единицы могут создаваться и расти без широкого использования дефицитных государственных ресурсов. Часть капиталов, накопленных в теневой экономике, тоже старается себя легализовать, «отмыть» таким способом. Далеко не всегда это заведомо аморально. Думается, что это даже допустимо, если ведет к быстрому решению кажущейся неразрешимой (при бюрократическом контроле) проблемы достижения рыночного равновесия. Сказанное относится и к товарам производственного назначения. Почему не допустить мелких поставщиков деталей, компонентов, различных услуг для государственных предприятий, если это будет способствовать их укреплению, стабилизации их деятельности?

Многие наши крупные предприятия жалуются на срыв поставок по кооперации. Так, «Известия» недавно сообщали из Липецка о трудностях местного объединения «Липецкий тракторный завод»: «Все еще в силе диктат поставщика комплектующих изделий. К примеру, требуются новые фары или спидометры, а нам говорят: только старой модификации. Не хотите — как хотите. Видимо, нужны мелкие предприятия по выпуску комплектующих деталей, которые могли бы расторопнее переналаживать производство. Не секрет, что партнеры-гиганты стали монополистами, по 20 лет гонят одну и ту же деталь без малейших попыток внести коррективы».

А в последнее время, получив некоторую меру хозяйственной самостоятельности, те же предприятия-монополисты стали произвольно отказываться от выполнения договорных поставок, что ставит их партнеров в сложное, прямо-таки кризисное положение.

Надо разбивать монополию поставщиков. Но как? Обратимся снова к опыту зарубежных концернов. Возьмем тот же «Дженерал моторс» или любого из его собратьев по автомобильной промышленности. Каждый из них буквально окружен десятками тысяч мелких предприятий, изготавливающих комплектующие детали по заказам концерна, по его спецификациям, а не как бог на душу положит. И каждое предприятие самостоятельно, принадлежит своему владельцу, а не какому-то другому концерну-гиганту. Это дает возможность получать комплектующие детали и продукцию вовремя и нужного качества, ибо такие мелкие предприятия целиком зависят от покупателя и всеми силами держатся за свой договор с ним.

Наверно, и в социалистических условиях организация мелких предприятий-поставщиков на началах частных, мини-кооперативных, арендных была бы, попросту говоря, находкой, спасением дела. Конечно, гигантам покупателям, заинтересованным в этом

деле в первую очередь, пришлось бы позаботиться о помощи в организации такого вспомогательного сектора.

Сейчас вопрос о необходимости покончить с монополизмом в нашей экономике обсуждается на разных уровнях. Академик Г. Арбатов призывает к выработке антимонополистического законодательства. Да, это понадобится, но уже на следующем этапе, когда будут ликвидированы отраслевые министерства в их современной форме, которые не что иное, как отраслевые монополии, и когда в каждой отрасли будет существовать как минимум несколько, а лучше достаточно много конкурирующих между собой объединений и предприятий. Не один «Аэрофлот», а несколько авиалиний, не один «Интурист», а несколько десятков туристических организаций, не один Минчермет, а десяток соперничающих металлургических комбинатов в каждой отрасли. Вот тогда-то и понадобится законодательство, которое запретит сговоры между конкурентами. Такие сговоры всегда возможны и легки, когда конкурентов немного. Отсюда и другой вывод: чтобы сделать монополии невыгодными или свести к минимуму их влияние, важно допустить во все сферы кооперативы и частников, которые составили бы действительно конкуренцию государственным гигантам, вынудили бы их поворачиваться и насытили бы рынок товарами, какие государственные предприятия сейчас не могут произвести в достатке по ценам рыночного равновесия.

Согласно элементарной экономической теории такое равновесие может достигаться, лишь когда существует свободный доступ в любую отрасль новых производителей и продавцов. Если доступ ограничен, немедленно рождаются, выражаясь словами Маркса, препятствия к переливу капитала, а это и создает объективные условия для возникновения монополярной цены — даже и без прямого сговора между предприятиями. И тут уж никакое антимонополистическое законодательство не поможет. Все это прямо относится к нашим кооператорам и частникам. Если, как сейчас, доступ в эту сферу будет ограничен — то ли государственными органами, то ли уголовной мафией, — цены обязательно окажутся высокими, а прибыли чрезмерными. И, как сейчас, будет широкое недовольство кооператорами и частниками как спекулянтами, легкими обогатителями, нуворишами.

В 30-х годах американский экономист Э. Чемберлин выпустил книгу под названием «Монополистическая конкуренция», которая имеется и в русском переводе. Этот ученый показал, что монополистом может быть и мелкий торговец на местном уровне, если он эксплуатирует какую-то жилу, недоступную другим. Над Чемберлином у нас немало потешались, противопоставляя ему слова Ленина о том, что в основе монополии лежит концентрация производства. Но в том, что не только гиганты могут стать монополистами, убеждает наша сегодняшняя практика.

Кооперативно-частное движение — реальный, совершенно необходимый путь внедрения конкуренции в социалистическое хозяйство, оживления старых, застывших форм, превращения их из псевдосоциалистических в активно работающие на эффективность. По расчетам Научно-исследовательского института Госплана СССР (НИЭИ), доля кооператоров (не считая колхозов) в общем производстве товаров и услуг в нашем хозяйстве, составляющая сейчас менее одного процента, должна в течение ближайших десяти лет вырасти до 10—12, а затем и до 15—18 процентов. Называют даже цифры 25—30, считая, что лишь при таком глобальном рывке рынок насытится. «Только тогда теневая экономика сдаст позиции», — делает вывод доктор экономических наук Т. Корягина («Литературная газета» от 29 июня 1988 года).

И не мудрено, что главным тормозом развития кооперации и индивидуальной трудовой деятельности выступают все те же бюрократические учреждения. То Министерство финансов, якобы не подумав, назначает 90-процентный налог на доход кооперативов. Не отмени Совет Министров СССР эту и другие подобные меры, и кооперативы вместе со всеми их перспективами были бы пущены под гильотину. То на местах губокомысленно составляют разверстку: сколько кооперативных кафе разрешается на район и нужно ли пускать частников в сферы, где дефицит сейчас сильнее всего и где они необходимы. То выходит запрет кооператорам подрывать спокойный сон государственных предприятий, продавая продукцию ниже государственных цен. Как будто чья-то невидимая рука специально создает новых монополистов, мешает на деле уничтожить теневую экономику и бюрократический централизм.

А должно быть все наоборот. Именно государство и государственные предприятия призваны в первую очередь проявить заинтересованность в поддержке частного кооперативного сектора, видеть в нем не врага, а важного и очень нужного помощника.

Проблема интеграции мелких частных предприятий в экономику социализма ставит много сложных вопросов.

Во-первых, их взаимоотношения с государством, его учреждениями и организациями в области производства, сбыта, снабжения должны строиться исключительно на договорной основе. Бесплезно подвергать их административному командованию, директивному планированию. Мелкий предприниматель работает на рынок потребительских товаров и услуг, он может быть связан договорными обязательствами с предприятиями оптовой или розничной торговли. Могут же государственные универмаги продавать товары наших мини- и макси-кооперативов. На рынке товаров производственного назначения им неизбежно придется вступать в договорные отношения с государственными предприятиями и организациями, а не только с другими частниками. Во всех случаях они должны иметь свободу рисковать своими вложениями в надежде на соответствующий доход. Но поскольку большинство их покупателей и поставщиков неизбежно будут государственными предприятиями и организациями, они волей-неволей окажутся интегрированными в социалистическую экономику и заинтересованными в ее эффективном функционировании.

Во-вторых, с общественной точки зрения частные предприятия должны полностью подлежать законодательству, гарантирующему социальное обеспечение и социальные услуги для всех работников социалистического общества. Придется придерживаться законов о максимальном рабочем времени, выплачивать часть своего дохода на общее и социальное страхование, на медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение. Если частник прибегнет к найму рабочей силы (о чем еще речь пойдет ниже), все законодательные положения, защищающие права рабочих, должны здесь применяться полностью.

В-третьих, часть чистого дохода частного предприятия будет изыматься в виде налога. Налог не должен быть чрезмерным. Главная задача налогообложения здесь не в том, чтобы получить максимальный доход в государственный бюджет. Важнее обеспечить четкую и надежную систему отчетности и контроля со стороны финансовых органов.

Как быть с наемным трудом?

Существует стремление жестко ограничивать доход частника и кооператора, с тем чтобы удерживать его в пределах заработной платы основной массы наемных работников. Вряд ли это рационально. Сложившаяся оплата труда работников государственных предприятий несовершенна и неизбежно отражает их отнюдь не высокую эффективность. Нужно ли сдерживать инициативу частных и кооперативных предприятий в увеличении производства дефицитных товаров, в предоставлении услуг, с которыми не справляется государство, во внедрении технических инноваций? Инициатива требует стимула, то есть дополнительного дохода в случае успеха.

Частный предприниматель, мини-кооператив заняты рискованным делом, так как, по определению, никто не гарантирует им минимального дохода. Следовательно, в принципе не должно быть и фиксированного абсолютного максимума на их доходы. Но поскольку прогрессивное налоговое обложение доходов может на практике выполнять и запретительную функцию (при ставках, делающих предельный чистый доход меньше дополнительных усилий по его получению), его можно использовать как эффективный способ контроля и регулирования скорости роста частного сектора. Ставки налога не должны быть большими, пока не достигнуто рыночное равновесие. После этого оптимальные ставки можно установить опытным путем.

Итак, индивидуальный предприниматель может зарабатывать и больше среднего наемного работника. Тут могут возникать элементы социальной опасности, несправедливости. Придется позаботиться о том, чтобы сохранять равновесие между доходом частника и оплатой высококвалифицированных работников (инженеров, менеджеров, ученых и т. п.). Ведь они тоже должны иметь право выбора, оставаться ли им в существующих учреждениях и на предприятиях или же создавать собственные, причем во все не обязательно на государственных началах. Никто не удивляется необходимости разрыва между оплатой квалифицированных и неквалифицированных работников. Но должны быть гарантированы свободный доступ к повышению квалификации и близкий к автоматическому механизм уравнивания наиболее высокого дохода частного предпринимателя с заработком наиболее высокооплачиваемого государственного служащего. Тогда и у самого благополучного бюрократа не возникнет стимула во что бы то ни стало

держаться за свой пост, а занятие важного государственного поста не будет единственной заветной мечтой рядового карьериста.

После того как размер частного предприятия превысит определенный уровень, его владелец неизбежно станет стремиться к использованию труда наемных работников. Найдется немало видов экономической деятельности, которые не могут быть в должной мере развиты в рамках государственных предприятий и крупных кооперативов, но которые требуют размеров предприятий, превышающих возможности нескольких человек или семьи.

В настоящее время эта проблема отчасти решается созданием мини-кооперативов, то есть частных партнерств. Но во всех ли случаях их члены пользуются равными правами в управлении и распределении дохода? Не бывает ли так, что мини-кооперативы становятся прикрытием для частных предприятий, фактически использующих наемный труд? Думается, что это неизбежно. И, наверно, вместо создания очередной фикции следовало признать допустимость частных предприятий с наемным трудом. Лучше это сделать легально, чем мириться с их незаконным существованием. Ведь в этом случае права тех, кто фактически является наемными работниками, оказываются не защищенными и не гарантированными должным образом.

Недавно в одном из наших ведущих кооперативных кафе в Москве я поинтересовался, какая часть занятых там людей работает по найму. Оказалось, что больше половины. И это естественно, ибо у большинства наших тружеников нет таких сбережений, чтобы с ходу становиться полноправными участниками мини-кооператива. И в Законе о кооперации, принятом в прошлом году, предусмотрено, что в кооперативе работают не только его члены, но также лица по трудовому договору. Но ведь если в мини-кооперативе, например, пять членов и десять работающих по договору, то это равносильно наемному труду в частном партнерстве.

Однако заметим, что по тому же Закону члены кооперативов имеют право и на работу, и на отдых (включая оплаченный отпуск), и на социальное страхование и обеспечение, и на удовлетворение культурно-бытовых нужд. А лица, работающие по договору? Об этом в Законе не сказано ничего, кроме того, что для заключения такого договора не требуется согласия администрации по основному месту работы и что такие лица имеют право участвовать в общем собрании кооператива с совещательным голосом.

Следовательно, предполагается, что наемный труд в кооперативе не может считаться основной работой и что практически никаких социальных прав он не дает. Скажут, что все эти права гарантированы по основному месту работы. Ну, а если основное место — фикция или полуфикция? Ибо работа в мини-кооперативе требует полной отдачи, там держать работника зря не будут. Что, если оплата по договору с кооперативом существенно превышает зарплату по основному месту работы, то есть служит основным источником дохода? Почему и на каком основании такой труд считается чем-то несоциалистическим и не влекущим за собой соответствующих социальных прав? Нет, вряд ли можно согласиться с тем, что такие работники — люди второго сорта. Очевидно, что условия труда и в кооперативных предприятиях должны полностью отвечать положениям Закона о предприятии, предусматривать фонды социального развития, премирование всех работников, их участие в управлении, в распределении чистого дохода и т. д.

Думается, что все нынешние трудности — издержки начального этапа развития и кооперации и частного сектора. Допуская частные предприятия открыто, можно в полный голос говорить о правах работников на таких предприятиях. И о доходах их хозяев. Доход владельца предприятия должен облагаться таким налогом, чтобы его чистый доход немногим отличался от заработка наиболее высокооплачиваемых работников на государственной службе. Но если уж признается его право как собственника, то надо быть последовательным и допустить дополнительную плату за риск, за инновации, создать гарантию того, что владелец не может быть лишен своей собственности и положения без полной компенсации стоимости и принадлежащих ему средств производства.

Конечно, возникает много других сложных вопросов. Например, о праве наследования. Считают, что без такого права участник (крупный мини-кооператор) не станет проявлять инициативу. Думается, что этот вопрос требует отдельного обсуждения. Но кое-какие подходы и тут достаточно ясны. Передача пая по наследству в денежной форме вряд ли может вызывать возражения (после уплаты соответствующего налога). Это делается во всех странах, где существуют частные собственники.

Нам необходимо превратить наши органы финансового контроля, трудовой инспекции и другие учреждения в действенные организации, скрупулезно знающие свое дело

и способные обеспечить контроль над доходами, закрыть лазейки для их сокрытия, заставить под угрозой штрафов и судебной ответственности строго соблюдать законы о предприятии, о труде, о кооперации. Пока еще такой системы нет, ее надо создавать.

Реальным препятствием для чрезмерного роста частных предприятий может быть хорошо разработанное и строго соблюдаемое прогрессивное налогообложение. Наш Минфин весной прошлого года решил сразу всех кооператоров огорчить 90-процентным налогом. Такая ставка, конечно, является практически запретительной, ни одному частнику она не подойдет. Другое дело — прогрессивные ставки, например, до 3 тысяч рублей — 13 процентов, от 3 до 6 тысяч — 20 процентов, от 6 до 10 тысяч — 25 процентов и т. д. Тогда каждый частник или мини-кооператор поймет, какие у него разумные экономические пределы для расширения.

Конечно, можно и так, как было при нэпе, как делается в Венгрии или Китае, — установить максимальное число наемных рабочих, скажем, двадцать (так было по постановлению ВСНХ от 1921 года) или пятьдесят. Но вряд ли это окажется достаточно эффективным ограничением. Число работников можно легко увеличить передачей части из них фиктивных паев, то есть превращением их из наемных рабочих в кооператоров. Или же вполне легальным привлечением рабочей силы по временным договорам. Или созданием нескольких формально раздельных предприятий, каждое с нужным максимумом работников.

Нет, наверно, какого-то одного идеального способа контроля. Требуется экспериментировать, искать, находить, было бы желание. Гарантировать, что частные предприятия со временем не станут крупными, не превзойдут установленные пределы, невозможно.

Как отчуждение свести к минимуму

Главная негативная черта современных государственных предприятий, как отмечалось выше, — отчуждение работников и администрации от средств производства. Можно ли преодолеть этот недостаток, найти пути минимизации отчуждения при сохранении формы общенародной, то есть государственной, собственности? Нужно ли вообще к этому стремиться?

Общество в целом бесспорно заинтересовано в эффективно работающих предприятиях государственного сектора. Ведь в этом случае даже при условии максимальной их самостоятельности значительная часть дополнительного дохода, полученного в результате оправданного риска и своевременных инноваций, пойдет государству и сможет быть использована в интересах всего общества. Некоторые виды экономической активности, связанные с естественной монополией (электростанции, общественный транспорт и другие), приносят дополнительный доход, который ни при каких условиях не может становиться частью частной прибыли и во всех случаях должен принадлежать обществу в целом.

Итак, существование мощного, абсолютно преобладающего государственного сектора — гарантия того, что государство сможет осуществлять свою главную экономическую функцию — максимизацию общественного благосостояния и социальной справедливости. Оно должно располагать фондами для капитальных вложений в новые крупные производственные и социальные проекты.

Говорят, что предприятие, получившее полную самостоятельность, уже не будет государственным в строгом смысле слова. Но так ли это? В капиталистических странах большинство национализированных фирм функционирует как совершенно самостоятельные единицы наравне с частными акционерными обществами и другими частными предприятиями. В чем разница? Руководителей таких корпораций назначает правительство. Если предприятие прибыльно, то государство получает не только налог и прибыль, но и все дивиденды (как единственный держатель акций). Если предприятие убыточно, то может пользоваться субсидиями из государственного бюджета. Представители государства сидят в правлении концерна и играют значительную роль в его решениях.

Влияние правительства на деятельность национализированного сектора несравненно больше, чем на остальную часть экономики.

В принципе доходы государственного бюджета могут обеспечиваться и налогами от частных предприятий. Но господство в экономике частного сектора неизбежно ведет к господству частного капитала в политике. Это несовместимо с главной экономической функцией социалистического государства. Преобладание государственной собственности делает невозможным господство частного капитала. Останется опасность сохранения

бюрократии. Но при децентрализованном руководстве государственным сектором и самостоятельности государственных предприятий для господства бюрократии не должно оставаться экономической основы. Тем более если такие предприятия будут лишены монопольного положения и поставлены в условия рыночной конкуренции.

Но смогут ли государственные предприятия работать эффективно в новых условиях?

У каждого крупного предприятия есть несколько главных функций, связанных с использованием средств производства и затрагивающих интересы различных участвующих групп:

- во-первых, непосредственное использование средств производства для создания и продажи товаров и услуг;
- во-вторых, управление непосредственным использованием средств производства, то есть координация труда производителей;
- в-третьих, контроль за управлением со стороны юридического собственника средств производства или от его имени;
- и, наконец, распределение дохода, полученного в результате использования средств производства.

На государственных предприятиях отчуждение работников возникает главным образом из-за неправильного разделения этих функций и невозможности их адекватной реализации.

Непосредственные производители зачастую не могут эффективно работать не только из-за собственных недостатков, но и из-за перебоев в снабжении, плохой организации труда, устаревшей техники, то есть недостатков в реализации функции управления. К тому же они, будучи формально собственниками предприятия и его продукции, практически не участвуют в контроле над управлением и в распределении дохода.

Администрация предприятий из-за назойливого вмешательства ведомств не в состоянии выполнять свою основную функцию и в решающей степени влиять на разграничение дохода.

Контроль за управлением возложен на бюрократию, которую не интересует повышение эффективности и которая поэтому не в состоянии осуществлять какой-либо экономически рациональный контроль. Она неоправданно вмешивается в управление и распределение дохода, чем доводит до максимума отчуждение работников и администрации.

Очень многое предстоит сделать, чтобы разобраться в сочетании этих функций, расставить все по своим местам. Частично этому призваны способствовать Закон о предприятии, другие акты экономической реформы. Но этого недостаточно.

Самое неотложное дело — ликвидация вмешательства бюрократии в функции управления и распределения дохода. Об этом было весомо сказано с трибуны XIX партконференции. Один за другим ораторы требовали ликвидировать министерства и ведомства в их нынешнем виде, превратить их в организации, обслуживающие предприятия, а не командующие ими.

Но требования требованиями, а ведомства продолжают существовать. В чем-то они перестраиваются, но пока не очень заметно. И так, наверно, будет продолжаться, пока с министерств и Госплана не будет снята ответственность за обязательное выполнение количественных показателей пятилетки, пока с них не начнут спрашивать за эффективность работы предприятий, за реальное сокращение дефицита, развитие конкуренции в отраслях, коренное изменение методов хозяйствования. Реформа при ее последовательном осуществлении и должна привести к такому результату. Это было бы важным шагом вперед, но только одним из многих. Другая важнейшая задача, наверно, состоит в том, чтобы осуществление всех функций предприятий прямо зависело от приближения к основной цели — максимальной экономической эффективности. Рост эффективности поведет к повышению доходов всех социальных групп, кроме бюрократии. Именно такая связь и поможет постепенно покончить с отчуждением и его последствиями.

Первый шаг состоит в том, чтобы поставить доход непосредственных производителей в прямую и ощутимую связь с их производительностью. Нынешняя догма, повсеместно насаждаемая бюрократией, состоит в том, что производительность труда работников должна расти быстрее их оплаты. В противном случае, как утверждают, сократятся фонды для капитальных вложений, а в экономике возникнет инфляционное давление. Но такие утверждения совершенно не соответствуют действительности. Если

производительность труда растет не медленнее, чем заработная плата рабочего, и даже вровень с ней, то нет никаких объективных причин для возникновения отрицательных явлений в экономике.

Допустим, что они обе растут с одинаковым темпом. Тогда при прочих равных условиях доля заработной платы в общем доходе останется неизменной. Это математический факт, от которого никуда не денешься. Главный источник чистых капиталовложений, то есть прибыль, будет в этом случае расти таким же темпом, как и чистый продукт. Если фонды капитальных вложений используются эффективно (если природная капиталоотдача как минимум не падает), нет никаких причин для нехватки фондов капитальных вложений, для замедления экономического роста, для роста удельных затрат на рабочую силу.

Откуда же взялась указанная догма? Почему ее так настойчиво повторяют, в особенности в последние годы? Потому что фактическая производительность живого труда у нас растет медленнее отчетной, а фондоотдача систематически падает. Отсюда стремление ограничить рост заработной платы, оторвать ее от роста производительности труда.

Если рабочий не уверен, что его заработок будет расти с повышением производительности, если он боится, что его дополнительная оплата будет срезана и отнята последующим пересмотром ставок оплаты, норм выработки и т. п., то его никакими силами не заинтересуешь в более производительном труде. Но если рабочий знает наверняка, что его заработная плата обязательно вырастет в меру роста производительности его труда, тогда он будет прямо заинтересован в повышении эффективности — все это при неизменном условии, что производительность труда измеряется правильно и не фальсифицируется разными способами.

Рабочий, если его труд правильно оплачивается, непосредственно заинтересован в том, чтобы участвовать как в коллективных решениях об организации производства на уровне бригады или цеха, так и в решениях о капиталовложениях на уровне совета предприятия. Прямой материальный интерес рабочего достигается также при его непосредственном участии в распределении чистого дохода предприятия. Тут может возникнуть определенный конфликт интересов. Выплата работникам части прибыли в виде премий способна отрицательно сказаться на фонде накопления, вызвать постепенное замедление роста основной заработной платы. Распределить доход в наилучших интересах работников и всего коллектива — задача непростая.

Конечно, при прямой заинтересованности всего коллектива в прибыли возникает опасность явления, которое М. С. Горбачев в Красноярске назвал «групповым эгоизмом». Действительно, уже в первый год работы предприятий по новой системе стало массовым стремление получить большую прибыль за счет несправданного завышения цен разными способами. Практика, которую еще раньше внедрили министерства для подправления своей отчетности, теперь стала типичной на уровне более самостоятельных предприятий. Дело дошло до того, что на заседании Совета Министров СССР одни ведомства стали жаловаться на произвольное повышение цен предприятиями других ведомств.

Возникает очень опасная цепная реакция всеобщего повышения цен, неконтролируемой инфляции. Именно это сгубило в последние годы экономическую стабилизацию в Югославии, ставит в тяжелое положение экономики Польши. Есть только один выход — ликвидировать монополию отраслей и предприятий, вводить конкуренцию, о чем уже много говорилось выше. Иначе — возврат к командной системе, при которой неизбежен застой, разложение.

Непосредственный интерес рабочих в повышении прибыли стимулируется и расширением новой для нас практики продажи им акций предприятия, приносящих доход, пропорциональный прибыли. Это еще один способ, посредством которого рабочий становится сособственником средств производства.

Но существует немало трудных вопросов, связанных и с введением акций. Может ли их купить всякий, в том числе и не работающий на данном предприятии? Как и где может владелец продать свои акции в случае нужды? Нужна ли для этого биржа? До какого максимума следует доводить долю индивидуального владения акциями государственного предприятия? Как быть с акциями кооперативов? Не надо ли выпускать также и другие, менее обязывающие формы ценных бумаг предприятий? Эти вопросы неизбежно встают, их придется решать.

Основной принцип, думается, в том, что трудовой вклад при социализме дает ра-

ботнику более широкие права, чем на капиталистическом предприятии. Имеет место не только продажа его рабочей силы нанимателю, будь это государство, кооператив или частное лицо, но и обязательное приобретение определенных дополнительных прав и привилегий в результате его трудового участия в производственном процессе. Видимо, правильно говорить тут о капитализации труда как о выражении особого совладельческого интереса. Рабочая сила перестает быть лишь объектом купли-продажи, живой труд становится равноправным партнером овеществленного труда.

Если осуществить все сказанное выше, может возникнуть заметная дифференциация заработков на различных предприятиях, в разных отраслях и регионах, тяготеющих к региональному хозрасчету. Это неизбежно и не должно считаться социальной опасностью. Факт более высокой оплаты других групп рабочих должен вызывать не зависть и призывы к всеобщему уравниванию по низшему уровню, а к стремлению повышать собственную производительность. Перемещения рабочей силы из менее в более высокооплачиваемые профессии и места работы также будет способствовать выравниванию трудовых доходов, выправлению возможных социальных несправедливостей, связанных с различиями в оплате.

Менеджеры и их место

Мы говорили о рабочих. Но как преодолеть отчуждение управленцев (менеджеров) государственных предприятий? Экономически эффективная организация и координация труда многих работников в одном коллективе — это высококвалифицированная деятельность, которая также требует адекватной оплаты. Зарботки менеджеров должны отражать этот бесспорный факт. В настоящее время они нередко немногим больше оплаты квалифицированных рабочих, а подчас и того меньше. Вполне закономерно, что менеджеры не удовлетворены денежной оценкой их квалификации, лежащей на них ответственности. К тому же постоянное вмешательство бюрократии зачастую лишает их какой-либо личной удовлетворенности самим процессом их труда. Все это способствует развитию незаконных способов самоудовлетворения и самообогащения.

Но ведь менеджеры продают предприятию (и государству) свою особую квалификацию и должны получить за это справедливое возмещение.

Выше говорилось об уже сложившейся практике «группового эгоизма». Это неизбежно в условиях монополии на рынке и к тому же если нет противодействующей силы в самом коллективе предприятий. Менеджер, стремящийся не повысить, а понизить цены, уменьшить затраты и себестоимость, поднять производительность труда не в отчете, а на деле, пока еще у нас считается исключением, но именно таких менеджеров, такой стиль управления следовало бы больше культивировать, поощрять.

В иностранных фирмах у менеджеров высокие жалования, привязанные к прибылям корпораций. Но менеджеры знают, что не смогут увеличивать прибыль только за счет повышения цен, препятствие — конкуренция с другими фирмами за долю рынка. Боясь сбить цены, они соперничают в основном качеством, новыми моделями, большей потребительной стоимостью, заключенной в одинаковой цене. При таких условиях приходится больше думать о модернизации оборудования, о новой технологии, о новых товарах, о минимизации затрат, ибо с каждой единицы такой экономии идет прямое добавление к жалованию менеджеров. Не говоря уж о его престиже, который становится своеобразным капиталом, также имеющим оценку на рынке. Недаром хороших менеджеров постоянно переманивают из корпорации в корпорацию. А для закрепления на месте платят бешеные деньги.

Несколько лет назад вышли мемуары Ли Якокки, бывшего президента компании «Форд». Он рассказывает, как покойный Генри Форд-второй, немалый самодур, у которого был контрольный пакет акций фирмы, уволил своего президента в один прекрасный день без какого-либо предупреждения. Ну и что? Якокка был тут же приглашен руководить конкурирующим концерном «Крайслер», ибо его престиж говорил сам за себя. Договор с «Крайслером» дал ему строго определенные права, гарантированное вознаграждение, долю в прибылях и акциях, уверенность в возможности применить свои способности, в сроке найма.

Нам ни к чему копировать все детали трудоустройства менеджеров в США, но кое-что позаимствовать не грех. Например, лучше всего, если доход руководителей предприятий, условия их труда и т. п. станут предметом юридически оформленного контракта с предприятием, а сам подбор менеджеров будет происходить на конкурсной

основе. Период, на который заключается контракт, и условия его прекращения должны быть оговорены так, чтобы гарантировать права обеих сторон на случай конфликта.

А такие конфликты уже стали рядовым явлением с образованием советов трудовых коллективов по Закону о предприятии. В Томске не избрали в совет директора завода режущих инструментов, Героя Социалистического Труда. Человеку, четверть века руководившему предприятием, предложили подать в отставку. Каковы тут права сторон? Вопрос не столь прост, как кажется. Не в данном конкретном случае, а в принципе. Должны быть четкие правила, оговоренные юридически, с тем чтобы вопрос не решался старыми методами, на уровне «телефонного права», и чтобы не торжествовал «групповой эгоизм», вполне возможный при жестком директоре.

Реальность такова, что в совете социалистического предприятия по необходимости должны быть представлены все три стороны, указанные выше, то есть непосредственные производители, менеджеры и представители государственной контролирующей инстанции. Отношения между ними не всегда будут простыми, и важно, чтобы силы их были взаимно уравновешены, ни одна из сторон не имела господствующего положения. Как только этот баланс нарушается, происходит смешение функций. Либо администрация станет нанимать самое себя и послушных себе людей, либо всем по-прежнему будут распоряжаться государственные бюрократы, и все сведется к контролю непосредственных производителей. Ни один из этих вариантов не желателен.

Принципиально новую роль призваны играть представители государственной контролирующей организации. Их главная функция состояла бы в том, чтобы способствовать максимизации экономической эффективности предприятия (его прибыльности), но так, чтобы это сочеталось с максимальной эффективностью на уровне народного хозяйства и общества в целом.

При этом государству придется влиять на работу предприятия, не вмешиваясь в его дела, не прибегая к командам и директивам. Оно может давать заказы на продукцию, но только на такую, в которой само нуждается. Его право манипулировать ставками налогообложения прибыли должно быть ограничено. Придется учиться сложному искусству регулирования производства и рынка косвенными, главным образом экономическими, финансовыми, кредитными методами. Это нелегко. Как показала практика 20-х годов, тут на каждом шагу подстерегают кризисы.

Кстати, вернемся к вопросу о налоговых рычагах. Во многих зарубежных странах ставки налогов устанавливаются не отраслевыми ведомствами, не инструкциями Министерства финансов, а законодательными органами после длительного, скрупулезного обсуждения. Налоги на прибыль единообразны для всех отраслей, хотя и не для всех размеров компаний. У нас же тут пока царит если не полный, то почти полный произвол. Оказывается, что по недавно принятому Госпланом порядку нормативы отчислений из прибыли предприятий в так называемый централизованный фонд и резерв министерства устанавливаются самим ведомством. Это сверх норм других отчислений, тоже устанавливаемых произвольно на уровне центральной бюрократии. Разумеется, ни о какой подлинной самостоятельности предприятий в использовании своей прибыли при этом не может быть и речи, и о рациональном регулировании экономики тоже. Нормы налогообложения следовало бы устанавливать Верховному Совету СССР, отчисления от прибыли должны идти прямо в госбюджет, из которого тот же Верховный Совет должен решать, какому ведомству какая смета полагается. Тогда министерствам придется держать отчет перед депутатами, отчитываться, как это делается за рубежом, на парламентских комиссиях, снабженных мощным рычагом бюджетного воздействия.

Все это — лишь один из возможных способов организации государственных предприятий. Жизнь и опыт уже сейчас выдвигают и еще будут выдвигать другие способы и формы, между которыми придется выбирать. Например, некоторые предприятия отдаются в аренду их рабочим и администрации и функционируют как бы на основе коллективного совладения. Эта форма несомненно имеет ряд преимуществ, позволяющих преодолевать или уменьшать отчуждение рабочих и руководителей. Главное, устраняется непосредственное вмешательство бюрократических ведомств, возможность выходить за узкие рамки ведомственного права.

Теоретически можно предположить, что та же арендная форма окажется жизненной лишь на средних предприятиях, где коллектив достаточно мал, чтобы сообща обсуждать и выполнять условия арендного соглашения, в полной мере оценивать его последствия. Сможет ли эта форма успешно функционировать на более крупных предприятиях, в которых коллективное управление осуществлять отнюдь не легко? Все это

вопросы практики, на них умозрительно и авансом ответить нельзя. Ясно одно — все творческие попытки найти действенные пути преодолеть отчуждение пополняют копилку позитивного опыта.

Выдержать конкуренцию

Будущая социалистическая экономика представляется мне как комбинация различных форм государственных, кооперативных и частных предприятий, функционирующих в системе, где преобладают непосредственно социалистические — государственные или кооперативные в подлинном их понимании — предприятия и где существует достаточно сильное центральное, но не административно-командное планирование, призванное максимизировать народнохозяйственную эффективность и благосостояние народа, поддерживать и защищать принципы общественного равенства и социальной справедливости.

Может ли такая система быть более экономически эффективной, чем капиталистическая система? Могут ли государственные предприятия стать более эффективными, чем частные? Ответ на оба вопроса в значительной мере зависит от ответа на второй. Если социалистическое (государственное или кооперативное) предприятие само по себе не может стать более эффективным, то оно не будет служить прочной основой системы, превосходящей капитализм, какими бы благородными и справедливыми ни были провозглашенные ею принципы и цели.

Люди судят о сравнительных достоинствах социальных систем не только по сравнительной справедливости распределения доходов и богатства, по гарантиям минимально удовлетворительных условий существования, но также по той степени, в какой удовлетворяются материальные и духовные потребности человека. Если запросы большинства потребителей в товарах и услугах в основном удовлетворяются, хотя меньшинство страдает от относительной бедности и обездоленности, общество в целом остается жизнеспособным, ибо удовлетворено большинство, а не меньшинство. Можно сколько угодно указывать, причем вполне обоснованно, на социальную ограниченность и узость идеалов «потребительского общества», но на данном этапе исторического развития максимизация личного потребления входит приоритетной статьёй в общественную шкалу ценностей. Именно сфера потребления — реальное поле соревнования двух систем.

Более высокий уровень удовлетворения потребностей большинства может базироваться лишь на более высокой производительности труда. (Вспомним известное положение о том, что социализм победит лишь тогда, когда превзойдет капитализм по этому показателю.) Но реальные условия соревнования заставляют дополнить этот вывод: более высокая производительность труда нужна социализму хотя бы для того, чтобы выстоять, выжить, доказать свою жизнеспособность, а не только победить в исторической перспективе. Иначе говоря, вопрос стоит куда более остро. И достичь этого можно лишь, если социализм станет лидером в техническом прогрессе, в его применении к удовлетворению нужд большинства, а не только в космосе и военном деле. А для этого социалистическое предприятие должно доказать, что оно может быть более производительным, более творческим, более динамичным.

Было бы интересно непосредственно сравнить работу нашего государственного предприятия с капиталистическим в одних и тех же отраслях, выпускающих один и тот же ассортимент продукции. Каковы конкретные технические, организационные, экономические преимущества и недостатки каждого? Конечно, до завершения реформы, до ликвидации контроля сверхцентрализованной бюрократии, до внутренней перестройки отношений на предприятиях проводить такое сравнение бесполезно. Оно будет не в нашу пользу, разве что в порядке исключения.

Мне не раз приходилось бывать на советских и зарубежных предприятиях, сравнивать их между собой. Контраст был прежде всего в общем виде: там чисто, прибрано, даже внешне красиво; здесь как будто только что прошел ураган. Главный конвейер завода имени Лихачева поразил меня малой скоростью, рабочие постоянно отлучались в поисках нужного инструмента. На заводе Форда под Детройтом весь нужный инструмент был при рабочих, в карманах специально сшитой одежды. Не переставая трудиться, они возгласами приветствовали шедшего со мной главу фирмы, тот откликался, называя чуть ли не всех по имени. Каждые пятьдесят секунд с конвейера сходил готовый автомобиль. Комплекующие детали доставлялись к нужному месту автоматически со складов, находившихся тут же, в огромном цехе. Всем процессом

руководила ЭВМ. Это было еще в эпоху компьютеров второго поколения, о мини-компьютерах тогда и не помышляли.

Главный инженер Братского алюминиевого завода рассказывал, что его основная забота — вовремя получить «вертушки» с сырьем, доставлявшимся из-за океана. Чтобы непрерывная варка голубого металла не остановилась, надо было держать толкачей чуть ли не на всем протяжении пути «вертушек» по советской земле — от Новороссийска до Прибайкалья. Они могли не только запоздать, но и не поступить совсем, уйти на другой завод, пропасть, наконец. У президента канадской корпорации АЛКОА подобных забот не существовало. Там все было четко расписано, доставлялось без опоздания, чаще всего впрок. Президента больше всего забочила цена бокситов, доставлявшихся из тех же стран, что и в Братск.

Эти сравнения можно было бы продолжить. Классики марксизма говорили о капитализме, что это — организация производства на отдельных предприятиях, анархия в масштабе всего общества. У нас же при административно-командной системе господствовала и еще преобладает лихорадка как на предприятиях, так и в экономике в целом. Но допустим, что наконец перестройка закончена, бюрократия устранена, экономический механизм налажен. Какое из двух предприятий — капиталистическое или социалистическое — будет более конкурентоспособным в условиях свободного рыночного соперничества? Ответ отнюдь не очевиден.

Сравнительная производительность и эффективность определяются не только формой собственности, степенью отчуждения, производственными отношениями. Есть много других важных факторов: организационных, социально-психологических, физических, природных, макроэкономических (размер рынка) и т. д. При минимальном отчуждении работников производительность зависит в первую очередь именно от сочетания этих условий.

Но рассмотрим лишь изолированное влияние отчуждения. Опять-таки вопрос вовсе не так прост, как кажется. Например, американский рабочий никогда не ощущал своей близости к средствам производства, четко понимал и понимает, что ими не владеет, что они в чужих руках. Казалось бы, уже по этой причине его чувство отчуждения должно было быть очень сильным, а заинтересованность в продуктивном труде низкой. Однако, странным образом, все обстоит не так. И дело не только в дисциплине, безработице, страхе потерять место.

Производительность американских рабочих всегда была высокой благодаря и лучшей организации производства, и свободному доступу на широкий внутренний рынок, что давало колоссальную экономию в масштабах производства, и благодаря стремлению предпринимателей модернизировать технику ради замены дорогостоящей рабочей силы. Все это факторы отнюдь не палочные, не рассчитанные на страх работников перед безработицей. Но к этому надо добавить и личные трудовые усилия американского рабочего, его высокую квалификацию, заинтересованность в результатах труда. Почему? Потому что реальное отчуждение работника в американской экономике, как правило, сведено к минимуму, причем не какими-то хитроумными, изощренными способами, обработкой умов, а вследствие очень простой корреляции, которая оказалась решающей. Американский рабочий, прекрасно зная, что не он владеет средствами производства и что он не вправе претендовать на какую-либо часть прибыли, понимает также, что его более высокая индивидуальная и коллективная производительность всегда принесет ему более высокий заработок. Это минимальное условие, завоеванное в упорной борьбе с капиталом, но оно было удовлетворено.

Уменьшает психологическое отчуждение и практическое применение индустриальной социологии, изучающей человеческие отношения внутри предприятий, фирм. По этой части Япония, пожалуй, превзошла США. Японские фирмы многие десятилетия успешно применяют различные формы патернализма, уподобляют отношения между хозяином и рабочим отношениям между отцом и сыном. На многих крупных фирмах действует система, по которой занятые не теряют работу в течение всей активной жизни, а лишь перемещаются внутри концерна, притом с повышением оплаты по мере роста стажа. Причем это не влияет отрицательно ни на трудовую дисциплину, ни на производительность труда, которая растет очень быстро, отнюдь не обгоняя реальной заработной платы.

Что касается США, то здесь и собственник и менеджер всегда знали, что могут свободно распоряжаться своими средствами производства как угодно во имя максимальной прибыли, без всяких серьезных политических или юридических ограничений. Даже

сильные профсоюзы не оказали серьезного сопротивления, раз было установлено, что эффективнее заменять высокооплачиваемых рабочих машинами и лучшей организацией производства, нежели полагаться исключительно на антирабочее законодательство и полицию.

Таким образом, отчуждение и работников и менеджеров было фактически сведено к минимуму. Вместе с благоприятными природными и историческими условиями это помогло обеспечить высокую производительность.

При социализме проблема более сложна. Ведь налицо не две стороны — предприниматель и рабочий, — как при капитализме, а три — рабочий, администрация, государство. К тому же нет ни стремления, ни традиции, как при капитализме, позволять сторонам действовать конфликтно, вопреки друг другу и достигать решений и равновесия в борьбе и столкновениях. Напротив, у нас господствует стремление к общему согласию, к сведению конфликтов к минимуму, даже если решение и не удовлетворяет стороны. Сказывается и пассивность профсоюзов.

Если бы стороны могли делать каждая свое дело, то неизбежно возникли бы столкновения различных, иногда противоположных интересов. В таких условиях требуется хорошо разработанный, отлаженный механизм, позволяющий достигать общего согласия при максимизации экономической эффективности. Такой механизм, защищающий права сторон, еще должен быть у нас создан и пущен в ход. Тогда мы не будем бояться конфликтов на предприятиях, будем видеть в них естественный путь к достижению согласия, будем знать, как предупреждать столкновения, не прибегая к силе, принуждению.

И еще один урок. Не всегда разумно начинать с поиска идеальной схемы. Минимизации отчуждения легче достичь, делая ставку на главное, наиболее существенное, не стараясь сразу решить все на всех направлениях и по всем пунктам. Если капитализм может достичь заинтересованности рабочих, не поступаясь частной собственностью и максимальной прибылью, то социалистическое общество как минимум должно быть в состоянии проявить себя не хуже.

Решив свою основную проблему — достижение экономической эффективности, социализм должен будет также продемонстрировать ее совместимость с социальной справедливостью. Сможет ли капитализм соревноваться по обоим этим направлениям? Будущее покажет.

Доказать высшую экономическую эффективность можно лишь в прямой конкуренции между различными формами организации предприятий. Социализм сможет полностью развить свой экономический и социальный потенциал только в свободном соревновании, рыночной конкуренции с капиталистическими предприятиями — частными производителями внутри страны, корпорациями на внешнем рынке. Государственный протекционизм в отношении социалистических предприятий, их искусственное ограждение от конкурентов — внутренних и внешних, — в принципе нежелателен и может принести только вред. Он допустим лишь в течение некоторого периода, пока будут происходить внутренняя перестройка и интеграция в мировую экономику. Такая интеграция — необходимое условие укрепления жизнеспособности экономической системы социализма.

ИРМА КУДРОВА



ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЧУЖБИНЫ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА: ВАНВ—ПАРИЖ, 1937—1939

1

Лето 1937 года Цветаева провела с сыном у моря в Лакано-Осеане. Дочь Ариадна еще весной, в марте, уехала в Москву первой из семьи. От нее шли восторженные письма; ей нравилось там все, хотя постоянной работы пока не было, жить приходилось у тетки. И все-таки она уже сотрудничала в кольцовском «Жургазе», пока внештатно, но осенью обещали взять в штат, и будущее виделось ей в радужных тонах. В одном из первых же писем Ариадне Сергеевне, правда, пришлось огорчить мать: она сообщила ей о смерти Софьи Голлидэй. То была подруга Марины Ивановны, давняя и горячо любимая, не заслоненная в памяти ни временем, ни разлукой. Горькая весть из России «всколыхнула все глубины», признавалась Цветаева в письме к своей чешской приятельнице Анне Тесковой. «А может быть, я просто спустилась в свой вечный колодец, где все всегда — живо». И теперь, в Лакано, забыв все вокруг, она писала своей очередной прозаический реквием. «Повесть о Сонечке» стала последней ее прозой.

Она начала ее писать почему-то по-французски, затем перешла на русский, но так и оставила посреди текста большие куски, написанные на чужом языке. Она воскресла весенние месяцы 1919 года, такого страшного в конце, что первые его месяцы теперь казались почти беспечными: еще были надежды, были радости. Голод тогда уже набирал силу, но обе дочери еще оставались с ней, и целых три весенних месяца были озарены нежной дружбой с маленькой, прелестной и своенравной актрисой 2-й студии Художественного театра. Теперь, спустя восемнадцать лет, Марине Ивановне казалось, что она никого и никогда не любила в жизни так, как эту Сонечку, покоровившую ее душевным богатством и щедростью не меньше, чем актерским талантом. И все лето в Лакано прошло под знаком той весны девятнадцатого года; это были не воспоминания — живая реальность, видимая, правда, ей одной; даже вставая из-за стола, она продолжала слышать голос Сонечки, ее интонации, ее смех. Это помогало перу¹. В одном из московских архивов сохранились письма Голлидэй, обращенные к В. И. Качалову, — они редкостью совпадают по интонации и характеру, в них отраженному, с образом, встающим со страниц цветаяевской прозы.

Когда настало время возвращения из Лакано, повесть была почти закончена и даже заочно сосватана. Ее обещал взять для недавно возникшего журнала «Русские записки» один из его редакторов — И. И. Бунаков-Фондаминский. В последние годы Цветаева сблизилась с Ильей Исидоровичем (по словам Набокова, «человечнейшим из людей»); изредка она посещала собиравшееся у него дома литературно-философское объединение «Круг».

С океана они вернулись 20 сентября. Перешагнув порог своей квартиры в Ванве, Цветаева не могла знать, как круто за этот последний месяц повернулось колесо ее

¹ Цветаева пишет об этом в письме к Тесковой от 7 сентября 1937 года (Марина Цветаева. Письма к Анне Тесковой. Прага. 1969). Оговорюсь сразу: на предлагаемых читателю страницах нет ни одной подробности, портретного штриха, реплики и тем более эпизода, которые не могли бы иметь конкретную ссылку на источник — письма самой Цветаевой или ее современников, мемуарные свидетельства, материалы зарубежной и отечественной прессы, архивов, личной переписки или личных встреч автора с людьми, знавшими Цветаеву. Однако приведение этих данных, уместных и необходимых в специальном научном издании, здесь отяжелило бы текст. И потому ограничиваюсь этой оговоркой.

судьбы. Жизнь ее переломилась в последний раз — она приехала к разбитому корыту. Удар, который теперь ждал Марину Ивановну, не мог присниться и в страшном сне.

Через два дня после ее приезда французские и эмигрантские газеты сообщили о «ваинственном исчезновении» из Парижа генерала Миллера, возглавлявшего эмигрантский «Общевойнский союз». У всех еще было на памяти бесследное исчезновение предшественника Миллера на том же посту, генерала Кутепова, в начале 1930 года. Естественно, что сообщение встревожило всю русскую эмиграцию. Но не Цветаеву: письмо, которое Марина Ивановна написала своей чешской приятельнице 27 сентября, кажется неподдельно спокойным. О сенсационном событии в нем нет ни слова, и хотя чешским издателем эпистолярного наследия Цветаевой в письме отмечены пропущенные строки, скорее всего они относятся к внутрисемейным отношениям. Катастрофой в этом письме, сколько можно судить, не пахнет.

Между тем как раз с момента исчезновения генерала Миллера французская полиция энергично занялась расследованием этого дела в связи с другим загадочным событием, происшедшим незадолго до того в Швейцарии. 4 сентября в окрестностях Лозанны было совершено убийство некоего Игнатия Рейсса. Довольно скоро полиции удалось установить несколько важных фактов. Именно: что Рейсс в течение последних двадцати лет проживал в Голландии и Франции и был видным сотрудником ГПУ — НКВД, а также что убийство его было делом рук нескольких человек, сразу же после совершения преступления пересекших франко-швейцарскую границу. Швейцарская полиция располагала несколькими конкретными именами подозреваемых и обратилась к своим французским коллегам с просьбой о немедленном их розыске и задержании. Однако до поры до времени французы не торопились. И только когда Париж облетела весть об исчезновении Миллера, Сюрте насьональ, заподозрив участие в преступлении одних и тех же лиц, начала активные поиски. Нити следствия в обоих случаях вели к некоему Кондратьеву и далее — к парижскому «Союзу возвращения на Родину».

В начале октября в полицейском участке Исси ле Муино был допрошен Н. А. Клипинин, близкий друг мужа Цветаевой С. Я. Эфрона. На следующий день туда же был вызван на допрос и Сергей Яковлевич. Сохранилось свидетельство М. С. Степуржинской (урожденной Булгаковой, дочери философа С. Н. Булгакова) о том, что сразу же после возвращения Эфрона из Сюрте семья покинула квартиру в Ванве и переселилась к Степуржинским. А спустя примерно неделю все вместе на машине Степуржинского, работавшего таксистом, направились в Руан. Там Сергей Яковлевич простился с женой и сыном и уехал на машине дальше по направлению к Гавру. Марина Ивановна и Мур вернулись в Париж на поезде.

22 октября в семь часов утра Цветаеву разбудила полиция, предъявившая ей ордер на обыск. Но предоставим здесь слово газете «Последние новости» — 24 октября на ее страницах появились репортаж об обыске, произведенном полицией в «Союзе возвращения», а также интервью, взятое газетчиком в Ванве. «Дней двенадцать тому назад, — сообщала М. И. Цветаева, — мой муж, экстренно собравшись, покинул нашу квартиру в Ванве, сказав мне, что уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я не имею. Его советские симпатии известны мне, конечно, так же хорошо, как и всем, кто с мужем встречался. Его близкое участие во всем, что касалось испанских дел («Союз возвращения на Родину» отправил в Испанию немалое количество русских добровольцев), мне также было известно. Занимался ли он еще какой-либо деятельностью, и какой именно, не знаю.

22 октября около семи часов утра ко мне явились четыре инспектора полиции и произвели продолжительный обыск, захватив в комнате мужа его бумаги и личную переписку. Затем я была приглашена в Сюрте насьональ, где в течение многих часов меня допрашивали. Ничего нового о муже я сообщить не могла».

В воспоминаниях нескольких людей, близких Цветаевой, сохранились подробности ее поведения на допросе. Марк Слоним — и не он один — утверждает, что Марина Ивановна была уверена в трагическом недоразумении, которое должно скоро разъясниться. Он пишет: «...во время допросов во французской полиции (Сюрте) она все твердила о честности мужа, о столкновении долга с любовью и цитировала наизусть не то Корнеля, не то Расина (она сама потом об этом рассказывала, сперва М. Н. Лебедевой, а потом мне). Сперва чиновники думали, что она хитрит и притворяется, но когда она принялась читать им французские переводы Пушкина и своих собственных стихотворений, они усомнились в ее психических способностях и явившимся на помощь матерым специалистам по эмигрантским делам рекомендовали ее — «эта полоумная русская»... В

то же время она обнаружила такое невежество в политических вопросах и такое невнимание о деятельности мужа, что они махнули на нее рукой и отпустили с миром...» З. Шаховская добавляет к этому эпизоду фразу, сказанную Цветаевой следователю, когда тот привел доказательства причастности Эфрона к преступлению: «Его доверие могло быть обмануто, мое к нему остается неизменным».

Обращает на себя внимание сама стилистика цветаевского интервью газете; это характерная стилистика свидетельских показаний: «не знаю», «не имею», «Другого сообщить не могу»... Что вполне естественно на следующий день после допроса; да и отчего бы Цветаевой доверять газетчикам больше, чем полиции? Но и без этого мы замечаем, что Марина Ивановна отнюдь не откровенна ни с теми, ни с другими. Она ни словом не упоминает о том, что провожала мужа, и говорит только то, что, видимо, велел ей говорить Сергей Яковлевич. Из Гавра шли пароходы в Советский Союз, и скорее всего Цветаева знала, что муж ее едет вовсе не в Испанию...

Сразу же после появления в газетах имен Цветаевой и Эфрона в Ванв примчался встревоженный Фондаминский. Позже он рассказывал друзьям, что Марина Ивановна в отчаянии повторяла ему одно и то же: «...этого не может быть»,— она готова была поклясться, что Сергей Яковлевич не мог быть замешан «в кровавом деле»...

В чем же обвинялся Эфрон?

Главные показания против него дала одна из участниц лозаннского преступления, Рената Штейнер. История ее была достаточно характерной. В 1934 году во время туристической поездки в Москву она вышла там замуж за советского подданного, сотрудника НКВД Малиенко. Вернувшись в Париж, обратилась в советское посольство за помощью — она хотела теперь уехать к мужу навсегда. Посольство направило ее в «Союз возвращения» — под надзор и в распоряжение С. Я. Эфрона. Терпеливо и приветливо Эфрон разъяснил ей то, о чем много раз писал редактируемый им журнал «Наш Союз». То есть что СССР принимает в число своих граждан не всех, кто того захочет, а только тех, кто делом подтвердил свою преданность советскому режиму. Штейнер согласилась на эти условия и в 1936 году, а также в начале 1937-го выполняла поручение Эфрона: занималась слежкой за некоей супружеской парой. Только позже она узнала, что это был сын Троцкого Лев Седов с женой. Но летом 1937 года она получила новое задание, оно было связано с розыском скрывавшегося советского резидента Рейсса.

Подробности о самом Рейссе прояснились позже. Они оказались прямо связанными с тем, что после ареста Ягоды в апреле 1937 года в Советской России начались массовые репрессии среди сотрудников НКВД: Ежов менял кадровый состав, уничтожая «шпионов Ягоды» в собственных рядах. К лету 1937 года в Москву из Европы было отозвано около сорока сотрудников иностранного отдела НКВД, возглавлявшегося А. А. Слуцким (Маркосом). Однако пятеро отказались вернуться, понимая, что вернуться на смерть или в лучшем случае в застенки. 17 июля 1937 года один из этих пятерых, Рейсс (его настоящее имя было Людвиг Порецкий), написал в Москву в Центральный Комитет партии большевиков письмо. Он заявлял в нем о своей решимости порвать с режимом Сталина, запятнавшим себя убийствами людей, преданных делу революции. «Я шел вместе с Вами до сих пор,— писал Порецкий,— ни шагу дальше. Наши дороги расходятся! Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма <...>. Близок день суда международного социализма над всеми преступлениями последних десяти лет. Ничто не будет прощено <...>. Процесс этот состоится публично, со свидетелями, многими свидетелями, живыми и мертвыми; все они еще раз заговорят, но на сей раз скажут правду, всю правду. Они явятся все — невинно убиенные и оклеветанные,— и международное рабочее движение их реабилитирует, всех этих Каменевых и Мрачковских, Смирновых и Мураловых, Дробнисов и Серебряковых, Мдивани и Окуджав, Раковских и Нинов, всех этих «шпионов и диверсантов, агентов гестапо и саботажников» <...>, я больше не могу. Я возвращаю себе свободу. Назад к Ленину, его учению и делу...»

Однако письмо Рейсса, переданное им через друзей в отдел НКВД при советском посольстве в Париже, было вскрыто здесь же. И с этого момента начала свою работу специальная оперативная группа, в которую вошел и С. Я. Эфрон. Спустя несколько недель ей удалось обнаружить Рейсса в Лозанне.

Дабы сказать все, что может иметь значение в оценке роли мужа Цветаевой в этой истории, добавлю пояснение, которое я услышала в начале 70-х годов от Ариадны Сергеевны Эфрон (не помню, по какому поводу, но без всякого вопроса с моей стороны — я на это никогда бы не решилась): «Сергей Яковлевич не предполагал, что Рейсс

будет убит. Но он считал, что Рейсс должен предстать перед справедливым советским судом,— ведь нельзя было допустить, чтобы человек, знавший слишком многое, передал то, что он знал, недругам советской власти...»

На ту же чашу весов ложится и фраза Эфрона, сказанная им своей близкой приятельнице Вере Трайл в самый канун побега из Франции: «Меня запутали в грязное дело...» Вере Трайл Эфрон мог довериться, и все же нельзя сказать твердо, где кончалась его откровенность и вступали в силу соображения осторожности. Убийство Рейсса было не первым и не последним: за полгода до того был убит невозвращенец Навашин, спустя несколько месяцев в Бельгии — другой невозвращенец, Агабеков. Причастность Эфрона несомненна лишь в случае Рейсса, но и здесь он только один из организаторов преследования. Аналогичная роль принадлежала ему скорее всего и в истории похищения генерала Миллера. Бывший евразиец Вадим Кондратьев, которого полиция уверенно называла как участника обеих акций (убийство Рейсса и похищение Миллера), был, по некоторым сведениям, в прямом подчинении у Эфрона.

В процессе дознания появилось, как мы видели, имя еще одного преследуемого. Это сын Троцкого Лев Седов, талантливый математик, учившийся в Сорбонне. Он умер в феврале 1938 года (то есть когда Эфрона уже не было в Париже) в одной из парижских больниц при подозрительных обстоятельствах вскоре после удачно прошедшей операции по поводу аппендицита. Возникает мысль и о возможности участия Эфрона в похищении архива Троцкого (осенью 1936 года) с парижской улицы Мишле, где располагался французский филиал Международного института социальной истории в Амстердаме. Пятнадцать пакетов архива Троцкого были доставлены на улицу Мишле совсем незадолго до похищения.

Был ли Эфрон вообще в Испании? Адъютант Мате Залки Алексей Эйснер решительно отрицал это. Приезжая из Испании на короткое время в Париж, Эйснер встречал там Эфрона, с которым был дружен, они много говорили об испанских делах, но и только. Существуют, однако, и другие свидетельства. Так, сосед Эфрона по Ванву Кирилл Хенкин в своих воспоминаниях приводит один примечательный факт. Когда на вербовочном пункте в Париже, на улице Матюрен Моро, Хенкина отказались без рекомендаций зачислить в ряды добровольцев, уезжавших в Испанию, Сергей Яковлевич сумел помочь ему, как говорится, в одночасье. И тут же предложил заняться в Испании делом поинтереснее, чем просто стрелять из окопов. Через несколько дней Хенкин встретился по настоянию Эфрона в Валенсии в отеле «Метрополь» с руководителем оперативной группы НКВД в Испании Александром Орловым. И стал работать под его началом. «Дело поинтереснее» оказалось службой в рядах органов НКВД, занятых выявлением «троцкистов» и «врагов народа» на испанской территории. Этот факт заставляет убедиться во всяком случае в том, что в 1937 году Эфрон был человеком, облеченным доверием сотрудников иностранной службы НКВД.

Имея это в виду, можно прислушаться и к другим, теперь уже трудным для проверки, свидетельствам: Ян Артис, знакомый Эфрона, утверждал, что не раз встречал его в Испании и что тот мог бывать там с заданиями достаточно секретными, о которых он не стал бы распространяться при встречах в Париже даже с самыми близкими друзьями.

2

В эмигрантских кругах, и прежде не баловавших Цветаеву своими симпатиями, естественно, не мог не возникнуть вопрос, насколько все же она была осведомлена о характере деятельности своего мужа. Пример любимицы русского Парижа, популярнейшей певицы Н. В. Плевицкой вызывал невыгодные для Цветаевой ассоциации. Жена генерала Скоблина, сыгравшего роль пособника в похищении генерала Миллера, Плевицкая, вызванная на допрос, пыталась обеспечить своему мужу алиби; вскоре, однако, обнаружилась ложность ее показаний, и Плевицкая была арестована.

Но только очень близкие семьи Цветаевой-Эфрона люди знали, насколько их союз был в последние годы прежде всего данью семейному мифу о «чуде встречи», данью долгу, соединенному, впрочем, с несомненным болевым чувством привязанности. То был союз совместной крыши над головой, хотя и это требует оговорки, ибо были периоды, когда Сергей Яковлевич жил подолгу вдали от жены и сына.

Цветаева знала то, чего не знать было нельзя: об активной работе мужа в «Союзе возвращения», о контактах его с советским посольством, через которое, естественно, шли все хлопоты об отъездах на родину. И в самой общей форме — о его участии в «испанских делах». «Испанские дела» скорее всего и позволяли Сергею Яковлевичу

удобно прикрывать все остальное секретностью, в которую Цветаева не имела никакой охоты подробно вникать. Куда он уезжал, с кем встречался — это было его дело, и вероятней всего Эфрон, превосходно знавший жену, избегал быть с нею до конца откровенным. Ему еще памятна была та яростная вспышка гнева, с какой обрушилась Марина Ивановна на правого евразийца Н. Н. Алексеева, когда тот в 1929 году обвинил Эфрона в связях с ГПУ.

Потрясение, испытанное Цветаевой, когда она узнала об обвинениях, выдвинутых против ее мужа, отмечено всеми мемуаристами. Марк Слоним пишет: «Все, что ей пришлось пережить этой страшной осенью, надломило М. И., что-то в ней надорвалось. Когда я встретил ее в октябре у Лебедевых, на ней лица не было, я был поражен, как она сразу постарела и сохлась. Я обнял ее, и она вдруг заплакала, тихо и молча, я в первый раз видел ее плачущей. <...> Меня потрясли и ее слезы, и отсутствие жалоб на судьбу, и какая-то безнадежная уверенность, что бороться ни к чему и надо принять неизбежное. Я помню, как просто и обыденно прозвучали ее слова: „Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура; Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна“».

Спустя всего два года она смогла убедиться в том, что ошибалась в этом последнем утверждении, продиктованном чувством отчаяния и покинутости. Осенью 1939 года она уже стояла в очередях к тюремному окошку, где принимали передачи для заключенных; переводами и распродажей вещей добывала деньги, позволявшие делать эти передачи, доставала теплую одежду на этап, писала прошение на имя Берии, составляла текст телеграммы Сталину, отправляла ободряющие письма дочери в лагерь...

По неписаному закону притяжения беды к беде через неделю после обыска и допроса Цветаева узнала о том, что умер ее давний друг князь Волконский. Умер в далекой Америке, в городе Ричмонде, штат Виргиния, куда судьба занесла его в середине 30-х годов. Внук декабриста и бывший директор императорских театров, это был преданный друг Марины Ивановны, некогда вдохновивший ее на создание прекрасного поэтического цикла «Ученик»; его воспоминания она переписывала от руки чуть не целый год в революционной Москве. Во Франции они встречались нечасто, но каждая встреча была праздником для обоих. Он приезжал навестить ее и в Медон и в Кламар, и едва он перешагивал порог, все горести и неурюстройства забывались. Сергей Михайлович был неоценимым собеседником, они понимали друг друга с полуслова, и пока он в передней еще только снимал пальто и, разматывая свой длинный шарф, произносил первую фразу, они оба будто попадали в какой-то особый пласт реальности, где естественно говорилось и думалось о вещах действительно крупных.

Волконский был известной фигурой в русском Париже, его театральные обзоры и рецензии регулярно печатали в газетах, две книги его воспоминаний получили в свое время хорошую прессу. И потому 31 октября 1937 года на панихиде в католической церкви Святой Троицы собралось много русских, пришедших почтить его память. Н. Берберова в книге «Курсив мой» вспоминает, как одиноко и отчужденно среди других стояла Цветаева, сложив руки на груди. Ее обходили как чумную, но вряд ли она сама это замечала...

Этой осенью ее едва можно было узнать. Лицо ее потемнело — будто обуглилось, в глазах появилось холодно-отчужденное выражение, не исчезавшее, даже когда она была в кругу самых близких друзей. Что думала она теперь о своем муже, человеке, который в течение четверти века был спутником ее жизни?..

Благородство и бескорыстие — в этих чертах Сергея Яковлевича она была непоколебимо уверена при всех разногласиях и конфликтах, какие между ними возникали. «В его лице я рыцарству верна», — писала она еще совсем юной в первых стихах, посвященных мужу. «Если бы Вы знали, — сказано в ее письме В. В. Розанову в 1914 году, — какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша!» В годы гражданской войны она называла его «белым лебедем» и воспела в образе святого Георгия, спасающего людей от злого змия. Не разделяя евразийских увлечений Эфрона в 20-е годы, она все же с гордостью напишет Тесковой в 1929-м, что его называют «совестью евразийства», и нам сейчас не важно, так ли это было на самом деле. В благородстве и рыцарстве Сергея Яковлевича она не усомнилась даже тогда, когда — это уже 30-е годы — отчетливо осознала его неспособность к трезвым оценкам происходящего в Советском Союзе. Там, где ему упорно виделось лишь торжественное шествие справедливости, сама она явственно различала лик зла. Она упорно сопротивлялась стремлению мужа скорей вернуться на родину, но не в ее силах было снять бельма с его глаз...

Письма Эфрона, его статьи, а также отзывы людей, хорошо и долго его знавших, рисуют облик человека, по-своему незаурядного и разносторонне одаренного. Его ранняя книжка «Детство», удостоившаяся одобряющей рецензии М. Кузмина, два его рассказа, созданных на материале гражданской войны, и превосходный документальный очерк «Октябрь» не оставляют сомнений в его литературной талантливости. Был он наделен и хорошими актерскими данными: в Праге в ансамбле с профессиональными актерами успешно сыграл роль Кудряша в «Грозе» Островского, в дружеском кругу с блестящим пародировал знакомых и изображал забавные сценки. Превосходный организатор издательских начинаний, он в Чехии и во Франции участвует в создании и выпуске таких интересных журналов, как «Своими путями» и «Версты». Его неугомонная энергия, абсолютное бескорыстие и легкая контактность приводят к тому, что он постоянно — и с видимым удовольствием — тащит на себе груз самых разнообразных общественных должностей: от казначея «Русского студенческого союза» в Праге до председателя «Евразийского клуба» в Париже.

Красивый, мягкий, жизнерадостный, мастер веселой шутки и импровизационных розыгрышей, он привлекает к себе симпатии самых разных людей; его человеческое обаяние бесспорно. Его охотно зовут в гости, приглашают вместе путешествовать на машине по Франции, помогают устроиться в санаторий, когда он заболевает. С ним легко и с ним интересно. Но привлекает в нем не просто легкость характера, остроумие и доброта — привлекает его искренняя одержимость благородными альтруистическими идеями.

В нем нет ничего от светского остроумца и болтуна. Обилие друзей и знакомых не мешает осуществлению одной из важнейших потребностей его натуры — потребности действовать. В какой бы период зрелой жизни Эфрона мы ни взгляделись, он всегда на службе той или иной благородной (в его глазах) идеи. В московские студенческие годы (во время первой мировой войны) он, несмотря на свое крайне слабое здоровье, идет добровольцем на военную службу, становится братом милосердия в санитарном поезде. В самые первые дни гражданской войны он уже в рядах Добровольческой белой армии. В 1926 году в Париже (политические взгляды его к этому времени претерпели крутую эволюцию) Эфрон радуется, что выход первого номера его детища — журнала «Версты» — вызвал настоящую бурю в кругах правой русской эмиграции. Лучше всего он чувствует себя, попадая в эпицентр кипучей деятельности, и тяжелее всего переносит тихие периоды, когда приходится думать о заработке, служебном устройстве и бытовых проблемах.

Но сказать об Эфроне: деятельная натура — еще не значит назвать доминанту его личности. Его энергия всякий раз на службе острейшего чувства социального долга. И чем больше требуется от него личных усилий и жертв, тем, кажется, тверже он убежден в верности избранного пути. Его недостатки, как это часто случается, были продолжением его достоинств. Он торопился предложить свою энергию и самоотверженность, не успевая взглядеться в смысл схватки, в которую ввязывался. Жажда действия опережала в нем осознание мотивов действия, она явно была сильнее его способности к трезвому анализу ситуации. Он чересчур доверчив — и политически недалековиден, а тянет его все время как раз к активному участию в открытой (или скрытой) политической борьбе.

Для характеристики Эфрона немаловажно то обстоятельство, что вырос он в семье народовольцев. Героическая биография его матери, Елизаветы Дурново, юной девушкой покинувшей обеспеченную жизнь дворянской семьи ради подпольной революционной деятельности, несомненно оказала на Сергея Яковлевича могучее влияние. То ли в шутку, то ли всерьез он рассказывал друзьям, что еще в семь лет «прятал бомбу в штанах». Прятал ли он бомбу на самом деле — неизвестно, но достоверно, что маленьким мальчиком уже ходил в тюрьму на свидания с матерью и знал множество романтических и опасных эпизодов ее нелегкой судьбы. Так, почти генетически он нес в себе наследие народовольческой российской интеллигенции — с ее политическим максимализмом, жертвенной самоотреченностью и тем комплексом, который Юрий Трифонов емко назвал нетерпением.

В начале 30-х годов в Россию стали один за другим уезжать его друзья-эмигранты, у которых биографии были более спокойными. Он радовался за них, провожал — и уходил с вокзала с болью в сердце. Сам он подал прошение о советском паспорте в июне 1931 года. Но тут-то, видимо, и натолкнулся на жесткое напоминание о своем бело-гвардейском прошлом — и на требование искупления. Он счел это справедливым. Тем

более что поначалу речь шла, видимо, о чисто культурной работе в «Союзе возвращения». Легко себе представить, как горел он желанием убедить тех, от кого зависела его судьба, что он уже не тот, не прежний...

Так вступил он на первую ступеньку, которая привела его в западню.

С этого момента его прекраснотушие в соединении с острым чувством вины перед родиной начали свою разрушительную работу; чем дальше, тем больше они подавляли его способность к независимым суждениям. Можно было бы сказать, что это лишь доказало невысокий уровень его независимости и слишком управляемое нравственное чувство. Конечно, это так. Но этим и интересен нам сегодня феномен Эфрона. Мы размышляем, вглядываясь в его судьбу, не просто о муже Цветаевой. Прослеживая перипетии его эволюции, думаешь о многих и многих людях, позволивших уговорить свою совесть и незаметно шаг за шагом отучавшихся трезво оценивать происходящее, ступенька за ступенькой спускавшихся по лестнице оправдания зла — вплоть до соучастия в нем.

За полгода до страшной осени 1937 года Цветаева написала эссе «Пушкин и Пугачев». Меня не перестает занимать вопрос, чем именно вызвана к жизни эта цветаевская работа, где из всего пушкинского наследия выбрана для размышлений неожиданная проблема. Сама Цветаева обозначила ее как тему «чары», застилающей сознание, «чары», заставляющей сквозь все злодеяния видеть в предмете любви лишь «оборот добра». Так с детских лет она сама любила пушкинского Вожатого с его, как она сформулировала, загадкой «злодеяния — и чистого сердца». Зло с добрым ликом и добро со злыми проявлениями — это сочетание, утверждает Цветаева, есть великая обольщающая сила, сопротивляться которой чрезвычайно трудно. Цветаевские ассоциации всегда тяготеют к размышлениям над закономерностями самого бытия. Но, поглядывая на дату написания этих строк, трудно отделаться от впечатления, что в «Пушкине и Пугачеве» нашли свое отражение и раздумья автора над тем, что происходило вокруг в середине 30-х годов XX века.

Авторитет Страны Советов среди левой интеллигенции Запада в эти годы необычайно высок. Успехи социалистического строительства многим представляются неоспоримыми, а главное, СССР видится единственным надежным оплотом в борьбе с наглекующим год от года фашизмом. Правда, в Москве уже прошел не один процесс над «преступниками», в преступления которых трезвому человеку трудно поверить. Процессуальные странности бросались в глаза. Публиковавшиеся в московских газетах коллективные письма-требования трудящихся «стереть с лица земли врагов народа» были чудовищны. Но даже милуковские «Последние новости» писали, что обвинения против Каменева и Зиновьева при всех нелепостях звучат убедительно.

Что же говорить о тех русских эмигрантах, которые жили мечтой о возвращении на свою землю! «С. Я. с головой ушел в Советскую Россию, а в ней видит только то, что хочет», — писала Цветаева о муже в одном из писем Тесковой. И таких, как он, множество: в приемные дни в советском посольстве на улице Гренель с середины 30-х годов не протолкнуться, число прошений о возвращении росло с каждым днем.

«Иллюстрированная Россия» публиковала фотографии вымерших от голода украинских деревень, статья в другом эмигрантском журнале приводила данные о числе заключенных, погибших на строительстве Беломорско-Балтийского канала; из России шли сдержанно-кислые письма от ранее уехавших... Но «чара» любви и веры словно броней закрывала от сомнений русских, истосковавшихся на чужбине. Не возымела сколько-нибудь убедительного воздействия и предостерегающая книга Андре Жида «Возвращение из СССР», написанная после трехмесячного пребывания писателя в Москве во второй половине лета 1936 года, — в ней Андре Жид, еще недавно горячий энтузиаст сближения с СССР, резко сменил свои оценки и попытался отрезвить западных левых от идеализации процессов, происходящих в России.

Но несравненно большее впечатление производят на возвращенцев не материалы буржуазной прессы (ведь та обличает Страну Советов с самого дня ее возникновения!), а зажигательный пафос «Чапаева», который идет в Париже сразу в нескольких кинотеатрах. Или гастроль Красноармейского ансамбля песни и пляски и еще замечательные перелеты советских летчиков через океан. И, конечно, крепнущая мощью новой, советской индустрии... Собираясь вечерами вместе на улице Де Бюси, 12 в «Союзе возвращения», они поют советские песни. Одна из самых популярных в эти годы — «Не спи, вставай, кудрявая! В цехах звеня...» из кинофильма «Встречный» (музыка Д. Шостаковича, слова Б. Корнилова).

Коротко проследим за дальнейшей судьбой Эфрона.

Пароход из Гавра прибыл в октябре 1937 года в Ленинград. Здесь Сергей Яковлевич пришел в Саперный переулок, 13, в квартиру своей старшей сестры Анны Яковлевны. Они сразу вышли на улицу и разговаривали, гуляя. Сестра Эфрона не хотела, чтобы о приезде брата узнали ее дочери и больной муж: в 30-е годы ее уже не однажды вызывали в НКВД, интересуясь посетителями дома. Вечером того же дня Эфрон уехал в Москву. Здесь он поселился сначала в гостинице «Метрополь» в прекрасном номере, через некоторое время его перевели в другую гостиницу — более скромную «Центральную». Встретившаяся с дочерью и другой сестрой, Елизаветой Яковлевной Эфрон. Племянница, приехавшая из Ленинграда спустя несколько месяцев, запомнила его одетым в военную форму. Сергей Яковлевич был приветлив, но сказал странную, запомнившуюся ей фразу: «Скоро я, наверное, уеду — далеко и надолго...»

В декабре 1937 года в Москву приехал И. Г. Эренбург. Он пробыл тут несколько месяцев и описал позже в мемуарах ту атмосферу всеобщего страха и растерянности, которую застал на родине. Виделся ли он с Эфроном? Привез ли, когда возвращался в Испанию через Париж в мае 1938 года, какие-нибудь сведения о муже и дочери для Марины Ивановны? Этого мы не знаем.

В феврале 1938 года газеты сообщили о внезапной смерти начальника иностранного отдела НКВД А. А. Слуцкого. Гроб с его телом был выставлен для прощания в клубе НКВД, и, по свидетельству очевидца, пятна, проступившие на лице их бывшего начальника, опытному глазу чекистов выдали насильственную смерть: действительно, Слуцкого заставили выпить цианистого калия в кабинете заместителя Ежова Фриновского.

Весной 1938 года здоровье Эфрона резко ухудшилось. Его помещают в больницу, а затем отправляют в санаторий. Один из диагнозов — кардионевроз, но, видимо, присоединились и другие болезни. Приступы стенокардии будут мучить его и перед самым арестом осенью 1939 года. Но он продолжает числиться на службе.

С октября 1938 года Эфрон поселяется под Москвой, в Болшеве, — в том самом доме, где в августе 1936 года застрелился оклеветанный председатель советских профсоюзов М. П. Томский. Ариадна хлопочет, наводя уют в жилище, у них с отцом, как и во Франции, самые нежные отношения. «Здесь прелестно, — пишет Эфрон 12 октября в Москву Елизавете Яковлевне. — Все совершенно в твоём духе — сплошная «сельскость». Али все очень мило и трогательно приготовила. Она из кожи лезет, чтобы мне во всем помочь...» И 13 ноября 1938 года: «Живу тихо — так тихо, что словно и не живу...»

3

Теперь, когда Эфрона во Франции уже не было, Цветаевой предстояло единолично решить вопрос, оставаться или уезжать в Советскую Россию. Единолично — но не свободно. В Россию по-прежнему жарко рвался сын, вынужденный уйти из гимназии из-за враждебного отношения к нему как учителя, так и одноклассников. Но и вообще, считала Цветаева, у него не было будущего во Франции. Не видела она будущего и для себя, уверенная, что больше ее уже нигде не станут печатать. А если так, где взять средства для существования? Прекрасная цветаевская проза «Мой Пушкин», появившаяся в «Современных записках» как раз осенью 1937 года, была встречена гробовым молчанием критики. Правда, первую часть «Повести о Сонечке» «Русские записки» еще опубликовали, но вторую Милюков отклонил.

Полнение о визе на въезд в СССР она подала в начале зимы 1937 года. Теперь нужно было готовиться к отъезду. И главное, разобраться с рукописями, с архивом. Когда Слоним увиделся с Цветаевой в начале 1938 года, Марина Ивановна уже владела собой. Лицо ее было осунувшимся, измученным, но она была собрана — никаких следов внешней растерянности. Почти ни с кем не встречаясь, избегая даже близких знакомых, она с головой ушла в свое главное дело, спасавшее ее при всех жизненных потрясениях.

Она приводила в порядок свой архив — как перед смертью. Собирала все публикации в журналах, аккуратно надрезала ниточки, сшивавшие номер, и вынимала свой текст. Если чего-то не находила в Париже, просила друзей из Чехословакии прислать недостающее. И не просто собирала, а внимательно перечитывала, чтобы решить, что можно взять с собой в Россию, а что нельзя. Перечитывала и сортировала не только публикации, но и переписку. «Тяжелое это занятие, — писала она одному из своих друзей, — строка за строкой — жизнь шестнадцати лет, ибо проглядываю — все. (Жгу — тоже пудами!). Из писем, ей адресованных, она взяла с собой только письма Пастернака, Рильке и Гронского.

Но главными занятиями были все же дописывание множества незаконченных стихов и редакция законченных. Она не обольщалась будущим ни на минуту: знала, что в России писать своего уже не сможет.

К лету 1938 года стало окончательно ясно, что местожительство надо менять. Ванв оказался последним предместьем Парижа, в котором Цветаевой довелось жить во Франции. За четыре года, которые здесь прошли, она успела полюбить тихую улицу, старинный дом, где они снимали квартиру, каштан перед окнами, куст бузины, воспетый в ее стихах. Но на ванвских улицах все эти месяцы соседи провожали ее косыми взглядами, а бывшие одноклассники Мура в лицо выкрикивали оскорбления. Предвидеть все это было нетрудно и благоразумнее было уехать еще раньше. Но в том шоке, который пережила Цветаева в октябрьские дни прошлого года, кто смог бы хладнокровно и быстро принять нужное решение? Разве что тот, кто заранее знал о пороховой бочке, врытой под фундамент их дома.

Кроме всего прочего к переезду подталкивала и финансовая причина: отдельная квартира стала неподъемно дорога. И Цветаева решилась переселиться с сыном в город, в захудалый отель «Иннова» на бульваре Пастера.

Враждебность ванвских соседей постоянно подогревалась эмигрантской прессой — та настойчиво возвращалась к делу Рейсса и похищению генерала Миллера. В июне 1938 года еженедельник «Меч» опубликовал в двух номерах большую статью Зензинова «Мокрое дело в Лозанне». В июле появился огромный подвал в «Последних новостях» под названием «Агенты Ежова за границей». Имя Эфрона постоянно фигурировало в этих публикациях...

Через пять дней после выхода в свет номера журнала с окончанием статьи Зензинова Цветаева перечитывала присланный ей из Праги старый номер журнала «Воля России», за 1927 год. Она читала там свою прозу «Октябрь в вагоне», составленную из дневниковых записей осени 1917 года. События двадцатилетней давности оживали в ее памяти. Тогда она возвращалась из Крыма в Москву в мучительной тревоге за судьбу Сергея Яковлевича, участвовавшего в московских боях. Прочтя в газете, купленной на одной из южных станций, сообщение о девяти тысячах убитых в Москве, она принялась писать в свою тетрадку письмо мужу. Ей казалось, что пока она говорит с ним, пишет ему, он будет жив. Ничего не зная достоверно, она уверена была, что он не остался в стороне от событий: «Главное, главное, главное — Вы, Вы сам, Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы — лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим — зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны, самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала. Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, — я буду ходить за Вами, как собака!»

Отчеркнув теперь эти абзацы, Цветаева вписала рядом, на полях текста: «Вот и пойду, как собака! — 17.VI.1938 г.».

Она приняла это решение — идти — в отличие от мужа и дочери без всяких иллюзий, с открытыми глазами.

И все-таки потом, когда она вернулась на родину, размах торжествующего зла превзошел все ее предположения.

4

На последние месяцы последнего лета во Франции они уехали в Див сюр Мэр, департамент Кальвадос, на западное побережье. Здесь была суровая и прекрасная природа — дюны, скалы, ровная линия морского побережья. Удалось ли тут Цветаевой хотя бы на время сбросить душевный гнет? Хочется думать, что так. Запасы могучей vitality ее натуры даже теперь были далеки от оскудения. «Меня хватит еще на сто пятьдесят миллионов жизней», — писала она Юрию Иваску весной 1935 года. Ее достало с тех пор, во всяком случае, еще на шесть с лишним лет. И каких! Необычайная сила духа, черпавшая обновление, кажется, из ничего, упрямо выталкивала ее на поверхность жизни, как бы ни был чудовищно тяжел камень, тянувший на дно. В этой способности к воскрешению и самообновлению было что-то сродни обновлению самой жизни в круговороте времен года. Это сравнение мы находим и в цветаевской лирике: «Невозвратна как время, но возвратна как вы, времена года... Равнодушна как вечность, но пристрастна как первые дни весен...» («Променявши на стремя...»).

Ее поэтические самохарактеристики в зрелые годы точны и глубоки, в них нет ничего от поэты и все — от трезвого (часто беспощадного к себе) знания.

Как ни парадоксально это может прозвучать, но Цветаева представляется мне подчас неким эталоном живучести — несмотря на трагический конец. Хочется понять истоки этой живучести. Год за годом судьба отнимала у нее ребенка, родину, читателя, семью, веру в близкого человека, а теперь даже надежду на возможность дальнейшего поэтического творчества. Легче спросить: что было ей оставлено к осени 1938 года, кроме сына? И, однако, оставлено — то, что у нее можно было отнять только — не говорю, с жизнью, говорю: с ясностью ее сознания. Столп, на котором она стояла, как столпник, все свои зрелые годы, теперь, к концу ее жизни, стал прочнее прочного. «...Нерукотворные ценности и недоказуемые угоды Духа» — так она сама об этом сказала в эссе «Кедр».

Одно место из цветаевского письма, написанного уже в начале 1939 года, помогает сказать об этом более отчетливо. В письме Марина Ивановна поздравляла с Новым годом Тескову, разделяя вместе с нею горе всей униженной Чехословакии: «Дай Бог — всего хорошего, чего нету, и сохрани Бог — то хорошее, что есть. А есть — всегда — хотя бы вот моральный закон внутри нас, о котором говорил Кант. И то — звездное небо!» В этих строках — приоткрывшееся окно в тайную сокровищницу цветаевской духовной стойкости. Так живет она сама. Так справляется с жизненными бедами и катастрофами, ускользая, едва ослабнут тиски «обстоятельств», в тот мир, который она зовет «иным» — но о котором однажды (в письме Пастернаку) внятно сказала, что «он уже весь в нас». Сколько бы ни терзала ее сердце земная боль, это богатство всегда остается с ней — внутреннее пространство духа.

Она рано выбрала для себя эту «среду обитания» как главную: не в пределах, а вне эмпирических «обстоятельств», — да и выбирала ли? Эта среда была для нее органичной. Не приспособленная к житейским сложностям, неумелая, а иногда и нелепая в практических делах и отношениях, именно в духовной «среде обитания» она чувствовала себя полновластной и свободной хозяйкой. Если она и романтик (определение, надоедливо, часто и бессмысленно кочующее по статьям и книгам о Цветаевой), то не главной, не литературный, а прирожденный, и, может быть, в конце 30-х годов это очевиднее, чем когда-либо. Ибо в тех испытаниях, какие выпали теперь на ее долю, не оставалось уже ни сил, ни воздуха для «фразы», маски или игры.

Много раз она повторяла — в стихах, прозе, письмах, — что не умеет жить «в днях», обозначенных на календаре, в минутах, фиксируемых часовой стрелкой на циферблате, они всегда были ей враждебны, дробя жизнь души, мешая работе духа. В этом можно видеть ее слабость, и она в самом деле не была образцом «таланта жить» в сегодняшнем мгновении. Но оборотной стороной этой слабости и неумелости явилась ее поразительная способность обновляться и воскресать — в ситуациях, которые раздавили бы насмерть человека, не имевшего ее запаса духовной прочности.

Природа всегда помогала ей в душевном обновлении. Вечное и прекрасное отодвигало временное и удушающее; долгие прогулки восстанавливали внутреннее равновесие, насколько оно было теперь возможно.

Но и в Див сюр Мэр Цветаева продолжала работу над приведением в порядок всего, что ею создано. Здесь она переписывает в тетрадь с твердой обложкой поэму «Перекоп», так и оставшуюся при ее жизни не опубликованной. Переписывает по старой орфографии и в конце рукописи обращается к будущим издателям с просьбой так же, по старой орфографии, печатать поэму, когда наступит ее время. В ту же тетрадь переписана и другая не изданная при ее жизни книга — «Лебединый стан», стихи 1918—1920 годов. Но работа над архивом — это не только переписка набело. В эти месяцы до самого отъезда Марина Ивановна дописывает множество поэтических вещей, оставленных в разные годы с пропусками строк, слов, рифм, меняет редакции некоторых ранних стихотворений, а кое-какие снабжает комментариями...

И вот заканчиваются последние дни у моря. Во второй половине сентября Цветаева с сыном поселяются в отеле «Иннова», расположенном неподалеку от станции метро, где под колесами поезда в конце 1934 года погиб друг Цветаевой поэт Николай Гронский.

Комнаты отеля расположены по обе стороны длинного темного коридора, навсквозь пропахшего невытравимым запахом кошек и жареного лука. Двери номеров тонкие, и в коридоре постоянно слышны громкие голоса ссорящихся соседей. Здесь на шестом этаже в комнате № 36 Цветаевой суждено прожить до самого отъезда в Россию.

Редкие гости, навещавшие ее в то время, с трудом пробираются между ящиками и кухонной утварью, загромоздившими номер,— сразу видно, что для его обитателей это что-то вроде перевалочного пункта: в любой момент они готовы сняться с места, чтобы ехать дальше. Между тем жизнь на чемоданах затянется еще на целых девять месяцев.

Хаос, впрочем, может царить в комнате, но не на рабочем столе, за ним Цветаева долгими часами сидит, склонившись над рукописями. Тут скорее удивит тщательность, собранность и строгость: дело своей жизни она приводит в порядок со скрупулезной беспешностью хирурга, зашивающего рану после сложнейшей операции.

Прошел год с момента, когда почва под ее ногами, казалось, уже навсегда потеряла надежную твердость. Под грузом бед естественно было бы оглохнуть и ослепнуть, по крайней мере к тому, что происходит вокруг, во внешнем мире. Или — видя и слыша — отстраниться. Атрофия активных реакций на то, что не затрагивает лично, могла бы теперь показаться естественной.

Но как раз этой осенью Цветаева снова взрывается стихами, разбивающими в прах предположение о продолжающейся депрессии. То были «Стихи к Чехии».

Еще в мае 1938 года в письме Тесковой она горячо отозвалась на известие о частичной мобилизации, которую чешское правительство вынуждено было объявить в ответ на не прекращавшиеся угрозы со стороны Германии. «Думаю о Вас непрерывно,— писала Цветаева,— и тоскую, и болею, и негодую — и надеюсь — с Вами Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны — тела. А в личном порядке я чувствую ее своей страной, родной страной, за все поступки которой — отвечаю и под которыми — заранее подписываюсь. Ужасное время».

И все-таки, несмотря на тревогу, Марина Ивановна еще надеялась вплоть до последних чисел рокового сентября, что здоровые силы европейского общественного мнения сумеют удержать свои правительства от предательской сделки. Для нее, всегда отстранявшейся от сиюминутных политических страстей, было совершенно ясно, к чему может привести тактика «частичных» уступок ненасытному аппетиту фашистских режимов. К этому времени Абиссиния уже проглочена войсками Муссолини, аншлюс Австрии Гитлером сочтен почти «домашним» соглашением, генерал Франко в Испании получает все более открытую и возрастающую помощь Германии и Италии. Но последнего дня Цветаева надеется, что французское правительство, все еще называющее себя правительством Народного фронта, сумеет защитить интересы Чехословакии,— разве не ясно, что последует за отторжением Судет, то есть очередным попустительством? «Ты предал — предадут и тебя,— напишет она Тесковой.— Кому предал — тот и предаст. Только жаль, что платить будут — невинные, знавшие и не могшие ничего предотвратить». Даже в самый канун мюнхенского соглашения ей трудно поверить, что несколько слепцов сумеют повести за собой зрячих. Однако ее провицательность спотыкалась в оценке настроенности французского обывателя. «Вчера,— радостно сообщила она Тесковой 24 сентября,— наше жалкое Исси ле Мулино (последнее предместье, в котором мы жили) выслало на улицу четыре тысячи манифестантов. А нынче будет — сорок,— и кончится громовым скандалом и полным переворотом».

Но правительство Даладье, время от времени раздражавшееся заверениями о готовности защитить Чехословакию от германских притязаний, имело свои представления о том, чего именно ждут от него французы. Страх войны, пропитавший европейский воздух второй половины 30-х годов, успешно вытравила остатки зрячести, отнимал способность к трезвым оценкам и элементарному предвидению. «Какое нам дело до чехов, мир любой ценой!» — этих выкриков, звучащих повсеместно в уличной толпе, Цветаева упорно не слышала — или не хотела слышать. Неподдельность боли за край, ставший родиной ее сына, заставляла ее цепляться за надежду. В том же письме, написанном за пять дней до мюнхенского соглашения: «День и ночь, день и ночь думаю о Чехии, живу в ней и ею, чувствую изнутри нее: ее лесов и сердец...»

И вот «безумие и преступление», как она это назовет, свершается. Поначалу Цветаевой еще кажется, что не все потеряно. Чуть ли не впервые в жизни она жадно читает этой осенью и зимой газеты — и находит там строки, под которыми подписалась бы обеими руками, «изнутри лба и совести», как она говорит. Это голоса ее единомышленников, заполнивших левую прессу возмущенными протестами. Среди них Цветаева, ликуя, выделяет имена Ирен и Фредерика Жолио-Кюри. «Лучшая Франция: толпы и лбы — думают и чувствуют, как я», — пишет она Тесковой.

Однако ей придется убедиться в том, что «лучшая Франция» и малочисленна и бес- сильна. В Париже повторяют слова Леона Блюма: «Мое сердце разрывается между сты- дом и чувством облегчения». Городской муниципалитет публикует постановление о пере- именовании одной из парижских улиц в улицу 30 сентября. Правые газеты объявляют подписку на подарок «миротворцу» Чемберлену. В ноябре «миротворец» посетит столи- цу Франции, и Цветаева с презрением опишет в очередном письме к Анне Антоновне благодарную встречу, которую ему здесь приготовили. «Дамы в голом и мужчины в черном» лебезят перед старым благодушным господином, не способным и мужи оби- деть... «Вошки и лясы» предали Чехию, формулирует Цветаева, «малодушие, косность и жир <...> сделали то, что сделано».

Письма к ее чешской приятельнице теперь особенно учащаются. И это не просто акт дружбы и сочувствия в тяжкий момент испытаний. Это связано еще и с тем, что чем дальше, тем меньше находит Цветаева вокруг себя близких ей людей.

Теперь ее уже раздражает «словесность», как она это называет: нужна последо- вательность в оценке и в поведении, нужна действенность в сочувствии. «Но отсутствие выводов не только свойство народов и народа, а и так называемых культурных людей,— пишет Цветаева.— И всё — «ужас», а почему все эти ужасы и почему они все вместе — никто (из моего окружения: культурного, пишущего) не хочет понять — и даже вопроса не ставит — слишком боясь услышать ответ...» «Нельзя жалеть живого, зарытого в яму: нужно живого — выкопать, а зарытого — положить. Такая жалость — откупиться.— «Какой ужас!» — нет, ты мне скажи — как о й ужас, и, поняв, уйди от тех, кто его делают или ему сочувствуют.— А то:— «Да, ужасно, бедная Прага», а оказывается — роман с черносотенцем, только и мечтающим вернуться к себе с чужими штыками,— или — просто пудрит нос (дама), а господин продолжает читать «Возрождение» и жать руку — черт знает кому. В лучшем случае — слабоумие, но видя, как все умеют отлич- но устраивать свои дела, как отлично в них разбираются,— не верю в этот «лучший слу- чай». Просто — lâcheté²: то, что (нынешним) миром движет».

Цветаева просит Тескову показать ее «Стихи к Чехии» чешским поэтам и всем, кому сочтет нужным,— «чтобы знали, что есть один бывший чешский гость, кото- рый добра — не забыл». Скоро она получит известие, что стихи ее уже переводятся на чешский. Все оставшиеся до отъезда месяцы над рабочим столом Цветаевой в ком- натке убогого отеля висит увеличенная фотография ее любимого «пражского рыцаря», стерегущего Влтаву под Карловым мостом в Праге. Стройный воин, воплощение бла- городства и мужества, он теперь для нее символ несломленного духа Чехии. Цветаева собирается писать о нем поэму.

Страстность цветаевской реакции на чешский «инцидент» может удивить тех, кто одномерно толковал ее отстраненность от «злости дня» и отвращение к политике. По су- ти же, в этой реакции нет ничего, что можно было бы считать странным «выпадением из образа». Наоборот, в очередной раз Цветаева обнаруживает поразительную цельность и действенность своей натуры. Любить кого-либо или что-либо в ее глазах всегда значило помогать, вызывать из беды, подставлять плечо, протягивать руку. Возмущение и со- чувствие, не подкрепляемые поступками, она презрительно именovala «словесностью». «Никогда не жалела, что мне не двадцать лет,— пишет она теперь Тесковой.— И вот, в первый раз — за все свои не-двадцать — говорю: я бы хотела быть чехом — и чтобы мне было 20 лет: чтобы дольше драться...»

Кажется, впервые она горюет о том, что у нее нет имени, чтобы ее протест про- звучал весомо; нет какого-нибудь отличия, чтобы швырнуть его в лицо правительству, запятившему честь страны. «Чувство опозоренности за Францию», о котором она пи- шет в эти дни Анне Антоновне, предельно обострено ощущением почти соучастия: «точ- но я, живя во Франции,— соубийца».

Да, отличий, которые можно было бы швырнуть в лицо, нет, нет имени, но в рас- поряжении Марины Цветаевой есть свое оружие. И она обращается к нему.

«Стихи к Чехии», созданные в ноябре и продолженные затем в трагическом марте 1939 года, не уступают по страстности лучшим образцам цветаевской любовной лири- ки. Гражданское чувство гнева и попранной справедливости слилось в них с жаркой благодарностью краю, ставшему «родиной всех — кто без страны»; любовный гимн чеш- скому народу, чешским горам и долам слился с презрением к «сытости сытых», не имев- ших чувства чести и отдавших страну в руки преступников.

² Подлость, предательство, трусость (франц.).

Только край тот назван
 Братский — дождь из глаз!
 Жир, аферу празднуй!
 Славно удалась.

Жир, Иуду — чествуй!
 Мы ж, в ком сердце — есть.
 Есть на карте место
 Пусто: наша честь.

Уже 24 ноября первые три стихотворения цикла (позже они будут объединены под названием «Сентябрь») отосланы в Прагу.

5

Во второй половине декабря в Париж приехал на две недели из Эстонии поэт и критик Юрий Иваск. Они увиделись с Цветаевой впервые, но переписывались уже пять лет. Иваск был автором довольно обстоятельной статьи о Цветаевой, появившейся в 1935 году в эстонском журнале «Новь». «Романтическое в классическом, стихийное в логическом, эрос в логосе, стихия в системе» — так характеризовал критик своеобразие цветаевского поэтического творчества. Статья Марину Ивановну в целом порадовала. «Во всяком случае,— написала она автору,— Вы первый, кто (за 25 лет печатания и добрых 30 непрерывного писания) отнесся ко мне всерьез». Иваск намеревался расширить статью, превратив ее в книгу, и даже успел многое написать, но книга так и не вышла: рукопись странным образом затерялась. Переписка же оказалась необычайно содержательной (цветаевские письма Ю. П. Иваск опубликовал в 1956 году): эстонский корреспондент неутомимо задавал множество конкретных вопросов, касавшихся творческой и личной биографии Цветаевой, литературных и личных пристрастий, и она охотно и терпеливо отвечала, иногда, правда, вступая в резкую полемику.

Теперь они встретились. И сразу почувствовали себя друг с другом просто и свободно, будто век были знакомы. Иваска поразила сначала ее манера беседовать, глядя вбок, как бы мимо собеседника, удивили ее странные угловатые жесты, которые он назвал «птичьими» (совершенно независимо от Иваска точно то же сравнение употребил и Харджиев, рассказывавший мне о встрече с Цветаевой в 1941 году), удивили сильная просесть в волосах и почти мертвенная бледность. Резким контрастом рядом выглядел розовощекий пухлый тринадцатилетний Мур.

Они виделись в заставленной вещами комнатке отеля, но кроме того много гуляли по парижским улицам, подолгу сидели в маленьком кафе «Бель Эр» на авеню дю Мэн. В декабре стояла тогда морозная погода, замерзнув на улицах, они заходили отогреваться в парадные. На Цветаевой было легкое пальто с поднятым вязаным воротником и странная шапочка — колпачок с кисточкой. Говорилось легко, о чем придется. Марина Ивановна много вспоминала — и о детских своих годах, и о свадебном путешествии 1912 года, и о последних годах в Москве. По просьбе Иваска охотно читала стихи. Возник и вопрос, который Марина Ивановна уже год как задавала всем: где, как сохранить ее архив? Не возьмет ли Юрий Павлович с собой один из пакетов? Но Иваск не считал надежным место, где он теперь жил, — Печеры, он посоветовал отдать книги, оттиски и рукописи на хранение Е. Э. Малер, профессору русской культуры в швейцарском городе Базеле. Незадолго до встречи с Цветаевой Иваск как раз виделся с Елизаветой Эдуардовной и уже знал от нее, что с Цветаевой они знакомы, даже немного дружны с лета 1935 года, проведенного обеими в Фавьере. Совет Иваска оказался лучшим из всех: пропала часть архива, переданная Цветаевой в Международный институт социальной истории (Амстердам), погибла во время войны и другая, переданная на хранение М. Н. Лебедевой, в Базельском университете все сохранилось в целости.

Говорили они с Иваском, разумеется, и о предстоящем возвращении Цветаевой в Россию. И хотя вопрос был для Марины Ивановны как будто уже решен, Иваску все же показалось, что она ждала, чтобы кто-нибудь энергично переубедил ее, отговорил, привел непреложные аргументы — и даже увез в какую-нибудь совсем другую сторону...

Новый, 1939 год, принесший миру начало второй мировой войны, а Цветаевой вместе с возвращением на родину арест мужа и дочери, наступал в обстановке, далекой от праздничности. В декабре из Испании возвращались бойцы интербригад; до победного парада войск генерала Франко на улицах Мадрида оставалось немногим более двух

месяцев. Из России пришло известие о преемнике Ежова. Его имя было Берия. К концу декабря в Париже стало известно об аресте в Москве Михаила Кольцова. Сердце Марины Ивановны не могло не сжаться при этой новости: с Кольцовым был хорошо знаком Сергей Яковлевич, Кольцов возглавлял «Жургаз», где работала Ариадна Эфрон. Развязка судеб членов семьи резко приблизилась.

Под самый Новый год от Али пришла поздравительная телеграмма. Мать и сын нарядили маленькую пышную елочку, немного скрасившую уют гостиничного номера, сделали друг другу рождественские подарки.

С кем довелось им провести эту последнюю во Франции новогоднюю ночь? Свидетель об этом нет — сохранилось очень мало писем Цветаевой, написанных в последние годы и месяцы ее жизни на чужбине.

Круг друзей предельно сузился. И все же мы можем назвать тех, кто не оставил Марину Ивановну в период тяжелых испытаний, — семья Лебедевых и семья Андреевых, Марк Слоним, поэтесса Алла Головина, Елена Извольская. По свидетельству последней, сердечную и деятельную заботу о Цветаевой как раз в это время постоянно проявлял Николай Александрович Бердяев. Знакомы они были еще с дореволюционных лет, но сблизились в пору своего соседства в Клараме. Извольская пишет: «Он относился к Марине Ивановне с глубоким состраданием, оберегал ее, как больную...»

В литературных собраниях Цветаева больше не показывается. Ее имени нет в газетных отчетах о вечере стихов Ходасевича, состоявшемся в январе 1939 года; а при дружеском расположении Марины Ивановны к поэту в эти последние годы она — в других обстоятельствах — непременно здесь бы присутствовала.

Мартовские события 1939 года потрясают ее с новой силой: торжество фашизма в Мадриде, окончательное поглощение Чехословакии фашистской Германией. И с конца марта начинается новый ливень цветаевских стихов. Последнее написано всего за двадцать дней до отъезда из Франции. Как всегда, у нее под каждым стихотворением точная дата. Но под текстом одного из них — дата «долгая»: 15 марта — 11 мая. Почти два месяца работает Марина Ивановна над последним своим поэтическим шедевром. Стихи еще будут, но шедевр — последний. Его пафос далеко выходит за рамки чешской темы, хотя стихотворение и включено в цикл «Стихи к Чехии»:

О, слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О, Чехия в слезах!
Испания в крови!

О, черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет...!

Трагедийное начало впервые ворвалось в цветаевскую лирику в годы первой мировой войны. Свой апогей оно нашло в этом стихотворении 1939 года. Мироощущение человека конца 30-х годов, не желающего ни утешать себя иллюзиями, ни отворачиваться от кошмара, разрастающегося на глазах, как моровая язва, выражено здесь с мощью и силой последнего противостояния:

...Отказываюсь — быть.
В Ведламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей

Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз — по теченью спин.

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещей глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.

Мир рабски согнутых спин, все более подчиняющийся диктату нелюдей, есть мир торжествующего безумия. Эти слова все чаще звучат теперь в стихах и в письмах Цветаевой. Кажется, что она уже не по газетным сообщениям, а изнутри самой себя ощущала это неотвратимое наполнение зловещей тени, и ужас, который охватывал ее, был

сродни тому, который задолго до солнечного затмения заставляет метаться даже самого сильного зверя. До начала второй мировой войны оставалось меньше четырех месяцев.

23 апреля она записывает в своей тетрадке длинный странный сон, который ей привиделся. Сон, поражающий воображение, даже если не придавать ему пророческого смысла,— понятно, что Цветаева торопится его зафиксировать: «Иду вверх по узкой горной тропинке — ландшафт Святой Елены: слева пропасть, справа отвес скалы, Разойтись негде. Навстречу — сверху лев. Огромный. С огромным даже для льва лицом. Крещу трижды. Лев, ложась на живот, проползает мимо со стороны пропасти. Иду дальше. Навстречу — верблюд, двугорбый. Тоже больше человеческого, верблюжьего роста, необычайной даже для верблюда высоты. Крещу трижды. Верблюд перешагивает (я под сводом: шатра: живота). Иду дальше. Навстречу — лошадь. Она — непременно собьет, ибо летит во весь опор. Крещу трижды. И — лошадь несется по воздуху — надо мной. Любуюсь изяществом воздушного бега.

И — дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед, голова отрывается. Подо мной города... сначала крупные, подробные (бег спирально), потом горстки белых камешков. Горы — заливы — несусь неудержимо, с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точное чувство, что лечу вокруг земного шара, и страстно — и безнадежно! — за него держусь, зная, что очередной круг будет — вселенная: та полная пустота, которой так боялась в жизни: на качелях, в лифте, на море, внутри себя. Было одно утешение: что ни остановить, ни изменить: роковое...»

Остается неясным, когда именно получила Цветаева советский паспорт и визу. Оттягивала ли она сама теперь отъезд или до мая 1939 года все еще не было разрешения? И что именно заставило ее в конце мая так заторопиться? В прощальном письме, написанном 7 июня вдове Леонида Андреева Анне Ильиничне, мы находим фразу, удостоверяющую, что, несмотря на долгую подготовку, сборы были спешными. «...все произошло так молниеносно», — пишет здесь Цветаева, поясняя, почему не успела проститься лично. В письмах к Тесковой еще несколько фраз, глухо поясняющих торопливость: «...выбора не было: нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась...» Все 30-е годы, пока муж был рядом, она упрямо сопротивлялась возвращению, теперь же, когда стало ясно, что предчувствие беды ее не обмануло, она больше не колебалась.

К лету 1939 года почти полностью сменился состав советского посольства в Париже; это не могло не настораживать. Может быть, и еще одно обстоятельство не прошло мимо Цветаевой: в мае в Париж приехал Ф. Ф. Раскольников, до недавнего времени советский полпред в Болгарии. Он приехал в Париж, в то время как Москва уже год требовала его немедленного выезда в СССР. Однако к этому времени он отчетливо понимал, что его там ждет, и вскоре принял окончательное решение о невозвращении. В Париже Раскольников встречался, в частности, с Эренбургом, а значит, о его настроениях, опасениях и фактах, которыми он располагал, могла узнать и Цветаева.

Так или иначе, с конца мая Марина Ивановна в судорожных сборах. Ее эзопов язык в письме к Тесковой от 31 мая не нуждается, я думаю, в расшифровке: «Дорогая Анна Антоновна! Мы, наверное, тоже скоро уедем в деревню, далекую, и на очень долго. Пока сообщая только Вам <...>. У меня сейчас много заботы и работы: не хватает ни рук, ни ног, хочется моим деревенским друзьям привезти побольше, а денег в обрез, надо бегать — искать «оказионов» и распродажу — и одновременно разбирать тетради — и книги — и письма — и пришивать Муру пуговицы — и каждый день жить, т. е. готовить, — и т. д. Но — я, кажется, лучше всего себя чувствую, когда вся напряжена...» В следующем письме от 7 июня: «Все дни — бешеная гонка, переписка, и разборка, и укладка, и бешеная жара (бешеных собак), в обычное время я бы задыхалась, но сейчас я — и так задохнулась: всем — и как итог — ничего не чувствую... Ну скоро конец, а конец всегда — покой (конца — нет, п<отому> ч<то> сразу — начало).

Посреди этих хлопот она выкраивает время для последних встреч с друзьями. С одними ей удастся провести последние вечера, другим она пишет прощальные письма, а с Тесковой прощается в трех письмах подряд. Смогла ли она перед отъездом навестить тяжело больного Ходасевича? Он умер спустя несколько дней после того, как Цветаева покинула Париж.

Из Лондона специально приезжает проститься Саломея Андроникова-Гальперн, неутомимо поддерживавшая Марину Ивановну душевно и материально на протяжении многих лет. При всех опасениях за будущее Гальперн вполне понимает решение своей приятельницы ехать к мужу и дочери. Но кое-кто и теперь еще пытается отговорить.

— Подумайте, Марина Ивановна,— говорит Цветаевой Зинаида Шаховская,— живя за границей, вы можете еще мечтать, что где-то в России вам будет хорошо, а приехав туда, и мечтать будет больше не о чем и не на что надеяться. Ну как вы с вашим характером, с вашей непреклонностью можете там ужиться?

— Знайте одно,— отвечала Цветаева,— что и там я буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не с палачами.

В начале июня Цветаева с сыном в гостях у Марка Слонима. Их дружба испытана семнадцатилетним сроком: впервые они встретились в Берлине летом 1922 года вскоре после приезда Цветаевой из Москвы, подружились в Праге, часто виделись в Париже. Теперь предстояла разлука, и — пожизненная, ни один из них не обольщался на этот счет. «После ужина,— вспоминает Слоним,— мы начали вспоминать Прагу, наши прогулки и как однажды, засидевшись у меня до полуночи, она опоздала на поезд, я повез ее в деревню Вшеноры на таксомоторе по заснеженным зимним дорогам и она вполголоса читала свои ранние стихи.

Она задумалась и сказала, что все это было на другой планете. Мур слушал со скучающим видом и этот разговор и последовавшее затем чтение М. И. ее последней вещи — «Автобус». Я пришел в восторг от словесного блеска этой поэмы и ее чисто цветаевского юмора и не мог прийти в себя от удивления, что в эти мучительные месяцы у нее хватило и силы и чувства комического, чтобы описать, как

Препонам наперерез
Автобус сканал, как бес.

М. И. на мой вопрос ответила, что ей сейчас хочется написать как можно больше, ведь неизвестно, что ее ждет в Москве и разрешат ли печататься. Тут зевавший Мур встрепенулся и заявил:

— Что Вы, мама, Вы всегда не верите, все будет отлично.

М. И., не обращая внимания на сына, повторила свою давнишнюю фразу:

— Писателю там лучше, где ему меньше мешают писать, то есть дышать.

Мы засиделись допоздна. Услышав двенадцать ударов на ближней колокольне, М. И. поднялась и сказала с грустной улыбкой:

— Вот и полночь, но автомобиля не надо, тут не Вшеноры, дойдем пешком.

Мур торопил ее, она медлила. На площадке перед моей квартирой мы обнялись. Я от волнения не мог говорить ни слова и безмолвно смотрел, как М. И. с сыном вошли в кабину лифта, как он двинулся и лица их уплыли вниз — навсегда.

С героем «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» последняя встреча вышла случайной: Родзевич догнал их с Муром на какой-то парижской улице и, подхватив под руки, пошел посредине.

На следующий день они уезжали. Ехать предстояло вначале поездом до Гавра, из Гавра в Ленинград пароходом, как и Сергей Яковлевич; на том же пароходе отправлялись в СССР испанские беженцы.

«До свидания! — в последний раз писала Цветаева Тесковой в Прагу, сидя уже в вагоне поезда. — Сейчас уже не тяжело, сейчас уже — судьба...»

Как раз в один из тех дней, когда Цветаева с сыном на борту парохода приближалась к берегам родины, Борис Леонидович Пастернак зашел в «Жургаз», нашел там Ариадну Эфрон и предложил ей немного прогуляться. На улице стоял теплый июнь, они сели на скамейку пустынного бульвара. Состоявшийся разговор надолго врезался в память дочери Цветаевой. Она пересказала его мне уже в сентябре 1971 года.

Пастернак был в подавленном состоянии и не пытался этого скрыть. Он сказал Ариадне Сергеевне, что только что узнал об аресте Мейерхольда.

— Как все-таки ужасно, Аля,— сказал он,— прожить целую жизнь и вдруг увидеть, что в твоём доме нет крыши, которая защитила бы тебя от злой стихии...

— Крыша прохудилась, это правда,— отвечала Ариадна Сергеевна убежденно,— но разве не важнее, что фундамент нашего дома крепкий и добротный?..

До ее ареста оставалось два с половиной месяца.

18 июня 1939 года Марина Ивановна Цветаева вернулась в Москву.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ



СОЛОВКИ

К ИСТОРИИ ПУБЛИКУЕМОГО ТЕКСТА

Памяти Н. Б. Кирьянова.

29 марта 1988 года тульская областная газета «Коммунар» поместила статью В. Пилипенко «Дорогие подарки». В ней говорилось о том, что старейший тульский литератор Н. Б. Кирьянов передал в дар народному музею С. Есенина (недавно открывшемуся в Туле) три книги Николая Клюева. Среди них была книга Н. Клюева и П. Медведева «Сергей Есенин» (1927), на которой поэт сделал такую дарственную надпись: «Николаю Борисовичу Кирьянову. Июль. 1929 г. Я глубоко тронут и благодарен Вам за доверие и ласковые слова, сердечно желаю встретиться с Вами, чтобы полюбить Вас и довериться Вам в самом дорогом для поэта — Вере, красоте, жертве и радости, чего Вы, как художник, истинно заслуживаете. Жизнь Вам и крепость. Николай Клюев».

В той же статье было сказано о поэме Клюева «Соловки», которая до сих пор вообще не упоминалась ни в отечественной, ни в зарубежной литературе о поэте. В. Пилипенко сообщил, что рукопись этой поэмы была передана Н. Б. Кирьяновым в ЦГАЛИ.

При ознакомлении с рукописью (в конце 1986 года она была присоединена к личному архивному фонду поэта в ЦГАЛИ вместе с фотокопией вышеприведенной дарственной надписи¹) выяснилось, что она выполнена рукой Н. Б. Кирьянова, то есть представляет собой список, происхождение которого оставалось неясным.

Встретившись с Н. Б. Кирьяновым, я попросил его рассказать, каким источником он пользовался при составлении списка «Соловков» для ЦГАЛИ. По словам Николая Борисовича, он не был лично знаком с поэтом, но посылал ему свои стихи (среди которых Клюев мог найти немало созвучных его собственным темам и настроениям). Летом 1929 года в ответ на эти стихи Н. Б. Кирьянов, живший тогда в Москве, получил от Клюева из Ленинграда (с оказией) не только книгу «Сергей Есенин», но и тетрадь. В ней от руки (как сказал Н. Б. Кирьянов, «четким почерком») были переписаны три поэмы Клюева — «Заозерье», «Деревня» и «Соловки». Именно по тексту этой тетради и запомнил Николай Борисович клюевские «Соловки» на всю жизнь: список поэмы для ЦГАЛИ был сделан им, по его словам, по памяти (еще в 1981 году). В Туле я прочел еще два списка «Соловков» рукой Н. Б. Кирьянова: один из них имеется в его личном архиве, другой — в музее С. Есенина. Результаты сопоставления текстов всех этих списков учитываются ниже.

А сейчас вдумаемся в строки Клюева, написанные незнакомому человеку, пришедшему ему стихи: «Я... благодарен Вам за доверие... сердечно желаю... довериться Вам в самом дорогом для поэта...» — ведь за этими серьезными и ответственными словами стоит нечто в биографии и в стихах Н. Б. Кирьянова, ставшее для Клюева очень важным. И в самом деле, в момент своего обращения к Клюеву Н. Б. Кирьянов был человеком еще молодым, но уже испытавшим на себе горечь тюремного заключения и ссылки. Скупко говорит Николай Борисович о нелегких годах своей молодости: в 1924 году заключен в московскую тюрьму по навету (впоследствии обвинение было с него снято), а затем три года (1925—1928) пробыл в лагерях на Соловецких островах. Но и там он продолжал писать стихи; некоторые из них были даже опубликованы в еженедельной газете «Новые Соловки» — органе Соловецкого коллектива ВКП(б) и управления соловецкими лагерями особого назначения ОГПУ.

Письма Клюева Н. Б. Кирьянову неизвестны. Но из клюевской дарственной надписи явствует, что, посылая Клюеву стихи, Николай Борисович сопровождал их письмом, где рассказал и о себе и о своей судьбе... Думается, именно поэтому Клюев не только поблагодарил его за доверие словесно, но и сам доверился ему на деле, прислав в подарок тетрадь с «Заозерьем», «Деревней» и «Соловками». Хотя первые две поэмы и появились в нашей печати в 1927 году, их распространение двумя годами позже (в год «великого перелома») уже стало, как подчеркивает Н. Б. Кирья-

¹ ЦГАЛИ, ф. 1685, оп. 1, ед. хр. 14 и 15 соответственно.

нов, небезопасным. Ещё более опасным могло стать чтение и распространение сочинения, одно название которого — «Соловки» (да еще вкупе с именем автора — по тогдашнему определению, «отца кулацкой литературы») — вполне могло привести уличенных не только в соловецкие лагеря, но и к более суровым мерам наказания. Скорее всего именно этими опасениями руководился и сам создатель «Соловков», знакомивший со своей поэмой только тех, кому доверял всецело. Очевидно, таких людей было очень немного, раз о ключевских «Соловках» до сих пор ничего не было известно...

Это последнее обстоятельство могло бы заронить некоторые сомнения в подлинности текста поэмы, восстановленного Н. Б. Кирьяновым по памяти, если бы не следующие соображения. Во-первых, для той части «Соловков», которая в списках Н. Б. Кирьянова является заключительной (от строки «Ты пустыня, мать-пустыня..» и до конца поэмы), известен черновой автограф². Во-вторых, особенности языка остального текста поэмы, известного лишь в списках Н. Б. Кирьянова, полностью удовлетворяют языковому критерию атрибуции, выработанному ранее в процессе установления авторства Ключева для целого ряда анонимных и псевдонимных сочинений³ (лишь в одном месте текст, восстановленный Н. Б. Кирьяновым, потребовал очевидной, хотя и не однозначной, конъектуры⁴).

Таким образом, сомнений в подлинности ключевского текста, сохраненного памятью Н. Б. Кирьянова (и воспроизведенного ниже), практически нет. Другое дело, что после прочтения «Соловков» не проходит ощущение незавершенности этой поэмы — кажется, что перед нами фрагмент какого-то более пространного сочинения, монументального и многопланового...

Подкрепляет это ощущение и сам Ключев — в одном из его недавно опубликованных писем (от 25 июля 1935 года) читаем: «Пронзает мое сердце судьба моей поэмы «Песнь о Великой Матери». Создавал я ее шесть лет. Сбирал по зернышку русские тайны...»⁵. Речь идет здесь о рукописи законченного произведения, отобранной у поэта при его аресте 2 февраля 1934 года. Современному читателю лишь недавно стало известно сохранившееся начало этой поэмы (немногим более двухсот строк)⁶; по словам же Н. Б. Кирьянова, в «Песни о Великой Матери» было около двух тысяч строк. Писатель Н. А. Минх, которому довелось слышать эту поэму в авторском чтении целиком, говорил: «В ней описаны нравы, верования, обычаи, уклад древней, ушедшей Руси»⁷; он отметил также, что к началу 1931 года «Песнь о Великой Матери» была уже завершена.

Все эти свидетельства говорят о том, что зарождение замысла «Песни о Великой Матери» относится к середине 20-х годов... Вот почему до тех пор, пока не обнаружен полный текст этого монументального произведения Ключева, гипотеза, что «Соловки» (бесспорно, являющиеся отражением неких «русских тайн») — это «зернышко» «Песни о Великой Матери», не может быть ни подтверждена, ни опровергнута.

В примечаниях к публикуемому ниже тексту поэмы указаны разночтения с ним, имеющиеся как в списках рукой Н. Б. Кирьянова, так и в черновом автографе Государственного литературного музея (ниже сокращенно — автограф ГЛМ). Даются также и пояснения к некоторым малоупотребительным словам. В заключительной части текста (от строки «Ты пустыня, мать-пустыня...» и до конца) учтена — там, где это было необходимо, — авторская пунктуация по автографу ГЛМ. Двойная датировка поэмы связана с тем, что автограф ГЛМ был датирован автором — июль 1926 года (см. примечание 2), а текст «Соловков» в тетради, подаренной Ключевым Н. Б. Кирьянову, по словам последнего, имел другую дату: 1928 год.

С. СУББОТИН.

² Отдел рукописей Государственного литературного музея, ф. 99, ед. хр. 15 (№ Р93), лл. 7об — 7 (так. — С. С.). Находится в единой черновой рукописи Ключева вместе с поэмой «Заозерье» и стихотворениями «Дружба» и «Песня о родине» («Мой край, мое поморье...»). После стихотворения «Дружба» — авторская помета: «Марьино, когда я был болен, июль 1926 года».

³ Субботин С. И., «Проза Николая Ключева в газетах «Звезда Вытегры» и «Трудное слово» (1919—1921 годы). Вопросы стиля и атрибуции» («Русская литература», 1984, № 4, стр. 136—150).

⁴ Ее см. ниже, в самом тексте поэмы

⁵ «Новый мир», 1988, № 8, стр. 186.

⁶ См.: Ключев Н. Завещание. Избранные стихи М. 1988, стр. 44—49.

⁷ Фонограмма выступления Н. А. Минха 22 октября 1984 года в Центральном доме литераторов на юбилейном заседании, посвященном столетию со дня рождения Н. А. Ключева (архив С. И. Субботина).

Распрекрасный Соловецкий остров,
 Лебединая тишина...
 Звенигород, великий Ростов
 Баюкает голубизна,
 А тебе, жемчужине Поморья,
 Крылья чаек навевают сны.
 Езера твои и красноборья
 Ясными улыбками полны...
 Камень и горбатая колода
 Золотою дышат нищетой,
 По тебе лапотцами народа
 Путь углажен* к глубине морской...
 Глубина ты, глубота морская,
 Зыбка месяца, царя-кита,
 По тебе скучает пестрядная
 Птица, что зовется красота!..
 Гей ты, птица, отзовись на песню —
 Дерево из капель кровяных!
 Глубже море, скалы всё отвесней,
 Плачут гуси в сумерках седых...

Распрекрасный остров Соловецкий,
 Лебединая Секир-гора,
 Где церквушка, рубленная клецки**,—
 Облачному ангелу сестра.
 Где учился я по кожаной триоди
 Дум прибою, слов колоколам,
 Величавой северной природе
 Трепетно моляся по ночам...
 Где впервые пономарь Авива
 Мне поведал хвойным шепотком,
 Как лепечет травка, плачет*** ива
 Над осенним розовым Христом.
 И Феодора — строителя пустыни,
 Как лесную речку, помяну,
 Он убит и в легкой <белой с>кр<ы>не ****
 Поднят чайками в голубизну...
 Помнят смироглазые олени,
 Как, доев морошку и кору,
 К палачам своим отец Парфений
 Из избушки вышел поутру,
 Он рассечен саблями на части
 И лесным пушистым глухарем
 Улетел от бурь и от ненастий
 С бирюзовой печью в новый дом...
 Не забудут гуси-рыбогоны
 Отрока Ивана на колу,
 К дитятку слетелись все иконы,
 Словно пчелы к сладкому дуплу:
 «Одигитрия» покрыла платом,
 «Утоли печали» смыла кровь...
 Урожаем тучным и богатым

* В другом списке Н. Б. Кирьянова — «утопан».

** То есть клетски, в виде клетки. О клетских храмовых сооружениях, например, см.: Орфинский В. Логика красоты. Петрозаводск, 1982, стр. 51—52.

*** В другом списке Н. Б. Кирьянова — «шепчет».

**** Во всех списках Н. Б. Кирьянова эта строка неточна: «Он убит и в легкой крине». Возможна и другая конъектура: «Он убит и в легко<м белом> крине». С к р ы - н я — л а р е ц, с у н д у ж; к р и н — л и л и я, к у с т.

Нас покрыла* песенная новь.
 Триста старцев и семьсот собратий
 Брошены зубастым валунам.
 Преподобные Изосим и Савватий
 С кацеями** бродят по волнам...
 В охровой крещатой ризе
 Анзерский Елеазар
 Кличет ласточек и утиц сизых
 Боронить пустынюшку от кар:
 «Ты пустыня, мать-пустыня,
 Высота и глубота!
 На ключах — озерных стынях***
 Нету лебедя-Христа!
 Студены ручья коленцы,—
 Наше сердце студеной,
 Богородица младенца
 Возносила от полей:
 „Вы, поля, останьтесь пусты,
 Без кукушки дом лесной!“
 Грядка белая капусты
 Разрыдалася впервой:
 «„Утоли моя печали!“ —
 Плачет репа, брюква тож****,
 Пред тобой, виновна вmale,
 Как на плаху, никнет рожь!*****
 Богородица прижухла,
 Оперлась на локоток:
 „У тебя, бяляны пухлой,
 Есть ли сыну уголок?“
 — „Голубица, у бялянки,
 Лишь в стогах уснет трава,
 Будет горенка с лежанкой
 Для Христова Рождества*****!“»

1926 — <1928>

* В другом списке Н. Б. Кирьянова — «подарит».

** Кацея — кадильница.

*** В автографе ГЛМ эта и предыдущая строки читаются:

Глубота и высота,
 На ключах, поречных скрынях

**** В автографе ГЛМ эта и предыдущая строки читаются:

«Утоли моя печали»
 Тетки репы, брюквы тож

***** Затем в автографе ГЛМ еще четыре строки:

Хорошо с кукушкой рябой,
 От нее сосновый дух,
 По ку-ку гадают бабы,
 Сколькo будет льна и брюх!

Далее как в публикуемом тексте.

***** В автографе ГЛМ — «рождества». Кроме того, поэт отбросил в черновике еще четыре строки, бывшие заключительными:

Ты пустыня, мать-пустыня,
 Звон и лестовки берез.
 Озарил речную скрыню
 Ясным лебедем Христос.

Публикация **Н. Б. КИРЬЯНОВА**.

Подготовка текста и примечания С. СУБОТИНА.

В МИРЕ ИСКУССТВА

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ



ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ

«Федра» Александра Таирова в отечественной культуре XX века

Великий процесс возвращения замолчанной, оболганной, арестованной художественной культуры, начавшийся в литературе, расширяется, захватывая новые сферы: музыку, живопись, театр. Всплывает фантастический материк, в рельеф которого нам предстоит еще долго всматриваться и вживаться. Восстанавливаемый историко-эстетический контекст разворачивает неожиданной стороной и уже известные явления, преобразая их смысл. Так с новой остротой встает вопрос о месте и значении искусства Александра Таирова.

Создав в 1914 году Камерный театр, Таиров с героической решимостью утверждал свою художественную идею, не страшась крайностей и противоречий. Он отвергал «средние» жанры, по логике тех лет воплотившие прозу жизни, и делал ставку на «мистерию-трагедию» и «арлекинаду-комедию». Но эти вечные жанры требовали современного сценического языка. Ощувив в завоеваниях изобразительного авангарда брожение нового театрального смысла, режиссер пересмотрел все элементы спектакля: актерское мастерство, декорацию, мизансцену, сценическую атмосферу.

Красота, парадоксальная и трагическая тема русской культуры, нашла в нем последовательного, хотя нередко одностороннего истолкователя. В формуле «красота спасет мир» Таиров расслышал прежде всего вознесение красоты над миром и принял ее как благословение эстетической гордыни.

Начало века, когда складывалось художественное мировоззрение Таирова, отмечено разложением целостного гуманистического идеала на ряд самостоятельных взаимообусловленных божеств: Красоту, Истину и Добро. Таиров демонстративно выбрал Красоту. И как ни велика была его надежда на эту тщательно продуманную и виртуозно воссоздаваемую красоту, в его знаменитой «Федре» она, по свидетельству зрителя-современника, «веселит, но не спасает».

Однако этим выбором искусство Таирова не исчерпывается. Режиссер мечтал о восстановлении органического триединства под водительством красоты. Он стремился «к обретению человеком утраченной цельности». И постепенно в формуле Достоевского ему приоткрылся глагол «спасать» в значении «жертвенно служить». Но возможности естественного развития оставалось все меньше. Истребительные кампании, утверждение соцреализма заставляли режиссера принять эстетическую середину, с которой он так и не смог примириться. Закрытие Камерного театра в 1950 году стало вынужденным признанием того, что окончательно сломить Таирова не удалось.

Современные театроведческие концепции культуры 10—20-х годов часто вращались в кругу скудно понятой гегельянской триады: тезис (Станиславский) — антитезис (Мейерхольд) — синтез (Вахтангов). Жестко сцепленная, триада эта ставила Таирова вне логики истории. Печать особости делала его то избранником, то отверженным. И в том и в другом случае вклад режиссера выглядит сколь несомненным, столь и неопределенным. А между тем искусство Таирова принадлежит не только прошлому.

Современный театр, в своих высоких проявлениях мучительно пытающийся соединить красоту и истину, нуждается в широком духовном и эстетическом обосновании. И всякому подлинному художественному усилию в этом направлении суждено учиться вдохновляющий и отрезвляющий опыт Александра Таирова.

Московский театральный сезон 1921/22 года остался в истории великим сезоном. «Ревизор» Станиславского, «Гадибук» и «Принцесса Турандот» Вахтангова, «Великодушный рогоносец» Мейерхольда... В этом блестящем ряду «Федра» заняла одно из первых мест. В ней произошло превращение эстетического театра, исповедуемого Таировым, из частной инициативы в знамение эпохи. Многие были готовы увидеть в «Федре» осуществление «мечты двух театральных поколений: трагический спектакль».

«Федра» стала одним из главных достижений театра начала 20-х годов, а вместе с тем и всего XX века, была причислена к постановкам, «служившим оформлению духовного наследия революции»¹. Последнее тем более неожиданно, что в первое десятилетие существования Камерного театра Таиров сторонился непосредственной социальной проблематики. Древние и модернизированные предания всех времен и народов были для него предпочтительнее той жизни, которая его окружала. Однако и в отборе сюжетов и героев и в их интерпретации не могла не сказаться, хотя бы опосредованно, действительность, грозно обступившая художника.

Явления искусства далеко не всегда поддаются прямому соотношению с историческими и социальными реалиями. Спектакли Таирова в этом отношении представляют позицию крайнюю и жесткую. Но можно и должно разглядеть зашифрованный в них образ человека, опознать его самочувствие, проанализировать характер его самоосуществления. Сделать это не просто потому, что сам Таиров и современная ему критика (а часто, как следствие, уже и историки) более всего любили поговорить о цеховых делах и проблемах: кто ввел конструктивизм, как выглядел актер-мастер и актер-диалектант и т. д. Критика, имевшая вкус к социальной проблематике, была склонна скорее рассуждать о том, чего «не отражает» искусство Камерного театра. Но историку важно другое — понять, что же в нем все-таки отразилось?

В постижении опыта революции, в напряженной ситуации, когда во всей остроте возникал вопрос о «крушении гуманизма», о жизни и смерти, искусство очищалось от второстепенного, обыденно-рутинного. Наиболее крупные художественные явления этих лет отмечены трагической серьезностью и духовной свободой в решении последних вопросов.

Как и всякий художник, Таиров прежде всего искал натуру, которая бы вдохновляла его воображение, творческое чувство и обладала бы внутренним единством с его способом восприятия мира. Та натура, которой пользовался Художественный театр, была заказана Таирову. Пестрая эмпирия социально-психологической жизни квалифицировалась им не только как скверная, для искусства неплодоносная, но и недостаточно реальная. Таиров говорил о Художественном театре только в связи с натуралистическим театром. Все, что в практике Станиславского и Немировича-Данченко выходило за пределы этого тождества, было для него неинтересным и как бы вовсе не существующим. Если натура Художественного театра представлялась ему эмпирической и пошлой, то натура условного театра виделась обескровленной и выхолощенной. Критикуя декоративно-композиционные решения актерскую технику, предлагаемую Мейерхольдом предреволюционных лет, Таиров возражал образу человека, создаваемому средствами этого искусства. Тут человек, по его мнению, представлял обезличенным, утратившим самостоятельное и самоценное бытие, догматически, без остатка подверстанным к роковым и фатальным силам. Но в этой полемике на оба фланга вопрос о подлинной реальности не разрешался, а драматически заострялся.

На культурном перекрестке 10-х годов важным и соотносимым с мироощущением Таирова было возникновение акмеизма, утверждавшего себя в противовес символизму, но и сознававшего родовую общность с ним. Для символистов слово в поэзии, живописная поверхность, сцена важны и существенны потому, что в них «сквозят» миры иные, создавая символическую глубину. Акмеисты в поэзии, художники круга «Бубнового валета» в живописи, Таиров в театре решительно отказывались от миров иных.

Театр прекрасен, потому что он театр. Ему не нужно быть храмом, кафедрой, домом Прозоровых, но достаточно явить себя, раскрыть все свои возможности. Искусство есть высшая, наиболее совершенная реальность. Оно подобно солнцу, а не луне.

¹ П. А. Марков. О театре. В 4-х тт. М. 1976. т. 3, стр. 137. (В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи) П. А. Марков — выдающийся критик. В нем рецензент соединился с театральным мыслителем. В бурные 20-е годы он сумел создать такую критическую позицию, которая позволяла найти общую меру объективности и чувствования для театральных течений, казалось, взаимоисключающих друг друга. Перед его методологией распаховалось искусство Станиславского и Мейерхольда, Таирова и Вахтангова.

Светит, а не отражает. Таиров выступил с несколько неожиданным лозунгом неореализма. Но реализм выражался всего лишь в трезвом понимании того, что возможности театра ограничены, что он не может превзойти себя и, по предписанию Вяч. Иванова, стать «соборным действием». Впрочем, смирение было паче гордости, ибо Таиров в глубине души был уверен, что театр превыше всего. Скепсис в отношении универсалистской миссии не мог поколебать безмятежно-праздничного приятия театра как такового. В эстетической концепции Таирова сцена праздновала свою независимость, утверждала свой незаемный источник вдохновения.

Художнику — жрецу, магу, медиуму — был противопоставлен художник — мастер, строитель, архитектор. Сравните мандельштамовское: «Для того чтобы успешно строить, первое условие — искренний пиетет к трем измерениям пространства — смотреть на мир не как на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец... Строить — значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство».

В этом контексте становится понятнее связь культа мастерства, исповедуемого Таировым, и его борьбы за овладение сценическим пространством. Символистской, условной, мерцающей, метафизической глубине режиссер стремился противопоставить безусловный, ясный, проработанный объем сцены. В противовес музыкально-живописной дематериализации природы, растворяемой в игре цветовых пятен, в причудливых потоках зыбких, двоющихся линий Таиров выдвигал эстетику отчетливых и определенных форм. Так происходило перемещение акцентов с донисийского неистовства на аполлоническую упорядоченность. Режиссер разделял с акмеистами пафос новой конкретности, новой предметности, возврата к вещам. Художники новой волны жаждали обретения твердых контуров человеческой личности и активного, деятельного ее наполнения. В качестве рабочей формулы родился образ «нового Адама». Так в завуалированном эстетической полемики и культурной символической виде возник «один из основных мотивов всякой революции — мотив о возвращении к природе» (А. Блок).

Притом весьма знаменательна трансформация безгрешного естественного человека в яростного человека стихии. В поворотные времена тень Руссо так или иначе появляется на исторических подмостках, требуя отомстить за поруганную человеческую природу, суля за это небывалое награждение. В начале 20-х годов эта тема стала достоянием не только акмеистских течений, но и всего искусства в целом. Вне связи с нею можно упустить важные смысловые оттенки в «Скифах» и «Двенадцати» А. Блока.

Спектакли Таирова часто могли служить примером самовлюбленности культуры, высокомерной ко всему «человеческому, слишком человеческому». Тем не менее они оказались глубоко причастны к спору о человеке, что выражалось в основных для искусства Камерного театра антитезах: космос — хаос, эстетизм — варварство, культура — стихия, разум — страсть.

Во время первых триумфальных гастролей в Европе в хоре восторженных и негодующих голосов слово «варварство» прозвучало громко, на все лады. Одни видели здесь источник творческой мощи, другие — умаления интереса к этике, свидетельство сугубо эстетического к ней отношения.

Таиров, по его словам, шел к «Федре» через «промежуточные звенья постановок-эскизов, постановок-этюд».

«Сакунтала», которой открылся Камерный театр 25 декабря 1914 года, прозвучала еще вполне благодушно. Здесь человек был растворен в одушевленном природном космосе, которому неведомы сомнения в себе. В нем нет места силам-антагонизмам. Все согласно и гармонично движется к разрешению и успокоению. Конфликт, держась недоразумением, подобен легкому дыханию, коснувшемуся поверхности зеркала. На миг стекло затуманивается, чтобы затем просиять с еще большей ясностью. Душевно безупречны и героиня, и ее подруга, и ее приемные родители, и дельфин, и звери, и боги. Люди не пытаются противопоставить дом миру и укрыться в нем. Художник Павел Кузнецов создал на сцене некий обобщенный храм, очертания которого растворил растительным орнаментом. Так декоративно-пластически воплощалась тема природы как храма и храма как природы. Человеческая душа здесь только часть всеобщей пантеистической душевности, не различающей добра и зла.

За месяц до премьеры «Сакунталы» 1-я студия Художественного театра, где стремительно восходили такие артистические таланты, как Е. Вахтангов, М. Чехов, С. Гиацинтова, С. Бирман, показала спектакль «Сверчок на печи» по Ч. Диккенсу (режиссер Б. Сушкевич), ставший для многих программным. Два новых, возникших почти одно-

временно театральных организма начинали свое существование, казалось бы, общей темой, но представили ее в весьма не схожих вариантах.

В «Сверчке на печи» хрупкая, незащищенная человеческая душа постоянно находилась под угрозой. Ей удавалось осуществить и отстоять себя только под пение сверчка у теплого очага в пространстве дома, укрытом от огромного внешнего мира. Только урывками и контрабандой можно было удержать «ясность и свет жизни» (П. А. Марков, т. 1, стр. 371). Света хватало лишь на то, чтобы согреть людей, сбившихся в тесный кружок. Он переливался из глаз в глаза, жил в доверчивом пожатии рук.

Для 1-й студии свойственна проповедь душевности как этического принципа, как способа сохранения человека в человеке.

Для Камерного театра в «Сакунтале» характерна апология душевной эмоциональности как эстетического феномена, как стихии, благоприятной для красоты.

Здесь страсть сдержанна и целомудренна. Непризнанная и отвергнутая героиня готова скорее вовсе отказаться от каких-либо притязаний, чем исказить взаимоотношения с миром иступленными домогательствами. Страсть не вырывается из-под контроля характера. Они уравновешены в гармоническом единстве личности, вписаны в ее идеалистический природно-человеческий мир.

Среди гнетущей и тревожной нескладницы четырнадцатого года, когда уже вполне ясно ощущалась взрывчатая начинка XX века, на подмостках Камерного театра возникла в красочном мареве утопия цельной, гармонической природной жизни. Что в этом последовательном противопоставлении истории как войны и великого шума — и природы как мира и великой тишины? Историческая глухота или сознательный вызов наличной реальности?

Вместо ответа можно констатировать, что такое безмятежное, утопическое равновесие всего сущего неизбежно и скоро было утрачено. В последующих спектаклях человек теряет возможность гармоничного и просветленного самоутверждения. И если в «Сакунтале» Таирову удавалось сопрягать душевность и красоту, то дальнейшее движение далеко увело от этого счастливого равновесия. Душевность не выдержала все возрастающих притязаний красоты.

Сам Таиров, пытаясь объяснить, каким образом театр пришел к «Федре», вспоминал свою постановку «Адриенны Лекуврёр» Скриба (1919), где героиня, волей автора, читает монолог из расиновской трагедии. Может статься, что рационально путь к «Федре» виделся именно таким. Но если попытаться найти менее формальные предвестия «Федры», то придется вспомнить спектакль «Фамира-кифаред» (1916), ставший «первым подлинным сценическим манифестом» (П. А. Марков, т. 2, стр. 85) эстетического театра. Здесь мы найдем многие из тех мотивов, которые обрели трагедийное и универсальное разрешение в «Федре».

В основе «Фамиры-кифареда» И. Анненского угадывается конструкция еврипидовского «Ипполита». Античная пьеса держалась сопряжением героя, посвятившего себя аскетическому служению Артемиде и отвергающего естественный человеческий закон любви, и Федры, охваченной запретной страстью к пасынку. Анненский трансформирует служение Артемиде в тему художника, «сердцем гордого и сухого», в котором нет места «ни матери, ни сестрам, ни отцу». У него «безлюбая сущность», и живет он только для «чернозвездных высей». Фамира целиком посвятила себя музыке, но музыка вне любви оборачивается не даром, а проклятием, трагической виной. Художник, всем пожертвовавший в аскетическом служении, оказывается подсуден. Он приговорен к тому, «чтобы музыки не помнил и не слышал». Таиров вслед за Анненским вывел на подмостки героя, беде которого сочувствовал, но вину которого разделять отказывался. Многое роднило Фамиру — каким он предстал в исполнении Н. Церетелли — с русскими символистами, ориентированными на «мир горний». Показательно, что заметки Таирова о Фамире близки его аргументам против условного театра: «Фамира — не чувствует своего тела (живя духом), и потому движения его механичны, рассеянны, безразличны... Он отрешен от земли и повис в воздухе» (Записная книжка А. Я. Таирова. ЦГАЛИ, ф. 2328, оп. 1, ед. хр. 2).

Фамира живет только духом. Чувственная, иступленная стихия была воплощена в плясках менад и вакхов, то предельно заторможенных, замирающих в позах томительно-неподвижных, почти скульптурных, то вырывающихся в экстатических, «животного темперамента», движениях. Призыв Таирова на репетициях — «надо погасить в себе сознание и поддаться одному только инстинкту», о котором свидетельствует Али-

са Коонен, оказался, правда, трудновыполнимым. Критика сетовала, что «менады, раздетые снаружи, остались застегнутыми на все пуговицы изнутри».

Но знаменателен сам интерес режиссера к персонажам с погашенным сознанием, находящимся во власти аффекта. В утверждении Таировым дионисийского начала была двусмысленная точность попадания. В 1916 году, когда «некалендарный» XX век уже в полной мере вступил в свои права, проповедь «ликующего безумия вакханалии» (хотя бы и представленного с аполлонической ясностью) как некоего жизненного идеала была и логична и сомнительна. Поклонением жизни как таковой в ее внеморальной глубине ответил эстетический театр на кризис этических ценностей. Попытка воплотить дионисийское упоение жизнью в доступном актерско-человеческом материале приводила к появлению «неврастеничных сатиров и анемичных вакханок, страдающих истерией» («Рампа и жизнь», 1916, 13 ноября). Религия страдающего бога, растерзываемого на части адептами, несмотря на все призывы погасить сознание, оставалась сферой достаточно умопостигаемой и отвлеченной. Реальной же, ищущей и находящей воплощение была декадентская пряная чувственность. Экзотические и жеманные менады и вакхи томились желанием, повторяя «вихлястые» линии русского модерна. Им противостояла игра сценических объемов, организованная А. Экстер строго и аполлонически ясно. (Здесь русский кубофутуризм выступал с достаточно определенной и последовательной театральной программой.)

Таким образом, уже в этом спектакле, поставленном в первый, аналитический, период жизни театра, когда Таиров проводил «своих актеров через азбуку», через разложение сценического искусства на первоэлементы, были нащупаны некоторые существенные мотивы обращения к расиновской трагедии. Но в то же время стало ясно, что эстетизация страсти как стихии имеет снижающую параллель в декадентском культе страсти как чувственности.

Нарастающий «кризис гуманизма» все более властно предъявлял права и вносил коррективы в традиционный образ человека. Вячеслав Иванов не без растерянности обнаруживал духовное распутье: «Искусство, предчувственно отмечающее внутренние процессы жизни, во всяком случае уже не находит зланных пахителей в пределах гуманизма. Идя вперед, куда глаза глядят, непроизвольно вышли из его царства и невесть где ныне бродят кочевники красоты». В творчестве Таирова тема «кочевника красоты», покинувшего царство гуманизма, воплотилась, быть может, наиболее полно. С нее открывался путь к дионисийскому человеку, от личностной формы и меры освобожденному. Так сложилась ситуация, когда художники определенного склада, жаждущие истинного и неподдельного, оказались беззащитны перед обманом «уже не классики», а «архаики, самодревнейшего, давно изъятая из обихода» (Т. Манн). И вот Таиров обращается к догуманистическим эпохам, где, по его представлениям, вольная игра страстей раскрывалась с предельной остротой.

Здесь, быть может, становится понятнее один из источников упорной, неодолимой вражды Таирова и Мейерхольда. Идея «подлинно театральных эпох», с которой последний вступил в 10-е годы, обозначала так или иначе ориентацию на высокую классику и на праздничный карнавал, хотя бы и чреватый трагическим маскарадом. Таиров же стремился сквозь классику к архаике. Удерживая и интерпретируя карнавал средствами арлекинады, в трагических спектаклях он пытался обрести *ритуал*, что со всей очевидностью обнаружилось в «Федре».

Один из исследователей творчества Таирова, известный историк культуры Н. Берковский справедливо указывал на «некоторую прививку классицизма к его театральной эстетике». Но если обратить внимание не только на эстетику, но и на образ человека, в ней запечатленного, то в истории театра трудно найти явление более противоположное классицизму, хотя от него и зависящее. Таиров по-своему препарировал классицистическую коллизию. Он ликвидировал, как обветшалые гуманистические предрассудки, все мотивы долженствования и распахнул дорогу страсти. Таировские герои «должны» только собственной страсти. Они спонтанно и целостно реализуют себя в разрушительном, не знающем границ порыве, в страсти. И трагизм их судьбы возникает именно на этих путях, ибо оказывается, что должны они ей в конечном счете свою жизнь.

На «Саломее» — спектакле по пьесе О. Уайльда (1917) — искатели «ликующего безумия вакханалии» могли вздохнуть удовлетворенно. Хотя здесь не фигурировали ни Дионис, ни менады, ни вакхи, многое в нем возвещало о том, что дионисийский

человек выступает все более уверенно. И особенно важно, что эта тема нашла наконец в русском актерстве своего воплотителя, готового и способного ей жертвенно служить. Саломеей Алиса Коонен начала свой путь великой трагической актрисы.

В «Саломее» была дана генеральная репетиция темы человека, переживающего «пределный экстаз чувственной страсти». Правда, Николай Эфрос считал, что интереснее было бы подойти к пьесе с точки зрения «трагического крушения старого мира, в который пришел Предтеча мира иного». Но Таиров здесь менее всего был расположен оглядываться на крушение старого мира. Его интересовала перспектива, а не ретроспектива. И «Предтечу мира иного» он был готов увидеть не в аскете и моралисте Иоканаане, а в охваченной страстью неморальной Саломее. Видя конфликт спектакля в «борьбе догмы с языческой вольностью», Таиров держал сторону последней. Ствергая суд христианской морали над человеком — как несущий погибель его сокровенным творческим силам, — режиссер делал это «во имя жизни, во имя плоти, во имя плодородности жизни» (Записи Таирова к спектаклю «Саломея». ЦГАЛИ, ф. 2328, оп. I, ед. хр. 9). Художник жаждет вернуть яблоко познания добра и зла, чтобы предоставить героям возможность безоглядно чувствовать и действовать. Но нельзя вернуть яблоко, уже однажды сорванное. Тысячелетняя традиция различения добра и зла не могла пройти бесследно. Неведения не дано. Можно лишь попытаться теми или иными средствами достичь забвения. Одним из таких средств стало восторженное приятие жизни как стихии и силы. Но чреватое непредвиденной развязкой.

Если в Художественном театре вслед за Л. Толстым искали в искусстве «диалектику души», то Таиров был увлечен «алгеброй страсти». Для него страсть первичнее и сильнее человеческого «я». На пути к ней должен быть преодолен и характер как нечто связанное и ограниченное своим чеканом, обусловленное конкретными обстоятельствами места и времени. Характер понимается как трофей, захваченный обществом в борьбе против природного человека. И поэтому его нужно «взять назад».

Возвышая «оголенный инстинкт» до страсти и видя в ней верховную ценность, Таиров и Коонен представляли ее эстетически оправданной и притягательной. «Коонен в Саломее изображает девочку-подростка, наивно-капризную и своенравно влюбленную. Это прежде всего девственница — со всем открытым очарованием и бурными неограниченными дества, то грациозно-прихотливого, то упрямо-настоячивого, то дико-иступленного»². Режиссера привлекала страсть как здоровье, а не страсть как патология. Но этой «здоровой страсти» были даны такие права и привилегии, что патология рядом с ней меркла.

Самые впечатляющие описания того, как Алиса Коонен играла Саломею, оставил Леонид Гроссман: «Но вот почти сакраментальным жестом Саломея возносит руки к глазам в благоговении перед представшим ей божеством. «Я влюблена в твое тело», — молитвенно произносит царевна, словно ослепленная явлением бога. И тут же, в смятении и ужасе, ее руки начинают извиваться, как змеи, готовые опутать и до смерти зажать в своих кольцах намеченную жертву» (Леонид Гроссман, стр. 43—44). В ослеплении телом, поклонении ему как божеству и готовности растерзать его как жертву не только скрыта реминисценция «эллинской религии страдающего бога», но и схвачена самоистребительная диалектика отпущенной на свободу страсти.

Как бы ни хотелось Таирову отстоять «языческую вольность» «во имя плоти, во имя плодородности жизни», на подмостках бушевала стихия, ведущая к смерти и знающая об этом. В этом спектакле страсть получила решающий и, быть может, единственный голос. И она сначала потребовала голову того, кто любим, а затем уничтожила того, кто любит. Не просто уничтожила, а обезличила, оторгла от рода людского: «С полуоткрытым ртом, с неосознанно разнузданными движениями, с волей, подчинившейся слепому желанию, она становилась порою страшна, оправдывая приказ Ирода „задушить эту женщину“» (П. А. Марков, т. 2, стр. 292—293).

Освобожденный от власти и надличных сил и этических скреп, таировский человек оказывается беззащитным перед силами, действующими внутри его собственной природы. Вместе с освобождением сверху нарастали порабощение, зависимость от собственных низших стихий. В эти годы Таиров шел на понижение духовно-личного начала в своих трагедийных героях и соответственно на повышение природно-стихийного. В его персонажах воплощались глубинные, часто вытесненные мотивы эпохи.

² Леонид Гроссман. Алиса Коонен. М.—Л. 1930, стр. 42. (В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте статьи.)

Трагические герои оказывались гонцами «коллективного бессознательного». И это обстоятельство делало искусство Таирова, несмотря на всю его холодность и причудливость, близким и понятным для зрителя.

В 1946 году, когда у Таирова возник замысел повторного обращения к «Федре», на встрече с труппой он говорил: «Тема трагедии — это гибельность страсти. Страсть, которая переходит все границы, страсть, которая поглощает всего человека, отнимает у него разум, волю, способность к мышлению и действию, [такая] страсть гибельна для человека».

Здесь отношение к страсти совершенно иное, противоположное тому, что провозглашалось в конце 10-х годов. От безудержной апологии Таиров пришел к недвусмысленному осуждению. Надежды на возрождение человека через развязывание в нем стихии уступили место признанию: утрата гармонии неизбежно ведет к катастрофе.

Однако «Федра» 1922 года не сводима ни к одной из этих концепций. О них мы вспоминаем сейчас только потому, что одна из них предшествовала «Федре», а другая из нее вытекала. Спектакль же стал не компромиссной серединой, а высокой кульминацией в развитии темы. В нем раскрепощенная страсть была представлена в трагической антиномичности.

XX век поколебал устойчивые и ясные формы античной классики, для многих поколений сохранявшие «значение нормы и недостижимого образца» (К. Маркс). Как следствие не только в русской, но и в европейской культуре возникло тяготение к «темным, доклассическим «безднам» архаики, предпочтение хтонической «ночи» олимпийскому «дню», тенденциозная перестановка акцентов с аполлоновской упорядоченности на тайны дионисийского неистовства»³. В этом процессе Таиров, устремившийся к «догомеровскому глубинному пафосу» (А. Луначарский), занял позицию особую. Он не хотел отвергать ни аполлонической упорядоченности, ни дионисийского неистовства. Вслед за Владиславом Ходасевичем он мог бы сказать: «Имей глаза — сквозь день увидишь ночь». Для него, художника высокой формальной дисциплины, дионисийство возможно только художественно упорядоченное, аполлонически преодоленное.

Открытия в области крито-микенской культуры, увлечение которой Таиров в эти годы разделял со многими, воспринимались с воодушевлением не историко-научного, но скорее идеологического, мировоззренческого происхождения. Архаика всегда была первичнее классики. Но только теперь ей стали отдавать приоритет серьезности и подлинности. Классике же оставалась роль морализирующей, рассудочной надстройки на базе архаического, полного сил мифа. Соответственно этим предпочтениям преобразовался таировский герой.

В журнале «Мастерство театра», издававшемся под грифом Камерного театра, в 1923 году, то есть через год после премьеры «Федры», была опубликована статья А. Топоркова «Классический театр», где мотивы, актуальные для Таирова, прослеживались в истории культуры, извлекались из сопоставления классицистического театра и романтической литературы. В ней, в частности, констатировалось: «Французский театр могучий заклинитель песен хаоса, он заставляет умолкнуть эти поистине страшные песни, которые романтическая литература всячески старалась усилить всевозможными резонаторами. Против Хаоса, Ночи, Эреба и Смерти направлена ненависть этой утверждающей воли, и действительно ее героем является Солнце, не в смысле, весьма условном, короля солнца, а скорее в древнеарийском значении солнечного мифа».

Искусство Камерного театра нельзя описать в рамках простого противопоставления классицизма и романтической литературы. В нем противоположности сходятся.

Таиров обращается к классицистической трагедии, но «всячески старается усилить всевозможными резонаторами» в ней именно страшные песни хаоса. В поисках мифологического прообраза можно сказать, что в «Федре» героем является солнце, но это солнце предстает ночным «черным солнцем». Кстати, последнее является ключевым образом в поэзии О. Мандельштама 10-х — начала 20-х годов, в нем традиционная оппозиция света и тьмы приобретает новое качество. Образ ночного солнца, «солнца вины», возникает у поэта в связи с темой «несчастной Федры». И здесь же как бы невзначай он роняет: «Федра — Россия...»

³ С. С. Аверинцев, «Образ античности в западноевропейской культуре XX в.» («Новое в современной классической филологии». М. «Наука». 1979, стр. 10).

На репетициях Таиров подчеркивал, что Федра переводится с греческого как светлая. Для него важным было то, что погружение в хаос осуществляла героиня изначально чистая, светоносная, хаосу чуждая. Н. Волков подметил это обстоятельство как сквозной мотив ранних спектаклей Камерного театра и сформулировал его эффектно: «Корделия, идущая путем Гонерильи,— вот основное противоречие Коонен». Однако предметом изображения был не добрый человек на путях зла, а светлый, погружающийся во тьму, гармоничный, обнаруживающий внутри себя хаос. Публике не позволяли «этически оценивать поведение Федры или проклятие Тезея — театр не давал повода зрителю выйти из сферы эстетической реальности и театральности»⁴. И этот отказ от этической оценки соотносится с тягой к архаике.

П. Марков еще в начале 20-х годов обращал внимание на то, что «талант ее (А. Коонен.— В. И.)... вырос из глубоких корней символистского театра» (т. 3, стр. 73). Если доискиваться этих корней, то нельзя не обратить внимание на мифологему вечно женственного, столь остро прочувствованную символистами, особенно младшего поколения. Характерно и то, что метаморфозы вечно женственного, например, в поэзии Александра Блока связаны с нарастанием темного, дисгармонического, с помрачением светлого (Прекрасная Дама, Незнакомка, Катька).

Но стихии, освобожденной от всяких сдерживающих начал, не было дано возможности спонтанного выявления. Она представляла закованную в строжайшую пластическую партитуру. Таиров владел той тайной, что Ф. Шиллер считал главной в искусстве и которая «заключается в том, чтобы формой уничтожить содержание; и тем больше торжество искусства, отодвигающего содержание и господствующего над ним, чем величественнее, притягательнее и соблазнительнее содержание само по себе». Эти конфликтные, напряженные взаимоотношения формы и содержания дают ключ к пониманию тех контрастов, которыми так полна «Федра» и которые на первый взгляд поражают своей несовместимостью. Режиссер создает театр страстей, от которого веет холодом, величавым покоем. Изображение страсти апеллирует не к душе зрителя, но преимущественно является достоянием сознания.

Здесь опять-таки небезынтересно вспомнить Ф. Шиллера, писавшего, что «произведения подобного рода тем совершеннее, чем более они даже в сильнейшей буре аффекта шадят духовную свободу (зрителя.— В. И.)». Существует искусство страсти, но страстное искусство — это противоречие, ибо неизбежное следствие прекрасного — освобождение от страстей». В этом контексте становятся яснее расхождения Таирова с преобладающей традицией русского психологического искусства, рассчитанного на внутреннее вовлечение зрителя в сценическое действие, на сопереживание. Взамен эмоциональной взволнованности Таиров предлагал освобожденное от страстей созерцание. Но вне душевного соучастия духовная свобода оказывалась скорее тягостным бременем, нежели даром. В статьях начала 20-х годов, так или иначе связанных с «Федрой», можно найти множество замечаний о ледящем дыхании спектакля. В устах зрителя, приученного к душевному, «теплому», увлеченному (то есть «несвободному») восприятию искусства, они звучат чаще упреком, чем одобрением. Иногда они выглядят прямо-таки криком души, готовой отказаться от этой непосильной, холодной свободы созерцания во имя эмоционального соучастия.

Несколько позже, уже в середине 20-х годов, С. Мокульский подытожил: «Несмотря на могучую эмоциональность, от игры Коонен веяло холодом горных вершин; трагическая атмосфера оказывалась слишком разреженной для нормального восприятия рядового, не искусленного в тонкостях эстетизма зрителя».

Французская критика, для которой расиновская «Федра» являлась одной из главных ценностей национального духовного фонда и частью внутреннего обихода, наиболее остро чувствовала то новое, что не столько привнес, сколько извлек из нее и абсолютизировал Таиров за счет других элементов трагедии. Габриель Буасси, один из глубоких ценителей «Федры» Камерного театра, увидевший в ней подлинно трагедийное явление, тем не менее считал, что создатели спектакля «не понимают Расина или не замечают, из какого тонкого сочетания страсти и стыдливости, чувственности и мысли создается его гений»⁵. «Рассудочное, пластичное, величавое и ледяное искусство — вот чем они заменили пламенное чувство самого гуманного из французских поэтов». Этими шокирующе конфликтными отношениями с человеческим и гу-

⁴ Сергей Игнатов, «Два театра» («Экран», 1922, № 26, стр. 8).

⁵ Габриель Буасси, «„Федра“ в Камерном театре» («Театр и музыка», 1923, № 35, стр. 1107).

манным спектакль обязан не только Таирову, но и характеру эпохи, когда он возник. В нем отразилось «состояние мира», охваченного той музыкой, что призывал слушать А. Блок и которая «противоположна привычным для нас мелодиям об истине, добре и красоте»; она прямо враждебна тому, что внедрено в нас воспитанием и образованием гуманной Европы прошлого столетия».

Как уже говорилось выше, в «Федре» Таиров предложил личную интерпретацию родовых черт эпохи «крушения гуманизма». И это обстоятельство не могло не вызвать бурную реакцию европейского зрителя. В его восторгах можно различить с трудом преодолеваемые враждебность и страх. Это восхищение чуждым. А негодование часто замешено на увлечении размахом и дерзостью художественного эксперимента с каноническими духовными ценностями. Но и в том и в другом случае спектакль воспринимался как покушение. И не столько на Расина как поэта и драматурга, сколько на Расина как одно из важнейших явлений европейского гуманизма.

Таиров разлагал человеческую личность на элементы и аффекты, чтобы обнаружить нечто изначальное, первичное — «перводвигатель». Но в процессе такого закрепощения неизбежно возникал и накапливался опыт расчеловечивания человека.

Расиновская героиня явилась на подмостки Камерного театра существенно преобразенной. Так не мог выглядеть персонаж классицистического театра. Такой облик вполне приличен героине, возвращенной к своим архаическим истокам: дочери многогрешной Пасифаи, внучке Гелиоса, помраченной темным хтоническим началом. Представив Федру соответственным образом и заставив эрудированного зрителя вспомнить «о Томирисе, королеве Массагетов, о Медее, еще бог знает о каком северном жестоком божестве» (Г. Буасси), Таиров освобождал героиню от канонической формы и меры человеческого в человеке.

Зрителю явилась неожиданная и обескураживающая Федра: «Голова, обрамленная париком с красными волосами, снабженными огромными золотыми реями; бюст, утонувший, уничтоженный золотой чешуей, которая наполовину скрывает длинную юбку с черными и белыми полосами, и в особенности этот символ восточных идолов — красная мантия, фантастическая мантия с огненными складками, которые то взволнованно развеваются, то спокойно влачатся. Вот Федра по Таирову. К этому надо еще прибавить, что черты лица совершенно изменены, стилизованы, что рисунок носа подчеркнут картонным ребром и самое лицо возвращается к античной маске, в то время как обувь восстанавливает котурны». «Какое священное и вместе с тем варварское явление!» — восклицал тут же Габриэль Буасси, потрясенный первым выходом Федры, когда, по словам другого критика, «откуда-то из правой кулисы, согбенная от внутренних смятений, от тяжести шлема на голове, вся обвитая красным плащом, выявляющим кровь вспыхнувшей страсти,— появляется Федра — Коонен»⁶. И эту двусоставную формулу Буасси варьировали на разные лады большинство французских критиков, делавших в зависимости от вкусов ударение либо на «священном», либо на «варварском». Но Буасси лучше других ощутил внутреннее единство этих аспектов спектакля.

По поводу «Федры» Расин решительно утверждал: «...ни в одной из моих трагедий добродетель не была выведена столь отчетливо, как в этой». Для драматурга крайне важна трагическая раздвоенность сознания героини. Она понимает греховный и преступный смысл своего влечения к пасынку. Трагический конфликт для расиновской Федры является внутренним. Она сгорает в огне самосознания. Ее вина субъективна и лежит в сфере чувств, помыслов, желаний.

Таировская Федра не знает колебаний и сомнений в своем порыве. Она не встречает препятствий внутри себя. Ее беда лишь в том, что Ипполит не любит ее. Но и его любовь не спасла бы Федру. Ее страсть по своей природе абсолютна, неспособна к утолению и примирению. Она бесконечна и не может успокоиться на обладании чем-то конечным, ограниченным внутренней мерой. «На всем... облике Федры лежала печать экзатичности и жесткости, она сквозила в почти мужском профиле, в огненных волосах, в багровом плаще, в разорванных движениях» (П. А. Марков, т. 2, стр. 293). Федра не пытается противостоять хаосу и стихии, а является естественным их продолжением. Такая героиня безусловно виновна. Вина ее объективна и сущностна. Возвращаясь к архаическому мифу, Таиров пробуждал сокрытую в нем тему кровосмешения, инцеста, который, как заметил С. Аверинцев, «в своем качестве переступания общечеловеческих табу есть... нарушение границ между божеским и человеческим, а значит —

⁶ Самуил Марголин, «Федра» («Экран», 1922, № 21, стр. 6).

акт самообожествления, метафизического самозванства». Так, инцест подразумевает двойную символику: неограниченной, сверхчеловеческой власти над жизнью и глубокой поколебленности смыслового порядка бытия.

По существу, был прав Н. Волков, когда утверждал, что Камерный театр, сделавший «ядром своего творчества эрос человеческого сердца», оказался «театром женского, а не мужского начала». Это женское начало оказывалось отнюдь не слабым и беззащитным, а наступательным, грозным.

Сценическим партнером Коонен в те годы всегда оказывался Николай Церетелли. Бесспорно талантливый, он был характерной фигурой времени. Наделенный чертами восточной красоты, благородной осанкой, тяготеющей к отвлеченно-изысканной пластике, он до поры отвечал требованиям эстетического театра. Его персонажи часто попадали в положение людей, на которых направлена страсть героинь Коонен. И они не могут ни отвечать, ни противостоять ей. Перед лицом одержимых женщин оказываются никакими. Взятым изолированно Ипполитом можно было любоваться. Изживая прежде свойственную ему манерность, актер создавал пластический рисунок, впечатлявший простотой и экспрессией. Но его Ипполит рядом с Федрой обнаруживал свою бесстрастность. Внутренне он не имел отношения к той коллизии, где сюжетом ему было суждено сыграть такую существенную роль. Коонен удавалось скрадывать остроту диссонанса, воссоздавая страсть внеличную, направленную «поверх» своего объекта, страсть, коей ничто не может соответствовать.

В «Федре» воплотилась тема стихийного человека, рвущегося «взять» мир с запретной и потому такой желанной стороны. Но она не прозвучала победно. Ее наполнил «тоскующий плач и болезненный крик» (П. А. Марков, т. 2, стр. 293).

Искусство Камерного театра всегда отличалось напевностью речи. Но раньше эта музыка не вытекала из эмоциональных состояний персонажей, а механически на них накладывалась. Возникла некая звучащая арабеска. В «Федре» же театр сумел объединить крик души и музыкально-ритмическое звучание речи. Органичнее других этот синтез осуществила Алиса Коонен своим глубоким голосом, «то сдержанно модулирующим на угаденных нотах контрально, то яростно звенящим в распевах трагических стихов» (Леонид Гроссман, стр. 11).

Речеведение в «Федре» одними воспринималось как декадентская изломанность, другими — как свидетельство космополитической природы искусства Камерного театра, утратившего связь с традицией русского сценического произношения, чьим образцом всегда было слово в Малом театре. Для большинства русских эмигрантов, увидевших «Федру» во время первых зарубежных гастролей Камерного театра, налицо были признаки денационализации русской речи.

Среди откликов парижской прессы тех лет можно найти описание, где автор вырывается из плена эмигрантской ностальгии по «правильному» произношению. Андрей Левинсон, после злого фельетона против «Мистерии-буфф» Маяковского и Мейерхольда оказавшийся вне России, стал тонким истолкователем «Федры». Он писал: «Актриса (Алиса Коонен.— В. И.) разбивает этот стих, расплавливает его; ритмическими толчками исторгается он из ее груди, нисходит ступенями, потому что речь ее вещает о невероятной муке, исповедуется в несказанном грехе. Перебои и интервалы сказа не менее разительны у нее, чем вопли. Открытые гласные придают этому сказу некое нерусское как будто звучание: «Тэсай!» — или почти так — взывает она к царю. То сквозь русскую речь звучит аттическая медь» (разрядка моя.— В. И.). Это описание замечательно не только своей выразительностью, но и глубиной возникшей догадки. Не о том же ли писал О. Мандельштам в статье «О природе слова», когда отчеканил как очевидную истину: «Русский язык — язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив запад латинским влияниям и ненадолго загасиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью». История любит дразнить совпадениями. Статья О. Мандельштама была впервые напечатана в том же 1922 году, когда состоялась премьера «Федры». Дело здесь не только в филологии. Камерному театру удалось нащупать и сделать своими скрытые, глубинные слои, питавшие русскую культуру

Десятилетия спустя Таиров так вспоминал о спектакле 1922 года: «...мы полагали тогда основной нашей задачей — вскрыть страсти, какие были заключены в данной трагедии... Иначе говоря, мы в значительной степени воплощали в нашем спектакле тему

«Федры», проходя мимо ее сюжета... сюжет и его развитие не были определяющими в выявлении темы. Тему мы выявляли самое в себе». И это выпадение сюжета из спектакля не случайно, ибо он не мог удержать в своей орбите и объяснить те стихийные, природные силы, вызванные к жизни режиссером. Центр тяжести спектакля переместился с анализа причин и следствий на формализацию событий как заданных и predetermined. Каждое из них является не чем-то непосредственным, новым, способным внести неожиданные изменения в судьбу героев, но выступает как элемент ритуала. Здесь сюжет не в силах ничего объяснить; он только носитель ритма и формы трагической судьбы. В спектакле «волнующая драма уступает место возвышенному и монотонному ритуалу» (Г. Буасси). И такая подмена должна была совершиться. Для эстетического обуздания раскрепощенной стихии у Таирова не было иного способа, помимо ритуала, обладающего огромной организующей, принудительной, нравственно безразличной силой. Но если драма имеет дело со свершающимся, то ритуал — со свершившимся.

Все, что должно случиться, известно. И оно случится. Ход событий и финал предписаны. Это знают и персонажи и зрители. Поэтому никто не спешит к финалу. Никто не заинтересован в фабуле. Для Таирова каждый отдельный момент сценического действия важен лишь как отсрочка неотменного приговора. Режиссер вовлекает зрителя в церемониал, который можно было бы назвать трезной страсти. Здесь слиты воедино одержимость и обреченность. Утверждение страсти и ее отпевание.

Героям чужда суетливость. У них нет случайных и необязательных движений. Временами они застывают, словно вслушиваясь в гул приближающегося финала. Каждая фигура по-своему величественна «в медленном ритме... четких, пластичных и вдруг обрывающихся движений» (С. Марголин). На просторной, не загроможденной подробностями сцене каждая фигура отделена от других, не смешивается с ними и имеет свою зону влияния. Она требует особого внимания и рассмотрения. Весь строй спектакля делает невозможным близкое человеческое общение. Здесь всякого рода утешения и обнадеживания бестактны и оскорбительны. Да и какие могут быть обнадеживания, когда все происходящее не подлежит никакому пересмотру. При такой важности и напряженности действия каждый элемент спектакля наполняется особым смыслом, движения и позы подчеркнута значительны, они лишены непосредственной целесообразности, но служат символами. Система жестов, выразительных мотивов, ставшая основой пластической культуры Камерного театра в целом и наиболее полно воплотившаяся в «Федре», была создана в результате изучения античного изобразительного искусства. Обращение оказалось не только внешним и формальным. Оно имело далеко идущие последствия.

Страсть могла довести Федру до полного крушения, ввергнуть в хаос, но была не в состоянии поколебать ее величия, поставить под сомнение ее благородство. Ее самоутверждение могло как угодно далеко переходить в самоотрицание, но этот процесс не в силах исказить заверченный и ясный облик, наложить какие-либо ограничения на величавое, выпукло-пластическое самовыявление: «Коонен — Федра все время величественна, все время царственна, несмотря на ужасающую страсть, которую она непрерывно переживает» (А. Луначарский).

Федра Алисы Коонен и захватывала и вызывала недоверие. В непотревоженном пафосе ее героического величия крылась некая завуалированная, духовно отчуждающая условность. Насколько понятен и близок зрителю был свершаемый Федрой путь, настолько отвлеченной, холодно-отстраненной была ее возвышенная поза. Преодоление страдания с помощью подчеркнутого жеста ставило под некоторое сомнение подлинность и глубину самого страдания. В нем виделся «самообман театра, играющего иллюзиями». Федра — Коонен «нравится, влечет к себе, хочется подольше остаться в созерцании ее великолепных чувств — каждому зрителю Камерного театра. Но никогда, — я готов поручиться в этом, — Коонен не заденет остротой изображаемой душевной боли до конца и никого не потрясет всецело» (С. Марголин).

Пластически явленное героическое приятие судьбы по ту сторону «страха и надежды»⁷, заботы о насущном, человеческом диктовало особые отношения со зрительным залом. Героиня даровала эстетическое восхищение, но не этическое сострадание. Ее погружение в хаос было поистине ужасным, однако не могло потревожить внешнетелесного и внутреннего величия, что устанавливало почтительную дистанцию со зри-

⁷ Об античной «героической этике» и христианской этике «страха и надежды» см.: С. С. Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. М. «Наука». 1977, стр. 64—71.

телем, которому массовый опыт страдания был известен в совсем ином, не столь возвышенном облике. Этот опыт страха и надежды также искал своего трагического протагониста и нашел его в лице Михаила Чехова.

В таировской «Федре» трагедия выходит из сферы традиционного для предшествующего столетия распределения добра и зла, света и тьмы, морализующей интерпретации конфликта. Усилиями Таирова «трагедия вернулась к нам в своих первобытных тонах» (Г. Буасси). Режиссер изменяет сам регистр звучания трагедии, «патетическую добродетель» вытесняя «героической экзальтацией».

Но как бы далеко ни заходил Таиров в своих языческих вольностях, как бы ни был близок временами его душе идеал раскрепощенного, природного человека, его искусство не могло игнорировать влияния русской гуманистической культуры. Стремясь наделять героиню всей полнотой прав и возможностей, режиссер и актриса были тем не менее приведены к созданию образа универсальной вины. Федра Алисы Коонен еще больше, чем перед близкими (супругом Тезеем, его сыном Ипполитом, юной Арикией), виновна перед дальними — человечеством, миропорядком.

Для Федры путь страсти оказался страстным, страдальческим путем, где «хаос закружит ее и разобьет». И уже «с первых шагов на сцене, с первого протяжного стенания она умирает» (А. Левинсон, «Русская „Федра“». — «Звено» (Париж), 1923, 26 марта).

Большинство зарубежных критиков говорили о «русской Федре», вкладывая в это, как правило, не только географический, но и духовный смысл — имея в виду давнюю русскую традицию покаяния и искупления. «Она русская: она жаждет пострадать, принять искупительную муку. Ползет на коленях к Тезею: несет крест» (А. Левинсон). В 20-х годах эта традиция была еще достаточно живой, но уже не обладала ни всеобщностью, ни обязательностью. Таиров и Коонен пришли к идее искупления как бы своим собственным путем. И тот ритуал, в который режиссер заковал сценическое действие, оказывался ритуалом искупления. Это обстоятельство не было упущено тогдашней критикой, прямо называвшей Федру Алисы Коонен «искупительной жертвой».

Г. Якулов в выступлении на одном из многочисленных диспутов тех лет увидел в «Федре» «победу над „гротеском“». Это суждение имеет реальную силу, прежде всего если сопоставить спектакль с теми художественными явлениями, в которых воплотилась так или иначе традиция романтического гротеска, где «на первый план выдвигается представление о чуждой нечеловеческой силе, управляющей людьми и превращающей их в марионеток» (М. Бахтин).

Трагический герой, открытый, способный свободно принять ответственность и искупить свою вину (то есть человек, не заверченный виной и ею не исчерпанный), у Таирова противостоит гротесковому человеку, отчужденному и омертвленному, законченному и исчисленному.

Экстатичный жесткий профиль Федры преображался в «страдальческий женский лик с безумно приподнятыми бровями и расширенными неизбывной скорбью всеполющающими очами» (Леонид Гроссман, стр. 60). Сверхординарная страсть, истуленное самоутверждение оборачивались в финале столь же глубоким смирением и самоосуждением: «Беспомощные жесты тихого отчаяния сменяются позами глубокого изнеможения, когда поверженная царица, полулежа, словно склонившись под грузом невыносимой скорби, исповедуется в своем греховном пылании» (Леонид Гроссман, стр. 61). Завязанный на архаизации эллинского мифа, спектакль приближался к христианской символике: «Всю сцену оправдания Ипполита и собственного покаяния проводит коленипроклоненная, распростертая во прахе» (Леонид Гроссман, стр. 62). И из этой пластически ясной и недвусмысленно выраженной позы глубокой поверженности «в последний раз поднимается во весь рост, нечеловечески высокий на золотых котурнах, чтоб рухнуть мертвой. Я не видел ничего прекраснее. Это то, что Андрей Белый раз назвал „пролетами в вечность“» (А. Левинсон).

Таков трагический финал Дионисийского человека, отдавшего «переживаниям столько же напряженным, сколько и бесчеловечным» (Н. Берковский).

Таиров и Коонен не только воплотили наиболее глубоко в театре начала 20-х годов образ человека стихии, но и опровергли, исчерпали его...

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Андрей Василевский. Разорение.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Павел Басинский. К Горькому — единому и цельному. — Светлана Неретина. Человек в истории. — Виктор Леглер. Одна на всех экономика.

Литература и искусство

РАЗОРЕНИЕ

Константин Воробьев. Друг мой Момич. Повести. М. «Современник». 1988. 636 стр.

«**Н**е прошло и пяти лет со времени его смерти, как имя К. Воробьева сделалось в литературе символом чести (разрядка здесь и далее моя.— А. В.), — писал Игорь Золотусский в статье 1981 года «Очная ставка с памятью». В мемуарной книге «Зрячий посох» Виктор Астафьев, с яростью и горечью рассказывая о судьбе Воробьева, ядовито замечает по поводу нынешних безмерных восторгов в адрес писателя: при жизни бы, при жизни!..¹ Константин Дмитриевич Воробьев (1919—1975) имеет стойкую репутацию отличного «военного» прозаика; «Крик» и «Убиты под Москвой» — это уже хрестоматийные страницы военной прозы, но он прозаик и деревенский, и не менее замечательный. Деревенская тема представлена у Воробьева целым рядом взаимосвязанных и вовсе не периферийных в его творчестве повестей и рассказов, рисующих историю русской деревни от трагедии гражданской войны («Сказание о моем ровеснике») до разлада современной писателю колхозной жизни («Почем в Ракитном радости»). Самая же главная деревенская книга Воробьева — «Друг мой Момич» — дала название рецензируемому сборнику; в этот объемистый том (Воробьева теперь много издают) вошли также автобиографическая, совсем недавно очнувшаяся из небытия по-

весть о немецком концлагере «Это мы, господи!..», незавершенное произведение «...И всему роду твоему», дополненное в сборнике набросками, проясняющими авторский замысел, и другие повести, хорошо известные по прежним изданиям, не буду на них останавливаться.

И повесть «Друг мой Момич» (1965) отчасти знакома читателю — примерно три четверти ее объема печатались под названием «Тетка Егориха» (этот вариант датирован 1966 годом), но разночтения, о которых я еще скажу, столь существенны, пропущенные ранее фрагменты столь принципиальны в контексте всего творчества Константина Воробьева, что «Момич» читается как новое произведение. Время действия в «Момиче» — 1928—1930 годы; когда начинается дружба («перекрут») мальчика-сироты (он же — рассказчик) с богатым мужиком Максимом Мотякиным по прозвищу Момич, героям соответственно десять и пятьдесят лет. Момич и его хозяйство производят на мальчика впечатление чего-то богатырски-былинного. «По проулку к реке большой-большой мужик ведет в поводу жеребца.. Жеребец черный, как сажа, и сам мужик тоже черный — борода, непокрытая голова, глаза. Белье у него только рубаха и зубы». Под стать Момичу и его хозяйство, составляющее с ним одно неразрывное целое: «Выходившие на огород ворота, сколоченные из толстых сосновых плах, висели на приземистой круглой верее, тоже чем-то напоминавшей Момича. Сразу же за ними меня обдавало прохладой чистых закут и оторопью, — тут опять все походило на хозяина: черный кобелина

¹ На страницах «Нового мира» о К. Воробьеве писали И. Дедков, Ю. Бондарев, О. Михайлов, Л. Лавлинский, В. Камянов; первые трое — при жизни писателя. Вообще же одну из лучших работ о Воробьеве, принадлежащую перу И. Дедкова, см. в сборнике его статей «Возвращение к себе» (1978).

на длинной привязи, черный молчаливый петух, презрительно глядевший круглыми желтыми глазами, бурдастый черный бык-двухлеток, приветно укладывавший голову на варок при подходе Момича. Меня пугала величина вил — об двенадцати рожках и с такой ручкой, что она годилась бы на оглоблю, удивляла строгость и подобранность всего двора — тут не было того вольного запустения и той первородной гущины калачника и крапивы, к которым я привык у себя». У себя — значит на бедном дворе, где мальчик живет вместе с дядей, придурковатым ленивым мужиком по кличке Царь, и его женой — теткой Егорихой. Собственно, и подоплека дружбы мальчика с вдовцом Момичем (у него есть дочь Настя) проста — Момич и Егориха любят друг друга. Их любви посвящены самые светлые и, как ни странно прозвучит (для нечитавших), «музыкальные» страницы книги. «Момич» не просто написан рукой мастера, он без преувеличения принадлежит к наиболее художественным созданиям деревенской прозы вообще; и особое обаяние придает повести сильно выраженное, как ни в одной другой книге Воробьева, музыкальное начало его динамичного реалистического письма. Музыка эта начинается звучать с первых фраз, неумолимо увлекая читателя к трагической развязке повести.

Все ситуации, все повороты сюжета (главные я отмечу чуть позже) психологически убедительно выявляют в Момиче черты именно нормального человека. Даже хозяйство его выглядит нормой, не в статистическом смысле, а как выражение идеального «лада». Напротив, его недруги и разорители несут в себе черты выморочности (не забудем, что для ребенка-рассказчика зло и уродство неразделимы). Сгорела Момичева клуня (помещение для снопов); как можно догадаться, поджег ее Царь, ревнующий свою жену к соседу, но еще более ревнующий к жукому достатку. Писатель не случайно отмечает «просветленно-радостный взгляд» Царя после пожара. Свет в глазах — от чужого разора. Глупа и некрасива учительница, присланная из города, но она тут пришлая, а вот Серега Бычков по кличке Зюзя, сын побирушки, ставший председателем сельсовета, вполне свой. Зюзя — вовсе не «идейный» разоритель, а обыкновенный мародер, дорвавшийся до власти. Когда он приходит с комиссией в дом Егорихи выяснять, почему она не вступает в колхоз, мальчик сразу узнает на нем кожанку, сапоги и полосатый шарф Настинного жениха, раскулаченного Романа

Арсенина. «Не привык пока, видно, к богатой одежде», — простодушно истолковывает мальчик Зюзину неловкость.

Коллективизация как разорение, голод в деревне, «кулаки» как рухнувшая опора крестьянского мира, коллективизаторы как грабители — все это описано у Воробьева до «Канунов» Белова, до «Мужиков и баб» Можаяева, до «Касьяна Остудного» Ивана Акулова, до тендряковской «Пары гнедых»... И описано без стыдливых умолчаний, без реверансов перед неколебимыми тогда социологическими схемами. У Воробьева одностельная раскулачивают конокрады! Некогда, еще до «перелома», знаменитый «профессионал» Сибилёк и «любитель» Зюзя пытались увести у Момича его жеребца, но тот поймал их, связал, привез в деревню — что ему, богатырю, эти двое. Конокрадов же (в одну ночь, случилось, пускавших по миру целую крестьянскую семью) положено было «убивать обществом», но мальчик вступает за Зюзю, и Момич в последний момент останавливает убийство. Парень же только затаивает злобу: я отомщу! За что? За то, что Момич не дал украсть у себя коня? И вот сцена поистине символическая: те же конокрады на законных основаниях от имени советской власти выводят из конюшни Момичева коня². Сибилёк держал его не за узду, а за ноздри «двумя пальцами, и жеребец стоял понуро и смиренно». А что же Момич? Он стоит на коленях и сгребает, как поначалу кажется мальчику, руками снег. Момич «сказал недоуменно и неверяще:

— Живые...

В снегу копошились и елозили пчелы...». Коллективизаторы разломали (зимой) ульи, чтобы увезти мед, тянут в сани ковер, швейную машинку... Мальчику кажется, что его взрослый друг сейчас подымется и разнесет в пух и прах своих врагов, но Момич «заморенно оперся на мое (мальчика! — А. В.) плечо, и мы пошли...». Рухнул мир, опорой которого был Момич и который ему самому давал опору, ощущение смысла жизни и работы, гордости за свое

² В «Тетке Егорихе» сцены раскулачивания нет. Чтобы объяснить, как явный «кулак» Момич избежал раскулачивания, автор в «Тетке Егорихе» перенес время действия на два года назад — в 1926—1928 годы (в «Момиче», напомню, — 1928—1930 й). Можно долго перечислять, чего нет в «Тетке Егорихе» по сравнению с полным текстом, но даже этот изуродованный вариант Игорь Золотусский в статье 1981 года поставил рядом с прозой Андрея Платонова о русской деревне 20—30-х годов. Оценка очень высокая. Что же говорить о «Момиче»!

дело. Разорен, по существу, целый мир — порядок, и сила оставляет бывшего хозяина Мотякина.

На глазах у мальчика закрывают местную церковь, отрекается от бога дрогнувший перед насилием священник — сцена, одна из сильнейших в повести, раскрывающая пропасть между представителями власти и безмолвствующим народом (один Момич подает голос за попа, и то когда на собрании гаснет свет). Камышинская церковь существовала как бы отдельно от «оглядно-ручного мира, в котором я жил с теткой и Момичем. В нем все было приятно, и я знал, что и откуда к нам пришло: Момичеву клуню (после поджога.— А. В.) мы поставили вдвоем — я и он. Все хаты, сарай, плетни и ветряки тоже построили люди... Тут все было нужным и мне близким, а в церкви этот мой мир почему-то тускнел и уменьшался, а большим и недоступно-ярким делалась только она сама. Я не решался подумать, что ее тоже построили люди...». Мальчик еще не догадывается, что есть связь между разорением непонятого ему мира церкви и разорением его «оглядно-ручного» мира, но в ответ на приглашение Митяры Певнева (того прислали заведовать избой-читальней) ломать иконостас мальчик, повинуясь верному нравственному инстинкту, убегает от него; потом из обломков иконостаса он подберет «шары» и «боженят», а тетка украсит ими бедную избу, но ненадолго — и над их домом нависла тень все того же тотального (как бы сверхличного) насилия.

Вместо креста на церкви водрузили «большой и веселый» флаг, но к этому времени бабы, одни, без мужиков, развели по домам из общей конюшни лошадей, разнесли сено и потребовали от Митяры и Андрияна поставить сброшенный ими крест на место («...а те не знали как — сверзить — то легче»). Примчался на лошади милиционер Голуб (тот, что издевался над священником), налетел на баб, и одна только Егориха не побежала, а вскинула руки к конской морде, как бы останавливая налетающую беду. Голуб «выстрелил из нагана незвонко и хрупко, будто сломал сухую ракитовую хворостину», оборвав ее жизнь. Опасности для Голуба не было никакой, но он изначально (может быть, еще с гражданской войны) настроен на насилие — это его «норма». И еще: он внутренне неспокоен, нет ощущения прочности (нравственной прочности) своего положения, он ждет от жизни подвоха, удара, возмездия. И скорее всего Голуб сам попал бы в сталинскую

мясорубку, обойди его в 1930-м пуля Момича.

В усеченном варианте повести Момич случайно (или не случайно) встречает Голуба на дороге: «Наверно, они ни о чем не говорили, и Момич молчком связал Голуба, а потом воссадил на седло и отпустил. Голуб так и появился в Лугани — связанный... Нет, Момич не взял ни нагана, ни сабли (кого успокаивает писатель? — А. В.), — их потом нашли в Кобыльем логу милиционеры из Лугани. Сабля была поломана на две части, а наган совсем на кусочки...» Вскоре Момича забирают — навсегда. В полном, ныне опубликованном варианте Момич, увезенный после раскулачивания вместе с дочерью Настей (она погибнет), через некоторое время возвращается один, но с винтовкой; на глазах мальчика он убивает Голуба («Пускай теперь знает!» — комментирует Саня). В одной из недавних статей доктор экономических наук Г. И. Шмелев первым решил печатно заметить, что так называемый кулацкий террор был слабой и запоздалой попыткой крестьянской самообороны или, добавлю, мстью за разорение, но у Воробьева в повести 1965 года об этом уже, в сущности, говорится. Вдумаемся: главный, безусловно положительный герой, притом «кулак», убивает милиционера (можно сказать, исполняющего свои обязанности), и этот поступок не только не вызывает у читателя нравственного протеста, но, напротив, ощущается как пусть частичное и временное, но восстановление поправленной справедливости (есть правда на земле...).

После убийства Голуба рассказчик Саня и Момич уходят из родных мест в разные стороны — иной автор поставил бы тут окончательную точку, но у Воробьева идет еще эпилог, в котором картина разоренной коллективизаторами деревни, голода, бегства Сани и Момича сразу переходит в бегство молодого лейтенанта, того же Александра, с остатками разбитого отряда из-под Белостока на Минск³. В избушке лесника рассказчик внезапно наткнется на Момича, давно живущего здесь под чужой фамилией.

«— Все носишь обиду?»

— Надо б, да не на кого, — повернулся он ко мне. — Кабы оно не на наших Дрожжах то тесто взошло! Ить

³ Как результат благословенной полугласности воспринимаются сегодня утверждения, что без трагедии 1929 года, возможно, не было бы и трагедии 1941-го, а у Воробьева это фактически изображено в 1965-м!

не германец же с туркой греб нас?

Я заплакал внезапно и несуразно...

— Ну во-от! Ты чего это!

— А ты не знаешь, да? Не знаешь? — спросил я его обо всем сразу — о тетке Егорихе, о нем самом, о Кашаре (место, где убили Голуба.— А. В.), о моем вчерашнем болоте, о Минске...» И продолжим: об отступающей армии, о разоренной земле... Они прощаются, и Александр с бойцами уходит на соединение со своими.

Собственно, повесть на этом (внутренне) кончается, но есть и еще один абзац: возвращаясь по тем же местам с наступающими на запад войсками, Александр пытается найти Момича и узнает, что его повесили немцы за связь с партизанами. Концовка эта представляется излишней не потому, что Момич по логике своего характера не мог сделать подобного выбора — как раз мог; но для нас (читателей) герой уже и так хорош, мы и так на его стороне. Может быть, автор надеялся сделать своего «сомнительного» героя более приемлемым для «инстанций» (повести он этим тогда не спас), но есть и иное (так сказать, генетическое) объяснение последнего абзаца. Сравним повесть с более ранним рассказом «Ермак», тоже написанным от лица мальчика, но на этот раз его взрослый друг и кумир — председатель сельсовета Никифор Хомутов: «...три дня (в 1930-м.— А. В.) я почти не ночевал дома, свозя добро раскулаченных в сельский кооператив. С этим делом я справлялся легко и радостно,— в моей жизни мало было развлечений, захватывающих дух, разве только качели!» Мальчик участвует в раскулачивании бывшего шахтера Ермакова, по сюжету чуть ли не своего отца. Во время войны его, молодого лейтенанта (!), забрасывают к партизанам, и он узнает в командире отряда Ермака, а в комиссаре — Никифора Хомутова. Они, бывшие разоритель и разоренный, друг в друге души не чают. Рассказчик понять это не в состоянии и получает от своего кумира раскатистое «дур-рак!». Кончается рассказ гибелью Ермака в бою с фашистами.

Как молодой лейтенант — сквозной герой военной прозы Воробьева, так и мальчик — сквозной герой его деревенской прозы (деление, понятие, условное). Подоснова военных и деревенских страниц Воробьева явно автобиографична, можно долго перечислять переходящие из произведения в произведение ситуации и характеры. Писатель все время ходит около одних и тех же жизненных коллизий, поворачивая их то так, то эдак, двигаясь ко все большей внутренней

свободе, писательской честности — до последней ясности (как в «Момиче») ⁴, как бы не в силах вырваться из поля притяжения чего-то очень личного и болезненного в своей судьбе.

Это личное у Воробьева совпадает с самыми существенными и трагическими поворотами в жизни народа.

Сколько было высказано упреков «несознательным» советским гражданам, не только не оберегающим, а с чистой совестью растаскивающим казенное добро,— тут не только результат экономического «отчуждения». Может ли вообще народ уважать собственность государства, которое не уважало никакой иной собственности, кроме своей, государственной, и в этом неуважении было на протяжении всей своей истории весьма последовательным: от национализаций, разверсток, коллективизаций, огосударствления колхозов — до массы повседневных «мелочей». Кстати, в прошлом году «Комсомольская правда» отметила семидесятилетие введения продовольственной диктатуры (май 1918-го) — ну, чем бы, вы думали? — о д о й разверстке и «военному коммунизму!» «Этот декрет до сих пор ставят под сомнение! — возмущается Е. Лосото.— Хлеб нужно было взять!» Вот при «военном коммунизме» хлеба не хватало, но было равенство, а теперь, деланно удивляется журналистка, у нас хлеб есть, а справедливости нет как нет. Она надеется дожить до того времени, «когда из глубин народной памяти поднимется и заработает (?) простая идея равенства перед хлебом насущным», странным образом забывая, что разверстка и «военный коммунизм» рухнули под гром кронштадтских пушек, под гул крестьянских восстаний и под грозное молчание забастовавших петроградских заводов — если это не был голос народа, то чей же? Приводя несомненные факты крестьянских расправ над продотрядовцами и уполномоченными, Е. Лосото умалчивает о том, что эти люди делали с крестьянством (не говоря уж о том, что человек, защищающий плоды своего труда, свою, страшно сказать, собственность, и тот, кто пришел их отнять силой оружия, изначально нравственно не равны).

Философия уравнительного перераспределения есть всегда философия разорения,

⁴ Особенно эта «ясность» разительна в сравнении с ранней повестью «Одним дыханием» (1948), в которой суровые картины послевоенной литовской деревни, известные писателю не понаслышке, осмыслены точно в границах «ортодоксальной» схемы «классовой борьбы» в Прибалтике.

подобного тому, как в повести Воробьева коллективизаторы ломают зимой ульи: таким способом мед можно взять только единожды — другого меда здесь уже не будет. Принуждения страна хлебнула с лихвой, может быть, попробуем иначе, тем более что изобретать ничего не нужно. Характерно (и даже забавно), что наиболее «радикальные» умы и группы, наиболее критически относящиеся к сложившейся у нас политико-экономической системе, те, кого зачастую упрекают в «нигилизме» (по отношению к «припицам», которыми кое-кто не может поступиться), опираются как раз на самые устоявшиеся, исторически проверенные ценности (скажем, парламен-

тарный плюрализм, рынок и собственность, традиционная мораль и церковь...); они не выдумывают, а черпают из общечеловеческого опыта, и в этом их коренное отличие от русских нигилистов прошлого века или молодежного нигилизма европейско-американской «контркультуры» 60-х годов.

Воспользуясь уже вошедшим в литературно-общественный язык образом платоновского котлована: неизвестно, суждено ли нам вообще из него выбраться, но ясно, что выкарабкаться из котлована, стоя на голове, заведомо невозможно, надо сначала встать на ноги или хотя бы попытаться это сделать.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



Политика и наука

К ГОРЬКОМУ — ЕДИНОМУ И ЦЕЛЬНОМУ

М. Горький. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре. «Литературное обозрение», 1988, № 9, 10, 12.

Напечатаны «Несвоевременные мысли» Максима Горького. Здесь надо бы поставить восклицательный знак и порадоваться вместе с читателем новой публикации. Но что-то мешало это сделать.

Конечно, сам по себе этот факт не может не радовать. Не прошло и семидесяти лет, как наш читатель (не слишком широкий, если учитывать специфику журнала «Литературное обозрение») получил возможность познакомиться с мыслями «основоположника соцреализма», чье имя превозносили до небес, называя им города, проспекты, парки, университеты, библиотеки, театры, киностудии, но кого, оказывается... не совсем поано печатали.

О существовании «Несвоевременных мыслей» до сих пор знали не одни специалисты. Глухие разговоры о том, что Горький в свое время не принял Октябрьской революции и спорил с Лениным, велись в читательской среде давно, подогреваемые отсутствием печатной информации на эту тему. Имя Горького в обывательской среде вообще крайне обросло слухами: а правда, что писатель эмигрировал на Запад в 1921 году, а не поехал лечиться, как советовало ему Ленин? что Горький протестовал против суда над эсерами в 1922 году? что Горького убили Сталин и Ягода? С этой точки зрения публикация «Несвоевременных мыслей» — важный шаг на пути от «двух Горьких» к Горькому единому и цельному. Теперь мы можем сказать открыто: да, он спорил с Лениным и большевиками в 1917—1918 годах, да, мучительно не признал Октябрь, который, и это нельзя забывать, был и его де-

тищем, да, отъезд Горького на Запад был продиктован не только болезнью!

Но именно здесь и кончается чувство радости... Сегодня, когда «Несвоевременные мысли» стали общим достоянием, поневоле приходится задуматься над их содержанием. Знаменитая брошюра Горького отрывая общественное сознание от привычного, ставшего в каком-то смысле уютным образа культа личности и возвращает нас назад, к истокам сталинизма.

Что значил Сталин в то время на фоне Ленина, Троцкого, Зиновьева, этот нарком по делам национальностей, только-только начинавший показывать зубы? Недаром о нем нет ни слова в брошюре Горького. Но можно только поражаться историческому предвидению писателя, в июне 1918 года детально обрисовавшего психологический облик будущего тирана: «Он прежде всего обижен за себя, за то, что не талантлив, не силен, за то, что его оскорбляли... Он весь насыщен, как губка, чувством мести и хочет заплачить сторицею обидевшим его... Он относится к людям, как бездарный ученый к собакам и лягушкам, предназначенным для жестоких научных опытов... Люди для него — материал, тем более удобный, чем менее он одухотворен...»

В 1905 году в связи с началом первой русской революции Леонид Андреев написал рассказ «Так было». В нем он предсказывал, что и после победы революции власть будет принадлежать кому угодно, только не самому восставшему народу: «Нужно убить рабов. Власти нет — есть только рабство». А пока, утверждал Андреев, «безграничным повелителем над людьми может стать и горилла.. с волосатым телом».

Интересна реакция на этот рассказ Горького. В 1905 году, прослушав «Так было» в чтении самого автора, Алексей Максимович задал довольно туманный вопрос: «Не преждевременно ли?» На что Андреев

¹ Эту «тайну» пора наконец открыть. В 1922 году в письме А. Франсу Горький писал: «Суд над эсерами носит циничский характер публичного подговора убийства людей, которые искренно были преданы делу освобождения русского народа» (Эр дэ. Максим Горький и интеллигенция. М. Издательство «Девятое января». 1923, стр. 10).

ответил со свойственной ему аполитичностью: «Хорошее всегда преждевременное...»

О чем думал Горький, вставляя этот эпизод в свой очерк о Леониде Андрееве в конце 1919 года? Минул год после выхода «Несвоевременных мыслей» отдельной брошюрой. Горький как бы намекал, что еще в 1905 году подобные мысли роились в его голове, но обнаружить их на фоне неудач первой русской революции он считал делом преждевременным...

В сознании читателя значение «Несвоевременных мыслей» может оказаться одновременно преувеличенным и недооцененным. Раздувается, как правило, политический момент. Вот, мол, даже «буревестник революции» не принял Октября! Горький, однако, едва ли хотел кого-нибудь шокировать. Издавая «Несвоевременные мысли» отдельной книжкой осенью 1918 года, уже после примирения с Лениным, он не мог придавать первостепенное значение политическим целям. Гораздо более существенны этический и философский аспекты его брошюры.

Все разговоры вокруг социально-нравственного состояния населения России накануне революции неизбежно ввергают нас в замкнутый круг, где причина оказывается равной следствию. Недемократическая царская политика в отношении народа, отсутствие личных свобод рождала аморфное, беспособное к самоуправлению общество, что, в свою очередь, предполагало наличие жесткой центральной власти, необходимой для управления таким обществом. Все это напоминает пресловутую теорию «среды», раскрытированную еще Достоевским...

Надо сказать, что Горький отнюдь не был лишен иллюзий на этот счет и искренне верил в возможность радикального улучшения «среды» путем революции. Он резко расходился с Толстым по вопросу о нравственном совершенствовании, считал этот путь слишком медленным, слишком «интеллигентским». Горький всегда был сторонником активного вторжения в жизнь и терпеть не мог любого рода непротивленчества.

И все же писатель, мысливший достаточно глубоко, не мог не чувствовать вопиющие недостатки теории «среды». «Несвоевременные мысли» Горького — это опыт национальной самокритики, явление очень русское по своей природе. Наиболее сильные места в брошюре отнюдь не те, где автор яростно нападает на «анархо-коммунистов и фантазеров из Смального», которыми, по его мнению, «нет дела до России», которые производят «жестокый и заранее обреченный на неудачу опыт... над русским народом, не думая о том, что измученная, полуголодная лошадка может издохнуть». Здесь Горький не во всем справедлив, как всякий раздраженный человек. Наиболее сильно то, что пронизано пафосом национального самоотрицания.

«У нас, русских, две души,— писал Горький в 1915 году.— одна — от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя... а рядом с этой, бессильной душою живет душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро уга-

сая...» В статье «Две души»² писатель жестко противопоставил два мировоззрения, определяющих русскую психику: «восточное» и «западное». Внутренняя сущность их одинакова — «стремление к добру, красоте жизни, к свободе духа». Но «по силе целого ряда сложных причин» он отдавал явное предпочтение второму типу мировоззрения. Восток губит Россию, Запад один способен ее спасти. Не обошлось и без прямых рецептов такого спасения: «Нам нужно бороться с азиатскими наслоениями в нашей психике, нам нужно лечиться от пессимизма,— он постыден для молодой нации...»

Ход рассуждений был не нов. Горький, по сути, лишь повторял азы русского западничества XIX века. Это подметил Леонид Андреев, указывая, что критика русской души звучит уж слишком «по-русски». «Не таков Запад,— писал Андреев, полемизируя с Горьким,— не таковы его речи, не таковы и поступки... Критика, но не самооплевание и не сектантское самоожжение, движение вперед, а не верчение волчком — вот его истинный образ («Современный мир», 1916, № 1).

Однако не тревогой ли за судьбу надвигающейся революции были проникнуты мысли Горького в 1915-м? Писатель ясно сознавал, что революция будет чисто русским явлением, не имеющим аналогов на Западе. Что русский народ обязательно пойдет за теми, кто предложит самый радикальный, самый бескомпромиссный путь социальных перемен.

В повести Горького «Городок Окуров» есть замечательная сцена, в которой словно предугадывается характер русской революции. Провинциальный городовой, услышав о том, что в Питере «свобода всем вышла», «плевал в стену и спокойной говорил: „Теперь такое начнется,— ух! Теперь каждый каждому все обиды напомнит!“ Городовой был спокоен. Там, где начинается припоминание обид, ему, городовому, всегда найдется работа.

После манифеста 17 октября 1905 года, столкнувшись с «порывистым» проявлением народного сознания, выразившимся в бесчисленных погромах в городах и «грабизжах» в деревне, В. Г. Короленко с горечью писал Н. Ф. Анненскому: «Какая тут, к черту, республика! Выработать в народе привычки элементарной гражданственности и самоуправления — огромная работа, и надоело». Тревога Короленко была близка и Горькому. Догадка, что гибель для революции таится в самом русском народе, мучила Горького задолго до Октября. Следы этой муки можно найти не в одном «Городе Окурове», но и в «Жизни Матвея Кожемякина», «Детстве», даже в романе «Мать». В статье «Две души» писатель лишь открыто высказал то, что читающая публика не желала замечать в его творчестве, упорно считая Горького «народопоклонником».

Но в отличие от своего бывшего учителя Короленко, рассудительно и мудро писавшего о необходимости постепенного социального воспитания народа, Горький подошел к этому вопросу, если можно так

² «Летопись», 1915, № 1.

выразиться, слишком экстремистски. Продолжая тему, начатую в статье «Две души», он пишет в «Несвоевременных мыслях»: «Мы, Русь, — анархисты по натуре, мы жестокое зверье, в наших жилах все еще течет темная и злая рабья кровь... Нет слов, которыми нельзя было бы обругать русского человека, — кровью плачешь, а ругаешь, ибо он, несчастный, дал и дает право лаять на него тоскливым собачьим лаем, воем собаки, любовь которой недоступна, непонятна ее дикому хозяину, тоже зверю».

Способ распределения продуктов труда, при котором любой чиновник от первого до четырнадцатого класса получал больше, чем средний крестьянин-труженик, а тем более рабочий, породил в головах «фетиш распределения», оказавшийся, по мнению Горького, душой русской революции. Лозунг «Грабь награбленное!» приводит писателя в бешенство своей изначальной нелепостью:

«Грабят — изумительно, артистически; нет сомнения, что об этом процессе самоогрбления Руси история будет рассказывать с величайшим пафосом.

Грабят и продают церкви, военные музеи, продают пушки и винтовки, разворовывают интендантские запасы, — грабят дворцы бывших великих князей, расхищают все, что можно расхитить, продается все, что можно продать, в Феодисии солдаты даже людьми торгуют: привезли с Кавказа турчанок, армянок, курдов и продают их по 25 руб. за штуку. Это очень «самобытно», и мы можем гордиться — ничего подобного не было даже в эпоху Великой Французской революции».

Горький и здесь выделяет в русском национальном характере «две души»: «пламенность» и «равнодушие». Они противоречат друг другу лишь на первый взгляд, на самом же деле тесно связаны между собой. Русский человек легко поддается пафосу, когда речь идет о чем-то дальнем (например, коммунизме), и холодно-равнодушен ко всему, что окружает его в данный момент. Отсюда проистекает, согласно Горькому, особого рода «русская мораль», в которой самые высокие принципы сочетаются с отсутствием узаконенных норм каждодневного поведения.

«Морали, как чувства органической брезгливости ко всему грязному и дурному, как инстинктивного тяготения к чистоте душевной и красивому поступку, — такой морали нет в нашем обиходе», — заявляет Горький.

Откройте любой из наших нынешних литературных журналов и загляните в какую-нибудь статью — вы сразу же наткнетесь на рассуждения о «морали», «нравственности» и «духовности». Ни одна литература мира не рассуждает, наверное, так много об этих предметах. Но что они конкретно означают для нас? Горький, например, особенно настаивает на необходимости здравого смысла по отношению к самим себе, именно его он в душе русского народа не находит. Она, эта душа, готова скорее к подвигу, чем к поступку, скорее к моральности высших проявлений духа, чем к морали в обиходе. В этой парадоксальности русской природы Горький видит источник

«моральной сумятицы, среди которой мы привыкли жить». Писатель делает тревожный вывод: «...я особенно подозрительный, особенно недоверчиво отношусь к русскому человеку у власти, — недавний раб, он становится самым разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть владыкой ближнего своего».

О добродушии русского человека сказано немало высоких слов, и не только нашими соотечественниками. Но у Горького и это душевное качество неразрывно связано с «русской жестокостью». Имеет место порочный круг: «непонятное добродушие», нежелание и неумение в каждый данный момент отставить свое личное достоинство рано или поздно ведут к чрезмерному накоплению обид в душе. А внезапно вспыхнувшая в результате жестокость, как правило, обращается против самих же русских.

Тут уместно будет привести отрывок из книги Горького «О русском крестьянстве» — пожалуй, самого несправедливого творения его ума. Автор фактически попытался списать на счет крестьянства все народные грехи, вряд ли до конца осознавая масштаб государственного произвола, творившегося (но еще более готовившегося!) по отношению именно к этому классу. Налицо явный «провал» социального чутья Горького, многое объясняющий в его поведении в 30-е годы. Однако поразительный монолог командира Красной Армии, бывшего участника войны с германцами, который приводит писатель в этой книге, весьма поучителен:

«Внутренняя война — это ничего! А вот междоусобная, против чужих — трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню, — чего она стоит! Она и сама спореда бы в свой срок. И, вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию — Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйства! Какое величественное хозяйство раззоряли мы по неизвестной причине. Тошнотал!»³

«Несвоевременные мысли» — это страстный отчет о том, что, с точки зрения Горького, «тяготит и путает» людей, что в гораздо большей степени является причиной трагедии русской революции, нежели просчеты революционных партий. Писатель видит, как жестоко страдает народ, но основную ответственность за это возлагает не на внешние силы, а на самого страдальца. В этом главный этический пафос «заметок о революции и культуре».

«Бесспорно, — пишет Горький, — часть вины за то, что мы бессильны и бездарны, мы имеем право возложить на те силы, которые всегда стремились держать нас далеко в стороне от живого дела общественного строительства... Все это — бесспорно, однако следует, не боясь правды, сказать, что и нас похвалить не за что. Где, когда и в чем за последние годы неистовых издевательств над русским обществом в его

³ Максим Горький. О русском крестьянстве. Берлин. Издательство И. П. Ладьянникова. 1922, стр. 21.

целом,—над его разумом, волей, совестью,—в чем и как обнаружило общество свое сопротивление злым и темным силам жизни?»

Пассивное отношение к жизни в русском человеке, считает писатель, особенно ярко проявляется в «тяготении к равенству в ничтожестве». Быть «ничтожным» «проще, легче, безответственней». Людей, которые чем-то выделяются на фоне общей массы, не любят на Руси даже в том случае, если они активно пытаются защищать не только свое достоинство, но и честь ближнего. Но русская натура в изображениях Горького двойственна. Наряду с нелюбовью к «героям» он отмечает в народе страстную тягу к «праведникам», как бы оправдывающим самим своим существованием будничные грехи обыкновенных людей.

Конечно, писатель верил в революцию. Но понимал ее при этом не просто как политический переворот, а как культурную перспективу. Только культура, по мнению Горького, была способна вывести неприкаянную русскую душу из мертвого круга холостого верчения, где нелепая причина рождает не менее нелепое следствие. Только в культуре выдось ему примирение «двух душ»... Отсюда ощущение безысходности, выраженное в «Несвоевременных мыслях»: «Если революция неспособна тотчас же развить в стране напряженное культурное строительство, — тогда, с моей точки зрения, революция бесплодна, не имеет смысла, а мы — народ, неспособный к жизни». Отсюда и еще одно категоричное утверждение: «Где слишком много политики, там нет места культуре».

Как же мог Горький в конце концов пойти на компромисс со Сталиным? Распутать этот тяжелый узел «двух душ» самого писателя нам еще предстоит. Достаточно, впрочем, полистать газеты 1928 года, чтобы понять: Сталин очень умело использовал кампанию «народного ликования» по

случаю первого визита Горького в СССР. Такого триумфа при въезде в собственную страну не знал, наверное, ни один литератор! Выдержать это и не надомиться душевно едва ли было под силу человеку...

Гражданского мужества, политической смелости Горькому было не занимать. В 1917—1918 годах, печатая цикл «Несвоевременные мысли» во «внепартийной» газете «Новая жизнь», он, разумеется, понимал возможные последствия этого акта. Еще в октябре 1917-го в печати выступил Сталин. «Русская революция,— писал он,—ниспровергла немало авторитетов... Мы боимся, что лавры этих «столпов» не дадут спать Горькому. Мы боимся, что Горького «смертельно» потянуло к ним, в архив».

После насильственного закрытия «Новой жизни» в июле 1918-го Горький издает «Несвоевременные мысли» отдельной книгой, по-новому располагая статьи с учетом главной темы «Революция и культура». При этом нарушился хронологический принцип, отдельные статьи выпали вовсе, но отчетливее проявился жанр: не собрание политических памфлетов, а философская эссеистика.

Эта книга и легла в основу настоящей публикации. Приятно отметить отсутствие каких бы то ни было купюр, приятно и то, что вступительная статья и комментарии написаны И. Вайнбергом со знанием дела, корректно и без нажимов. Но здесь уместно вспомнить, что «Несвоевременные мысли» лишь первое закрытое белое пятно в публицистике Горького 1917—1928 годов. Ждет своего часа брошюра «Революция и культура. Статьи за 1917 г.», изданная на русском языке в Берлине в 1918 году. Совершенно неизвестными остаются многие письма и интервью Горького, относящиеся к тому периоду. Как бы мы ни оценивали их сегодня, читатель имеет право знать в с ю правду о Горьком.

Павел БАСИНСКИЙ.



ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ

- О. А. Добиаш-Рождественская. Культура западноевропейского средневековья. Научное наследие. М. «Наука». 1987. 351 стр.
- О. А. Добиаш-Рождественская. История письма в средние века. Руководство к изучению латинской палеографии. М. «Книга». 1987. 320 стр.
- В. М. Ершова. О. А. Добиаш-Рождественская. Л. Издательство Ленинградского университета. 1988. 112 стр.

Наконец-то труды историка Средневековья О. А. Добиаш-Рождественской (1874—1939) увидели свет. И не только труды, но и книга о ней, написанная с искренней любовью и уважением. Появление этих книг — дань прекрасному и трагическому прошлому наших учителей, связь с которыми мы ныне ощущаем как насущную необходимость ради продолжения жизни и культуры. Идеологическая пропаганда 20—50-х годов, толкая историю в безоглядное будущее, пускала ей пулю в затылок. С середины 50-х начались неистовые поиски прошлого. Тогда-то и возникла

необходимость разбить механизмы, порождающие стертые стереотипы сознания, подавляющие индивидуальные, личностные интересы. Нам дорого досталось осознание мысли, которая полстолетия назад была сформулирована Н. А. Бердяевым (выразившим, замечу, то, что уже около двух тысячелетий знала христианская культура): «Когда личность вступает в мир, единственная и неповторимая личность, то мировой процесс прерывается и принужден изменить свой ход, хотя бы внешне это не было заметно».

В начале 60-х, когда я знакомилась с ее работами, почерком, манерой описывать

рукописи, датировать их, имя О. А. Добиаш-Рождественской было в молчаливой памяти немногих. Теперь же явилась надежда включить ее произведения в современный исторический всеобщ.

В книге «Культура западноевропейского средневековья» не все принадлежит перу О. А. Добиаш-Рождественской. Книга состоит из четырех разделов. Первый включает в себя научные исследования Ольги Антоновны. Второй — смесь, куда помещены некрологи («Памяти Лависса», «Памяти Шарля-Виктора Ланглуа»), воспоминания о С. Ф. Ольденбурге и отзывы на кандидатские диссертации А. С. Баргенева, С. М. Пумпянского и И. В. Арского. В третью вошли избранные письма Ольги Антоновны, а в четвертую — воспоминания о ней И. М. Гревса, Е. Ч. Скржинской, А. Д. Люблинской, А. В. Банк и О. Б. Враской. Неясным образом в этот раздел попала обстоятельная статья Б. С. Кагановича «О научном наследии О. А. Добиаш-Рождественской», которая скорее является послесловием, но никак не мемуарами. К сожалению, не нашлось места для воспоминаний Е. Н. Чеховой, аналитически точных и изящно написанных...

По свидетельствам учеников и сотрудников, Ольга Антоновна была одним из самых блестящих профессоров Высших женских (Бестужевских) курсов и Ленинградского университета. «Если я признаю за собою право назвать О. А. своєю ученицею, то ощущаю и обязанность признать ее превосходшею своего первого учителя в историческом искусстве,— писал о ней И. М. Гревс после ее кончины.— ...Нам горестно ощущать разлуку с нею, но дорого чувствовать, что она была и жила в нашей среде, и с гордостью признавать богатую и ценную работу... плоды которой [она] оставила нам на пользу».

Что же представляла собой О. А. Добиаш-Рождественская как историк? Она была, как пишет Б. С. Каганович, наследницей «традиций русской и французской научных школ, и, по удачной формулировке А. Д. Люблинской, именно эта комбинация сделала из нее „ученого действительно европейского масштаба“». Это справедливое утверждение нуждается в уточнении понятий «школа» (комплекс взглядов?) и «традиция» (преемственность?). Французские учителя Ольги Антоновны, под руководством которых она занималась в рукописных архивах Франции в 1908—1911 годах (прежде всего Ш.-А. Ланглуа, Ф. Лот и отчасти Э. Лависс), тяготели к поколению «универсалов», писавших многотомные всеобщие

истории, истории государств и народов. Поколение же О. А. Добиаш-Рождественской — рядом с ней можно поставить Л. П. Карсавина и ее младших французских современников, М. Блока и Л. Февра, основавших в 1929 году знаменитую школу «Анналов», — дышало другим воздухом. Связывая развивавшиеся независимо друг от друга программы исследований О. А. Добиаш-Рождественской и основателя «Анналов», Б. С. Каганович подчеркивает, что в центре их находится изображение не стран и народов, а человека с его жизненными проявлениями и разнообразными формами мироощущения. В данном случае, когда речь идет о средневековом человеке, встает вопрос: откуда вдруг возникла у историков настоятельная потребность им заниматься?

Человек этот осознавал себя прежде всего как Божье творение, поставленное в центр мироздания, трагически переживая и свое богоподобие, и свои ничтожество, тленность; абсолютную заданность, несвободу — и столь же абсолютную свободу существа, вышедшего из-под воли Творца; право на дерзание, обусловленное свободой воли, — и ответственность за каждый (свой и чужой) поступок, который в силу смертности человека всякий раз может оказаться последним. Без определения человека этими двумя идеями — причащения и искупления — нельзя понять ни профана с его языческим атавизмом, ни высокобого интеллектуала.

Впрочем, осмыслением человека, исходя из общесредневековых философско-теологических идей, занимались и историки предыдущего поколения. Что же нового привнесли в науку О. А. Добиаш-Рождественская и ученые ее круга?

В начале XX века, когда Ольга Антоновна приступила к исследовательской деятельности, интеллигенция России мучительно обдумывала пути исторического развития, оказавшись лицом к лицу с гигантскими катаклизмами, грозившими человечеству уничтожением. Сама эта угроза подкреплялась опорой на якобы слепые законы, походя сметающие все, что мешает поступательному движению истории. «Предметом истории является человечество», — вынужден был напомнить во «Введении в историю» Л. П. Карсавин. История в эту новую эпоху уже не могла быть просто социально-политической, правовой, экономической, она непременно должна была заявить о себе — в условиях ее разрушения — как история культуры. С этой, смещенной, точкой зрения на историю сам человек виделся

личностью, понятой, правда, как символ группы. Любой, даже средний человек, человек вообще преображался в сиянии духовных ценностей эпохи. Именно таким и показала средневекового человека О. А. Добиаш-Рождественская. Ясно, что история, увиденная с точки зрения культуры, оказывалась не раз навсегда заданной, а многовариантной. Ясно и то, что в эпоху революционного утверждения одного-единственного закона развития такая позиция подлежала исправлению. «Этого интеллигента могила испривит,— возглашал В. Ваганян в рецензии на «Введение в историю» Л. П. Карсавина, опубликованной в журнале «Под знаменем марксизма» (1922, № 3). Именно в те годы перестали издаваться работы Карсавина и Добиаш-Рождественской по истории культуры...

Особо хотелось бы отметить два момента. Судьба многих хороших идей часто зависит не от собственного их содержания, а от проводящих их в жизнь людей. Суть слова зачастую обнаруживается не в самом слове, а во взаимоотношениях слова и человека. Добиаш-Рождественская обладала способностью одушевлять все, к чему прикасалась ее талант. В число источников она включила жития святых, легенды, описания культов и праздников, сведения об агрикультуре и технике, часы, часословы, часовни — все, что так или иначе говорило о времени, «поясняя истину светом повседневности» (Б. Л. Пастернак). Это первое. И второе: творчество Ольги Антоновны приходилось на период, когда возрождалась просвещенческая традиция отношения к Средневековью как мрачной тысячелетней ночи, лишенной какой бы то ни было свободы. «Тысячелетняя ночь! — словно бы изумлялась она.— Даже становиться не по себе перед этим кошмаром. А между тем в эту долгую ночь сколько человечество боролось и искало, какие чудеса социального творчества, искусства, мысли и техники оставило в своих трудовых организациях, изумительном зодчестве, науке и песне, с какой любовью взлелеяло воплощение знания — книгу». Это не столько отзыв ученого, сколько крик обреченного на гибель интеллигента начала века, пытающегося не осудить время, а понять его...

В 1924-м, за год до увольнения из университета, Ольга Антоновна писала в книге «Западные паломничества в средние века»: «Кто имел возможность и силу сохранить ясность мысли и спокойствие духа среди кризисов и страданий совершающегося, кому дано было пред его лицом... «не радоваться, не смеяться, не плакать, но пони-

мать», кто с обновленным опытом снова добросовестно и без предвзятых мыслей будет всматриваться в минувшее, тому история откроет свои тайны».

Критическое изучение, вкус к источникам, непререкаемость оригинала — вот те основания, стоя на которых можно было спасти историю от фальсификации. «Верить или не верить — дело Бога. Долг человека — быть искренним» — эти слова, приведенные в одном из писем историка, в некотором роде были ее девизом. Научная искренность, сопровождаемая скептицизмом по отношению ко всякой тенденции, одушевляла работы О. А. Добиаш-Рождественской. Именно поэтому было столь велико для нее значение повседневных навыков, благодаря которым становилось ясно, как обработать текст, за каким словом идти к Дюканжу (словарь средневековой латыни), за каким — к Форчеллини, какое написание имени — на латыни или национальном языке — стоит употребить, не искажая контекста исследования. Эти «мелочи» она прививала своим студентам, так же как в свое время прививали их ей. Такая «школа научного метода» для многих сотрудничавших с ней людей оказалась незаменимой и нужной на всю жизнь.

Как могло случиться, что в 60-е, оттепельные, годы ученики, свято хранившие память об О. А. Добиаш-Рождественской, признавая, что ее труды «блестяще написаны», что в них «собран ценный материал», объявляли «общие концепции автора принадлежностями безвозвратно ушедшему в прошлое этапу в развитии русской медиевистики»? Не забыли упомянуть и о «духе буржуазной позитивистской науки», которым проникнуты якобы работы Ольги Антоновны..

Мне кажется, что такой оценке способствовала особая нагруженность времени 60-х, когда казалось, что возврата к прошлому нет, что оно полностью преодолено. Появлялись новые исторические, социологические, культурологические теории. Страсть к обновлению и, конечно, память об ужасах прошлого, в котором вольно или невольно все принимали участие, о преобладавшем страхе вызывали желание это прошлое похоронить... Если бы! Ведь в сказанном об Ольге Антоновне настойчиво звучали ноты, рожденные именно прошлым. Чего стоила одна «буржуазная позитивистская наука», этот ярлык, которым снабжали совершенно не похожих друг на друга исследователей — и Ранке, и Фюстель де Куланжа, и Лависса, и Ланглюа! Прописка всех этих ученых по одному адресу была продиктована, на мой взгляд, естест-

веннонаучным взглядом на историю, любое движение мысли подверстывающим под «школу». Но гуманитарная сфера — особая. Тут если и можно говорить о школе, то лишь в смысле выучки, тщательности аналитических методов, трудовых навыков, того, что Ольга Антоновна называла словом «акрибия» — своеобразный знак качества ученого. Во всем другом гуманитарий не принадлежит никакой школе: его характеризуют не посылка и вывод, а язык, вкус, богатство ассоциаций, форм, позволявших, как говорила Добиаш-Рождественская, определить «образ буквы, течение строки и физиономию страницы». (По такому принципу, кстати говоря, построена ее «История письма в средние века».) Свойства гуманитария — неповторимость и незаменимость. Стоит, по-видимому, говорить не о школе, а об учителях, передающих ученикам свое мастерство и воспитывающих в них нравственную ответственность за любую историческую интерпретацию.

Не случайно именно нравственные проблемы стали центром конфликта между О. А. Добиаш-Рождественской и И. М. Гревсом, о чем дают знать опубликованные в «Культуре западноевропейского средневековья» письма Ольги Антоновны к своему учителю. В 1936 году О. А. Добиаш-Рождественская написала И. М. Гревсу, что поставила перед собой задачу «заранее и твердо воздерживаться говорить полным голосом». В ответ на его упрек, что она «так решительно ставит крест» на том, что еще «недавно входило в [ее] научное мирозерцание», Ольга Антоновна отвечает, что сомневается в возможности существования в науке «свободы и истины», и соглашается, что отходит «от себя самой, какой.. была, скажем, десять лет тому назад... что — очевидно — уже и было сильно разрушено необычайным опытом нашей жизни».

«Я не верю в абсолютную силу этических санкций...» Сейчас можно себе представить, какая безумная реальность заставила ее произнести эти слова. Они шли от желания понять и принять новое время. «Этика есть создание нашей духовной работы, не личной, но социальной... Отношения общества трудового, социалистического... создают наилучшую этику... это путь верный. И на фоне этой, в общем своем направлении верной дороги мне действительно искренне и отчетливо видится слабость нашего.. вчерашнего «идеализма», и кажется мне он чуждым и отжившим. Но я вижу возможность — на другом берегу — слияния лучших его эле-

ментов с кующимся (сейчас оно во многом может подрываться жестокостью и захватываться грязными руками), далеко еще не сложившимся мировоззрением, которое лучшие люди на «новых берегах» ищут так же и более страстно, чем [мы] искали на старых».

Искренние ли это строки? Оснований сомневаться нет. Но — и растерянные... Именно в это время ее вызывали к следователю ГПУ. И в это же время она была исполнена тревоги за судьбу выпущенного на волю В. В. Бахтина, своего любимого ученика, которого специально упомянула в предисловии ко второму изданию «Истории письма...» с благодарностью за «существеннейшую помощь»...

К этому времени наметился слом культурологических позиций Добиаш-Рождественской в сторону социально-экономических воззрений, выраженных у нее слабо и косноязычно. Ольга Антоновна судорожно стремилась усвоить то, что выдавалось за марксизм, и слова ее, которыми она пробовала сформулировать «все те иногда очень деловые и очень марксистские вещи», часто звучали как заклинание.

Если попытки забвения трудов О. А. Добиаш-Рождественской в 60-е годы хоть как-то объяснимы, то полнейшее недоумение вызывает подгонка взглядов Ольги Антоновны (занимавшейся, повторю, историей культуры, понятой через морфологическое единство общества) под историко-материалистические схемы, прямо противоположные заявленному ею подходу, уже в наши дни, в конце 80-х. «Отмечая многообразие причин крестовых походов, — пишет В. М. Ершова, — О. А. Добиаш-Рождественская говорила и о зависимости походов «от экономического и социального развития средневековья, от его политической эволюции»... Заслуживает внимания и тот факт, что О. А. Добиаш-Рождественская обратилась к характеристике социальных порядков во вновь возникших на Востоке государствах крестоносцев, причем ее интерпретации не только характер взаимоотношений между вождями крестоносного движения и феодалами, но и значительно ухудшившееся положение местных крестьян в этих государствах». Ну а как же иначе, если рассматривать морфологию общества! Я не против утверждения, что крестьяне жили плохо. Я против назойливого подверстывания всех многообразных глубинных социальных и духовных связей к экономическому базису, что в данном случае обедняет культурологические позиции О. А. Добиаш-Рождественской. В. М. Ершо-

ва, оценившая О. А. Добиаш-Рождественскую именно как историка культуры и зачинателя социально-психологических исследований, сама же мимоходом отказывает ей в этих характеристиках, возвращая читателя к тому самому «вульгарному социологизму», против которого, казалось бы, и направлен пафос ее книги. То же теоретическое недоумение возникает и тогда, когда автор зачем-то заставляет Ольгу Антоновну «преодолевать» свои дореволюционные искания и «сознательно и охотно воспринимать влияние идей исторического материализма». По письмам Добиаш-Рождественской мы знаем, что происходило это не очень сознательно и не слишком охотно... К тому же культурология и исторический материализм вещи очень разные; «охотная» смена одного другим свидетельствовала бы о методологической беспринципности О. А. Добиаш-Рождественской.

В свете трагических коллизий, случившихся на жизненном пути ученого, странно находить в книге В. М. Ершовой (и в послесловии Л. И. Киселевой к «Истории пись-

ма...») такое изложение ее биографии, будто никакой драмы не было: родилась, училась, по собственной воле переключалась с одной работы на другую, окруженная благодарными учениками... Будто не было увольнений, невольных предательств, страха, той «великой чересполосицы — инстинкта самосохранения и интеллигентских привычек. научно-исторического мышления и растерянности», о которой писала Л. Я. Гинзбург и что не только не умаляет, а скорее просветляет огромный духовный опыт ученого.

Если бы благополучный перечень заслуг Ольги Антоновны перед нашей исторической наукой вышел до 1985 года, вряд ли кто-либо (и я в том числе) осмелился бы выразить какие-либо претензии к нему — вспомнили, и то слава Богу. Но на дворе, то бишь на титуле книги, год 1988. А это «дистанция огромного размера», ко многому нас обязавшая, и прежде всего — к освобождению от страха.

Светлана НЕРЕТИНА.



ОДНА НА ВСЕХ ЭКОНОМИКА

Л. И. Пияшева, Б. С. Пинскер. Экономический неоконсерватизм: теория и международная практика. М. «Международные отношения». 1988. 255 стр.

Книга издана в серии «Критика буржуазной идеологии и ревизионизма». Привычно ожидается очередное «разоблачение классовой сущности» при полном отсутствии сведений о предмете разоблачения. Однако авторы приятно разочаровывают своих читателей...

Л. Пияшева и Б. Пинскер рассказывают о политическом направлении, названном «экономический неоконсерватизм» и провозгласившем возврат к традиционному, то есть либеральному, рыночному, негосударственному капитализму. Но позвольте, спросит непосвященный читатель, к какому еще капитализму должны возвращаться страны капитала? И от чего возвращаться?

Придется вместе с авторами книги начать издавать, с послевоенных лет. В то время на Западе были необычайно привлекательны идеи социализма. Например, победившие на выборах в 1945 году английские лейбористы объявили целью своей политики «создание социалистической республики Великобритании» и в последующие годы провели частичную национализацию промышленности, создали национальную службу здравоохранения, расширили систему социального обеспечения. Эти меры оказались настолько популярны, что и консерваторам пришлось поддерживать их,

чтобы сохранить свое участие в политической жизни. Во всех западных странах принимались законы об охране труда, о социальном страховании, помощи бедным, бесплатном образовании и медицинской помощи, о национализации целых отраслей промышленности. Средства на это добывались путем увеличения налогов, и все большие массы денег разными путями перераспределялись от относительно богатых к относительно бедным. В то время все хорошо помнили экономическую депрессию 30-х годов и от общественно-экономической системы требовали в первую очередь гарантий, что подобное не повторится. Было признано, что нерегулируемая рыночная экономика не обеспечивает этой задачи и необходимы государственные службы по планированию, управлению и контролю.

Словом, за послевоенные десятилетия западные общества сделали большой шаг к социализму. Он не был замечен лишь нашей общественной наукой, вероятно, потому, что она понимала под социализмом отнюдь не свободу и благосостояние людей...

Размеры налогов и соответственно правительственных расходов возрастали от десятилетия к десятилетию. В США в 1913 году налогами на общую сумму 35 миллио-

нов долларов облагались не более 400 тысяч человек. Начальным уровнем налога был 1 процент на первые 20 тысяч долларов годового дохода. В начале 70-х годов налогами облагались уже 55 миллионов человек — на общую сумму 85 миллиардов долларов, начиная с 20 процентов на первые 20 тысяч долларов годового дохода.

Куда уходили эти огромные средства? Основной статьёй расхода стали затраты на социальные нужды, пенсии, пособия. В 1960 году их общая сумма была значительно ниже расходов на оборону, а в 1982 году они достигли 50 процентов государственного бюджета, почти вдвое превысив военные расходы. В абсолютном исчислении они выросли с 25 миллиардов долларов в 1960 году до 400 миллиардов в 1982 году. Важной статьёй расходов были также субсидии отстающим отраслям промышленности.

В целом эта политика, опиравшаяся на бурный экономический рост, была успешной и популярной. В западных странах господствовала политическая стабильность, идеологическая борьба смягчилась. Социал-демократы отказались от планов всеобщей национализации, считая, что социальная справедливость достижима и без этого. Консервативные партии также прошли свою часть пути к компромиссу, допуская расширение сферы государственного регулирования для обеспечения эффективности производства и устранения недостатков системы свободной конкуренции. Различия между партиями стирались, партии из классовых превращались в народные.

Однако такой политический курс имеет естественные ограничения. Со временем налоги могут съесть все доходы граждан, а социальные платежи превысить государственный бюджет. Но еще до достижения этого предела начинается накопление нежелательных тенденций. Предприниматели тратят все больше усилий не на повышение конкурентоспособности производства, а на борьбу за государственные субсидии и на поиски «налоговых убежищ», то есть способов получить налоговые льготы. В ту же сторону начинают смотреть и граждане. Поскольку повышение заработка в условиях прогрессивного налога неэффективно, они направляют основные усилия на то, чтобы урвать больший кусок социальной помощи, скрыть свои доходы от налогов. Списки лиц, которым полагается помощь, начинают стремительно расширяться.

Соккрытие доходов проявляется в таком странном для капитализма явлении, как теневая экономика. Речь идет не об орга-

низованной преступности, а о вполне добросовестном производстве, хотя и тайном. Такая работа, свободная от налогов, оказывается в 2—3 раза более выгодной, чем основная деятельность. Из книги мы можем узнать, что к концу 70-х годов в развитых капиталистических странах имелись, по оценкам, 16 миллионов тайно занятых на производстве при 20 миллионах официальных безработных. В Западной Европе теневая экономика давала не менее 5 процентов валового национального продукта, в США — еще больше.

Для борьбы с этим явлением предлагалось принять специальные законы, создать инспекции, наделенные карательными полномочиями. Обсуждение проблемы, однако, показало, что расходы на инспекцию перекроют полученную выгоду и что куда выгоднее ликвидировать причины явления, чем обострять конфликт миллионов людей с законом. (Подобные подсчеты, думается, могли бы принести и нам немалую пользу.)

Массовое перераспределение доходов, подчеркивают авторы книги, имеет еще одну неприятную сторону: растет аппарат перераспределения, государственная бюрократия. Не участвуя в производстве, она занимает все более важные позиции в обществе. Бюрократия всегда и везде действует по одинаковым законам, и в результате ее деятельности расходы увеличиваются, дела ухудшаются, власть концентрируется в аппарате, а гражданские свободы уменьшаются. Например, в Англии и Америке были осуществлены дорогостоящие программы государственного жилищного строительства. Это немедленно привело к уменьшению в 5 раз числа сдаваемых в аренду дешевых квартир, к появлению жилищного дефицита, к снижению свободы выбора места жительства, к взяточничеству среди чиновников, распределяющих жилье, — короче, ко всему тому, что нам хорошо известно на собственном опыте.

Естественным итогом всех этих процессов стало снижение темпов экономического развития. В США производительность труда возрастала в 1947—1965 годах на 3,2 процента в год, в 1965—1976-м — на 1,9 процента, в 1976—1979-м — на 0,5 процента, а в 1980 году «прирост» был отрицательным. Одновременно ускорялся рост инфляции.

Критики социал-демократического «государства благоденствия» — неоконсерваторы — заявляли, что высокие налоги деморализуют общество и губительно влияют на экономическое развитие. Они ссылались на исторические прецеденты (в США в

20-е и в 60-е годы), когда при снижении налоговых ставок общее количество взимаемых налогов увеличивалось благодаря росту деловой активности. Они утверждали, что сокращение налогов укрепит позиции тружеников и ослабит иждивенческие настроения, что ликвидировать субсидии отстающим предприятиям значит повысить производительность и конкурентоспособность экономики. Неоконсерваторы призывали преодолеть потребительскую психологию, привести в порядок государственные бюджеты, сбросить груз чиновничьего бюрократизма и вернуть экономику к традиционным либеральным ценностям: к рынку, конкуренции, прибыльности. При этом они заявляли о своей приверженности демократическим правам и свободам, достигнутым в 60-е годы, и вообще не требовали полного возврата к старому, нерегулируемому капитализму, способному не только достигать чудес производительности, но и оборачиваться таким кошмаром, как кризис 30-х годов. Механизм государственных гарантий, позволяющих избежать этого, должен был сохраниться.

Представители неоконсервативного направления — М. Тэтчер в Великобритании и Р. Рейган в США — победили на выборах в 1979 и 1980 годах. Первоначально, как показано в книге, оба лидера встретились со значительными трудностями. Момент изменения курса в экономике делает явными все ошибки и противоречия, накопленные за время предыдущего курса. Так, сокращение государственной производительности резко повысило безработицу и породило волну банкротств среди нерентабельных предприятий. При этом сократить государственные расходы тоже не удалось из-за возросшего числа пособий по безработице. Другой трудностью была инерция общественного мнения. Тэтчер в реализации своих планов столкнулась с сопротивлением парламента, Рейган — конгресса. В США сократить налоги удалось быстрее, чем уменьшить правительственные расходы, в результате чего в 1982 году страна имела рекордно высокий бюджетный дефицит. Однако возросшее доверие избирателей позволило Рейгану в течение второго, а Тэтчер и третьего срока осуществить свои планы и добиться первых успехов.

В Англии рост валового национального продукта в 1981 году составил 1,5, а в 1985-м — уже 3,5 процента. В 1985—1986 годах экономика страны развивалась быстрее, чем экономика Франции, ФРГ, США,

Японии. С 1980 по 1985 год производительность труда росла на 5 процентов в год (между 1973 и 1980 годом — на 0,7 процента). Выросла конкурентоспособность — объем экспорта английских товаров обрабатывающей промышленности с начала 1984 до конца 1985 года вырос на 10 процентов в год. Жизненный уровень подавляющего большинства населения возрос.

В США начавшийся в 1983 году подъем оказался самым энергичным за весь послевоенный период. Валовой национальный продукт рос на 8 процентов в год, производительность труда — на 3,3 процента, занятость — на 6,5 процента. Увеличился экспорт. Резко сократилась инфляция — с 14 процентов в 1980 году до 4 процентов в 1985 году. Значительно поднялся курс доллара.

В 80-е годы консервативное движение было поддержано и в других странах капиталистического мира. «В ФРГ, Франции, Японии и других странах у власти находится правительство консервативного лагеря, — констатируют Л. Пияшева и Б. Пинскер. — Социал-демократические партии Западной Европы и демократическая партия США, первоначально воспринявшие враждебно новый экономический курс консервативных правительств, на глазах эволюционируют в сторону экономического либерализма, приспособлявая свои программы к требованиям структурной перестройки и ускорения научно-технического прогресса, все дальше отходя от идей национализации, от планов расширения сферы государственного вмешательства, государственного планирования и т. д.»

Какова оптимальная степень обобществления народного хозяйства? История последнего столетия предлагает здесь полный спектр вариантов, от полностью частно-предпринимательской буржуазной экономики XIX века до стопроцентного обобществления в народных коммунах Кампучии времен красных кхмеров. Оптимальное место на этой шкале находится довольно легко — оно там, где народное хозяйство функционирует наиболее эффективно. (Конечно, это верно только в том случае, если для нас важнее эффективность экономики, а не некие принципы, которыми мы не можем поступиться.) Сейчас стало понятно, что степень обобществления, достигнутая в нашей стране, чрезмерна, и мы пытаемся сделать шаг в сторону ее уменьшения. Из рецензируемой книги мы неожиданно узнаем, что и западные страны в последние десятилетия находились в области чрезмерного обобществления и что сей-

час они движутся в ту же сторону шкалы, что и мы.

Налоги, социальная помощь и справедливость — все это необходимые и хорошие вещи. Вопрос в том, чтобы стремление к социальной справедливости не тянуло бы вниз все общество. Хорошо работающий богат. Плохо работающий беден. Это несправедливо. Отнимем у богатого и передадим бедному. Богатый перестанет работать — все равно отнимут. Бедный перестанет работать — все равно дадут. И появится третий — служащий министерства справедливости. Ничего сам не производя, он отнимает и дает, не забывая при этом и себя. Туда, в сферу перераспределения, устремятся таланты и энергия людей. Успехом и уважением начнет пользоваться не тот, кто умеет работать, а тот, кто умеет достать. Такова вкратце мораль из истории социал-демократических десятилетий на Западе.

В книге есть еще много поучительных сюжетов. Вот, например, замечание о ценах: «Основополагающая функция (цен.— В. А.) — эффективная и дешевая передача информации, необходимой экономическим агентам для принятия решений о том, что и как производить и как использовать ресурсы». Как хорошо смотрелись бы эти слова на мраморной доске у входа в Госкомцен!

Научный лидер неоконсерваторов Ф. Хайек в свое время утверждал: «Размер национального дохода зависит не от «усердной работы», а от того, чтобы производить «правильные» (имеющие спрос) вещи «правильным» (наиболее эффективным) способом в «правильное» (определяемое потребителями) время. Это решается через рынок и конкуренцию, которая принуждает производить, используя наименьшее количество ресурсов». Это высказывание, процитированное авторами книги, позволяет понять, почему, производя так много плоти, каналов и алюминия, мы так мало повышаем свой жизненный уровень.

Заставляет задуматься книга и об «общественном фонде потребления», который наши учебники трактуют как бесспорное достижение. Сначала государство забирает у работника весь произведенный им продукт, оставляя ему зарплату на уровне прожиточного минимума или ниже (если подразумевается, что недостающее он сумеет украсть), а потом возвращает ему в виде подарка «бесплатную» квартиру (решив без него, в каком доме и какой пло-

щади), «бесплатную» путевку (на то время и в тот санаторий, какие остались), соответствующее здравоохранение, образование, воспитание детей и т. д. Унифицированный набор «бесплатных» благ лишает человека свободы выбора, а все общество — многообразия. К тому же немалых расходов требует сам аппарат распределения.

Актуальны для нас и сведения о двух стратегиях, которые применяли слаборазвитые страны для выхода из своей отсталости. Один путь — развивать экспортные отрасли хозяйства и участвовать в международном разделении труда. Другой — производить все необходимое у себя дома. Вот результат: «Поощрявшие экспорт страны Азии достигли гораздо большего процветания, чем страны, ориентированные на замещающие импорт отрасли промышленности... Ориентация на развитие импортозамещающих отраслей, как правило, неконкурентоспособных, усиливает вмешательство правительства в управление экономикой, повышает роль административных механизмов и превращает протекционизм в стержень торговой и промышленной политики». Можно понять эмоциональное недовольство тех, кто указывает на «колониальный», сырьевой, ресурсный характер нашего экспорта, но чтобы исправить положение, недостаточно одних благих пожеланий. Опыт других стран показывает, что доходы от экспортных отраслей надо тратить прежде всего на поддержание их в развитом состоянии, в том числе и на импорт потребительских товаров для их работников, и только излишки постепенно направлять на подъем других отраслей.

...До недавних пор какие-либо знания об экономической системе, с которой мы разделяем одну планету, были нам не только труднодоступны, но в общем-то и не нужны. Их экономика развивалась по своим законам, наша административная система — по своим, ничего общего с теми не имеющим. Сейчас стало иначе. Мы допустили в свое административное хозяйство элементы экономики (или, если быть точным, мы стали говорить о возможности введения в него элементов экономики). И сразу наш взгляд на Запад изменился.

Знание экономических теорий из вещи экзотической и бесполезной может стать вещь практически нужной. Это видно уже и по рецензируемой книге.

Виктор ЛЕГЛЕР.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЦЕНА МНЕНИЙ: НЕСПЕЦИАЛИСТА И СПЕЦИАЛИСТОВ

В № 9 «Нового мира» напечатана статья Алеся Адамовича «„Честное слово, больше не взорвется“, или Мнение неспециалиста». Вслед за этой статьей идут две комментирующие и отвергающие ее заметки специалистов, уверяющих, что с Чернобылем все спокойно. Кто прав? А быть может, все правы, но каждый по-своему? Может быть, пора прекратить разговоры о Чернобыле?

Все бы хорошо, но ничто не облегчит существования сегодняшних жертв радиационных аварий, участи будущих поколений и новых жертв, если вслед за такими специалистами все будут молчать.

Эти специалисты, слишком быстро клюнув на подброшенную им наживу в словах «мнение неспециалиста», бросились на выдающегося советского писателя, публициста, гражданина со всем своим арсеналом более чем сомнительных, много раз публиковавшихся аргументов в защиту нынешней атомной энергетики, в защиту широковетательных заверений, что в чернобыльском регионе все в порядке и жителям ничто не угрожает.

А о чем говорит статья А. Адамовича? Что не в результате стихийного бедствия, не в темном лесу, а на самом передовом, самом чистом предприятии — атомной электрической станции — во время плановой работы произошла авария и радиоактивные осадки засыпали огромные районы родной земли писателя. Это что же — единственная авария по вине специалистов? Разве «Нахимова» вел случайный человек? Разве взрыв железнодорожного состава в Арзамасе с пятидесятиметровой воронкой произошел по вине молнии, ударившей в бак с бензином (какой-то специалист ведь дал разрешение грузить в одну емкость столько взрывчатки, что и город снести можно)? Разве не повторилась такая же авария в Свердловске? Разве около Болотога сгорел пассажирский поезд из-за пьяного стрелочника? Нет, во всех случаях виновны специалисты. Плохие? Да. Может быть, уничтожение Аральского моря и превращение в пустыню огромных пространств произошло по вине неграмотных пастухов, козы которых съели в древности ливанские кедры? Нет, пастухи ни при чем. Ну, может быть, наконец, Азовское море зацвело в этом году из-за того, что где-то Геркулес разом вычистил древним способом все конюшни вокруг Дона? Нет. Конюшен этих на Дону уже нет, а лошадей свели не крестьяне, а московские «специалисты» по сельскому хозяйству. Может быть, не в нашем, а в чужом краю истари селившийся по берегам больших и малых рек народ согнали с насиженных мест для затопления самых ценных пойменных земель? Это все было у нас. А может быть, и дальше так будет? Будет, если неспециалисты наконец не одернут так называемых специалистов, перегруженных званиями, наградами, но не знаниями и не слугами перед своим народом.

Мы пожинаем богатый урожай, посеянный диктатурой, когда и чины и звания раздавались захватившей власть кучкой малограмотных людей, убравших настоящих ученых практически из всех областей науки. А если и остались выдающиеся физики и математики, инженеры и врачи вне тюрем, то ведь от них вузы и факультеты университетов были избавлены и народившееся новое поколение питалось уже в значительной мере суррогатом науки. Именно поэтому аварийность у нас не является случайностью, она — закономерна.

А. Адамович говорит, что атомные электростанции ставятся в густонаселенных районах, где им не место. Разве это крамольная мысль? Надо очень не любить свою страну или надо быть очень далеким от своего народа проектантом, чтобы не дрогнула рука разместить АЭС на единственной и небольшой равнине, самой плодородной в республике, — Араратской долине. Столько ущелий пустынных в горах! Так нет же, давай в нескольких километрах от Еревана, среди полей и садов. К северу от Крыма полно малонаселенных мест. Куда там! Давай строить АЭС на курорте. Разве в Крыму так уж велики промышленные потребители энергии? Можно ли себе пред-

ставить, хоть в страшном сне, что вдруг немцы с их бедностью топливными ресурсами запрудят Рейн, а жителей прибрежных городов и деревень под вой фанфар в честь всенародной стройки прогонят с берегов куда-нибудь подальше? А ведь над Енисеем такая угроза все еще висит, а Волгу добивают. И проводники этих бредовых идей сидят в научно-исследовательских институтах, а не в министерствах, как это принято изображать. Все проекты скреплены подписями весьма титулованных особ, как правило — с академическим нимбом.

Давайте посмотрим на все с самого начала и обсудим только то, что известно всему народу. В аварии на самой станции никаких мер защиты персонала не использовалось: респираторов, бахил, сапог не было ни у кого, даже у пожарных (а в Москве у пожарных есть противогазы). Если бы пожарные имели давно употребляемую маску атомных производств — респиратор, смертельных исходов и тяжелых больных было бы существенно меньше. Защита дыхательных путей от радиоактивных газов с помощью респиратора — абсолютно обязательное условие работы в атмосфере, загрязненной радиоактивными газами. Основные поражения кожи пострадавших были вызваны радиоактивными газами — носителями малопроникающих частиц. Поэтому там, где ноги были прикрыты носками и обувью, поражений у большинства пострадавших не было. Но газы проходили под брюки, под рукава рубах, и соответственно току газов выявлялись лучевые поражения: наиболее выраженные на местах входа газов и пара — голени, предплечья, — постепенно убывающие по пути от места проникновения. А если бы были сапоги и перчатки? Или матерчатые бахилы? За всем этим стоят, с одной стороны, специалисты, отвечающие за радиационную безопасность персонала именно в случае аварий, а с другой? С другой — жители Припяти, Чернобыля, крестьяне ближних и дальних деревень.

Ну а как с ними обстояло дело? Когда по всей округе неслись потоки радиоактивных газов, может быть, радио на площадях оповестило среди ночи жителей, что надо немедленно принять заранее приготовленные в зоне АЭС таблетки с йодистым калием (чтобы занять нерадиоактивным йодом место в щитовидной железе и тем самым не пустить туда йод радиоактивный), что утром из домов до особого разрешения выходить нельзя и т. д.? Нет, об этом радио ничего не говорило. Все глотали радиоактивный йод из воздуха и из загрязненных им продуктов, а утром — одни дети пошли в школу, другие играли на улице, взрослые копались на огороде. Зачем морочить голову читателям, что радиационных поражений у жителей не было? Соотечественникам можно все подавать на стол — привыкли. Но женщину с выраженными радиационными ожогами голени и стоп, вскапывавшую свой огород 26 апреля 1986 года (авария произошла в ночь на 26 апреля), в киевской клинике видел Роберт Гейл. Да, острой лучевой болезни у жителей, находившихся вне аварийной зоны АЭС, действительно не было, но поражение кожи ног было по крайней мере у двоих (это ведь местная доза около полутора тысяч рад), поражения щитовидной железы касаются огромного числа людей. Все это целиком на совести специалистов, которые не только не занимались подготовкой населения к возможной аварии, не только не снабдили его необходимыми мерами и средствами сигнализации, медикаментозной и механической защиты от радиационных выбросов АЭС, но и при случившейся аварии молчали и не предприняли простейших мер защиты. Здесь не имеет смысла оправдываться тем, что все-таки население было эвакуировано. Да, было, но с грубым опозданием, когда факт переоблучения жителей уже имел место. Вопрос об эвакуации решался на уровне высших государственных инстанций, тогда как этот простейший для грамотного и честного профессионала вопрос носит сугубо местный и количественный характер: при определенных уровнях радиации население должно быть защищено или эвакуировано. Такого рода инструкции должны быть известны на местах, чтобы защита была действенной, расчет на решения правительственной комиссии всегда обернется трагедией. Нет оснований упрекать героическую работу людей, правительственную комиссию в том числе, по устранению последствий аварии, но не правительство должно решать вопрос об эвакуации, а местные органы власти на основании точных и ясных дозиметрических данных. В основе трагедии лежит опять чисто профессиональная ошибка — сокрытие от органов здравоохранения данных дозиметрических служб. Может быть, все боялись паники: да знаете, народ у нас темный? Да нет. Эвакуация Припяти прошла за полтора часа без всякой паники. Бездействие можно объяснить лишь профессиональной неподготовленностью специалистов.

В решении проблемы эвакуации позиции часто были полярными: так называемые чиновники Минздрава требовали максимально учитывать интересы населения и не повышать допустимых доз радиации, а вот так называемые специалисты, ополчившиеся на писателя, вели себя, мягко выражаясь, не лучшим образом. Наверное, жители Гомельской области, о полной осведомленности которых так бойко пишет оппонент А. Адамовича, врачи, которые будто бы все знают о дозах радиационных загрязнений их пациентов и которым якобы вовсю помогают специалисты республики и всей страны, скажут свое мнение об авторе, а лучше — о его тексте.

Но ведь в действительности все обстоит гораздо хуже, чем пишет специалист из Института биофизики. Да, в Киеве создан научный центр, в задачу которого, в частности, входит организация и оказание помощи населению пострадавших районов. Создан соответствующий институт в Минске (без стационара). Но в пострадавших районах медицинская помощь осталась прежней. Значит, со всеми своими болезнями жители этих районов по-прежнему обращаются к своим врачам, вооруженность которых современным оборудованием, медикаментами далека от идеала. Можно ли поправить дело и как? И можно, и нужно, и будет поправлено в ближайшее время. Кем? Работниками Минздрава СССР, которые должны перестать верить плохим специалистам-агитаторам. Есть ли где-нибудь за рубежом образцы такой помощи? Есть. В Хиросиме и Нагасаки в 50-е годы были созданы специальные диспансеры, хорошо оснащенные современным оборудованием. В этих диспансерах раз в год обязательно осматривают пострадавших в атомной бомбардировке. В эти диспансеры они могут обращаться по поводу любого заболевания. Вот и все. А результат оказался поразительным: пережившие атомную бомбардировку люди хотя и заболевают опухолями несколько чаще других своих соотечественников, но в целом живут несколько дольше именно за счет отлично поставленной диспансеризации. А ведь в Японии очень высокая средняя продолжительность жизни, и прибавка к средним цифрам нескольких месяцев достигается огромным трудом.

Сделать надо не так много. Открыть диагностический диспансер в Гомеле, затем в Могилеве и Брянске. Оснастить диспансеры всем хорошо известным набором онкологической диагностической аппаратуры. Ввести в штатное расписание районных медицинских служб независимо от количества жителей в районе (если районы малонаселенные) специалиста по заболеваниям крови и специалиста по заболеваниям желез внутренней секреции (чтобы оказывать помощь и рано диагностировать болезни щитовидной железы). Вручить каждому жителю пострадавших районов медицинскую карточку, которая ему открывает двери любого медицинского учреждения страны (но ни у кого не появится желание куда-нибудь ехать, если дома будет лучше, чем в Москве). Снабдить медицинские учреждения пострадавших районов всеми сведениями по радиационной обстановке в конкретных местах, о степени загрязнения радиоактивным цезием конкретных лиц. Во всех этих вопросах должна быть абсолютная ясность, по крайней мере для врачей.

Что обнаружила в вопросе нашей научной подготовленности прошедшая авария на Чернобыльской АЭС? Например, официально утвержденная доза йодистого калия, который надо немедленно принимать при подозрении на загрязненность атмосферы и продуктов радиоактивным йодом, была завышена почти вдвое против того, что рекомендуют на Западе. Это завышение не имеет никакого значения для единичных случаев (теоретически лучше принять больше), но когда речь идет о десятках миллионов пострадавших, такая неточность в дозировке оборачивается нехваткой препарата и поражением огромного числа людей. Йодистый калий, как известно, можно заменить приемом нескольких капель простой настойки йода. Тогдашний заместитель министра здравоохранения СССР А. Г. Сафонов попросил специалиста сказать, сколько же капель можно и нужно принять и как принять. Последовал ответ — четверть чайной ложки на полстакана воды. Автору предложили это сделать тут же самому. Выпить он не смог, конечно. В действительности больше трех капель на стакан выпить трудно и не нужно. Что знают наши врачи о действии так называемых малых доз радиации на человека? Обычные врачи больниц и поликлиник не знают почти ничего, и это понять можно: слишком редко им приходится иметь дело с радиацией. Но быть может, они легко получают эти сведения из наших учебников, сборников научных работ? Нет, вопрос этот детально изучен и описан лишь японскими и американскими авторами, опыт которых не очень хорошо и совсем неполно приводится в наших книгах. За доказательствами бегать далеко не надо. Автор статьи в адрес А. Ада-

мовича утверждает, что опухоли, возникшие под влиянием радиации, нельзя отличить от таковых, возникающих независимо от нее. Все мы так считали, но давно. Отличия есть, и они носят принципиальный характер. Радиационные лейкозы помечены характерными хромосомными поломками. Никакой статистики по частоте опухолевых и иных заболеваний в связи с действиями малых доз радиации у нас в учебниках нет. А ведь атомную промышленность мы создавали сами и кое-что знаем, но молчим. Зачем же такие знания, если их в нужный момент, каким оказался Чернобыль, не оказалось?

Речь идет не только о судьбах людей, ставших жертвой безграмотных специалистов. Для разработки мер будущей безопасности населения Земли, которому могут угрожать и впредь малокомпетентные специалисты, нужна вполне гласная система мер предупреждения. Ведь сущность демократии как раз и заключается в том, что народ, а не каста, не элита, определяет свою жизнь. Сегодня аварийность достигла таких размеров, что оставлять ее на попечение избранных судьбы, а не общества, уже опасно, хотя во много раз труднее становится работать специалистам в таком обществе, будь то специалисты в политике или хозяйстве.

Высокие дозы радиации угрожают любому жителю Земли, но вероятность глобального, планетарного воздействия промышленных радиоактивных выбросов столь мала, что ею обычно пренебрегают. Однако в окружении атомной станции такая вероятность реальна. В связи с этим в некоторых странах в радиусе нескольких десятков километров вокруг АЭС медицинский персонал специально обучается мерам профилактики и лечения возможных радиационных поражений.

Только на первый взгляд с гласностью связаны какие-то сложности в общении специалистов и простого народа. Ведь когда случилась трагедия в Чернобылях с непонятным поступлением таллия в городской воздух и облысением детей, только обращение к народу позволило найти места хранения этого опасного металла. Обращение к народу за помощью — дело обычное и в поисках преступников, и в ликвидации аварий и т. д. Нет оснований сомневаться в способности белорусских крестьян и рабочих, врачей и учителей понять опасность радиоактивных поражений цезием, стронцием, понять, что нужно делать для уменьшения такой опасности и как нужно устранять поступление в организм продуктов, связанных с почвой, и прежде всего молока. Однако первым шагом на пути этого понимания должна быть публикация результатов медицинского наблюдения за пережившими катастрофу 1986 года в первые дни и месяцы после случившегося на АЭС в Чернобыле. Должен быть дан анализ и организационных и сугубо врачебных оценок и мероприятий (и не в стиле доклада в МАГАТЭ, где все выглядит довольно парадно). Такого анализа нет на страницах даже научных журналов. А ведь без учета сегодняшних научных, а не только литературных данных наука радиология и тем более организация здравоохранения мертвы.

Почему же наши беды годами невозможно устранить? Связано ли это с отдельными людьми, которых достаточно отправить на пенсию или перевести на другую работу — и сразу все исправится? Такие простенькие мысли то и дело подкидывает дешевый агитпроп, каждодневно рассказывающий о хозяевах крепких и нерадивых. Все ясно, только почему первых становится все меньше, а вторых все больше? Пока из общества не будут выкорчеваны остатки диктаторского правления, пока народ будет отстранен от влияния на жизнь общества, коренным образом поправить будет невозможно. Вроде бы понятно, что огромное количество министерств по делам союзным и дублирующим республиканским бессмысленно. Но они есть. Все это отрыжка того времени, когда преобладал примитивный подход: нет мяса и молока — давайте создадим министерство мясной и молочной промышленности, плохи дела с медицинским оборудованием — создадим министерство медицинской промышленности. Ни мяса, ни молока, ни хороших аппаратов для измерения кровяного давления все эти решения не принесли, но наплодили массу людей, занятых усовершенствованием пробуксовки государственного механизма. Таких примеров бездна. Если мы и дальше будем премировать сотрудников лечебных учреждений за счет экономии фонда зарплаты, то дальше будет углубляться развал медицины и будет все больше и глубже пропасть между научной медициной и ее практическим претворением, все больше будут главные врачи мешать внедрению, развитию науки на клинических базах. Хорошее лечение дороже плохого, значит, хорошая работа будет меньше премироваться, чем плохая. Дело

здесь не в отдельных людях, поэтому фамилии и называть не имеет смысла, а в самой постановке дела: то, что есть, очень удобно для управления, так как главные врачи на основе единоначалия в единственном числе и предостоят пред очами вышестоящего начальства. И так до самого верха. Централизованное управление театрами, школой, медициной себя изжило. А есть ли выходы? Как это сделано во всем мире? Налогоплательщик отчисляет часть своих средств на содержание конкретных лечебных учреждений через страховую или больничную кассу. А вот перед этой кассой и отчитается лечебное учреждение. Если касса позволит лечебному учреждению работать плохо, она разорится или ее работники получают малую зарплату. Конечно, методы лечения, лекарства должны быть едины и подчинены одному Минздраву СССР.

К сожалению, великое множество непорядков в нашем общем хозяйстве породило у многих апатию, уверенность даже, что ничего сделать нельзя. Из любого положения выходы есть в обществе людей. Увидим и мы расцвет нашей медицины не на бумаге, а в жизни. Сегодня по крайней мере ясно, что надо бороться за здоровье людей, опираясь на важнейший показатель — продолжительность жизни. Сегодня ясно, что нельзя рассчитывать, будто ее можно продлить какими-то умными решениями многочисленных министерств здравоохранения или бесчисленных рай-, гор- и иных здравов. Огромное большинство служб диагностических и лечебных в медицине нуждается в точной регламентации, которая давно уже существует на Западе и может нашей медициной перениматься без всяких затрат. Жесткие методические нормативы, определяющие качество лечебных препаратов, перечень и принципы диагностических подходов при определенных заболеваниях, программы-протоколы лечения большинства заболеваний должны быть заимствованы из новейших опубликованных материалов и утверждены только Минздравом СССР и никем больше. Здравоохранение ничем не отличается от проблем обороны, где по вполне понятным причинам нет территориального разнobia в нормативах на калибр пушек и снарядов.

Сегодня финансирование здравоохранения носит достаточно сложный характер. Но в этом не участвует непосредственно тот, ради которого и существует здравоохранение, — непосредственный житель этой местности. Вопросы финансирования невозможно оторвать от проблем местного бюджета. Вопрос этот не решить единым махом: слишком многое надо менять и в политическом и в экономическом устройстве страны, переходящей на демократические рельсы. Но это не значит, что с введением показателей здоровья населения нашей страны, единых с таковыми в других передовых странах, можно подождать.

Вот вместо писания статей против Алеся Адамовича давайте поставим задачу добиться такой продолжительности жизни для крестьян чернобыльского региона, какую имеют пострадавшие от взрыва бомб жители Хиросимы и Нагасаки! Задача эта нам по плечу; думаю, что она в одну минуту высветит необходимые рычаги для ее решения. На таком примере мы все многому научимся. Тут ни для кого подвоха нет. Каждодневным контролером будет народ, местное население, местная медицинская служба, а чтобы все шло без нарушений, пусть А. Адамович участвует в наблюдении за экспериментом. Первых результатов не надо долго ждать: по снижению детской смертности, по уменьшению числа кровоизлияний в мозг, по частоте раннего выявления опухолей можно очень скоро выйти на результаты, сопоставимые с аналогичными за рубежом.

Многих волнует разговор о неминуемых жертвах прошедшей атомной катастрофы. В нашей печати не принято заниматься подсчетом возможных заболеваний, некропрогнозом. В связи с этим несколько слов по поводу заявления оппонента, уверяющего публику о несостоятельности опасений Алеся Адамовича насчет влияния малых доз радиации на частоту опухолей. Автор в противовес позиции писателя утверждает, что нет сведений об отдаленных последствиях действия малых доз (этот тезис повторяется четыре раза подряд в разных вариантах). Если считать малыми дозами те, которые выше фоновых, но меньше тех, которые вызывают лучевую болезнь, то есть дозы меньше 100 рад (1 грей), то по этому поводу литература довольно большая. В монографии «Рак у переживших атомную бомбу» под редакцией И. Шигимацу и А. Каган (1986) приводятся сведения о частоте опухолей у жителей Хиросимы и Нагасаки в зависимости от облучения в разных дозах. Частота лейкозов, миеломной болезни, рака желудка при облучении в диапазоне доз от 1 до 50 рад удваивается по сравнению с таковой у необлученных японцев. Увеличивается

частота и почти всех других опухолей, обнаруживая колебания в зависимости от возраста облученных. Не очень к месту вопрос о цифрах вероятных опухолевых заболеваний поднял оппонент писателя. Опухоли, конечно, будут, они уже есть, и их происхождение в связи с облучением доказывается с помощью хромосомного анализа с абсолютной точностью. Да иначе и быть не может. Но время сейчас такое, когда очень много можно сделать для спасения заболевших. Можно свести к минимуму людские потери, если обеспечить регион всем необходимым на сегодня медицинским, но прежде всего гематологическим, персоналом, соответствующими медикаментами.

Разработанная в последние годы методика пересадки собственного костного мозга, забираемого у самих больных в период, когда опухоль (лейкоз) почти полностью подавлена, создает предпосылки к лечению и излечению там, где обычная пересадка от братьев и сестер невозможна из-за отсутствия таковых или иммунологической несовместимости. Вот такой центр трансплантации надо создавать в Гомеле. Это все дела абсолютно реальные; на первых порах бригада врачей из Всесоюзного гематологического научного центра, с кафедры гематологии Центрального института усовершенствования врачей может работать вместе с врачами этого города.

Ну и в заключение. Вся страна стала свидетельницей буквально взрыва правды, которая прежде всего обрушилась на нас со страниц беллетристических журналов. В технических вопросах писатели могут иногда показывать себя и не совсем специалистами. Но уж в честности и понимании интересов страны им не откажешь. Невелика заслуга одергивать их, да еще в привычном, всем надоевшем околонучном стиле.

Желание руководителей видеть радужные горизонты своего правления понять можно. Но в том и состоит святая обязанность ученых — говорить правду своему правительству. Со времен Ивана IV за это не жаловали, а в нашем недалеком прошлом поголовно уничтожали. Вот и вывелась целая плеяда дельцов, сулящих благополучие народа завтра в обмен на деньги и награды им лично сегодня. Одни обещали решить проблему хлеба с помощью ветвистой пшеницы, другие гарантировали повсеместное снабжение овощами через внедрение торфо-перегнойных горшочков, третьи уверяли, что диагнозы можно будет ставить по глазам, а лечить больных уколами по ушам. Мы должны дожить до того времени, когда спекулянтов подобного рода будут изгонять из профессиональной корпорации без помощи администраторов, а решением научных обществ, над которыми не властны будут ни комитеты, ни министерства. Легкомысленные прогнозы по чернобыльскому региону — это все дела небезобидные, это не простое вранье невежд. Это старая политика разобщения науки и ее конечного результата. Это все очень близко попыткам оросить Приволжье под Волгоградом, тем попыткам, которые, если их не пресечь, сделают с Каспием то же самое, что сделали с Аралом.

Эта заметка не преследует цели посеять недоверие к науке у народа, от науки вроде бы далекого. Дело в том, что настоящая наука не нуждается в доверии: все ее выводы можно просчитать. Настоящая наука может быть донесена до каждого, если она не ложна. В этой заметке есть лишь одно предложение: пусть пострадавшие в чернобыльской катастрофе жители будут иметь такое же здоровье, как их хиросимские собратья.

Очень часто в связи с необходимостью коренным образом улучшать дела в медицине говорят о нехватке средств. Думаю, что это ленивое суждение людей, привыкших объяснять свои общие неудачи внешними обстоятельствами. Мы буквально ходим по деньгам, бессмысленно растрачивая их на производство избыточного числа слабых специалистов, на содержание десятилетиями ничего не дающих НИИ, привычно списывающих с западных статей планы и отчеты, и т. д. Нас по всем научным и практическим медицинским показателям обошли страны, которые вступили в послевоенный период не только с худшим, чем у нас, экономическим положением. Страны эти не имели ни угольных, ни рудных запасов, ни леса. Но они эксплуатировали в самом лучшем смысле этого слова человеческий мозг, не воевали, а сотрудничали со своими учеными, отбирая лучших из них для максимальной отдачи.

А. И. ВОРОБЬЕВ,
профессор.

ТОЛСТОЙ И ТОЛСТОВЦЫ

Публикация воспоминаний Бориса Васильевича Мазурина о толстовской коммуне «Жизнь и труд» в сентябрьском номере «Нового мира» — важный и отрадный шаг к давно уже назревшей переоценке общественного влияния Толстого. Теперь, когда «Новый мир» положил начало, вероятно, пришло время сделать наконец эту неизвестную главу в истории русской культуры полностью доступной советскому читателю.

Ни одно явление во всей истории европейской литературы не может сравниться с тем исполненным драматизма религиозным кризисом, духовным переворотом, который пережил Толстой в конце 70-х годов прошлого века, и с тем влиянием, которое его произведения, написанные после этого переворота, оказали не только на отдельных людей, но и на целые группы во всем мире.

Во многих странах делались попытки воплотить в жизнь толстовские религиозные принципы путем создания кооперативных сельскохозяйственных поселений. Большинство этих попыток — например, в Англии, Голландии, Венгрии, Швейцарии, США, Японии и Чили — потерпели неудачу главным образом из-за того, что их участники не имели практического опыта ведения сельского хозяйства (большинство их составляли пришедшие из городов интеллектуалы).

Если мы хотим правильно понять характер всемирного общественного влияния Толстого, нам необходимо освободиться от предвзятости и тщательно изучить его мысли о Боге, Нагорной проповеди, непротивлении злу силою — словом, все то, что можно назвать толстовской проповедью христианского анархизма. Западные ученые должны отбросить представление о религиозно-философских сочинениях Толстого как о причудливых заблуждениях великого во всех других отношениях художника. Советским же ученым следовало бы отказаться от истолкования поздних произведений Толстого только в политических и социальных категориях, без учета его религиозных взглядов.

Отношение Толстого к проблемам общества и государства можно понять лишь в свете его отношения к самой человеческой жизни, сформулированного в его работе «О жизни»: «Видимая мною жизнь, земная жизнь моя, есть только малая часть всей моей жизни с обоих концов ее — до рождения и после смерти — несомненно существующей, но скрывающейся от моего теперешнего познания». Эта позиция не означает ухода от разрешения земных проблем; скорее она позволяет взглянуть на земные проблемы в иной перспективе. Она также объясняет, почему последователи Толстого не боялись ни пыток, ни смерти и не возненавидели своих притеснителей.

На протяжении истории человечества различные религиозные общины — не только толстовцы — пытались положить в основу своей жизни начала непротивления — индуисты в Индии, последователи Яна Гуса в Чехии, квакеры в Англии, меннониты в Германии и духоворы и молокане в России. Соседи и особенно правители тех стран, где протекала жизнь этих общин, нередко относились к ним с подозрением. Религиозные убеждения сектантов превратно истолковывались как имеющие политический характер, а их отказ носить оружие и участвовать в войне по религиозным мотивам расценивался как подрывная политическая деятельность.

Как правило, эти сектанты жили в странах, построенных на основе насилия, обладающих армиями для защиты границ, судами для соблюдения законов и полицией для поддержания общественного порядка; поэтому у них не было случая проверить, возможно ли управлять обществом без применения насилия. Редким исключением была пенсильванская колония, основанная в 1681 году английским квакером Уильямом Пенном в Северной Америке на земле, полученной им от английского короля. К «святому эксперименту» Пенна, как его называли, намного опередившему свое время, сочувственно отнеслись многие выдающиеся мыслители Западной Европы, в том числе Вольтер, но он продолжался немногим более жизни одного поколения. Эксперимент этот вызвал такой поток иммигрантов других вероисповеданий из Европы, что вскоре квакеры оказались в меньшинстве, а смута в Новом Свете, вызванная войнами между британцами и французами, в конце концов заставила квакеров полностью устраниваться от управления пенсильванской общиной.

В двадцатом столетии было два важных и в основном успешных опыта ненасильственного сопротивления в политике. Первый — ненасильственное движение за национальное освобождение Индии под руководством Ганди, которое заставило Великобританию мирным путем предоставить полную независимость крупнейшей из ее колоний.

Второй — кампания ненасильственного сопротивления, приведшая к отмене всех законов о расовой сегрегации в США. Эти два движения важны тем, что они продемонстрировали как возможности ненасильственного сопротивления, так и его границы. Ненасильственное сопротивление злу не может служить принципом построения национального государства. Как только движение Ганди принесло Индии независимость, новая нация создала обычный аппарат насилия для защиты возникшего демократического строя: армию, суд, полицию.

Значит ли это, что непротивление, исповедуемое Толстым, Ганди и их последователями, политически не действенно? Отнюдь нет. Это значит лишь, что существует диалектическая связь между насилием и его отрицанием. Оба принципа, работающие совместно, объединенные взаимным противоборством, способствуют достижению большей свободы, справедливости и равенства, нежели каждый из них в отдельности. Только правительство, опирающееся на силу, в крайних случаях готовое применить насилие, может эффективно управлять государством. Но управлению, основанному на физической мощи, на насилии, постоянно грозит опасность выродиться в тиранию. Парадокс ненасильственного сопротивления в том и состоит, что хотя оно и не может взять на себя функции управления, оно в то же время способно существенно корректировать несправедливые действия правительства. Чему учит опыт британских войск в Индии и американской полиции в южных штатах во время ненасильственной кампании под руководством Мартина Лютера Кинга? Он учит, что не только полиции, но и армии не удается сохранить боевой дух перед лицом участвующих в ненасильственном сопротивлении народных масс, которые готовы скорее принять страдания, нежели причинить их.

Воспоминания Бориса Мазурина в «Новом мире» свидетельствуют, что движение последователей Толстого в Советском Союзе не имело никаких политических целей. Все, чего хотели толстовцы, — жить в соответствии с религиозными принципами, которые исповедовал Толстой. Однако именно эти религиозные принципы делали их гражданами, способными оказать положительное влияние на жизнь любого общества, они были честными, воздержанными, трудолюбивыми, мирными и преданными благосостоянию своей общины.

Схожее явление обнаруживается только еще в одной стране мира, где существовало сильно развитое толстовское движение. Новое исследование, опубликованное в США и представленное в Софии в 1988 году X Международному съезду славистов, показывает, что всю первую половину века толстовство процветало в Болгарии. У болгарских толстовцев были газеты, журналы, издательства и книжные магазины, пропагандировавшие главным образом толстовскую литературу. Было создано массовое вегетарианское общество, имевшее целую сеть столовых, одновременно служивших местами лекций и собраний. В 1926 году возникла толстовская земледельческая коммуна, к которой даже после 9 сентября 1944 года правительство относилось с уважением, как к лучшему кооперативному хозяйству в стране. Болгарское толстовское движение насчитывало в своих рядах трех членов Болгарской академии наук, двух известных художников, несколько университетских профессоров и по меньшей мере восемь поэтов, драматургов и беллетристов. Оно получило широкое признание как важный фактор подъема культурного и нравственного уровня личной и общественной жизни болгар и продолжало существовать в условиях относительной свободы вплоть до конца 40-х годов.

Уильям ЭДЖЕРТОН,
профессор Индианского университета (США).

Перевел с английского Д. А. КАРЕЛЬСКИЙ.

КОРОТКО О КНИГАХ



ЮРИЙ СТЕФАНОВИЧ. Натуральная школа. Повесть и рассказы. М. «Советский писатель», 1988. 285 стр.

Случай Юрия Стефановича являет собой пример парадокса, каких немало в нашей словесности. Под самым ранним из вошедших в «Натуральную школу» произведений дата — 1967 год, а мы говорим о первой книге, о «молодом писателе», о том, что «рассказы долго и трудно пробивались»...

Прочитавший повесть «Снега» (написана в 1973-м, впервые опубликована в 1985-м) сейчас не сразу и поймет, почему это произведение было отсеяно из текущего литературного процесса, в чем его, так сказать, острота. Но надо вспомнить первую половину 70-х, шум и грохот вокруг «стройки века» — БАМа, чуть ли не ежедневные победные реляции с места событий. Надо вспомнить, что в это время даже самая умеренная социальная критика встречалась в штыки (взять хотя бы новомирские публикации 1972 года: «От мира сего» Ю. Крелина, «Я и мой автомобиль» Л. Лиходеева — и рецензии на них в «Литературной газете»). И тогда будет нетрудно понять, что спокойно, местами меланхолично написанные «Снега» с их твердой установкой на дегероизацию и правдивость были обречены. Автору не могли простить, что его герои не только строят свою «лэпу» (линию электропередачи на Сахалине), но и пьют: перцовку, спирт и чуть ли не одеколон. Что работают многие без всякого не то что энтузиазма, официально предписанного, но и вовсе без охоты, стараются от работы увильнуть, почему-то стремясь туда, где легче, а не наоборот. Да и работают-то не из идейных соображений, не потому, что «родине надо», а за деньги (напомню, что это крамольное понятие в художественной литературе 70-х почти не фигурировало).

Ю. Стефанович описал, как умирает от ожогов один из строителей, Руссков. Вот тема для любителей литературной романтики! (Как раз в 1972 году погиб в огне, спасая свой трактор, рязанский комсомолец А. Мерзлов, посмертно награжденный орденом; об этом тут же была сочинена пьеса.) Но Ю. Стефанович «испортил» и этот сюжет: Руссков ничего не спал, просто ночью загорелась палатка, а он спал в самом дальнем углу, «на него стойка и повалилась, и брезентом горящим поверну накрыло». Бригада в огонь обратно ринулась, потому что там получка за три месяца была, а когда кто-то крикнул, что в огне баллон с кислородом остался, то все бросились назад, Русскова позабыли, и бригадир Луговик в одиночку из горящего брезента его вынимал...

Конечно, в 1973 году главный смысл заключался в контрасте с дежурным оптимизмом и литературной условностью при изображении трудового героизма. Но сегодня контраст стерся и заметнее стали недостатки, скрытые в концепции «Натуральной школы».

Да, с одной стороны, сила непосредственных наблюдений, точность и непредвзятость снимков с природы. Но с другой — отсутствие социального анализа, какая-то остановка на поддороге в осмыслении.

В «Снегах» очень интересен образ мастера на строительстве, мастерка, как пренебрежительно называют его рабочие. Намечен и острый конфликт, вызванный противоречиями между социальными группами. Но только намечен, все тут же уходит в чисто психологические объяснения.

Три рассказа — «Хуже нет», «Голос», «Последние дни бича Плецкого» — самые сильные произведения сборника. Ю. Стефанович — хороший рассказчик, это его жанр, и повесть «Снега», я думаю, не случайно распадается на три самостоятельных рассказа с общим местом действия и общими героями.

Рускуя показаться назойливым, предъявлю и здесь ту же претензию: утаенность социальных причин, объясняющих человеческую судьбу. «Последние дни бича Плецкого» — самый характерный в этом смысле пример. Некий человек, о котором почти ничего не известно, «хотел писать хорошо, свою прозу, и он понял, что необходимы опыт, знание жизни и — страдание. Страдание не мучительное, не мешающее работать, но тихое, тайное — для себя. Оно было невозможно без одиночества, глубокого, полного одиночества, и он решился. Уехал». Где-то работал — на теплотрассе, в леспромпхозе; оказавшись в больнице, начал писать; потом, неожиданно осознав, что пол у ч а е т с я, запил, опустился, стал бичом; зарабатывал и быстро пропивал деньги, не утратив, правда, на свою беду, некоторой созерцательности и способности к мучительным воспоминаниям о начале.

Конечно, можно описать такую жизнь как психологический казус, вывести его из какой-то не названной по имени тайны, коренящейся еще в детстве героя (а Ю. Стефанович именно так и поступает). Однако не упущена ли возможность показать социальную подоплеку такой судьбы, особенно если речь идет о добровольном изгое?

Пожалуй, равновесие психологического и социального начал достигнуто в рассказе «Хуже нет» — о судьбе несчастной старухи, не любимой ни детьми, ни внуками, которая не может под конец жизни найти себе пристанища ни у одной из дочерей.

На прозе Ю. Стефановича — в лучших ее образцах — лежит отпечаток творческой манеры Ю. Казакова (говорю это в похвалу). Правда, фраза цветистой, чем у Ю. Казакова, больше орнаментирована, однако о связи упорно напоминают и интонация рассказчика и некая таинственность жизненного процесса, непостижимость мира, которую автор и не собирается разрушать. Как и у Ю. Казакова, у Ю. Стефановича человек зависит от окружающей его среды, но только не социальной, а природной, направляющей его жизнь. Именно потому герои Ю. Стефановича подбирают себе место обитания — оно создает их, и они знают это. Таков Плецкий, таков же и Солянов — персонаж с биографическими чертами автора, работавшего ботаником на Дальнем Востоке.

В этом контексте открывается второй, куда более глубокий и, думаю, более важный для автора смысл названия «Натуральная школа»: школа природы, обучающая, пантеистически влияющая на человека, она оказывается альтернативой среде социальной, доверие к которой утрачено.

Михаил Золотоносов.



АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Живая изгородь. Книга стихов. Л. «Советский писатель». 1988. 143 стр.

Если спросить меня, что нового в новой книге Кушнера, то прежде всего — это слово «газета». Слово «книга», вызвавшее странный протест иных критиков, было у Кушнера всегда, а вот «газеты» действительно не было. Что тоже, в свою очередь, ставило в вину, инкриминировалось как явная асоциальность.

Но ведь внимательный читатель всегда понимал, что поэзия Кушнера была исподволь движима одной из серьезных социальных проблем — скрытым конфликтом между личностью и государством.

Конечно, самой этой проблемы долгое время у нас как бы не существовало, она как бы осталась в веке прошлом, ну в крайнем случае — начале нынешнего. Скажем, в году 1913, когда писались «Петербургские строфы» Мандельштама: «Летит в туман моторов вереница. Самолюбивый, скромный пешеход, чудаки Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет!» Однако вопреки официальному мнению тема эта вовсе не была исчерпана: хотя имя «бедного Евгения» так и не вошло в наш обиход как нарицательное, сама проблема человека нечиновного, маленького несомненно присутствовала в жизни и литературе.

Так, например, удивительное мандельштамовское определение своего Евгения словом пешеход (только сейчас обретшим всю полноту смысла) будто специально придумано для лирического героя Кушнера: «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки, у стриженных лип на виду, глотая туманный и стойкий бензинный угар на ходу...» Видите, кушнеровский пешеход даже бензин совсем по-мандельштамовски глота-

ет. Правда, с иными чувствами... Без отвращения. Тесно смыкаясь с классическим сюжетом, поэзия Кушнера его по-своему порочивает и развивает: этот пешеход и бедности своей не стыдится, да и судьбу совсем не клянет. Ведь кушнеровский герой знает гораздо больше героя молодого Мандельштама: и про кровавый террор и про огромную войну. Судьбу поколения, заставшего все это лишь краем, действительно не назовешь несчастной. Это ощущение, постоянно стоявшее за его прежними стихами, Кушнер формулирует в своей новой книге: «Я помню майский день в бессмертном сорок пятом, мне в пятьдесят шестом пробило двадцать лет. Кто не жил в эти дни, пристрастие наше к датам, должно быть, не поймет, ему в них доли нет». Согласитесь, на таком историческом фоне и бедность (возвращаясь к мандельштамовским строкам) не страшна и, уж точно, не стыдна. А может, даже почетна. Ведь на роль пешехода брежневская эпоха выдвинула прежде всего интеллигента, более других ущемляемого и морально и материально.

От имени этого новейшего Евгения и говорит Александр Кушнер. И не просто говорит, а всею силою ума и таланта востанавливает его в истинном достоинстве, подлинном достоинстве души и интеллекта. То, что всегда считала своим долгом русская проза — вступаться за униженных, — делает и лирика своими собственными средствами. Не теоретизируя, а просто будучи самим собою, Кушнер вступился за честь интеллигента, дал убедительную альтернативу самодовольным героям недавних времен. Его модель существования, демонстрирующая не нищету и не аскезу, а подлинный пир ума и сердца, объективно требовала силы, мужества, юмора, доброты. Старинная тема «маленького» человека претерпевает в этой связи любопытную трансформацию, она звучит у Кушнера так:

А мы и в пятьдесят Андриусы, Люси, Саша.
Я к отчеству, скажать по правде, не привык.
Порхают имена младенческие наши.
Не тратя лишних слов, ложатся на язык.

И внуки наши нас не старят почему-то.
Тая праотцев небось на ложе дум и нег,
Средь жен и козых стад века, вздымаясь
круто,
Не старили... ах, Мафусаилов век!

Задорно, не правда ли? Перед нами начало одного из недавних стихотворений поэта. Но, может быть, речь идет совсем не о том? О том, о том, погодите:

Мне отчество друзей неведомо. Потерю
За гранью здешних дней восполним
как-нибудь.
Солидности боюсь и важности не верю,
Писатель входит в дверь, выпячивая грудь.

Мы переждем его с улыбкой в отдаленье,
К нам вечность в руки шла одною из удач.
Поэтом-то я на наше поколение
Печально не гляжу, — не хнычь над ним,
не плачь!

Вот как, оказывается. Хотя сегодня, в момент перераспределения социальных ролей, казалось бы, самое время пожаловаться, пороптать, побранить поверженных «кумиров». Однако Кушнер, верный своей многолетней привычке, склонен подчитывать лишь обретения. Правда, оптимизм его на-

правлен не столько в прошлое, сколько в будущее. Заставляя нас мысленно продолжить хрестоматийную лермонтовскую цитату, пластично введенную в стихотворение, поэт выражает надежду на такое «грядущее», которое бы не было ни «пусто», ни «темно»...

На это и работает его новая книга. Книга, где Кушнер обрел наконец возможность обстоятельно поделиться с читателем своими историческими раздумьями, надо сказать, всегда отличавшимися глубиной и неконъюнктурностью. Он смог еще шире развернуть свой многолетний диалог с Мандельштамом — диалог не столько об искусстве, сколько о жизни.

Впрочем, все это отнюдь не означает, что в своей новой книге Кушнер изменился. Он просто резко повернулся к себе настоящему, став самим собою в гораздо большей степени, чем в предпоследних сборниках, в которых, что ни говори, а чувствовалась, давала себя знать сильнейшая психологическая усталость: стихи становились сухими, монотонными, излишне филологизированными. Открыто заявляя о своих гражданских тревогах, не сдерживая хлынувших ассоциаций, не подавая возникающих догадок, Кушнер возвратил своей поэзии необходимый тонус.

Но ведь это — результат не только внутренних усилий, но прежде всего внешних, объективных обстоятельств. Свежая газета легла рядом с любимыми старыми книгами. Кушнер раскрывает ее в первую очередь: «„Московские новости“... Знали бы вы, с каким напряженьем их ждут в Ленинграде...»

И. Винокурова.



ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ. Тайный советник вождя. Роман. «Простор», 1988, № 7—9.

Люди моего поколения в детстве засыпали и просыпались под несмолкаемые звуки гимна, несущегося из репродуктора: «О Сталине мудром, родном и любимом...» Эти застрявшие в памяти слова сейчас кажутся кошунственными, и можно ли найти в наши дни человека, способного употребить в адрес Сталина эпитеты: «мудрый», «добрый», «великий»? Но оказалось, что найти такого человека не составляет труда. Он заявил о себе в столице Казахской ССР. В романе, опубликованном на страницах русскоязычного журнала «Простор» тиражом около 80 тысяч (в этом году должно последовать и продолжение), московский литератор Владимир Успенский устами своего главного героя, белого офицера Лукашова, слагает Сталину дифирамбы в том самом высокопарном стиле 50-х годов.

Почему кадровый офицер царской армии, сделавшись тайным советником вождя, стал выразителем отнюдь не тайных чувств автора, догадаться нетрудно; уж если белый, потенциальный враг большевиков покорен личностью Иосифа Виссарионовича, то что остается делать нам, красным?

История знакомства Лукашова и Сталина вызывает в памяти пресловутый заячий тулупчик Гринева. Достаточно было вежливо-

го разговора офицера генштаба с солдатом-«инородцем» Джугашвили в Красноярске, чтобы потом, под Царицыном, Сталин, узнав его, спас Лукашова жизнь и приблизил к себе. Благодаря этому Лукашов не только становится свидетелем и участником боев за Царицын, но присутствует при расправах Сталина с Троцким, при беседах с Орджоникидзе и Фрунзе, наблюдает, как складываются отношения большого Ленина с генсеком, видит Сталина в момент его «вдохновенной» работы над «Клятвой».

Однако в первую очередь не политические и военные таланты вождя привлекают его внимание, а тщательно фиксируемые в записках тайного советника высокие душевные качества Сталина. Ими он не устает восхищаться.

Из дневников Лукашова мы (порядком удивившись) узнаем, например, что Сталин был совершенно по-детски доверчив: «...и на себе испытал я такое вот полное, безоглядное доверие Сталина, очень располагавшее, привязывавшее к нему. Такому доверию просто невозможно изменить, его невозможно не оправдать».

Еще одну черту, никак из современников не подмеченную, открыл в Сталине его советник: вождь незлобив и не помнит зла, причиненного ему другими. Едва член РВС южного фронта Сталин замечает, что командующего Десятой армией Егорова мучат воспоминания о том, как его полурота в 1905 году преградила дорогу тифлисским демонстрантам, среди которых был и Джугашвили, как с голубиной кротостью утешает последнего: «Зачем мучиться? Сели бы мы с вами за стаканом чаю, поговорили бы о Тифлисе... Как говорит пословица: кто старое помянет...»

Любую самую мелкую ссору миролюбивый Сталин, по заверению его летописца, переживает очень тяжело, поскольку ему свойственно стремление к невозмутимой гармонии. «Ему хотелось, чтобы он сам и все, связанное с ним, было абсолютно правильным, безупречным, надежным».

Широко известно, неоднократно повторенное замечание Ленина о грубости Сталина никак не ложится в строку «саги о вожде», и автор ее решительно опровергает Ленина: «Но я не считаю, что по натуре своей Сталин был груб, невнимателен к людям. Отнюдь... Заботливо относился к друзьям, охотно советовался с теми, от кого надеялся получить разумный совет».

У читателей романа, которым предложили познакомиться со столь добродетельным Иосифом Виссарионовичем, обязательно возникнет недоуменный вопрос: а как же все эти яркие достоинства будущего генералиссимуса увязать с тем, что мы сегодня называем сталинщиной? Ответ, который дает Успенский, обескураживает своей простотой. «Трудно,— пишет он,— невозможно понять и объяснить перелом в психике Иосифа Виссарионовича, начавшийся к концу двадцатых годов... если не учитывать те неприятности, которые обрушились на Сталина в личной жизни». Иными словами, во всех тех преступлениях, какие приписывают Сталину, виноват вовсе не он, а совсем другие люди — его теща, жена и сын.

Судите сами: теща товарища Сталина «бедрями покачивала, как этуаль на бакинской набережной... До самой смерти в мыс-

лях и разговорах Ольги Евгеньевны главным было то, что она именвала „любовью“. А кроме этого, «неприличная» теща занималась еще и тем, что постоянно заставляла зятя куда-нибудь пристраивать членов многочисленного клана Аллилуевых. (Куда именно «пристраивал» их покладистый зять, автор не уточняет, но для нас сейчас это не является тайной: главным образом — в колымские и соловецкие лагеря.) Дочка же «этуали» была и того хуже. Она, «сидючи дома, сладко кушая и вволю отлеживаясь, только обрела женское понимание, женскую страсть...». Эта последняя фраза хоть и косноязычна, зато полна зловещих намеков и может служить ключом ко многим трагическим событиям, потрясшим в скором времени страну. Но пока еще в семье Сталина царит мир. «Все тихо и мирно было в семье Сталина в ту пору: с конца двадцать шестого по двадцать восьмой год». И никто из соотечественников, живших в те времена, не мог предположить, что грядет черный двадцать девятый год, несущий гибель и разорение тысячам крестьянских хозяйств. Поскольку как раз на заре этого года, к нашему общему несчастью, у Васи оборвалась подтяжка. «Днем Шура Бычкова ушла, как обычно, гулять с детьми, но что-то случилось у Васи: пуговица оторвалась или подтяжка, и они возвратились в неурочное время. Василий ворвался в комнату матери, няня вошла следом и обнаружила там Надежду Сергеевну и Якова в положении, несколько странном для обычной бе-

седы... Удар оказался совершенно неожиданным для Иосифа Виссарионовича и поэтому особенно болезненным».

И пошло-поехало: обманутый в лучших чувствах муж и отец, ослепленный обидой, начал крушить все вокруг. И хотя сокрушил он, как известно, многие миллионы ни в чем не повинных людей, писатель Успенский предлагает нам понять и простить.

Каким словом можно обозначить тот удивительный психологический феномен, когда наши современники, каждый день узнавая из газет и журналов все новые и новые подробности страшных преступлений палача, тем не менее выступают в судах в роли его адвокатов или торопливо реставрируют иконописный лик «отца народов»? Историк Ключевский назвал это «холопством» и дал исчерпывающий анализ такого явления: «Схема истории холопства в России. Военное или экономическое насилие превратилось в юридический институт, который посредством продолжительной практики превратился в привычку, а она по отмене института осталась в яравах, как нравственная болезнь». Долг общества — избавляться от своих болезней.

В бурных дискуссиях, которые ведет о романе Успенского общественность Казахстана («Казахстанская правда» от 8.11.1988, «Известия» от 2.1.1989), звучат слова и о том, что публикация его — акция, направленная против перестройки. С этим трудно не согласиться.

Г. Корнилова.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

А. Борщаговский. Восстань из тьмы. Повесть об Александре Полежаеве. («Пламенные революционеры») 474 стр. Цена 1 р. 70 к.

XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. В 2-х тт.

Б. Изаков. «Летучие годы, дальние края...». От 20-х до 80-х. Записки старого журналиста. 431 стр. Цена 1 р. 40 к.

Международный ежегодник. Политика и экономика. Выпуск 1988 года. 304 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Сердюк. Непростые заботы человечества: научно-технический прогресс, здоровье человека, экология. 299 стр. Цена 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Григ. Стихотворения. Перевод с норвежского. 254 стр. Цена 90 к.

Р. Давалн. Золотая сеть. Стихотворения. Поэмы. Перевод с армянского. 368 стр. Цена 1 р. 60 к.

Ф. Ниязи. Солдаты без оружия. Роман. Рассказы. Перевод с таджикского. 479 стр. Цена 2 р.

И. Пушин. Записки о Пушкине. Письма. («Серия литературных мемуаров») 559 стр., с илл. Цена 2 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Битов. Человек в пейзаже. Повести и рассказы. 464 стр. Цена 2 р. 10 к.

Т. Винт. Возвращение. Романы, новеллы. Перевод с эстонского. 479 стр. Цена 2 р.

Ю. Самедоглу. День казни. Роман, рассказы. Перевод с азербайджанского. 261 стр. Цена 95 к.

Н. Щербанов. С желанием истины. Об одном поколении в искустве. 400 стр. Цена 1 р. 30 к.

«РАДУГА»

А солнце видит все... Повести Рассказы. Перевод с урду. 335 стр. Цена 2 р. 30 к.

К. Вольф. Избранное. Перевод с немецкого. («Библиотека литературы ГДР») 559 стр. Цена 3 р. 30 к.

Э. По. Стихотворения. Сборник. На английском языке с параллельным русским текстом. 414 стр. Цена 2 р.

У. Сароян. Человеческая комедия. Роман. Избранные рассказы. Вот пришел, вот ушел сам знаешь кто. Из автобиографии. По-правна — 22. Роман. («Библиотека литературы США») 765 стр. Цена 5 р. 50 к.

«ПРОГРЕСС»

Ф. Вольф. Годы и люди. Художественная публицистика. Перевод с немецкого. («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 376 стр. Цена 95 к.

С. Мацумото. Поблекший мундир. Политический роман. Перевод с японского. 272 стр. Цена 1 р. 70 к.

Наедине со временем. Письма американских писателей. Перевод с английского. 463 стр. Цена 2 р.

Электронная промышленность за рубежом. Сборник. Перевод с английского. 461 стр. Цена 2 р. 90 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Б. Екимов. Родительский дом. Роман. 271 стр. Цена 1 р. 30 к.

Г. Плеханов. История в слове. («Любителям российской словесности. Из литературного наследия») 509 стр. Цена 2 р. 40 к.

Приключения славянских витязей. Из русской беллетристики XVIII в. 493 стр. Цена 2 р. 90 к.

Рассказ — 87. 461 стр. Цена 1 р. 90 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ю. Гончаров. Жизнь тому назад... Рассказы, повести. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 512 стр. Цена 2 р. 20 к.

Н. Гумилев. Стихи. Поэмы. («Век XX. Россия — Грузия. Сплетение судеб») Тбилиси. «Мерани». 494 стр., с илл. Цена 5 р. 60 к.

А. Ремизов. Неумный бубен. Роман, повести, рассказы, сказки, воспоминания. Книшинец. «Литература артистична». 599 стр. Цена 3 р. 90 к.

Трава после нас. Книга-интервью журналиста Феликса Медведева с деятелями советской литературы и искусства. М. Издательство АПН. 254 стр., с илл. Цена 75 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом менее 2 печатных листов не возвращает.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранин**, **И. Я. Зиедонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюниц**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 19.12.88 г. Подписано к печати 06.02.89 г. А 09818.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.
(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 1.573.000 экз. (3-й завод 443.001—643.000 экз.). Зак. 434 Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в типографии «Красная звезда». 123826, ГСП,
Москва Д-317, Хорошевское шоссе, д. 38.

Цена 1 р. 20 к.

70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1989, № 3, 1—272.